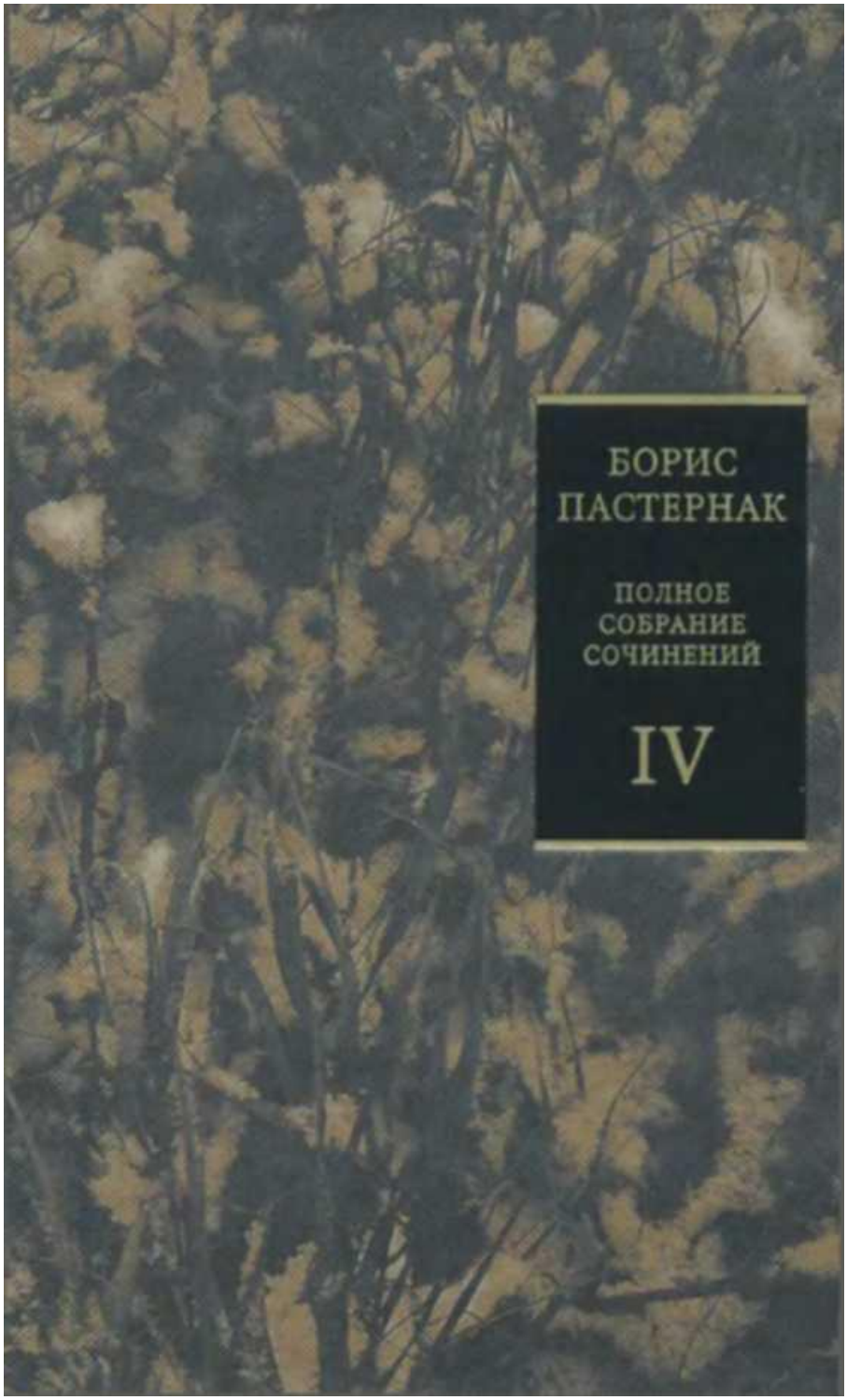

БОРИС
ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
IV



БОРИС ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК
Том IV
ДОКТОР ЖИВАГО
РОМАН

СЛОВО/SLOVO
2004
УДК 821.161.1 ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-5 П 19

Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России
Главный редактор Д. В. Тевекелян
Составление и комментарии
Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак
На авантитуле:
Борис Пастернак. 1948 год.
Фото Л. В. Горнунга
ISBN 5-85050-684-5 (т. IV) ISBN 5-85050-680-2
© Наследники Пастернака Б. Л., 2004 © Пастернак Е. Б. и Пастернак Е. В., составление, комментарии, 2004 © Журавлев К. Е., художественное оформление, 2004 © Слово/Slovo, издание, 2004

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

ПЕРВАЯ КНИГА

Часть первая

ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие Небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких, облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в из-дательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием «Живаго», и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику: «К Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и .большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья,

пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вотэф-ти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? —то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под бренчание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Николаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь У нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он также, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка просквaживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травою. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколенья только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Нуда Боге вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуешься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святый, — молился Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, идежелицы святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка, — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопричтенную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади подымают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство

высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чемто другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, когда он вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами седеющие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирною косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшсйсяцкрови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим

посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей срязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастия.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и, часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил ко своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на

самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, Воскобойников-ская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдись, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унизительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одуряющее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей», — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжон Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновые уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Вос-кобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воско-бойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевиной уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреняя лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

Атеперьони молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший!» — и он так же по-взрослому сказал: «Прости меня».

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, невдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею, и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

Часть вторая

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровско-го, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или Консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Пара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал». «Ейный». «Амалькина присуха». «Буйвол». «Бабья порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише, ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комоде...

— Нуда, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! — Стекло!

Л ара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинувши руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, — в мыслях рисовала себе Лара, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу,

прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты нянек с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, — думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь именинница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: "Амалия, берегите Лару". Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах Московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столковаться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалованье. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтаным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и отходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям

Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путейским кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерывал он Антипова, — но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и пот-прукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, — лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз, — сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее, — сказал Тиверзин. — Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не свезу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей управой положил бы конец гомозне.

— Это, позвольте спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток, и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете кон-

торских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покоробило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буянить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинско-го двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напилок держишь, азиат, — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла, косые глаза?

— Ай, не буду, дяинька, ай, не буду, не буду, ай, больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранишь? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходи, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пущай мне руки целует, что жив остался, косой черт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы, право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу, учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалахделали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Мину-

тами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одеже пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал.

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку. — Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! — Это всё так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед, не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро, — ворчал он и не сознавал, куда и зачем он идет.

Этот мир подлости и подлога, где разъевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последи их дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, — все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути.

Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новою толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали: «Куда народ свищут?» Из темноты отвечали: «Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога.

Пожар тушить». — «А где горит?» — «Стало быть, горит, коли свищут».

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса: «Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята».

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин, — зарядил он. — Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты, очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постовой спрашивал, околодочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой, ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. Потомственные железнодорожники Тивер-зины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка.

«Не иначе — Пров, — подумал Тиверзин, усмехнувшись. — Пьет не напьется, прорва, огненное нутро».

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприян Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо. Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он

погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька, — тихо сказал он, — стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Куприньке, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Куприньке. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка

малый, — в реальном учится, — один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почем ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я, дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запамятовала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «у семи нянек дитя без глазу». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серою пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой.

Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефонировали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие в Высшее техническое, третьи в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовый зал, в актовый зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники.

Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны.

В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и, хотя ее плотно подбитый ватою шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она, по счастью, увидала мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных ротозеев.

Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

— Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту Даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас, это все штуки Куприньких путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой, помру, ой, помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру-ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинулась с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по заду.

— Да что вы, ей-богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

9

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался в даль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивается где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину — убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Вы-волочнов и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

«У них там такой триумвират, — думал Николай Николаевич, — Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия».

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве, — думал Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах...

— А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю.

10

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

— Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

— Кладите где хотите, — сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

— Я уже раз читал там.

— В пользу политических? -Да.

— Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился. Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феоктистовича. Он мог подняться и уйти.

Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

— Декадентствуете? Вдались в мистику?

— То есть это почему же?

— Пропал человек. Земство помните?

— А как же. Вместе по выборам работали.

— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

— Как же. Жаркие были бои.

— Вы-потом, кажется, по народному здравию подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

— Некоторое время.

— Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста... Или, может быть, я вторгаюсь... Что-нибудь сокровенное?

— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

— России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.

— Никто не спорит.

— Мужик раздет и пухнет от голода...

Такими скачками подвигался разговор. Сознавая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сближаете некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский?

— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматьи. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека. Когда его одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты, и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно — ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

11

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном — газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостецкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский.

Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнес-товна, его экономка, нет — кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители — шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап», — долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла как невменяемая и только по приходе домой поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше.

Теперь она, — как это называется, — теперь она — падшая. Она — женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

13

— Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, не важно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь, по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», — шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными

во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниди, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

«Что за наваждение! — думал он. — Что все это значит? Что это — проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это — беспокойство? Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!»

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомниться! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый, слюнявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

— Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему — Сатаниди, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться.Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

14

О, какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Ко-маровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто.

Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще невзрослою гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной, школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней. И все время хотелось спать. От недосланных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней всё подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе: — А если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? — Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить ее под длинною вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку.

— Пров Афанасьевич, — шепнула ей Оля на ухо.

— Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

— Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня.

— Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерас-цвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко на всю церковь, не обращая

внимания на службу, вразумлял какую-то глухую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств, как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и ^жаждущие правды...

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десятка — прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзи-ной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистою травою и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчики. И главное, главное — револьверным выстрелам, все время щелкавшим оттуда. «Мальчики стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие. Оттого и стреляют».

19

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимание чемоданами, и стали со дня надень откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унимать страсти вышла Фаина Силантьевна.

— Сюда, девоньки! — вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждою отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шалями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек.

— Что случилось? — спросила подоспевшая Амалия Карловна.

— Нас сымают, мадам. Мы забастовали.

— Разве я... Что я вам сделала плохого? — Мадам Гишар расплакалась.

— Вьыне расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина Си-лантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась.

— Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

— Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, — утешала ее Лара. — Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

— Вот так всегда, — говорила она, всхлипывая. — Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвещенная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

— Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

— Филат, Филат! — позвали они дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в «Черногорию».

— Слушаюсь, барыня.

— Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна и воду не забывай Кириллу Модестовичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, наведывайся к нам.

— Слушаюсь, барыня.

—- Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на прощание, и с Богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство легко перекатывало во все стороны круглые,

словно на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расшибая дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна считали эти выстрелы холостыми.

— Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, Святой Дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! — думала Лара, — она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не принимайте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, Боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза». И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

—- Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, — плакалась сзади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О, как задорно щелкают выстрелы, — думала она. — Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!»

20

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александровичи Громеко были профессора химии, первый — в Петровской академии, а второй — в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая залу. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный Друг Анны Ивановны, ее поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже toute transportйe1, в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим», — все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведе-ние, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, Бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и, когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. «Племянник

1 в восторге (фр.). 56

Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойкум увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», — во-зобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.

Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.

Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.

Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.

Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.

— Вам Егоровна знаки делает, — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.

На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.

Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.

Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.

— Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?

Егоровна что-то зашептала ему.

— Из какой Черногории?

— Номера.

— Ну так что же?

— Безотлагательно требовают. Какие-то ихние кончаются.

— Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.

— Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.

— Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.

Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу.

После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:

— Господа. Трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.

Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.

21

Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.

Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать — Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг

полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже Бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль.

Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.

В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гуденьем топящейся печки и свистом кипящего самовара.

Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.

В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.

— Скоро ли они там, мамзель, — спросил он даму у зеркала. — С вашим братом свяжешься, только лошадь студить.

Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.

Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок.

Горничная 1лаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.

Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубоких тарелки и одну мелкую.

Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.

— Руки-ноги дрожат, только и забот день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой, нос себе налакал инда как селезень, а потом зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косой черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?

— Я вам сказывал, Матрена Степановна, — придерживайтесь выраженьев.

— Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших делов мышьяку хватила, отставная невинность. В черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе — виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.

Мальчики топтались в коридоре.

— Вы войдите к тетеньке, молодые господа, — во второй раз неторопливым, тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. — Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите — услужаем, бегаем, теснота. Вы войдите. Мальчики послушались.

В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.

Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамейке. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.

Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения.

За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжения и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.

Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.

—- Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку, — давясь от слез и тошноты, говорила женщина. — Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович... Мне вообразилось... Но, по счастью, оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... И вот... И вот я жива.

— Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно.

— Сейчас поедем домой, — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.

Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.

Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь — неприличием.

— Сейчас поедем, — еще раз повторил Александр Александрович. — Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прощусь с ним.

Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.

При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.

— Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? — останавливал его Юра и не желал слушать.

Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушною движениям его руки марионеткой.

Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.

Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.

Это было то самое, о чем они так горячо год продолдонили с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная и снящаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?

— Знаешь, кто этот человек? — спросил Миша, когда они вышли на улицу.

Юра был погружен в свои мысли и не отвечал.

— Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне, — я тебе рассказывал.

Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.

— Замерз, Семен? — спросил Александр Александрович. Они поехали.

Часть третья

ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ

1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.

Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

— Эх, матушка-барыня, — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только

для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, — напускался он на плакавшую Маринку. — Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал? Вот вы, верно, думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша стать столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

— Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас Она дала гардеробу прозвище «Аскольдо-вой могилы». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны клеточным заболеваниям.

2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепаные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны

чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь в подвале как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера.

Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу — сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз.

«Не ошибка ли в диагнозе? — подумал он. — Все признаки крупозного. Кажется, это кризис». Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее, Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

— Вот, исповедывать хотели... Смерть нависла... Может каждую минуту... Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься... А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь...

хруп, и вон, как щипцами... А что это такое?.. Никто не знает... И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

— Ты талантливый... А талант, это... не как у всех... Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.

— Ну что же мне сказать, — ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. — Во-первых, завтра вам станет лучше — есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем — смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание — яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали: талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это. «Усните», — сказал °н, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. «Черт знает что, — думал он, — я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук».

На другой день Анне Ивановне стало лучше. 4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тонею и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варыкине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья, Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

— Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка, Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.

— Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба — дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступиться от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некоей Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энри-ци. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиоконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

— И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. — Знаете, зачем я вас звала, — снова повторила она и тут же продолжала: — Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бес-

подобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и — Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь Драл, но он отбился. И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! — Анна Ивановна закашлялась.

— Перестань, мама, тебе вредно так, — предостерегла Тоня. Юра поддержал ее.

— Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? Итак, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла продышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

— Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и сговорила вас, — прибавила она и заплакала.

5

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Кома-ровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее подавленностью, и, когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участятся эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на Масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и раскололось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. Две школьных подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный.

Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью: баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников.

Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную.

На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал.

Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал:

— Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала... Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика... Ларочка... Достаточно одного твоего слова... Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира?.. Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его... Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью.

— Смыл кровью... Честь юнкерского мундира, — с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. — А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, недосыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится вдребезги! Да ну тебя к черту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

— Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем, для ровного счета семьсот, — немного замявшись, сказал Родя.

— Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек, вроде меня, может честным трудом выколотить такую сумму?

После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчужденно:

— Хорошо. Я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни.

Эти деньги она достала у Кологривова.

7

Служба у Кологривовых не помешала Ларе кончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем тысяча девятьсот двенадцатом году.

Весной одиннадцатого кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданк, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липоч-кин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами.

В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для Роди, и о нем не напоминали.

Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала.

Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату.

Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашею и уехать, он — учителем мужской, а она — учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала.

Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому, близ Художественного театра.

Летом одиннадцатого года Лара в последний раз побывала с Кологривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписаный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше и среди воцарявшейся безбрежно-обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости истекшего сезона.

Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной стран-никами и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ведшую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путано-пахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее.

В это лето Лара приехала переутомленною от чрезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развилась мнительность, ранее ей не

свойственная. Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличала широта и отсутствие щепетильности.

Кологривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежнею лаской. Но с тех пор как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнею. Она отказывалась от жалованья. Ей его навязывали. Вместе с тем деньги требовались ей, а заниматься на звании гостьи самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо.

Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать куда глаза глядят от себя самой и Кологривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Кологривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения.

Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Кологривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной «воспитаннице» и легкой добыче. А когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают.

Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселения многочисленного общества, гостившего в Дуплянке. Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий Родин револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина и ей закрыт путь дуэлянта-бретера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет.

Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с Пашею (серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому что считала его своею последнею защитой). У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешили и огорчали Лару.

Паша, Липа, Кологривовы, деньги — все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивела Ларе. Она стала сходить с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве девятьсот одиннадцатого года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Кологривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоеванной свободы он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи.

С этой целью она двадцать седьмого декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный Родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит.

Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе стрелковою мишенью.

8

— Не трогайте муфты, — сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться.

Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестов-на продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку. — Я не могу. Я тороплюсь. Где он?

Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке. С адресом в руках Лара сбежала по мрачной, живо ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в Мучной городок к Свентицким.

Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима. Был город. Был вечер.

Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные донышки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воздух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалывает своею косматою щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевен. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем простынях.

В Камергерском Лара остановилась. «Я больше не могу, я не выдержу, — почти вслух вырвалось у ней. — Я подымусь и все расскажу ему», — овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда.

9

Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его вброд.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу.

— Сядь рядом. Садись такой, как ты есть. Не принаряжайся. Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Не трогай муфты. Погоди. Отвернись на минуту.

Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала:

— Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество.

Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок.

— Слушай, Патуля, — сказала Лара. — У меня затруднения. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы как все. Не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать, давай обвенчаемся скорее.

— Но это мое постоянное желание, — перебил он ее. — Скорее назначай день, я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой, не мучай меня загадками.

Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали.

10

Этой зимою Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста.

В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы — его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи.

Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свентиц-ким. Оба прожили шесть лет бок о бок начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем.

Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавшейся на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие.

На гордоновском факультете издавали студенческий гектографированный журнал. Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишею больше других.

Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании. Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились.

Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами.

Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным изо всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной.

И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня (она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой). И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти.

То же самое, с соответствующими изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней.

Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому. Как бы чего-нибудь не случилось в их отсутствие. И он вспомнил. Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонею, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство.

Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах.

Светящиеся изнутри и заиндевелые окна домов походили на Драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы, горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые.

Вдруг Юра подумал, что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом.

Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

«Свеча горела на столе. Свеча горела...» — шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.

11

С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелою плотною занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом.

— Почему вы так поздно? — на бегу спросил их племянник Свентицких Жорж, пробегая через переднюю внутрь квартиры к дяде и тете. Юра и Тоня тоже решили пройти туда поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал.

Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами.

Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой: «Grand rond! Chaone chinoise!»1 — и все делалось по его слову. «Une valse s'il vous plaot!»2 — горланил он таперу и в голове первого тура вел свою даму a trois temps, a deux temps3, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и галдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесятеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава.

Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры.

12

Внутренние комнаты Свентицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора. Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги и были грудами наставлены коробки с котильонными звездами и запасными елочными свечами.

Старики Свентицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетики к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свентицкие

страшно обрадовались Юре и Тоне. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу.

— Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты Параскева-путаница, что ты, Жорж, опять натворил с номерами! Уговор был бонбоньерки с драже на стол, а пустые — на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот-навыворот.

1 «Большой круг! Китайская цепочка!» (фр.)

2 «Вальс, пожалуйста!» (фр.)

3 на три счета, на два счета (фр.).

— Я очень рада, что Анете лучше. Мы с Пьером так за нее беспокоились.

— Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь, а у тебя всегда все devant-derriire1.

Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами.

13

Все то время, что они сидели со Свентицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корна-кову, то, как в воду опущенная, без дела слонялась кругом по залу.

Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», — подумала она. Лара увидела как в зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал.

С Комаровским за одним столом играло еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец щеголя лицеиста, пригласившего Лару на вальс. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, кружась с ним по залу. А высокая брюнетка в черном с шалыми горящими глазами и неприятно по-змеиному напруженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к иг-

1 шиворот-навыворот (фр.). 84

равшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным Лариным чувствованиям, сестра Коки, и Ларины сближения не имели под собой никакой почвы.

— Корнаков, — представился Кока Ларе в самом начале. Но тогда она не разобрала. — Корнаков, — повторил он на последнем скользящем кругу, подведя ее к креслу, и откланялся.

На этот раз Лара расслышала. «Корнаков, Корнаков, — призадумалась она. — Что-то знакомое. Что-то неприятное. Потом она вспомнила. Корнаков — товарищ прокурора московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не уломал. — Так вот оно что! Так, так, так. Любопытно. Корнаков. Корнаков».

14

Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах. После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял.

Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих.

Она была очень разгорячена. В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, крошечный, как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа.

Теперь, танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая за сторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел.

Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнако-вым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга.

— Что она наделала, что она наделала, — в отчаянии повторял Комаровский.

— Боря, ты жив? Боря, ты жив, — истерически выкрикивала госпожа Корнакова. — Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же он, где он? Ах, оставьте, пожалуйста! Для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О мой бедный мученик, обличитель всех этих преступников! Вот она, вот она дрянь, я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну теперь ей не уйти! Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский, опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока, Ко-кочка, ну что ты скажешь! На отца твоего... Да... Но десница Божья... Кока! Кока!

Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистою салфеткой кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе несколько в стороне и позади вели за руки Лару.

Юра обомлел, увидав ее. — Та самая! И опять при каких необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться, Юра и он делают вид, что незнакомы. А она... Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая. Бедная.

Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку.

Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула.

Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал:

— Здесь просили врачебной помощи. Я могу подать ее. Покажите мне вашу руку... Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее.

На Свентицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться, за ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться.

15

Они уже не застали Анны Ивановны в живых, когда с подъезда в Сивцевом сломя голову вбежали в дом. Смерть наступила за десять минут до их приезда. Ее причиной был долгий припадок удушья вследствие острого, вовремя не распознанного отека легких.

Первые часы Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать только кивками, потому что, едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежнею силой и крики сами собой начинали вырываться из нее как из одержимой.

Она часами распластывалась на коленях возле покойницы, в промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала. Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыданье, стремительно взбегала по лесенке к себе наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы бушевавшего в ней отчаяния.

От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения, и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная.

Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном. Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески, и шары на пожарных каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосягаемо высокое ночное небо со звездами, боженькой и святыми.

Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой

переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька — батюшкой и все размещались на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых и город, который подобно лесу темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего.

Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею ро-дословною. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти, всё на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме. Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам.

16

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Что это? Где он? Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. Наверное, у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, что он в библиотеке спит не проснется в дальнем углу, за высокими книжными полками, доходящими до потолка.

«Юра, Юра!» — зовет его где-то рядом дворник Маркел. Начался вынос, Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться Юры, да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гардероба и не дает Маркелу выйти.

— Маркел! Маркел! Юра! — зовут их снизу.

Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице.

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный» — тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху, и все качается: венки и встречные, головы лошадей с султанами, отлетающее кадило на цепочке в руке священника, белая земля под ногами.

— Юра! Боже, наконец-то. Проснись, пожалуйста, — трясет его за плечо доискавшаяся его Шура Шлезингер. — Что с тобой? Выносят. Ты с нами?

— Ну конечно.

17

Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Колыхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги, одноколка с венками, карета Крюгеров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв отсыревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу.

-— Вот и Анни-Иваннина очередь. Приказала кланяться, вынула, бедняжка, далекий билет.

— Да, отпрыгалась, бедная. Поехала, стрекоза, отдыхать.

— У вас извозчик или вы на одиннадцатом номере?

— Застоялись ноги. Чуточку пройдемся и поедем.

— Заметили, как Фуфков расстроен? На новопреставленную смотрел, слезы градом, сморкается, так бы и съел. А рядом муж.

— Он всю жизнь на нее запускал глазенапа.

С такими разговорами тащились на другой конец города на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни, день, самой природой как бы созданный для погребения. Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп, из-за оград смотрели темные, как серебро с чернью, мокрые елки и походили на траур.

Это было то самое, памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую могилу. «Мамочка», — посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет.

Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам, уклончивые извивы которых плохо согласовались со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали Крюгеры. Тоне очень шел траур.

На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый, как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешанным для сушки стираным бельем — рубашки с тяжелыми, набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра вгляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененное новыми постройками.

Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас как никогда ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает.

Юра с вожделением предвкушал, как он на день, на два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь: две-три лучших отличительных черты покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища; стираное белье на том месте, где давно когда-то ночью завывала вьюга и он плакал маленьким.

Часть четвертая

НАЗРЕВШИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ

1

Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны. Вокруг нее шептались Свентицкие, доктор Дроков, прислуга.

Пустой дом Свентицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат, в маленькой гостиной, горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного, в одну линию вытянутого ряда.

По этому пролету не как в гостях, а словно у себя дома, злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Ипполитович. Он то заглядывал в спальню, осведомляясь, что там делается, то направлялся в противоположный конец дома и мимо елки с серебряными бусами доходил до столовой, где стол ломился под нетронутым угощением и зеленые винные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок.

Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразима эта отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь! Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова.

Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени, а то вот ведь она какая, еще что-нибудь выкинет, чего доброго!

А сколько еще хлопот впереди! Ведь за это по головке не погладят. Закон не дремлет. Еще ночь и не прошло двух часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения с околоточным и все улаживал.

А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуются доказательства, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть.

Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует, а если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела.

За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики.

Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свентицких поехал к своей знакомой, юристке и жене политического эмигранта Руфине Они-симовне Войт-Войтковской. Квартира в восемь комнат была теперь выше ее потребностей и ей не по средствам. Она сдавала внаймы две комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка.

2

Руфина Онисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, «положительного и жизнеспособного».

У нее на комоде лежал экземпляр Эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, ее муж, «мой добрый Войт», был снят на народном гулянии в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панамах.

Руфина Онисимовна с первого взгляда невзлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Онисимовне сплошным притворством. Руфина Онисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице.

Руфина Онисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала, вихрем носясь по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты.

Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом,

широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями.

В форточки дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям.

Очень часто ей вспоминался первый вечер их приезда в Москву с Урала, лет семь-восемь тому назад, в незабвенном детстве.

Они ехали в пролетке полутемными переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горбящегося извозчика на стены зданий. Тень росла, росла, достигала неестественных размеров, накрывала мостовую и крыши и обрывалась. И все начиналось сначала.

В темноте над головой трезвонили московские сорок сороков, по земле со звоном разъезжали конки, но кричащие витрины и огни тоже оглушали Лару, как будто и они издавали какой-то свой звук, как колокола и колеса.

На столе в номере ее ошеломил неимоверной величины арбуз, хлеб-соль Комаровского им на новоселье. Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое, круглое диво с ледяной, сахаристой сердцевиной, у Лары захватило дух от страха, но она не посмела отказаться. Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее поперек горла.

И ведь эта робость перед дорогим кушаньем и ночною столицей потом так повторилась в ее робости перед Комаровским — главная разгадка всего происшедшего. Но теперь он был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И постоянно, держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь.

Совсем другое дело было посещение Кологривова. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому чтобы он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту, гость занял собою, своим искрящимся взглядом и своею умною усмешкою полкомнаты. В ней стало теснее.

Он сидел, потирая руки, перед Лариной кроватью. Когда его вызывали в Петербург в Совет министров, он разговаривал с сановными старцами так, словно это были шалуны приготовишки. А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага, что-то вроде его родной дочери, с которою, как со всеми домашними, он перекидывался взглядами и замечаниями только на ходу и мельком (это составляло отличительную прелесть их сжатого, выразительного общения, обе стороны это знали). Он не мог относиться к Ларе тяжело и безразлично, как ко взрослой. Он не знал, как с ней говорить, чтобы не обидеть ее, и сказал, усмехнувшись ей, как ребенку:

—- Что же вы это, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы? — Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. Потом, укоризненно покачав головой, продолжал: — В Дюссельдорфе выставка открывается международная — живописи, скульптуры, садоводства. Собираюсь. Сыровато у вас. И долго это вы намерены болтаться между небом и землею? Здесь ведь не Бог весть какое раздолье. Эта Войтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я ее знаю. Переезжайте. Довольно вам валяться. Поболели, и ладно. Пора подыматься. Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня один художник знакомый. Он уезжает на два года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать ее вместе с обстановкой в хорошие руки. Хотите, устрою? И затем вот что. Позвольте уж я по-деловому.

Я давно хотел, это моя священная обязанность... С тех пор как Липа... Вот тут небольшая сумма, наградные за ее окончание... Нет, позвольте, позвольте... Нет, прошу вас, не упирайтесь... Нет, извините, пожалуйста.

И, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на десять тысяч.

Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Кологривовым. Место было совсем поблизости, у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа, старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору, воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше Лариного окна, когда по каменному сточному желобу двора табунком пробегали крысы.

3

Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека, по Пашиным понятиям, безразличного ей, а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественскою ночью, при горящей свече! Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал.

Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала:

— Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но брось, забудь меня, я тебя не стою.

Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой. Войтковская, — потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, — Войтковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой, не могу, ой, не могу! Вот это можно сказать действительно... Ха-ха-ха! Богатырь! Ха-ха-ха! Еруслан Лазаревич!»

Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать ее с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что наотрез отказывается от него, потому что не любит его, но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить. Паша подозревал ее во всех смертных грехах, не верил ни одному ее слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил ее дьявольски, и ревновал ее к ее собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, надо было действовать решительнее и скорее. Они решили пожениться, не откладывая, еще до окончания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную горку. Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили.

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распоряжалась Людмила Капитоновна Чепурко, мать Туси Че-пурко, Лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитоновна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным приметам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных.

Была ужасная жара в городе, когда Лару «повезли под злат-венец», как цыганским панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желты золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троицыну дню, понуро висла по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб

справляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты, и все молодые люди, по случаю праздника, напомажены и в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко.

Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик, к будущему богатству, а Людмила Капитоновна с тою же целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, креститься не голой, высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и все понапрасну, потому что, сколько она ни старалась, все выходило, что ее свеча выше Пашиной.

Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали: «Горько, не пьется», — а с другого конца согласным ревом ответствовали: «Надо подсластить», — и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся трубчата коса, рассыпайтесь русы волоса».

Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней.

За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, «Степанида» и «Красная девица», как звали его товарищи, побывал на верху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями.

Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему.

4

Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложения в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром.

Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших.

За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малою скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, не доложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности.

Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как

несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям, множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть.

— Я смертельно устала, — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. — А ты все успел, что хотел сделать?

-Да.

— И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?-

— Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор.

На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки.

— Это совершенно лишнее, — громко и невнимательно отозвалась Лара. — И вообще все это ни к чему — переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст без нас уцелеете, не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена.

И, совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку отщепившейся от края острою лучиной.

За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской под-черкнутостью, чем они пьянее.

В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу.

По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованое переступание.

С лестницы позвонили. Лара навострила уши. Из-за стола •пошли отворять. Это была Надя! Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга.

Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье.

Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал:

— Розовый гиацинт. Да, да, розовый, вы что думаете. Камень не ниже алмаза.

Но Надя спорила, что это желтые сапфиры.

Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке

футляра, оно переливалось, горело и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда.

Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили.

Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам вповалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшею Ирой Лагодиной.

Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшею лошадью. Лара открыла глаза и удивилась: «Какой этот Паша, в самом деле, неугомонный, стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит». В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидала, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол.

Ожерелье лежало на месте среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Лари ну упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом ог боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с накраденным и опрометью кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, насилу уяснив себе в чем дело, бросились вдогонку, но грабителя и след простыл.

Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло. Неумолимая к их упрашиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда.

Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственною ей быстротой носилась от портпледа к портпледу, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей.

Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали (вероятно, «ура»), поезд пошел быстрее.

5

Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий.

Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники, против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы

уговориться с ней о том, как она будет извещать его, в случае надобности, и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья.

Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле.

Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов.

Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострявшиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище.

Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых.

В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений.

Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинококк печени. Все с ним спорили. Сегодня ее вскроют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы — запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется.

Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество.

От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения, мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как ни велики успехи знания, есть, мой Друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует.

Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную.

Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости полная ему противоположность.

— На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее болей и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее.

На другой день в ответ на его телефонный звонок подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его минут десять и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения: «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно».

Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. — «Симптомы обманчивы, — сказала ему сестра, — пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки-другие».

На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки.

Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона.

Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера.

Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного.

— Спасена, спасена, — радостно повторял про себя Юрий Андреевич.

— Сынок. Мальчик. С благополучным разрешением от бремени, — нараспев говорила сиделка. — Сейчас нельзя. Придет время — покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу. Намучилась. С первым. С первыми завсегда мука.

— Спасена, спасена, — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем как при чем он тут? Отец, сын — он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня, Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая.

У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери, из коридора в тамбур и дальше, из тамбура в палату, были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур.

Растопырив руки, перед ним как из-под земли вырос мастодонт-гинеколог в белом халате.

— Куда? — задыхающимся шепотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. — Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорош! А еще врач.

— Да разве я... Я только одним глазком. Отсюда. Сквозь щелку.

— А, это другое дело. Так и быть. Но чтобы мне!.. Смотрите! Если заметит, убью, живого места не оставлю!

В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посередине палаты на хирургической койке с подъемною доскою. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который все преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя.

Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой Души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила.

И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней.

На службе все наперерыв поздравляли его. «Как быстро они узнали!» — удивлялся Юрий Андреевич.

Он прошел в ординаторскую, которую называли кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой.

У окна ординаторской стоял обрюзгший прозектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке.

— Поздравляю, — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом.

— Спасибо. Я тронут.

— Не стоит благодарности. Я тут ни при чем. Вскрывал Пичужкин. Но все поражены. Эхинококк. Вот это, говорят, диагност! Только и разговору.

В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал:

— Черт знает что. Проходной двор, а не ординаторская, что за безобразие! Да, Живаго, представьте — эхинококк! Мы были не правы. Поздравляю. И затем — неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху.

6

Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юряти-не. Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте.

Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала не покладая рук и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала.

Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог.

Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег.

Такая лодка, под которою Катенька играла как под выпуклою крышею садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми.

Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу.

По странности как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество.

Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди

них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов.

Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая было страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел все-ми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьею в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница.

С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек, в том, например, что она белой, а он — черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга и этим все осложняли.

У Антиповых были гости, несколько педагогов — товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей.

Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем с естественностью ребенка, взятого в постель к матери.

Но Антипов притворялся, что спит, — он не спал. У него был припадок обычной за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа три-четыре. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу.

Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи.

Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города, противоположной пристани. Дом был последним на улице. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд.

Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожною силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня.

Так дальше не может продолжаться, — думал он. — Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальною миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежнею силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть, и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотою и великодушием? Фу ты, разберись-ка в этом! Тут сам черт ногу сломит.

Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Ка-теньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? «Фу, какая гадость, — возмутился он. — Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях?»

Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью начиная с прошлого года.

Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся.

7

Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. «Бессмыслица. Очередная причуда, — подумала она. — Не обращать внимания, и сам обо всем забудет».

Но выяснилось, что приготовлениям мужа уже две недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда.

Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах.

— Паша, Пашенька, — кричала она, — на кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай! Ничего не поздно. Я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем. Стыдно? А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой пошляком, и вдруг завидно стало! Самому захотелось саблей побряцать, поофицерствовать. Паша, что с тобой, я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли, или ты белены объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?

Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской.

Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу.

Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня», — безуспешно окликала ее Марфутка. «Мама, мамочка», — без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули.

По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и так же неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться.

Стали приходить его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным

прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армий перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах.

Осенью движение армии приостановилось. Войска окапывались. Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки, сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа.

Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице.

Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия.

В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь у Липочки, муж которой, германский подданный Фризенданк, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе.

Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этою целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезо-Лаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

8

На фронт в штаб дивизии пришел поезд-баня, оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым. В классном вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы, с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон. Он узнал, что дивизионный лазарет, в котором, по его сведениям, работал друг его детства Живаго, размещен в близлежащей деревне.

Гордон достал разрешение, необходимое для движения по прифронтовой зоне, и с пропуском в руках поехал навестить приятеля на отправлявшейся в ту сторону фурманке.

Возчик, белорус или литовец, плохо говорил по-русски. Страх шпиономании сводил все слова к одному казенному, наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущий и возница молчали.

В штабе, где привыкли передвигать целые армии и мерили расстояния стоверстными переходами, уверяли, будто деревня где-то рядом, верстах в двадцати или двадцати пяти. На самом деле до нее оказалось больше восьмидесяти.

Всю дорогу в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивало. Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения. Но он правильно рассудил, что угрюмое и за отдаленностью еле различимое брюзжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения. Когда завечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра.

Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других — люди ютились в погребах глубоко под землею. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без

растительности. На их поверхности копошились старухи-погорелки, каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в золе и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнятся на свете и вернутся в жизни покой и порядок.

Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места кружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали без толку. Перед рассветом путник с возницею приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименных деревни, эта и разыскиваемая. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававшей запах аптекарской ромашки и йодоформа, он думал, что не будет заночевывать у Живаго, а, проведя день в его обществе, вечером выедет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели.

9

В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.

О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиул-лина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку.

Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь до ушей разодранный рот «Ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше не вставали.

— Перелеты. Телефонируйте на батарею, — сказал встревоженный Галиуллин стоявшему рядом артиллерийскому офицеру. — Да нет. Они правильно делают, что перенесли огонь поглубже.

В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем. Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова и, как он, подведя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких шестнадцатидюймовых снаряда. Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее.

— Йэ алла! Готово! Кончал базар! — побледневшими губами прошептал Галиуллин, считая прапорщика и солдат погибшими.

Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, все поспешили убраться с него подальше.

Галиуллин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиуллину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова.

Недавний прапорщик из вольноопределяющихся, механик Галиуллин, сын дворника Гимазетдина с тиверзинского двора и в далеком прошлом — слесарский ученик, которого избивал мастер Худолеев, своим возвышением обязан был своему былому истязателю.

Выйдя в прапорщики, Галиуллин неизвестно как и помимо своей воли попал на теплое и укромное место в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй. Кроме того, Галиуллин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье — больше ничего от него не требовалось. Как вдруг вместе с пополнением, состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худолеев.

— А, старые знакомые! — проговорил, хмуро усмехаясь, Галиуллин.

— Так точно, ваше благородие, — ответил Худолеев, стал во фронт и откозырял.

Так просто это не могло кончиться. При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хряснул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и на воду на гауптвахту.

Теперь каждое движение Галиуллина пахло отместкою за старое. А сводить счеты таким способом в условиях палочной субординации было игрой слишком беспроигрышной и неблагородной. Что было делать? Оставаться обоим в одном мог офицер переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его в дисциплинарную? С другой стороны, какие основания мог придумать Галиуллин для просьбы о собственном переводе? Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиуллин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны, а когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщиков в подпоручики.

Галиуллин знал Антипова с тиверзинских времен. В девятьсот пятом году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тивер-зиных, Юсупка ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слыхал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиуллин поражен был происшедшею со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюли-шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив. Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках у Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова и тайна его превращения.

Рано или поздно до Галиуллина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей. Но было горячее время. Ответить по-настоящему он был не в силах. А ему

хотелось подготовить ее к ожидавшему ее удару. Так он все откладывал большое обстоятельное письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте, сестрою. И было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо.

10

—- Ну как? Будут сегодня лошади? —- спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицийскую избу, в которой они стояли.

—- Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед ни назад. Кругом страшная путаница. Никто ничего не понимает. На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших распыленных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли Свен-ту, считавшуюся в этом месте непроходимой. Это кавалерия, численностью до корпуса. Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина. А ты говоришь — лошади. Ну, живее, Карпенко, накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? А, телячьи ножки. Великолепно.

Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела. Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатыми окнами во всю стену, были до последнего сохранны.

Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух, черными роями ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков, и, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем, а ночью садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески.

Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое, от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено. Они открыли в окне две крайних оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла.

По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи. Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и, когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил:

— Это Берта, немецкое шестнадцатидюймовое, в шестьдесят пудов весом штучка, — и потом возобновляя беседу, забывал, о чем был разговор.

— Чем это так все время пахнет в деревне? — спрашивал Гордон. — Я с первого дня заметил. Так слащаво-приторно и противно. Как мышами.

— А, я знаю, о чем ты. Это — конопля. Тут много конопляников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали. Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно. Опять Берта. Ты слышишь?

В течение этих дней они переговорили обо всем на свете. Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнею техникой боя в куски обезображенного мяса.

Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго, и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал всю безнравственность праздного

разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению, в которое ставит тебя жизнь, честно и естественно.

Что от вида раненых можно упасть в обморок, он проверил на себе при поездке в летучий отряд Красного Креста, который работал к западу от них, на полевом перевязочном пункте почти у самых позиций.

Они приехали на опушку большого леса, наполовину срезанного артиллерийским огнем. В поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покореженные орудийные передки. К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества посреди леса.

— Напрасно я взял тебя сюда, — сказал Живаго. — Окопы совсем рядом, верстах в полутора или двух, а наши батареи вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя — не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды.

На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках — остаток сильно поредевшего подразделения. Их вывели из продолжающегося четвертые сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, у них не было сил улыбаться и сквернословить, и никто не повернул головы, когда в глубине леса на дороге загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысях, в безрессорных тачанках, которые подскакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых, особо экстренных случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания.

Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая ее полости снизу рукою, выглянула сестра милосердия. Это была не ее смена. Она была свободна. В лесу за палатками громко бранились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячащийся офицерик кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский парк. Врач ничего не знал, это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых и у него есть дело, а офицерик не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство и всех на свете. К врачу подошел Живаго. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер с чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела.

Вдруг лицо ее исказилось от ужаса.

— Что вы делаете? Вы с ума сошли, — крикнула она двум легко раненным, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку, и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу.

На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, развороти вшего ему лицо, превратившего в кровавую

кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченный испускал короткие, обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшиеся мучения.

Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легко раненные собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу.

— Что вы, разве можно так? Это хирург сделает, особыми инструментами. Если только придется. (Боже, Боже, прибери его, не заставляй меня сомневаться в твоем существовании!)

В следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух.

Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи.

11

В этой полосе чудесным образом сохранились деревни. Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живаго возвращались вечером домой. Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его жалко растопыренных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медяком, казак шлепал его при этом по заду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота. Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки.

Ездовой, которому все это показалось чрезвычайно уморительным, повел лошадей шагом, чтобы дать время господам позабавиться. Но Живаго, подозвав казака, выругал его и велел прекратить глумление.

— Слушаюсь, ваше благородие, — с готовностью ответил тот. — Мы ведь не знамши, только так, для смеха.

Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали.

— Это ужасно, — начал в виду их собственной деревни Юрий Андреевич. — Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое.

Гордон ничего не отвечал ему.

12

И вот опять они лежали по обе стороны длинного узкого окна, была ночь, и они разговаривали.

Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя. Он хорошо рассказывал.

Это было в его первую весну на фронте. Штаб части, к которой он был прикомандирован, стоял в Карпатах, в котловине, вход в которую со стороны Венгерской долины запирала эта войсковая часть.

На дне котловины была железнодорожная станция. Живаго описывал Гордону внешний вид местности, горы, поросшие могучими елями и соснами, с белыми клоками зацепившихся за них облаков и каменными отвесами серого шифера и графита, которые проступали среди лесов, как голые проплешины, вытертые в густой шкуре. Было сырое, серое, как этот шифер, темное апрельское утро, отовсюду спертое высотами и оттого неподвижное и душное. Парило. Пар стоял над котловиной, и все курилось, все струями дыма тянулось вверх — паровозный дым со станции, серая испарина лугов, серые горы, темные леса, темные облака.

В те дни государь объезжал Галицию. Вдруг стало известно, что он посетит часть, расположенную тут, шефом которой он состоял.

Он мог прибыть с минуты на минуту. На перроне выставили почетный караул для его встречи. Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда. Спустя немного подошел царский.

В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплясавшуюся воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывавшегося ура.

Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча выводил его из затруднения.

Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.

— Он должен был произнесть что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ.

— Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами. Записывают «наблюдения», изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания. Это один тип. А есть еще другой. Отрывистая речь, «штрихи и сценки», скептицизм, мизантропия. К примеру, у одного (я сам читал) такие сентенции: «Серый день, как вчера. С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу. По ней бесконечной вереницей тянутся пленные. Везут раненых. Стреляет пушка. Снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, и так каждый день и каждый час...» Ты подумай только, как проницательно и остроумно! Однако почему он обижается на пушку? Какая странная претензия требовать от пушки разнообразия!

Отчего вместо пушки лучше не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему перечислениями, запятыми и фразами, отчего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи? Как он не понимает, что это он, а не пушка, должен быть новым и не повторяться, что из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки.

— Поразительно верно, — прервал его Гордон. — Теперь я тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали. Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно. Но к вопросу о евреях в целом философия приложима, и тогда она оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу тебе ничего нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от твоего дяди.

Что такое народ? — спрашиваешь ты. — Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самою красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает? Ну конечно, конечно. Да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы, и все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия.

Когда оно говорило, в Царстве Божием нет эллина и иудея, только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого Завета. Но оно говорило: втом, сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется Царством Божиим, нет народов, есть личности.

Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство, мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека.

И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм миро-

вой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

13

На другой день, придя к обеду, Живаго сказал:

— Вот тебе не терпится уехать, вот ты и накликал. Не могу сказать «твое счастье», ибо какое же это счастье, что нас опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с запада нас жмут. Приказ всем военно-санитарным учреждениям сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда, — неизвестно. А белье Михаила Григорьевича, Карпенко, конечно, не стирано. Вечная история. Кума, кума, а спроси его толком, какая это кума, так он сам не знает, болван.

Он не слушал, что плел в свое оправдание денщик-санитар, и не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он заносил живаговское белье и уезжает в его рубашке. Живаго продолжал:

— Эх, походное наше житье, цыганское кочевье. Когда сюда въезжали, все было не по мне — и печь не тут, и низкий потолок, и грязь, и духота. А теперь, хоть убей, не могу вспомнить, где мы до этого стояли. И, кажется, век бы тут прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и движущейся по ней тенью придорожного дерева.

Они стали, не торопясь, укладываться.

Ночью их разбудили шум и крики, стрельба и беготня. Деревня была зловеще озарена. Мимо окна мелькали тени. За стеной проснулись и задвигались хозяева.

— Сбегай на улицу, Карпенко, спроси, по какому случаю содом, — сказал Юрий Андреевич.

Скоро все стало известно. Сам Живаго, наскоро одевшись, ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление. Линия обороны передвинулась ближе к деревне и все приближалась. Деревня была под обстрелом. Лазарет и учреждения спешно вывозили, не дожидаясь приказа об эвакуации. Всё предполагали закончить до рассвета.

— Ты поедешь с первым эшелоном, линейка сейчас отходит, но я сказал, чтобы тебя подождали. Ну прощай. Я провожу тебя и посмотрю, как тебя усадят.

Они бежали на другой конец деревни, где снаряжали отряд. Пробегая мимо домов, они нагибались и прятались за их выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков, пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами пламени раскидывались разрывы шрапнели.

— А ты как же? — на бегу спрашивал Гордон.

— Я потом. Надо будет еще вернуться домой, за вещами. Я со второй партией.

Они простились у околицы. Несколько телег и линейка, из которых состоял обоз, двинулись, наезжая друг на друга и постепенно выравниваясь. Юрий Андреевич помахал рукой уезжающему товарищу. Их освещал огонь загоревшегося сарая.

Так же стараясь идти вдоль изб, под прикрытием их углов, Юрий Андреевич быстро направился к себе назад. За два дома до его крыльца его свалила с ног воздушная волна разрыва и ранила шрапнельная пулька. Юрий Андреевич упал посреди дороги, обливаясь кровью, и потерял сознание.

14

Эвакуационный госпиталь был затерян в одном из городков Западного края у железной дороги, по соседству со ставкою. Стояли теплые дни конца февраля. В

офицерской палате для выздоравливающих по просьбе Юрия Андреевича, находившегося тут на излечении, было отворено окно близ его койки.

Приближался час обеда. Больные коротали оставшееся до него время кто чем мог. Им сказали, что в госпиталь поступила новая сестра и сегодня в первый раз будет их обходить. Лежавший против Юрия Андреевича Галиуллин просматривал только что полученные «Речь» и «Русское слово» и возмущался пробелами, оставленными в печати цензурою. Юрий Андреевич читал письма от Тони, доставленные полевою почтой сразу в том количестве, в каком они там накопились. Ветер шевелил страницами писем и листами газеты. Послышались легкие шаги. Юрий Андреевич поднял от письма глаза. В палату вошла Лара.

Юрий Андреевич и подпоручик каждый порознь, не зная этого друг о друге, ее узнали. Она не знала никого из них. Она сказала:

— Здравствуйте. Зачем окно открыто? Вам не холодно? — и подошла к Галиуллину. — На что жалуетесь? — спросила она и взяла его за руку, чтобы сосчитать пульс, но в ту же минуту выпустила ее и села на стул у его койки, озадаченная.

— Какая неожиданность, Лариса Федоровна, — сказал Галиуллин. — Я служил в одном полку с вашим мужем и знал Павла Павловича. У меня для вас собраны его вещи.

— Не может быть, не может быть, — повторяла она. — Какая поразительная случайность. Так вы его знали? Расскажите же скорее, как все было? Ведь он погиб, засыпан землей? Ничего не скрывайте, не бойтесь. Ведь я все знаю.

У Галиуллина не хватило духу подтвердить ее сведения, почерпнутые из слухов. Он решил соврать ей, чтобы ее успокоить.

— Антипов в плену, — сказал он. — Он забрался слишком далеко вперед со своей частью во время наступления и очутился в одиночестве. Его окружили. Он был вынужден сдаться.

Но Лара не поверила Галиуллину. Ошеломляющая внезапность разговора взволновала ее. Она не могла справиться с нахлынувшими слезами и не хотела плакать при посторонних. Она быстро встала и вышла из палаты, чтобы овладеть собою в коридоре.

Через минуту она вернулась внешне спокойная. Она нарочно не глядела в угол на Галиуллина, чтобы снова не расплакаться. Подойдя прямо к койке Юрия Андреевича, она сказала рассеянно и заученно:

— Здравствуйте. На что жалуетесь?

Юрий Андреевич наблюдал ее волнение и слезы, хотел спросить ее, что с ней, хотел рассказать ей, как дважды в жизни видел ее, гимназистом и студентом, но он подумал, что это выйдет фамильярно и она поймет его неправильно. Потом он вдруг вспомнил мертвую Анну Ивановну в гробу и Тонины крики тогда в Сивцевом, и сдержался, и вместо всего этого сказал:

— Благодарю вас. Я сам врач и лечу себя собственными силами. Я ни в чем не нуждаюсь.

«За что он на меня обиделся?» — подумала Лара и удивленно посмотрела на этого курносого, ничем не замечательного незнакомца.

Несколько дней была переменная, неустойчивая погода, теплый, заговаривающийся ветер ночами, которые пахли мокрой землею.

И все эти дни поступали странные сведения из ставки, приходили тревожные слухи из дому, изнутри страны. Прерывалась телеграфная связь с Петербургом. Всюду, на всех углах заводили политические разговоры.

В каждое дежурство сестра Антипова производила два обхода, утром и вечером, и перекидывалась ничего не значащими замечаниями с больными из других палат, с Галиуллиным, с Юрием Андреевичем. — Странный, любопытный человек, — думала она. — Молодой и нелюбезный. Курносый и нельзя сказать, чтобы очень красивый. Но умный в лучшем смысле слова, с живым, подкупающим умом. Но дело не в этом. А дело в том, что надо поскорее заканчивать свои обязанности здесь и переводиться в Москву, поближе к Катеньке. А в Москве надо подавать на увольнение из сестер милосердия и возвращаться к себе в Юрятин на службу в гимназии. Ведь про бедного Патулечку все ясно, никакой надежды, тогда больше не к чему и оставаться в полевых героинях, ради его розысков только и было это нагорожено.

Что теперь там с Катенькой? Бедная сиротка (тут она принималась плакать). Замечаются очень резкие перемены в последнее время. Недавно были святы долг перед родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства. Но война проиграна, это — главное бедствие, и от этого все остальное, все развенчано, ничто не свято.

Вдруг все переменилось, тон, воздух, неизвестно как думать и кого слушаться. Словно водили всю жизнь за руку, как маленькую, и вдруг выпустили, учись ходить сама. И никого кругом, ни близких, ни авторитетов. Тогда хочется довериться самому главному, силе жизни или красоте или правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие установления управляли тобой, полно и без сожаления, полнее, чем бывало в мирной привычной жизни, закатившейся и упраздненной. Но в ее случае, — вовремя спохватывалась Лара, — такой целью и безусловностью будет Катенька. Теперь, без Патулечки, Лара только мать и отдаст все силы Катеньке, бедной сиротке.

Юрию Андреевичу писали, что Гордон и Дудоров без его разрешения выпустили его книжку, что ее хвалят и пророчат ему большую литературную будущность, и что в Москве сейчас очень интересно и тревожно, нарастает глухое раздражение низов, мы накануне чего-то важного, близятся серьезные политические события.

Выла поздняя ночь. Юрия Андреевича одолевала страшная сонливость. Он дремал с перерывами и воображал, что, наволновавшись за день, он не может уснуть, что он не спит. За окном позевывал и ворочался сонный, сонно дышащий ветер. Ветер плакал и лепетал: «Тоня, Шурочка, как я по вас соскучился, как мне хочется домой, за работу!» И под бормотание ветра Юрий Андреевич спал, просыпался и засыпал в быстрой смене счастья и страданья, стремительной и тревожной, как эта переменная погода, как эта неустойчивая ночь.

Лара подумала: «Он проявил столько заботливости, сохранив эту память, эти бедные Патулечкины вещи, а я, такая свинья, даже не спросила, кто он и откуда».

В следующий же утренний обход, восполняя упущенное и заглаживая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этом Галиуллина и заохала и заахала.

«Господи, святая Твоя воля! Брестская, двадцать восемь, Тиверзины, революционная зима тысяча девятьсот пятого года! Юсупка? Нет, Юсупки не знала или не помню, простите. Но год-то, год-то и двор! Ведь это правда, ведь действительно были такой двор и такой год! О, как живо она вдруг все это опять ощутила! И стрельбу тогда, и (как это, дай Бог памяти) "Христово мнение"! О, с какою силою, как проницательно чувствуют в детстве, впервые! Простите, простите, как вас, подпоручик? Да, да, вы мне раз уже сказали. Спасибо, о, какое спасибо вам, Осип Гимазетдинович, какие воспоминания, какие мысли вы во мне пробудили!»

Весь день она ходила с «тем двором» в душе и все охала и почти вслух размышляла.

Подумать только, Брестская, двадцать восемь! И вот опять стрельба, но во сколько раз страшней! Это тебе не «мальчики стреляют». А мальчики выросли и все — тут, в

солдатах, весь простой народ с тех дворов и из таких же деревень. Поразительно! Поразительно!

В помещение, стуча палками и костылями, вошли, вбежали и приковыляли инвалиды и не носилочные больные из соседних палат, и наперебой закричали:

— События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.

Часть пятая

ПРОЩАНЬЕ СО СТАРЫМ

1

Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. Тучей саранчи висела над его крышами черная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать, продолжается ли она или уже кончилась.

Каждый день без конца, как грибы, вырастали новые должности. И на все их выбирали. Его самого, поручика Галиуллина, и сестру Антипову, и еще несколько человек из их компании, наперечет жителей больших городов, людей сведущих и видавших виды.

Они замещали посты в городском самоуправлении, служили комиссарами на мелких местах в армии и по санитарной части и относились к чередованию этих занятий, как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки. Но все чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям.

Работа часто и живо сталкивала Живаго с Антиповой.

2

В дожди черная пыль в городе превращалась в темно-коричневую слякоть кофейного цвета, покрывавшую его улицы, в большинстве немощеные.

Городок был невелик. С любого места в нем тут же за поворотом открывалась хмурая степь, темное небо, просторы войны, просторы революции.

Юрий Андреевич писал жене:

«Развал и анархия в армии продолжаются. Предпринимают меры к поднятию у солдат дисциплины и боевого духа. Объезжал расположенные поблизости части.

Наконец вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы написать тебе гораздо раньше — работаю я тут рука об руку с некоей Антиповой, сестрой милосердия из Москвы, уроженкой Урала.

Помнишь, на елке в страшную ночь кончины твоей мамы девушка стреляла в прокурора? Ее, кажется, потом судили. Помнится, я тогда же сказал тебе, что эту курсистку, когда она еще была гимназисткою, мы с Мишей видели в одних дрянных номерах, куда ездили с твоим папой, не помню с какой целью, ночью в трескучий мороз, как мне теперь кажется, во время вооруженного восстания на Пресне. Это и есть Антипова.

Несколько раз порывался домой. Но это не так просто. Задерживают главным образом не дела, которые мы без ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются в самой поездке. Поезда то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности.

Однако, разумеется, так не может продолжаться до бесконечности, и потому несколько человек вылечившихся, ушедших со службы и освобожденных, в том числе я, Галиуллин и Антипова, решили во что бы то ни стало разъезжаться с будущей недели, а для удобства посадки отправляться в разные дни поодиночке.

В любой день могу нагрянуть как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму».

Но еще до отъезда Юрий Андреевич успел получить ответное письмо Антонины Александровны.

В этом письме, в котором рыдания нарушали построения периодов, а точками служили следы слез и кляксы, Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств, с которыми не сравняться ее, Тониному, скромному жизненному пути.

«О Сашеньке и его будущем не беспокойся, — писала она. — Тебе не придется за него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребенком видел в нашем доме».

«Ты с ума сошла, Тоня, — бросился отвечать Юрий Андреевич, — какие подозрения! Разве ты не знаешь, или знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому спасали меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны, страшных и уничтожающих? Впрочем, к чему слова. Скоро мы увидимся, начнется прежняя жизнь, все объяснится.

Но то, что ты мне могла ответить так, пугает меня совсем по-другому. Если я подал повод для такого ответа, может быть, я веду себя действительно двусмысленно, и тогда виноват также перед этой женщиной, которую ввожу в заблуждение и перед которой должен буду извиниться. Я это сделаю, как только она вернется из объезда нескольких близлежащих деревень. Земство, прежде существовавшее только в губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в волостях. Антипова уехала помогать своей знакомой, которая работает инструкторшей как раз по этим законодательным нововведениям.

Замечательно, что, живя с Антиповой в одном доме, я до сих пор не знаю, где ее комната, и никогда этим не интересовался».

3

Из Мел юзеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбуши-но, административно подчиненное Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшее. Другая, насыпная из щебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Бирючам, узловой станции двух, скрещивавшихся невдалеке от Мелюзеева, железных дорог.

В июне в Зыбушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашенная зыбушинским мукомолом Блажейко.

Республика опиралась на дезертиров из двести двенадцатого пехотного полка, с оружием в руках покинувших позиции и через Бирючи пришедших в Зыбушино к моменту переворота.

Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат.

Зыбушино всегда было источником легенд и преувеличений. Оно стояло в дремучих лесах, упоминалось в документах Смутного времени, и его окрестности кишели разбойниками в более позднюю пору. Притчей во языцех были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. Некоторые поверья, обычаи и особенности говора, отличавшие эту, западную, часть прифронтовой полосы, шли именно из Зыбу-шина.

Теперь такие же небылицы рассказывали про главного помощника Блажейко. Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий.

В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная Временному правительству часть. Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к Бирючам.

Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на которых торчали заросшие земляникою пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых невывезенных дров и разрушались землянки работавших тут когда-то сезонников-лесорубов. Здесь и засели дезертиры.

4

Госпиталь, в котором лежал, а потом служил, и который собирался теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабринской, с начала войны пожертвованном владелицей в пользу раненых.

Двухэтажный особняк занимал одно из лучших мест в Ме-люзееве. Он стоял на скрещении главной улицы с центральной площадью города, так называемым плацем, на котором раньше производили учение солдат, а теперь вечерами происходили митинги.

Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало из особняка хорошие виды. Кроме главной улицы и площади, из него был виден двор соседей, к которому он примыкал, — бедное провинциальное хозяйство, ничем не отличавшееся от деревенского. Открывался также из него старый графинин сад, куда дом выходил заднею стеной.

Особняк никогда не представлял для Жабринской самостоятельной ценности. Ей принадлежало в уезде большое имение «Раздольное», и дом в городе служил только опорным пунктом для деловых наездов в город, а также сборным местом для гостей, съезжавшихся летом со всех сторон в имение.

Теперь в доме был госпиталь, а владелица была арестована в Петербурге, месте своего постоянного жительства.

Из прежней челяди в особняке оставались две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини, Устинья.

Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, шаркая туфлями, в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то с семейством Жабринских, и ломаным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончанья русских слов на французский лад. Она становилась в позу, раз- -махивала руками и к концу болтовни разражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем.

Мадемуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанью, глубоко коренящейся в романской природе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе, многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась.

Еще более любопытную натуру представляла собою Устинья. Это была женщина с нескладно суживавшеюся кверху фигурою, которая придавала ей сходство с наседкой. Устинья была суха и трезва до ехидства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий.

Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом зыбушинская. Говорили, будто она дочь сельского колдуна.

Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока ее не прорывало. Тут уж нельзя было ее остановить. Ее страстью было вступаться за правду.

После падения Зыбушинской республики мелюзеевский исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которые незанятые мелюзеевцы стекались, как в былое время летом на посиделки под открытым небом у ворот пожарной части. Мелюзеевский культпросвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед. Те считали наиболее вопиющей нелепостью в россказнях о Зыбушине говорящего глухонемого, и особенно часто сводили на него речь в своих разоблачениях. Но мелкие мелюзеевские ремесленники, солдатки и бывшая барская прислуга были другого мнения. Говорящий глухонемой не казался им верхом бессмыслицы. За него вступались.

Среди разрозненных возгласов, раздававшихся из толпы в его защиту, часто слышался голос Устиньи. Сначала она не решалась вылезать наружу, бабий стыд удерживал ее. Но постепенно, набираясь храбрости, она начала все смелее наскакивать на ораторов с неугодными в Мелюзееве мнениями. Так незаметно стала она заправской говоруньей с трибуны.

Из особняка в открытые окна было слышно слитное гудение голосов на площади, а в особенно тихие вечера и обрывки отдельных выступлений. Часто, когда говорила Устинья, в комнату вбегала мадемуазель, уговаривала присутствующих прислушаться и, коверкая слова, добродушно передразнивала:

— Распу! Распу! Сарскбрийан! Зыбуш! Глюконемой! Измен! Измен!

Втайне мадемуазель гордилась этой острой на язык бой-бабой. Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали.

5

Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду, обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься, и выправлял необходимые бумаги.

В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, будто он еще совершенный мальчик.

То были дни подготовки нового большого наступления. Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная.

Перед отъездом доктору надо было отметиться у коменданта, должность которого в Мелюзееве исполнял воинский начальник, «уездный», как его звали для краткости.

Обычно у него бывала страшная толчея. Столпотворение не умещалось в сенях и на дворе и занимало пол-улицы перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал.

В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные все усложняющимся делопроизводством, молча писали, иронически переглядываясь. Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным.

Оттуда на общую половину вышел Галиуллин, увидал Живаго и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление.

Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке.

Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения находился тут, в кабинете, никакого отношения не имеющем к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным, находился перед администраторами военно-бумажного царства, стоял перед ними и ораторствовал.

— А вот еще одна наша звезда, — сказал уездный, представляя доктора комиссару, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собою, а уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую доктором бумагу, вновь ее принял и любезным движением руки показал Живаго на стоявший посередине комнаты низкий мягкий пуф.

Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорин-ски полулежал возле письменного стола, его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову, а молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая. Речь шла о бирючевских дезертирах.

Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще не оперившийся юноша, который, как свечечка, горел самыми высшими идеалами. Говорили, будто он из хорошей семьи, чуть ли не сын сенатора, и в феврале один из первых повел свою роту в Государственную думу. Фамилия его была Гинце или Гинц, доктору его назвали неясно, когда их знакомили. У комиссара был правильный петербургский выговор, отчетливый-преотчетливый, чуть-чуть остзейский.

Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод, и, чтобы казаться старше, он брюзгливо кривил лицо и напускал на себя деланную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифе и подымал углами плечи в новых негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так что от плеч к ногам ее можно было вычертить с помощью двух книзу сходящихся линий.

— На железной дороге в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк. Красный, преданный. Их вызовут, бунтовщиков окружат, и дело с концом. Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении, — осведомлял уездный комиссара.

— Казаки? Ни в коем случае! — вспыхивал комиссар. — Какой-то девятьсот пятый год, дореволюционная реминисценция! Тут мы на разных полюсах с вами, тут ваши генералы перемудрили.

— Ничего еще не сделано. Все еще только в плане, в предположении.

— Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативные распоряжения. Я казаков не отменяю.

Допустим. Но я со своей стороны предприму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак?

— Как сказать. Во всяком случае, лагерь. Укрепленный.

— Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу, этих лесных разбойников. Пусть бунтовщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ ребенок, надо его знать, надо знать его психику, тут требуется особый подход. Надо уметь задеть за его лучшие, чувствительнейшие струны так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубки и по душам с ними потолкую. Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите пари? Вы не верите?

— Сомнительно. Но дай Бог!

— Я скажу им: «Братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел, пожертвовал именем, положением, любовью родителей, чтобы завоевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уж о старой гвардии

славных предшественников, о каторжанах-народниках и народовольцах-шлиссельбуржцах. Для себя ли мы старались? Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а воины первой в мире революционной армии. Спросите себя честно, оправдали ли вы это высокое звание? В то время как родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить с себя гидрою обвившегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайке безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым, что ни дай, им все мало, вот уж подлинно, пусти свинью за стол, а она и ноги на стол», — о, я пройму, я пристыжу их!

— Нет, нет, это рискованно, — пробовал возразить уездный, украдкой многозначительно переглядываясь с помощником.

Галиуллин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорвиголов из двести двенадцатого по дивизии, куда полк входил и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал.

Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныр. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили. И все это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись.

О, как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения!

Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение с Антиповой, как бы то ни было, неприятное. Он был рад необходимости ее увидеть, пусть и такой ценой. Но едва ли она уже приехала. Воспользовавшись первою удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета.

6

Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталою, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить.

— Впрочем, постучитесь к ней, — посоветовала мадемуазель. — Она, наверное, еще не спит.

— А как к ней пройти? — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель.

Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской и куда доктор никогда не заглядывал.

Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам, под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор, струями грязной испарины стекали по стволам деревьев.

На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца.

Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него.

Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начинались

огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и гремели цепью, набирая ее из колодца.

Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыль-ное благоуханье старой зацветающей липы.

Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни.

За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка.

А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.

— Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться, — шепотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели.

Всё кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге.

7

Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом.

У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени.

Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части, без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам.

С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие, покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши, или затонувшие корзины, которыми ловят раков.

В домишках подслеповато поблескивали стекла в рамах растворенных окошек. Внутрь комнат из палисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими, словно маслом смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные, худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом.

Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дар ясновиденья, и вдруг в тишину этой светлой, мерцающей сказки стали падать мерные, рубленые звуки чьего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив,

горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади.

Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованное™, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для родины часе испытаний. С середины речи его начали перебивать.

Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданке из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать.

К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья.

— Вот вы говорите, Зыбушино, товарищ комиссар, и потом насчет глаз, глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман, а между прочим, сами, я вас послушала, только знаете большевиками-меньшевиками шпыняться, большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и всё как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость. А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать. Дался он вам, право! И чем это он вам не угодил? Что ходил-ходил немой, да вдруг, не спросясь, и заговорил? Подумаешь, невидаль. То ли еще бывает! Ослица эта, например, известная. «Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь». Ну, известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того как вы: «Глухонемой». Думает, что ее слушать — ослица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся. Небось сами знаете, чем кончилось.

— Чем? — полюбопытствовали из публики.

— Ладно, — огрызнулась Устинья. — Много будешь знать, скоро состаришься.

— Нет, так не годится. Ты скажи чем, — не унимался тот же голос.

— Чем да чем, репей неотвязчивый! В соляной столб обратился.

— Шалишь, кума! Это Лот. Лотова жена, — раздались выкрики.

Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать.

8

На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катаного белья. Она гладила.

Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанья, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойке. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания.

Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись.

— Что же вы вчера не постучались? Мне мадемуазель рассказывала. Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас впустить. Ну, здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь. Тут уголь просыпан.

— Видно, вы на весь госпиталь белье гладите?

— Нет, тут много моего. Вот вы всё меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь. Уложусь — и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича: «Вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали?» — «Что-то не помню». —- «А кто такая Антипова?» — «Понятия не имею».

— Ну, это положим. Как вам по волостям ездилось? Хорошо в деревне?

— Так в двух словах не расскажешь. Как быстро утюги стынут! Новый мне, пожалуйста, если вам нетрудно. Вон в вытяжной трубе торчит. А этот назад, в вытяжку. Так. Спасибо. Разные деревни. Все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее. Там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение. На те страшно смотреть.

— Глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого, мужчины все забраны в солдаты. Ну хорошо. А земство как новое, революционное?

— Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство? С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в Раздольное. Вот красота! Вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А в Зыбушино не попала, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка. Описывают наружность. Говорят — молодой, образованный.

— Вчера за него на плацу Устинья распиналась.

— Только приехала, из Раздольного опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего! А сегодня утром сторожа из комендантского с запиской от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер, с возвратом. Знаем мы этот возврат. Половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка. Какой-то приезжий.

— А, догадываюсь. Приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, оцепить и разоружить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец. Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ, говорит, это ребенок и так далее и думает, что все это детские игрушки. Галиуллин упрашивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам, но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится. Слушайте. На минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши!

— Ничего не будет. Вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так: шик-брык — и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла. А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелице. Какая гадость!

— Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор, пропади они пропадом. Есть из-за чего расстраиваться! Да, да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был! Я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил! Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Черт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то «подкладку»? Брр! Черт бы драл все эти материи и подкладки!

Вы гладьте, гладьте, пожалуйста, то есть белье гладьте, и не обращайте на меня вниманья, а я буду говорить. Я буду говорить долго.

Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению.

И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством.

Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю.

Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о Даре истолкования».

— Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало.

— Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни, точно существование можно на время отсрочить (какая бессмыслица!). Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился, у всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах, жизни гениализированной, жизни, творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике.

Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глаженье, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову он понес Бог знает что. Он сказал:

— В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью общего одушевления! И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было, чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж (самое лучшее, если бы это был военный) взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся, и... Ах, я забылся! Простите, пожалуйста.

Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он стал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотясь о подоконник, и устремил в глубь покрытого темнотою сада рассеянный, ищущий умиротворения, невидящий взгляд.

Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора позади него, в середине комнаты.

— Ах, как я всегда этого боялась! — тихо, как бы про себя сказала она. — Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо. Ах, смотрите, что я из-за вас наделала! — громко воскликнула она и подбежала к доске, где подзабытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. — Юрий

Андреевич, — продолжала она, с сердитым стуком опуская утюг на конфорку. — Юрий Андреевич, будьте умницей, выйдите на минуту к мадемуазель, выпейте воды, голубчик, и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич? Я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас.

Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала.

9

Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря.

Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками.

Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями.

Ночью мадемуазель Флери разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался.

Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть, подумала она, и за всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга?

Ну хорошо, Жабринские были богачи, аристократы. Но госпиталь, это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары? Все разбежались, ни начальства, ни сестер, ни докторов. А в доме есть еще раненые, два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачешной. И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит, дура, что гроза собирается, нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих.

Ну, слава Богу, перестали, угомонились. Видят — не отпирают, и ушли, махнули рукой. Тоже носит черт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно, опять стучат!

Но ведь все-таки какое свинство! Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиуллин! Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук, в расчете, что в конце концов подымется она, слабая и беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране.

«Галиуллин! — вдруг спохватилась она. — Какой Галиуллин?» Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только спросонья! Какой Галиуллин, когда его и след простыл? И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиуллиным гнались из Бирючей до самого Мелюзеева, стреляя вдогонку, и шарили по всему городу. Галиуллин!

Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев.

Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая.

Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь.

— Сейчас! — неизвестно кому крикнула мадемуазель и сама испугалась своего голоса.

Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения.

— Живаго, Живаго ! Стучат в наружную дверь, я боюсь отпереть одна, — кричала она по-французски и по-русски прибавила: — Вы увийт, это Лар или поручик Гайуль.

Юрия Андреевича тоже разбудил этот стук, и он подумал, что это непременно кто-то свой, либо остановленный какимто препятствием Галиуллин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенная какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова.

В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя.

— Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь? — кричали наперерыв во тьму мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал.

Вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода или, как им стало теперь казаться, в окно из сада.

— По-видимому, это ветер, — сказал доктор. — Но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь, а я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина.

Мадемуазель удалилась в глубь дома, а доктор вышел наружу под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета.

Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь охлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черною.

— Ну как? — спросил доктор вернувшуюся мадемуазель.

— Вы прав. Никого. — И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан.

— А тут ставня оторвалась и бьется о наличник. Видите? Вот и все объяснение.

Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать, оба сожалея, что тревога оказалась ложной.

Они были уверены, что отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться У вчерашнего не остывшего жара в печи на кухне и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться.

Они были так уверены в этом, что, когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице, в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им мерещиться,за поворотом.

10

Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко.

Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольненской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя ее питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски.

В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети.

Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках в аппаратной вокзала.

Там у него работы было по горло: железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной.

Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков.

Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиуллина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям.

Галиуллин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубки, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиуллину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов идущему к Бирючам поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков.

Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствия.

Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями на большом подносе. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно.

Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «У, дрянь вонючая, древесный клоп!» — с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять: «А что делать? Сам попробуй. Его сила». «Все равно, дрянь и гадина», — мимически ответил Коля.

Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканьем подков по камню перрона. Взвивающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей.

Они кончались двумя рядами вагонного брака, на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились.

На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки.

Непокорных из двести двенадцатого окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули шашки.

Внутри конной цепи на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным.

Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его остзейский выговор.

Гинц чувствовал, что говорит длинно, и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. Если они этого не сделают, говорил Гинц, то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы. От такого тона эти люди отвыкли.

Поднялся рев нескольких сот голосов. «Поговорил. Будет. Ладно», — кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались. Эти кричали:

— Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники? А сам ты из каковских, ваше благородие? Да что с ним хороводиться. Не видишь, что ли, немец, подосланный. Эй ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чего рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!

Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Всё хамы да свиньи. Экой барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу двести двенадцатому. Все перемешалось. Началось братание.

«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, — говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. — У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе. Уходите скорее».

Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо.

До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и прибавил шагу.

Тоже самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц пустился бежать. Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их.

Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Пова-рихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его.

Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. «Надо крикнуть им: "Братцы, опомнитесь, какой я шпион?" — подумал он. — Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило».

В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное.

У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная кадка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за Душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения, в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья.

Но Гинц стал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту кадки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре.

Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого.

11

Мадемуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями.

Отвечая мадемуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное.

— Псков, комосев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель? Вранье, хиромантия. Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков, комосев, Псков. Тридцать шесть запятая ноль ноль пятнадцать. Ах, чтоб вас собаки съели, обрыв ленты. А? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком, нельзя, не могу. Обратитесь к Поварихину. Вранье, хиромантия. Тридцать шесть... а, черт... отстаньте, не мешайте, мамзель.

А мадемуазель говорила:

— Ты мне не пускай пыль в глаз, кироман, Псков, Псков, кироман, я тебя насквозь буду водить на чистую воду, ты будешь завтра сажать доктора в вагон, и больше я не разговариваю со всяких убийц и маленький Иуда-предатель.

12

Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня.

Глиняные мазанки и гуси в заплеванной подсолнухами привокзальной слободе испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба.

К зданию станции прилегала широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и всю ее покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных, нужных каждому, направлениях.

В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце переходившие от кучки к кучке за слухами и сведениями. Молчаливые подростки лет четырнадцати лежали, облокотившись, на боку, с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми.

— Как бараны кинулись врассыпную, когда пальба началась. Не понравилось! — неприязненно говорил начальник станции Поварихин, ломаными обходами пробираясь

с доктором через ряды тел, лежавшие вповалку снаружи перед дверьми и внутри на полу вокзала.

— Вдруг газон опростался! Опять увидали, какая земля бывает. Обрадовались! Четыре месяца ведь не видали под этим табором, — забыли. — Воттут он лежал. Удивительное дело, навидался я за войну всяких ужасов, пора бы привыкнуть. А тут такая жалость взяла! Главное — бессмыслица. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи. А теперь направо, так, так, пожалуйте сюда, в мой кабинет. На этот поезд и не думайте, затолкают насмерть. Я вас на другой устрою, местного сообщения. Мы его сами составляем, сейчас начнем формировать. Только вы до посадки молчок, никому! А то на части разнесут до сцепки, если проговоритесь. Ночью в Сухиничах вам будет пересадка.

13

Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, всё что было народу на лужайке толпой бросились наперерез к медленно пятящемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг и еще в движении наполнился до отказа и, когда его подали к перрону, был набит битком и сверху донизу увешан едущими.

Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона.

В коридоре он и остался в продолжение всей дороги, и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах.

Грозовые тучи давно разошлись. По полям, залитым жгучими лучами солнца, перекатывалось из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда стрекотание кузнечиков.

Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавки и на перегородки падали длинные, вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали вприпрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда.

Кругом галдели, горланили песни, ругались и резались в карты. На остановках к содому, стоявшему внутри, присоединялся снаружи шум осаждавшей поезд толпы. Гул голосов достигал оглушительности морской бури. И как на море, в середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спор у багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном палисаднике.

Тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, вплывало в окно знакомое, точно к Юрию Андреевичу адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты, для цветов в полях и на клумбах необычной.

Доктор не мог подойти к окну вследствие давки. Но он и не глядя видел в воображении эти деревья. Они росли, наверно, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы.

Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде заставали на месте распространившимся и подтвержденным.

14

Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны в вагон второго класса какого-то только что подошедшего и расписанием не предусмотренного поезда.

Едва носильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, вскинул на площадку докторские вещи, как должен был выдержать короткий бой с проводником, который мгновенно стал их высаживать, но, будучи умилостивлен Юрием Андреевичем, стушевался и провалился как сквозь землю.

Таинственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной. В вагоне было совсем свободно.

Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшею свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна.

Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении Живаго он вежливо приподнялся и переменил свою полулежачую позу на более приличную сидячую.

У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки. Вдруг кончик ветошки зашевелился, и из-под дивана с хлопотливою вознею вылезла вислоухая лягавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же гибко, как закидывал ногу на ногу ее долговязый хозяин. Скоро по его требованию она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотерной суконки.

Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронташ и туго набитую настрелянной птицей охотничью сумку, висевшие на крюках в купе.

Молодой человек был охотник.

Он отличался чрезвычайной разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле все время смотрел доктору в рот.

У молодого человека оказался неприятный высокий голос, на повышениях впадавший в металлический фальцет. Другая странность: по всему русский, он одну гласную, а именно «у», произносил мудренейшим образом. Он ее смягчал наподобие французского «и» или немецкого «и Umlaut». Мало того, это испорченное «у» стоило ему больших трудов, он со страшной натугой, несколько взвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой:

«Еще только вчера ьtrom я охотился на ьtok».

Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту неправильность, но стоило ему забыться, как она вновь проскальзывала.

«Что за чертовщина? — подумал Живаго, — что-то читаное, знакомое. Я, как врач, должен был бы это знать, да вот вылетело из головы. Какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх и лягу».

Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать Юрию Андреевичу. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно.

Оконная рама в купе была наполовину спущена.

— Не закрыть ли нам окно? — спросил Юрий Андреевич. — Вы воров не боитесь?

Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторил вопрос, но тот опять не отозвался.

Тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом, не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее.

Но нет, тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору.

Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при ее свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить.

— Поступайте, как знаете, — без замедления ответил охотник. — У меня нечего красть. Впрочем, лучше было бы не закрывать. Душно.

«Вот так фунт! — подумал Живаго. — Чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении. И как он чисто все сейчас произнес, без своих неправильностей! Уму непостижимо!»

15

Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснет, чуть растянется на удобном месте. Но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете.

Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, было два круга, два неотвязных клубка, которые то скатывались, то разматывались.

Один круг составляли мысли о Тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было овеяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотою. Доктор тревожился за эту жизнь, и желал ей целости и сохранности и, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно после более чем двухлетней разлуки.

Верность революции и восхищение ею были тоже в этом круге. Это была революция в том смысле, в каком принимали ее средние классы, и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь девятьсот пятого года, поклонявшаяся Блоку.

В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной, между двенадцатым и четырнадцатым годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной, живаговской.

После войны хотелось обратно к этим веяниям, для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки назад домой.

Новое было также предметом мыслей второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое! Это было не свое, привычное, старым подготовленное новое, а непроизвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение.

Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и одичание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под девятьсот пятый год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, большевиками.

Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная Бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не

любить ее, так же как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких.

Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных, бушевала толпа и шелестели липы.

Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев.

В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени и что они шепчут друг другу, еле ворочая сонными отяжелевшими листьями, как заплетающимися шепелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке, Юрий Андреевич, весть об охваченной все ширящимися волнениями России, весть о революции, весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии.

16

На другой день доктор проснулся поздно. Был двенадцатый час. «Маркиз, Маркиз!» — вполголоса сдерживал сосед свою разворчавшуюся собаку. К удивлению Юрия Андреевича, он с охотником оставались одни в купе, никто не подсел дорогой.

Названия станций попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врезался в глубь Московской.

Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся.

Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез.

Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями. Незнакомец был удивительно непоследователен. Он то вдавался в признания, на которые никто не толкал его, то, и ухом не ведя, оставлял без ответа самые невинные вопросы.

Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, привирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного.

Все это напоминало что-то давно знакомое. В духе такого радикализма говорили нигилисты прошлого века и немного спустя некоторые герои Достоевского, а потом совсем еще недавно их прямые продолжения, то есть вся образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц благодаря сохранившейся в глуши основательности, в столицах устаревшей и вышедшей из моды.

Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера, родители же его, напротив, неисправимые ретрограды, зубры, как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их от многих неприятностей.

Сам он по своим убеждениям в дядю, сообщил словоохотливый субъект, — экстремист-максималист во всем: в вопросах жизни, политики и искусства. Опять запахло Петенькой Вер-ховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства. «Сейчас он футуристом отрекомендуется», — подумал Юрий Андреевич, и действительно, речь зашла о футуристах. «А сейчас о спорте заговорит,

— продолжал загадывать вперед доктор, — о рысаках, или скетинг-ринках, или о французской борьбе». И правда, разговор перешел на охоту.

Молодой человек сказал, что в родных местах он и охотился, и похвастал, что он великолепный стрелок, и если бы не его физический порок, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделился меткостью.

Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул:

— Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моем недостатке.

И он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визитная. У него была двойная фамилия. Его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших, или просто Погоревших, как он просил звать его в честь его так именно называвшего себя дяди.

На другой карточке была разграфленная на клетки таблица с изображением разнообразно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось.

Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым, с невероятным совершенством выучившимся говорить не по слуху, а на глаз, по движению горловых мышц учителя, и таким же образом понимавшим речь собеседника.

Тогда, сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил:

— Простите за нескромность, но вы можете не отвечать, — скажите, вы не имели отношения к Зыбушинской республике и ее созданию?

— А откуда... Позвольте... Так вы знали Блажейко?.. Имел, имел! Конечно, имел, — радостно затараторил Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя себя по коленям. И опять пошла фантасмагория.

Погоревших сказал, что Блажейко был для него поводом, а Зыбушино безразличной точкой приложения его собственных идей. Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением. Философия Погоревших наполовину состояла из положений анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья.

Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне соглашался, что, может быть, они неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот неприятный мальчишка.

— Постойте, постойте, — несмело возражал он. — Все это так, может статься. Но, по-моему, не время таким рискованным экспериментам среди нашего хаоса и развала, перед лицом напирающего врага. Надо дать стране прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отваживаться на другой. Надо дождаться какого-нибудь, хотя бы относительного успокоения и порядка.

— Это наивно, — говорил Погоревших. — То, что вы зовете развалом, такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения — закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось еще недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях.

Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в коридор.

Поезд, набирая скорость, несся подмосковными. Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, далеко разнося его, полое, трубчатое и дуплистое лесное эхо.

Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним.

Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары — все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство — приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования.

Рощи кончились. Поезд вырвался из лиственных теснин на волю. Отлогая поляна широким бугром уходила вдаль, подымаясь из оврага. Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны, в конце картофельного поля, лежали на земле стеклянные рамы, вынутые из парников. Против поляны за хвостом идущего поезда вполнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны, и по пути задевали за парниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском.

Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать.

Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя и в следующую минуту — купола, крыши, дома и трубы всего города.

— Москва, — сказал он, возвращаясь в купе. — Пора собираться.

Погоревших вскочил, стал рыться в охотничьей сумке и выбрал из нее утку покрупнее.

— Возьмите, — сказал он. — На память. Я провел целый день в таком приятном обществе.

Как ни отказывался доктор, ничего не помогало.

— Ну хорошо, — вынужден он был согласиться, — я принимаю это от вас в подарок жене.

— Жене! Жене! В подарок жене, — радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые, и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший Маркиз принял участие в его радости.

Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания.

Часть шестая

МОСКОВСКОЕ СТАНОВИЩЕ

1

В дороге, благодаря неподвижному сидению в тесном купе, казалось, что идет только поезд, а время стоит, и что все еще пока полдень.

Но уже вечерело, когда извозчик с доктором и его вещами с трудом выбрался шагом из несметного множества народа, толпившегося на Смоленском.

Может быть, так оно и было, а может быть, на тогдашние впечатления доктора наслоился опыт позднейших лет, но потом в воспоминаниях ему казалось, что уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не было причины, потому что навесы на пустых ларях были спущены и даже не прихвачены замками, и торговать на загаженной площади, с которой уже не сметали нечистот и отбросов, было нечем.

И ему казалось, что уже и тогда он видел жавшихся на тротуаре худых, прилично одетых старух и стариков, стоявших немой укоризною мимоидущим и безмолвно предлагавших на продажу что-нибудь такое, чего никто не брал и что никому не было нужно: искусственные цветы, круглые спиртовые кипятильники для кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние туалеты из черного газа, мундиры упраздненных ведомств.

Публика попроще торговала вещами более насущными: колючими, быстро черствевшими горбушками черного пайкового хлеба, грязными, подмокшими огрызками сахара и перерезанными пополам через всю обертку пакетиками махорки в пол-осьмушки.

И по всему рынку шел в оборот какой-то неведомый хлам, который рос в цене по мере того, как обходил все руки.

Извозчик свернул в один из прилегавших к площади переулков. Сзади садилось солнце и било им в спину. Перед ними громыхал ломовик на подскакивавшей порожней подводе. Он подымал столбы пыли, горевшей бронзою в лучах заката.

Наконец им удалось объехать ломового, преграждавшего им дорогу. Они поехали быстрее. Доктора поразили валявшиеся всюду на мостовых и тротуарах вороха старых газет и афиш, сорванных с домов и заборов. Ветер тащил их в одну сторону, а копыта, колеса и ноги встречных едущих и идущих — в другую.

Скоро после нескольких пересечений показался на углу двух переулков родной дом. Извозчик остановился.

У Юрия Андреевича захватило дыхание и громко забилось сердце, когда, сойдя с пролетки, он подошел к парадному и позвонил в него. Звонок не произвел действия. Юрий Андреевич дал новый. Когда ни к чему не привела и эта попытка, он с поднявшимся беспокойством стал с небольшими перерывами звонить раз за разом. Только на четвертый внутри загремели крюком и цепью, и вместе с отведенной вбок входною дверью он увидел державшую ее на весь отлет Антонину Александровну. От неожиданности оба в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как настежь откинутая дверь в руке Антонины Александровны наполовину представляла настежь раскрытое объятие, то это вывело их из столбняка, и они как безумные бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили одновременно, друг друга перебивая.

— Первым делом: все ли здоровы?

— Да, да, успокойся. Всё в порядке. Я тебе написала глупости. Прости. Но надо будет поговорить. Отчего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вещи снесет. А, я понимаю, тебя встревожило, что не Егоровна дверь отворила? Егоровна в деревне.

— А ты похудела. Но какая молодая и стройная! Сейчас я извозчика отпущу.

— Егоровна за мукой уехала. Остальных распустили. Сейчас только одна новая, ты ее не знаешь, Нюша, девчонка при Сашеньке, и больше никого. Всех предупредили, что ты должен приехать, все в нетерпении. Гордон, Дудоров, все.

— Сашенька как?

— Ничего, слава Богу. Только что проснулся. Если бы ты не с дороги, можно было бы сейчас пройти к нему.

— Папа дома?

— Разве тебе не писали? С утра до поздней ночи в районной думе. Председателем. Да, представь себе. Ты расплатился с извозчиком? Маркел! Маркел!

Они стояли с корзиной и чемоданом посреди тротуара, загородив дорогу, и прохожие, обходя их, оглядывали их с ног до головы и долго глазели на отъезжающего извозчика и на широко растворенное парадное, ожидая, что будет дальше.

Между тем от ворот уже бежал к молодым господам Маркел в жилетке поверх ситцевой рубахи, с дворницким картузом в руке и на бегу кричал:

— Силы небесные, никак, Юрочка? Ну как же! Так и есть, он, соколик! Юрий Андреевич, свет ты наш, не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечье! А вам чего надо? Ну? Чего не видали? — огрызался он на любопытных. — Проходите, достопочтенные. Вылупили белки!

— Здравствуй, Маркел, давай обнимемся. Да надень ты, чудак, картуз. Что нового, хорошенького? Как жена, дочки?

— Что им делается. Произрастают. Благодарствуем. А нового — покамест ты там богатырствовал, и мы, видишь, не зевали. Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно, не разбери-бери что! Улицы не метёны, дома-крыши не чинёны, в животах, что в пост, чистота, без анекцый и контри-буцый.

— Я на тебя Юрию Андреевичу пожалуюсь, Маркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона. И наверное он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь. Маркел, не оправдывайся. Темная ты личность, Маркел. Пора бы поумнеть. Чай, живешь не у лабазников.

Когда Маркел внес вещи в сени и захлопнул парадное, он продолжал тихо и доверительно:

— Антонина Александровна серчают, слыхал вот. И так завсегда. Говорят, ты, говорит, Маркел, весь черный изнутре, вот все равно как сажа в трубе. Теперь, говорит, не то что дитя малое, теперь, может, мопс, болонка комнатная и то стали понимающие со смыслом. Это, конечно, кто спорит, ну только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь, а только знающие люди книгу видали, масон грядущий, сто сорок лет под камнем пролежала, и теперь мое такое мнение, продали нас, Юрочка, понимаешь, продали, продали ни за грош, ни за полушку, ни за понюшку табаку. Не дадут, смотри, мне Антонина Александровна слово сказать, опять, видишь, машут ручкой.

—- А как не махать. Ну хорошо. Поставь вещи на пол, и спасибо, ступай, Маркел. Надо будет, Юрий Андреевич опять кликнет.

2

— Отстал наконец, отвязался. Ты верь ему, верь. Чистейший балаган один. При других всё дурачком, дурачком, а сам втайне на всякий случай ножик точит. Да вот не решил еще, на кого, казанская сирота.

— Ну, это ты хватила! По-моему, просто он пьян, вот и паясничает, больше ничего.

— А ты скажи, когда он трезв бывает? Да ну его, право, к черту. Я чего боюсь, как бы Сашенька опять не уснул. Если бы не этот тиф железнодорожный... На тебе нет вшей?

— Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве немного умыться? Кое-как, наскоро. А потом поосновательней. Но куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому подымаетесь?

— Ах да! Ты ведь ничего не знаешь. Мы с папой думали, думали, и часть низа отдали Сельскохозяйственной академии. А то зимой самим не отопить. Да и верх слишком поместительный. Предлагаем им. Пока не берут. У них тут кабинеты ученые, гербарии, коллекции семян. Не развели бы крыс. Все-таки — зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности. Теперь это называется жилой площадью. Сюда, сюда. Какой несообразительный! В обход по черной лестнице. Понял? Иди за мной, я покажу.

— Очень хорошо сделали, что уступили комнаты. Я работал в госпитале, который был тоже размещен в барском особняке. Бесконечные анфилады, кое-где паркет уцелел. Пальмы в кадках по ночам над койками пальцы растопыривали, как привидения. Раненые, бывалые, из боев, пугались и со сна кричали. Впрочем, не вполне нормальные, контуженые. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни

состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего. Лишняя мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало. Надо больше.

— Что это у тебя из свертка высовывается? Птичий клюв, голова утиная. Какая красота! Дикий селезень! Откуда? Глазам своим не верю! По нынешним временам это целое состояние!

— В вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. Как ты советуешь, развернуть и оставить на кухне?

— Да, конечно. Сейчас пошлю Нюшу ощипать и выпотрошить. К зиме предсказывают всякие ужасы, голод, холод.

— Да, об этом везде говорят. Сейчас смотрел я в окно вагона и думал. Что может быть выше мира в семье и работы? Остальное не в нашей власти. Видимо, правда, многих ждут несчастья. Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадежнее, в Финляндию, что ли. Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, мы никогда не доберемся доверху.

— Постой. Слушай. Новость. И какая! А я и забыла. Николай Николаевич приехал.

— Какой Николай Николаевич?

— Дядя Коля.

— Тоня! Быть не может! Какими судьбами?

— Да вот, как видишь. Из Швейцарии. Кружным путем на Лондон. Через Финляндию.

— Тоня! Ты не шутишь? Вы его видали? Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту?

— Какое нетерпение! Он за городом у кого-то на даче. Обещал послезавтра вернуться. Очень изменился, ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, обольшевичился. Папа с ним До хрипоты спорит. Но почему мы, правда, останавливаемся на каждом шагу? Пойдем. Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего, трудности, опасности, неизвестность?

— Я и сам так думаю. Ну что же. Будем бороться. Не всем же обязательно конец. Посмотрим, как другие.

— Говорят, без дров будем сидеть, без воды, без света. Отменят деньги. Прекратится подвоз. И опять мы стали. Пойдем. Слушай. Хвалят плоские железные печурки в мастерской на Арбате. На огне газеты обед можно сварить. Мне достали адрес. Надо купить, пока не расхватали.

— Правильно. Купим. Умница, Тоня! Но дядя Коля, дядя Коля! Ты подумай! Не могу опомниться!

— У меня такой план. Выделить наверху с краю какой-нибудь угол, поселиться нам с папой, Сашенькой и Нюшей, скажем, в двух или трех комнатах, непременно сообщающихся, где-нибудь в конце этажа, и совершенно отказаться от остального дома. Отгородиться, как от улицы. Одну такую железную печурку в среднюю комнату, трубу в форточку, стирку, варку пищи, обеды, прием гостей, всё сюда же, чтобы оправдать топку, и, как знать, может, Бог даст, перезимуем.

— А то как же? Разумеется, перезимуем. Вне всякого сомнения. Ты это превосходно придумала. Молодчина. И знаешь что? Отпразднуем принятие твоего плана. Зажарим мою утку и позовем дядю Колю на новоселье.

— Великолепно. А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает. А теперь погляди. Вот комната, о которой я говорила. Вот что я выбрала.

Одобряешь? Поставь на пол чемодан и спустись за корзиной. Кроме дяди и Гордона, можно также попросить Иннокентия и Шуру Шлезингер. Не возражаешь? Ты не забыл еще, где наша умывальная? Побрызгайся там чем-нибудь дезинфицирующим. А я пройду к Сашеньке, пошлю Нюшу вниз и, когда можно будет, позову тебя.

3

Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне?

Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать Тоню. Он пришел к моменту кормления детей. Его к ней не пустили.

Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором десяти или пятнадцати младенческих голосов, и нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их по двое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям на кормление.

— Уа, уа, — почти без чувства, как подолгу службы, пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся из этого унисона. Ребенок тоже кричал «уа, уа», и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас, умышленным, угрюмым недружелюбием.

Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно почему он вообразил, что так кричит его мальчик, потому что это был плач с физиономией, уже содержавший будущий характер и судьбу человека, плач со звуковой окраской, заключавшей в себе имя мальчика, имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич.

Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне.

Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый хорошенький бутуз с большой головой и губами бантиком стоял раскорякой на разостланном одеяле и, подняв обе ручки кверху, как бы плясал вприсядку. Тогда ему был год, он учился ходить, теперь исполнялся второй, он начинал говорить.

Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столе у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила ее как-нибудь по-новому.

Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высившейся как раз против окна, показалась ясная, полная луна. Когда ее свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому и доктор узнал ее.

Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам, в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались жженой пробкой и переодевались по-маскарадному.

Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиною.

Внизу на кухне Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитою утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с

тяжестью в руках, она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину.

Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его:

— Можно, Юра!

Он отправился к Сашеньке.

Теперешняя детская помещалась в прежней его и Тониной классной. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки, зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго, разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений.

— Это папа, это твой папа, сделай папочке ручкой, — твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки.

Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его, и, когда тот наклонился, порывисто встал, ухватился за мамину кофточку и злобно с размаху шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в ее платье и заплакал навзрыд горькими и безутешными детскими слезами.

— Фу» ФУ» — журила его Антонина Александровна. — Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка.

Покажи, как ты целуешься, поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать, о чем ты, глупый?

— Оставь его в покое, Тоня, — попросил доктор. — Не мучь его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову. Что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки. И так естественно. Мальчик никогда не видал меня. Завтра присмотрится, водой не разольешь.

Но он и сам вышел из комнаты как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования.

4

В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился.

Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал.

Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить на счет необеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которыми пользовалось меньшинство, пока большинство терпело!

Но едва лишь поднялись низы и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняли, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, не бывало!

Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди без фраз и пафоса, жена и тесть да еще два-три врача сослуживца, скромные труженики, рядовые работники.

Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перевидаться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей.

Жирная утка была невиданной роскошью в те, уже голодные, времена, но к ней недоставало хлеба, и это обессмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало.

Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым меновым средством мешочников. Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями, по вдохновению, то слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило.

Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва. Лавки ее были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли.

И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего.

Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили.

Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие, и часто говорил «занятно» и «забавно» — слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни как развлечения.

До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич ее не знал.

Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем.

Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумение, он больше всего штрафных нарядов получил за ротозейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябило в глазах и всюду мерещились погоны.

В этот период он все делал невпопад, совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками, сестрами, дожидавшимися того же парохода, и якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, недоглядел, влюбился по недосмотру и второпях сделал младшей сестре предложение. «Забавно, не правда ли?» — спрашивал Гордон. Но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа. В комнату вошел Дудоров.

С ним произошла обратная перемена. Прежний неустойчивый и взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого.

Когда юношей его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам, русской и всеобщей истории. По первой он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по второй исследование о Сен-Жюсте.

Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку и не опуская и не подымая глаз, как читают лекции.

К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все, и без того разгоряченные, кричали наперебой, Иннокентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы», несколько раз спросил:

— Вы читали «Войну и мир» и «Флейту-позвоночник»? Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому

поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора и потому, немного погодя, спросил еще раз:

— Вы читали «Флейту-позвоночник» и «Человека»?

— Ведь я вам ответил, Иннокентий. Ваша вина, что не слышали. Ну, будь по-вашему. Скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!

Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе. Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и нахохотаться.

Первое их свидание произошло вечером серого пасмурного дня. Мелкой водяной пылью моросил дождик. Юрий Андреевич пришел к Николаю Николаевичу в номер. В гостиницу уже принимали только по настоянию городских властей. Но Николая Николаевича везде знали. У него оставались старые связи.

Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах.

В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном гостиницы.

Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание! Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой во плоти опять стоял перед ним.

Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень моложав и смотрел красавцем.

Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом.

Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно шутливый тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодною и вызывала неловкость.

Ах, но ведь совсем не то, не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами.

Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и, хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи,

кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала.

За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого Предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так проницательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор.

Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания.

Так было у них при первом свидании, но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым.

Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснобая и общественного очарователя. Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан.

Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и премило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни. И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно также, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков.

Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая пассия, недоконченные дела, недописанная книга и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы, только его и видали.

Он был за большевиков и часто называл два левоэсеров-ских имени в качестве своих единомышленников: журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Котери.

Александр Александрович ворчливо упрекал его:

— Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич! Эти Мирошки ваши. Какая яма! А потом эта ваша Лидия Покори.

— Котери, — поправлял Николай Николаевич. — И — Сильвия.

— Ну все равно, Покори или Попурри, от слова не станется.

— Но все же, виноват, Котери, — терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами:

— О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли и крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечена, и давно подготовлен переворот, который выведет народ к свету и все поставит на свое место.

Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно, требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания. Ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет? Это вопрос времени. Как можно это оспаривать?

— Э, да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю? — сердился Александр Александрович, и спор возгорался.

— Ваши Попурри и Мирошки люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем, где тут логика? Никакого соответствия. Да нет, погодите, вот я вам покажу сейчас.

И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивою статьею, со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой фомкою возней пробуждая свое красноречие.

Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре и чтобы препятствия оправдывали его мямлющие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного, например, при подыскивании второй калоши к первой в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам.

Юрий Андреевич с наслаждением слушал тестя. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев, с мягким, похожим на мурлыканье, громековским подкартавливаньем.

Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Так же точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этою губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво-детское.

Поздно ночью почти перед уходом гостей явилась Шура Шлезингер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе, решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрекам и обвинениям.

— Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу, приехал, об этом вся Москва говорит, а от вас узнаю последнею. Нуда черт с вами. Видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здравствуй! Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка? Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да?

Последнее восклицание относилось к громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой подымающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост и худобу — ленточной глистой.

— А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас. Ах, господа, господа. Ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете! Что на свете делается! Какие вещи творятся! Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец! Я матроса сейчас слышала! Юрочка, ты бы с ума сошел! Какая страсть! Какая цельность!

Шуру Шлезингер перебивали. Все орали кто в лес, кто по дрова. Она подсела к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку: — Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка. Я тебе людей покажу. Ты должен, должен, понимаешь ли, как Антей, прикоснуться к земле. 4оо ты выпучил глаза? Я тебя, кажется, удивляю? Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка. С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах. Конечно! А ты что думал? О, мы не знаем народа! Я только что оттуда, из их гущи. Я им библиотеку налаживаю.

Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в

конце стола. Он стоял и по всем признакам, сверх собственного ожидания, говорил. Он не сразу добился тишины.

— Господа... Я хочу... Миша! Гогочка!.. Но что же делать, Тоня, когда они не слушают? Господа, дайте мне сказать два слова. Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души. Гогочка, вы после будете кричать ура. Я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно.

На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется, море крови подступит к каждому и зальет отсиживающихся и окопавшихся. Революция и есть это наводнение.

В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, всё личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают, а если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти пять или десять лет пережили больше, чем иные за целое столетие.

Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной или все сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось.

Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас, и, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.

Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось кругом, и отвечал невпопад. Он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал:

— Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства. Я их не заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха, не пришлось бы потом полюбить еще сильней.

Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту, а он не знал куда деваться от чувства нависшего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью.

Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей.

Прощаясь, отдернули оконную занавесь. Распахнули окно. Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных, землисто-гороховых тучах.

— А ведь, видно, гроза была, пока мы пустословили, — сказал кто-то.

— Меня дорогой к вам дождь захватил. Насилу добежала, — подтвердила Шура Шлезингер.

В пустом и еще темном переулке стояло перестукиванье капающих с деревьев капель вперемежку с настойчивым чириканьем промокших воробьев.

Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких, запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой, лопатою сдвинутой гряды.

Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты. Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные части существования, вода и воздух, желание радости, земля и небо.

Переулок наполнился голосами расходящихся. Они продолжали что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь как препирались только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно стихали и стихли.

— Как поздно, — сказал Юрий Андреевич. — Пойдем спать. Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу.

5

Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое. Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах.

Надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос.

Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама была детищем города и созданием горожан.

Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хромала, барахталась, колченого плелась куда-то по старой привычке. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель. Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах.

Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасением, — насущное, смиренное, бытовой обиход, служба, хожденье по больным.

Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего, боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастиях русский город, и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог.

Это небо и прохожих он чаще всего видел с середины мостовой, переходя Арбат у аптеки Русского общества врачей, на углу Староконюшенного.

Он опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали подходящего названия.

В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного берега отстал, к другому не пристал.

В больнице, кроме его прямых обязанностей, директор возложил на него наблюдение над общей статистической отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков ни просматривал он, каких требовательных ведомостей ни заполнял! Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах, неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах, все интересовало центральное статистическое управление, на все требовался ответ.

Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских

трудов, он писал здесь свою «Игру в людей», мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что разыгрывает.

Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после Успения, когда по утрам ударяют первые заморозки и в пестроту и яркость поределых рощ залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни подымается в предельную высоту и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синею ясностью. Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы то ни было. Расстояния передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывши вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разреженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего Дня на пороге ранних сумерек.

Такой свет озарял ординаторскую, свет рано садящегося осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко белый налив.

Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал, а мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками, пол и стены ординаторской и так же бесшумно исчезали.

— Клен опадает, — сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками. — Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал!

Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клена, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона.

— Окна замазали? — спросил прозектор.

— Нет, — сказал Юрий Андреевич и продолжал писать.

— Что так? Пора.

Юрий Андреевич ничего не отвечал, поглощенный писанием.

— Эх, Тарасюка нет, — продолжал прозектор. — Золотой был человек. И сапоги починит. И часы. И всё сделает. И все на свете достанет. А замазывать пора. Надо самим.

— Замазки нет.

— А вы сами. Вот рецепт. — И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела. —- Впрочем, ну вас. Я вам мешаю.

Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал:

— Глаза испортите. Темно. А огня не дадут. Пойдемте домой.

— Еще немного поработаю. Минут двадцать.

— Его жена тут в больничных няньках. -Чья?

— Тарасюка.

— Знаю.

— А сам он неизвестно где. По всей земле рыщет. Летом два раза проведывал. В больницу заходил. Теперь где-нибудь в деревне. Основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например? Слушайте. Это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что ни возьмется, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете. Глаз, рука — первый сорт! Все знаки отличия не за лихость, а за бой без

промаха. Ну. Всякое дело становится у него страстью. Полюбил и военное. Видит, оружие — это сила, вывозит его. Самому захотелось стать силою. Вооруженный человек — это уже не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отыми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подоспевает клич: «Повернуть штыки», — и так далее. Он и повернул. Вот вам и весь сказ. И весь марксизм.

— И притом пренастоящий, из самой жизни. А вы что думали?

Прозектор отошел к своему подоконнику, покопался над пробирками. Потом спросил:

— Ну как печник?

— Спасибо, что рекомендовали. Преинтересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче.

— Ну какже! Доктор философии Гейдельбергского университета. А печка?

— И не говорите.

— Дымит?

— Одно горе.

— Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он, верно, выпустил в форточку.

— Да он в голландку вставил. А дымит.

— Значит, дымового рукава не нашел, повел вентиляционным каналом. А то в отдушину. Эх, Тарасюка нет! А вы потерпите. Не в один день Москва построилась. Печку топить — это вам не на рояли играть. Надо поучиться. Дров запасли?

— А где их взять?

— Я вам церковного сторожа пришлю. Дровяной вор. Разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю. Надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу.

Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу.

— Зачем морильщицу? — сказал доктор. — У нас клопов не водится.

— При чем тут клопы? Я про Фому, а вы про Ерему. Не клопы, а дрова. У этой все поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите не оступитесь, темь какая. Бывало, я с завязанными глазами мог по этому району пройти. Каждый камушек знал. Пречистенский уроженец. А стали заборы валить, и с открытыми глазами ничего не узнаю, как в чужом городе. Зато какие уголки обнажились! Ампирные домики в кустарнике, круглые садовые столы, полусгнившие скамейки. На днях прохожу мимо такого пустырька, на пересечении трех переулков. Смотрю, столетняя старуха клюкой землю ковыряет. «Бог в помощь, говорю, бабушка. Червей копаешь, рыболовствуешь?» Разумеется, в шутку. А она пресе-рьезнейше: «Никак нет, батюшка, — шампиньоны». И правда, стало в городе, как в лесу. Пахнет прелым листом, грибами.

— Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли? Со мной там мимоходом всё неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого двадцать лет не видал, то что-нибудь найду. И говорят, грабят на углу. Да и неудивительно. Место сквозное. Целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. Оберут, разденут, и фюить, ищи ветра в поле.

— А фонари как слабо светят. Не зря синяки фонарями зовут. Как раз нашибешь.

6

Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара. Человек лежал, раскинув руки, приклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка с перерывами он слабо постанывал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при

беглом осмотре оказались целы. Лежавший был несомненно жертвой вооруженного грабежа. «Портфель. Портфель», — два-три раза прошептал он.

По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к Крестовоздвиженской старика извозчика и отвез неизвестного в больницу.

Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недоверчивое время от многих недоразумений.

7

Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в трех комнатах, как предполагала Антонина Александровна.

Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками, темный, претемный.

С утра затопили. Стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми неразгоравшимися дровами, бестолковые и вредные советы. Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами:

— Ступай к себе. Когда голова и без того кругом и все мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масла в огонь.

— О, масло, Тонечка, это было бы превосходно! Печка мигом бы запылала. То-то и горе, что не вижу я ни масла, ни огня.

— И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них.

Неудачная топка разрушала воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водою голову, какие-то другие намерения.

Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора.

Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и отворил форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки.

В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвилась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какою-то дальнею дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма.

Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чахоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем.

В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами: горькой, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой свежею осиной.

В это время в комнату так же стремительно, как воздух в форточку, ворвался Николай Николаевич с сообщением:

— На улицах бой. Идут военные действия между юнкерами, поддерживающими Временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. По дороге к вам я два или три раза попал в переделку, раз на углу Большой Дмитровки и другой — у Никитских

ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра! Одевайся и пойдем. Это надо видеть. Это история. Это бывает раз в жизни.

Но сам же он заболтался часа на два, потом сели обедать, а когда, собравшись домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями.

Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальною пулею. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной.

Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, сообщение по тротуару прервано.

В эти дни Сашеньку простудили.

— Я сто раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке, — сердился Юрий Андреевич. — Перегрев в сорок раз вреднее выстуживания.

У Сашеньки разболелось горло и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный, мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось.

Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился. Никакие уговоры и угрозы не действовали. Вдруг по неосторожности Сашенька широко и сладко зевнул, и этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрия Андреевича.

Немного погодя, путем таких же манипуляций, доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра Александровича был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и с грехом пополам сам произвел исследование. По счастью, это не был дифтерит.

Но на третью ночь у Сашеньки сделался припадок ложного крупа. Он горел и задыхался. Юрий Андреевич не мог смотреть на бедного ребенка, бессильный избавить его от страданий. Антонине Александровне казалось, что мальчик умирает. Его брали на руки, носили по комнате, и ему становилось легче.

Надо было достать молока, минеральной воды или соды для его отпаиванья. Но это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно.

Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием.

Район Сивцева входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу. Движенье в этой части города восстанавливалось.

Тогда ушли из своего трехдневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на трое суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашеньки-ной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев неумолкаемыми разговорами, и

Юрий Андреевич так устал оттроесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними.

8

Были сведения, что они добрели домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось, что толки об общем замирении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались, через некоторые районы нельзя было пройти, и доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться и где в ящике стола в ординаторской лежали его «Игра» и ученые записи.

Лишь внутри отдельных околотков люди выходили по утрам на небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных, несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали.

Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоняя публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешный или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы.

Как-то в конце старого октября, часов в десять вечера Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко жившему сослуживцу. Места эти, обычно бойкие, были малолюдны. Встречных почти не попадалось.

Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю.

Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотам, как вдруг снег повалил густогусто и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся.

Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то, островками, раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарева залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях.

На одном из перекрестков с криком «Последние известия!» его обогнал пробегавший мимо мальчишка-газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой.

— Не надо сдачи, — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул.

Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное.

Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону.

Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться.

Чтобы все же дочитать сообщения, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу Серебряного и Молчановки, У

подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным, освещенным электричеством, парадным.

Доктор вошел в него и в глубине сеней под электрической лампочкой углубился в телеграммы.

Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно, спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили дверь, и волною разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее.

Глаза Юрия Андреевича, с головой ушедшего в чтение, были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать постороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спустившегося.

Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью.

Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливою растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению.

Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую, расшатанную дверь и, с лязгом ее захлопнув, вышел на улицу.

Минут через десять последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике и о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь, в те дни имевшая безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание.

Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранного на окраине бревенчатого дома. Бревна не умещались во дворе и загромождали прилегавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок.

Юрий Андреевич, не задумываясь, улучил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать ее тяжесть (своя ноша не тянет) и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе в Сивцев.

Это было кстати, дома кончались дрова. Колоду распилили и накололи из нее гору мелких чурок. Юрий Андреевич присел на корточки растапливать печь. Он молча сидел перед вздрагивавшей и дребезжавшей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестю со словами:

— Видали? Полюбуйтесь. Прочтите.

Не вставая с корточек и ворочая дрова в печке маленькой кочерёжкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой.

— Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали.

В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого.

— Пушкина? Что ты сказал? Погоди. Сейчас я кончу. Не могу же я сразу и читать и слушать, — прерывал зятя Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос.

— Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое.

9

Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь.

Их было три подряд, таких страшных зимы, одна задругой, и не все, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой.

Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга.

Производили перевыборы правлений везде: в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями, людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко бривших ся и еще реже спавших.

Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой.

Эти люди ворочали всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием, объединение за объединением становились большевицкими.

Крестовоздвиженская больница теперь называлась Второй преобразованной. В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не преминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых был и Живаго.

Вечерами между мужем и женою происходили такие разговоры:

— В среду не забудь в подвал Общества врачей за мороженой картошкой. Там два мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках.

— Хорошо. Успеется, Юрочка. Ты бы скорее лег. Поздно. Всех дел все равно не переделаешь. Надо тебе отдохнуть.

— Повальная эпидемия. Общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять. Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожнее. Слушай. Ты не спишь?

-Нет.

— Я за себя не боюсь, я двужильный, но если бы, паче чаяния, я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу.

— Что ты, Юрочка! Господь с тобой. Зачем каркать раньше времени?

— Помни, больше нет ни честных, ни друзей. Ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только Пи-чужкину. Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь?

-Нет.

— Сами, черти, ушли на лучший паек, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. «Вы у них служите?» И подымают брови. «Служу, — говорю, — и прошу не прогневаться: нашими лишениями я горжусь, и людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю».

10

На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотою рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу.

Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной хлеб на поду комнатной голландки, частью на продажу, чтобы припеком и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымила, плохо грела и совсем не держала тепла.

Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из ее торговли ничего не вышло. Пришлось пожертвовать несбыточными планами и опять ввести в действие отставленную печурку. Живаго бедствовали.

Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам. Дров в доме оставалось два полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла «на добычу».

Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с кладью задерживали.

Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой здоровенный детина в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к Громекам.

В лубяном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену, — одно званье, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было, рассуждать не приходилось.

Молодой крестьянин в пять-шесть приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкап Антонины Александровны, в подарок своей молодке. Мимоходом, договариваясь на будущее время о картошке, он приценился к стоявшему у дверей пианино.

Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать жениной покупки. Разрубить отданный шкап на щепки было выгодней и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это.

— Ты видел записку на столе? — спросила жена.

— От заведующего больницей? Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот о!дохну немного и пойду. Но порядочная даль. Где-то у Триумфальных ворот. У меня записан адрес.

— Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают. Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Нувориши какие-нибудь.

— Да, это к заготовщику.

Таким именем, вместе с концессионерами и уполномоченными, назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки.

В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы-однодневки, поднятые со дна войной и революцией, новые и пришлые люди без корня.

Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направился к больной.

Тротуары и мостовые были погребены под глубоким снегом, покрывавшим улицы от одного ряда домов до другого. Снежный покров местами доходил до окон первых этажей. Во всю ширину этого пространства двигались молчаливые полуживые тени, тащившие на себе или везшие на салазках какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось.

На домах кое-где еще оставались прежние вывески. Размещенные под ними без соответствия с их содержанием потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решеткою, или заколоченные, и пустовали.

Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также оттого, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще в самых общих чертах и этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулось.

11

Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы.

Это было кирпичное казарменное здание допотопной стройки, с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения.

У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представительницы из райсовета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешения на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени, освобождаемые квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить.

Обход приближался к концу и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома. Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную.

Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами: болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и ее представителям.

Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой.

Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта недоставало парных.

Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость (муж больной повел доктора в соседнюю комнату показывать их). Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой, пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена пришла в ужас, рассказывал молодой человек, решив, что это пробил ее последний час, и вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его.

— Так вы думаете, что это нервное потрясение? — с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. — Проводите меня к больной.

Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На ее краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой соскользнул к подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа и, словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так ее разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока ни заходил к ней доктор, она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной.

— Надо бы посмотреть ее, — сказал Юрий Андреевич. — Но все равно, мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которые вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика или в крайнем случае ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление.

— Могу. Постараюсь. Но погодите. Неужели правда это тиф? Какой ужас!

— К сожалению.

— Я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить ее дома, по возможности участив посещения? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение.

— Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте. Я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей препроводительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением потребуется печать дома и еще кое-какие формальности.

12

Прошедшие опрос и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом.

В одном конце комнаты стоял конторский стол и несколько стульев, которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу. Поэтому в придачу к ним кругом поставлены были наподобие скамей длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене промерзшие стружки, склеенные в комки вытекшей из битых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках.

Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло, под пьяную, кричала:

— Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают. У, пошла, поганая! Ай-ай-ай, понимает, сволочь! Обозлилась. Аяяй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла. Ой, боюсь, ой, боюсь! Отвернитесь, господа мужчины. Виновата, я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане.

На шумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот.

Видно, когда-то она слыла львицею среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с кислотою, но промазала, и только два-три брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта два легких следа, по малозаметности почти обольстительных.

— Не ори, Храпугина. Просто работать нет возможности, — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей.

Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально вполголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми ютившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в две светлых комнаты.

— Ну так как же, Фатима? — спрашивала председательница. Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким

большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенной на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает.

— Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь покойна. Что это за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу, ты только не брыкайся.

Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким вводным словом открыла собрание. Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для перевыбора нового и перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала:

— Так вот как, стало быть, товарищи. Будем говорить начистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещания, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища

Тиверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется? Теперь к порядку очищения дома. Эта мера нескорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с предоставлением площади, нетрудовое предупреждаем, чтоб подыскали сами, и даем двенадцать месяцев сроку.

— А кто у нас нетрудовой? У нас нет нетрудовых! Все трудовые, — закричали отовсюду, и один голос надрывался: — Это великодержавный шовинизм! Все национальности теперь равны. Я знаю, на что вы намекаете!

— Не все сразу! Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? При чем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим.

— Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь. Продавленная кушетка! Десять должностей! — выкрикивала Храпугина бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгаре спора.

— Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет! — возмущалась дворничиха.

— Не связывайся, Фатима. Сама за себя постою. Перестань, Храпугина. Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь! Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органам, не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют и за содержание притона.

Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прокричал:

— Га-ли-уль-ли-на! Поди сюда. Тут спрашивают.

Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сгорбленная женщина, дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал:

— У вас тут одна квартирантка тифом заболела (он назвал ее по фамилии). Требуются предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того, больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать?

Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению препроводительной бумаги.

-т- За товарищем Деминой из райсовета пролетка придет, — сказала Галиуллина. — Товарищ Демина добрый человек, я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную.

— О, я не о том! Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка... Простите, вы не мать будете поручику Галиуллину, Осипу Гимазетдинови-чу? Я с ним вместе на фронте служил.

Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала:

— Пойдем наружу. На дворе поговорим. Едва выйдя за порог, она быстро заговорила:

— Тише, оборони Бог услышат. Не губи меня. Юсупка плохой дорожка пошел. Ты сам посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало, это слепому видно, какой может быть разговор. Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех, Бог не простит. Юсупа отец в солдатах пропал, убили, да как, ни лица не оставили, ни рук, ни ног.

Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение. Потом продолжала:

— Пойдем. Я тебе сейчас пролетку справлю. Я знаю, кто ты. Он тут был два дня, сказывал. Ты, говорит, Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка. Сюда к нам

ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает. Разве можно, чтобы господа против господ пошли? А Юсупке грех. Пойдем, пролетку выпросим. Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина, у Лары Гишаровой мамаши в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем.

13

Уже совсем стемнело. Кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Деминой шагах в пяти перед ними скакал с сугроба на сугроб и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где она бывала девочкой, где, по рассказам, мальчиком воспитывался ее будущий муж, Антипов.

Демина покровительственно-шутливо обращалась к нему:

— Вы правда дальше без фонарика дойдете? А? А то бы я дала, товарищ доктор. Да. Я когда-то не на шутку в нее вре-замшись была, любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней. Проезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы. Вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там! Не хочет. Ее дело. Головой она за Пашку вышла, а не сердцем, с тех пор и шалая. Уехала.

— Что вы о ней думаете?

— Осторожно. Скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не выливали помоев перед дверью, — как об стену горох. Что о ней думаю? Как это думаю? А чего тут думать. Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла, брата ее, военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я наверное выручу, хлопочу за нее. Ну, мне сюда, до свидания.

И вот они расстались. Свет деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма. Направо легла Садовая-Триумфальная, налево Садовая-Каретная. В черной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири.

Дома были свет, тепло.

— Что так поздно? — спросила Антонина Александровна и, не дав ему ответить, продолжала:

— А тут без тебя курьез произошел. Необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил, неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг, представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник! Взял, понимаешь, и пошел!

— Это мой тифозный час пробил, — пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами.

14

Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает.

Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы. Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни

слуху ни духу. Состав жильцов в доме переменился. Демина была на фронте, управляющей Галиуллиной Юрий Андреевич не застал.

Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это — тиф. Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах.

15

У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила две Садовые, слева Садовую-Каретную, а справа Садовую-Триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло. Можно работать. И вот он пишет.

Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале.

Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?

Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение».

Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря.

И две рифмованные строчки преследовали его:

Рады коснуться и

Надо проснуться.

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И —- надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть.

16

Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену:

— Откуда это у тебя?

— Да все твой Граня.

— Какой Граня?

— Граня Живаго.

— Граня Живаго?

— Ну да, твой омский брат Евграф. Сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас все навещал.

— В оленьей дохе?

— Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел

представиться, но ты на него такого страху напустил! Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе. И нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, «на земле посидеть». Я с ним советовалась насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи.

В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Варыкино, близ города Юрятина.

Часть седьмая В ДОРОГЕ

1

Настали последние дни марта, дни первого в году тепла, ложные предвестники весны, за которыми каждый год наступает сильное похолодание.

В доме Громеко шли спешные сборы в дорогу. Перед многочисленными жильцами, которых в уплотненном доме теперь было больше, чем воробьев на улице, эти хлопоты выдавали за генеральную уборку перед Пасхой.

Юрий Андреевич был против поездки. Он не мешал приготовлениям, потому что считал затею неосуществимой и надеялся, что в решающую минуту она провалится. Но дело подвигалось вперед и близилось к завершению. Пришло время поговорить серьезно.

Он еще раз высказал жене и тестю свои сомнения на устроенном для этого семейном совете.

— Итак, вы считаете, что я не прав, и, следовательно, мы едем? — закончил он свои возражения. Слово взяла жена:

— Ты говоришь, перебиться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет испросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в промежутке, ты не советуешь. Между тем это самое интересное, вот что именно желательно было бы услышать.

— Абсолютный бред, — поддержал дочь Александр Александрович.

— Хорошо, я сдаюсь, — соглашался Юрий Андреевич. — Меня останавливает только полная неизвестность. Мы пускаемся, зажмурив глаза, неведомо куда, не имея о месте ни малей-

шего представления. Из трех человек, живших в Варыкине, двух, мамы и бабушки, нет в живых, а третий, дедушка Крюгер, если он только и жив, в заложниках и за решеткой.

В последний год войны он что-то проделал с лесами и заводом, для видимости продал какому-то подставному лицу или банку или на кого-то условно переписал. Что мы знаем об этой сделке? Чьи это теперь земли, не в смысле собственности, пропади она пропадом, а кто за них отвечает? За каким они ведомством? Рубят ли лес? Работают ли заводы? Наконец, какая там власть и какая будет, пока мы туда доберемся?

Для вас якорь спасения в Микулицыне, имя которого вы так любите повторять. Но кто вам сказал, что этот старый управляющий жив и по-прежнему в Варыкине? Да и что мы знаем о нем, кроме того, что дедушка с трудом выговаривал эту фамилию, отчего мы ее и запомнили?

Однако к чему спорить? Вы решили ехать. Я присоединяюсь. Надо выяснить, как это теперь делают. Нечего откладывать.

2

Для того чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал.

Поток уезжающих сдерживали мостки с перилами, протянутые через залы, на каменных полах которых лежали люди в серых шинелях, ворочались с боку на бок, кашляли и сплевывали, а когда заговаривали друг с другом, то каждый раз несоответственно громко, не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами.

В большинстве это были больные, перенесшие сыпной тиф. Ввиду переполнения больниц, их выписывали на другой день после кризиса. Как врач, Юрий Андреевич сам сталкивался с такой необходимостью, но он не знал, что этих несчастных так много и что приютом им служат вокзалы.

— Добывайте командировку, — говорил ему носильщик в белом фартуке. — Надо каждый день наведываться. Поезда теперь редкость, дело случая. И само собой разумеется... (носильщик потер большой палец о два соседних)... Мучицы там или чего-нибудь. Не подмажешь — не поедешь. Ну а это самое... (он Щелкнул себя по горлу)... совсем святое дело.

3

Около этого времени Александра Александровича пригласили на несколько разовых консультаций в Высший Совет Народного Хозяйства, а Юрия Андреевича — к тяжело заболевшему члену правительства. Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по тому времени форме — ордерами в первый учрежденный тогда закрытый распределитель.

Он помещался в каких-то гарнизонных складах у Симонова монастыря. Доктор с тестем пересекли два проходных двора, церковный и казарменный, и прямо с земли, без порога, вошли под каменные своды глубокого, постепенно понижавшегося подвала. Расширяющийся конец его был перегорожен длинной поперечной стойкой, у которой, изредка отлучаясь в кладовую за товаром, развешивал и отпускал продовольствие спокойный, неторопливый кладовщик, по мере выдачи вычеркивая широким взмахом карандаша выданное из списка.

Получающих было немного.

— Вашу тару, — сказал кладовщик профессору и доктору, беглым взглядом окинув их накладные. У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемых думками, и более крупные наволочки им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар, насовали сала, мыла и спичек и положили каждому еще по куску чего-то завернутого в бумагу, что потом, дома, оказалось кавказским сыром.

Зять и тесть торопились увязать множество своих мелких узелков в два больших заплечных мешка как можно скорее, чтобы своей неблагодарной возней не мозолить глаза кладовщику, который подавил их своим великодушием.

Они поднялись из подвала на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома, у молодой хозяйки Тони, похвалу и признание.

4

Тем временем как мужчины пропадали по учреждениям, выхлопатывая командировки и закрепительные бумаги на оставляемые комнаты, Антонина Александровна занималась отбором вещей для упаковки.

Она озабоченно похаживала по трем комнатам, числившимся теперь в доме за семьей Громеко, и без конца взвешивала на руке каждую мелочь, перед тем как отложить ее в общую кучу вещей, подлежавших укладке.

Только незначительная часть добра шла в личный багаж едущих, остальное предназначалось в запас меновых средств, нужных в дороге и по прибытии на место.

В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеженадкушенной французской булкой. На дворе пели петухи и раздавались голоса

играющих детей. Чем больше проветривали комнату, тем яснее становился в ней запах нафталина, которым пахла вынутая из сундуков зимняя рухлядь.

Насчет того, что следует брать с собой и от чего воздерживаться, существовала целая теория, разработанная ранее уехавшими, наблюдения которых распространялись в кругу их оставшихся знакомых.

Эти наставления, отлившиеся в краткие, непререкаемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонины Александровны, что она воображала, будто слышит их со двора вместе с чириканьем воробьев и шумом играющей детворы, словно их подсказывал ей с улицы какой-то тайный голос

«Ткани, ткани, — гласили эти соображения, — лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. Благоразумнее в кусках, для вида сшитых на живуху. Вообще материи, мануфактуру, можно одежу, предпочтительно верхнюю, не очень ношеную. Поменьше хламу, никаких тяжестей. При частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о корзинах и чемоданах. Немногое, сто раз просмотренное, увязывать в узлы, посильные женщине и ребенку. Целесообразны соль и табак, как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в керенках. Самое трудное — документы». И так далее, и так далее.

5

Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою.

Все в доме было уложено. Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшею зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старье, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку.

На Маркела нельзя было положиться. В милиции, которую он избрал себе в качестве политического клуба, он не жаловался, что бывшие домовладельцы Громеко пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны.

Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ними дверцы шкапов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и все объясняла.

Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам, дорожные узлы оттащены в сторону, со всех окон сняты занавески. Снежная буря беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, заглядывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу — детство и смерть матери, Антонине Александровне и Александру Александровичу — кончину и похороны Анны Ивановны. Все им казалось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят. В этом отношении они ошибались, но под влиянием заблуждения, которого они не поверяли друг другу, чтобы друг друга не огорчать, каждый про себя пересматривал жизнь, протекшую под этим кровом, и боролся с навертывавшимися на глаза слезами.

Это не мешало Антонине Александровне соблюдать перед посторонними светские приличия. Она поддерживала несмолкаемую беседу с женщиной, надзору которой все поручала. Антонина Александровна преувеличивала значение оказываемой ей услуги. Чтобы не платить за одолжение черной неблагодарностью, она каждую минуту с извинениями отлучалась в соседнюю комнату, откуда тащила этой особе в подарок то

какой-нибудь платок, то блузку, то кусок ситцу или полушифона. И все материи были темные в белую клетку или горошком, как в белую крапинку была темная снежная улица, смотревшая в этот прощальный вечер в незанавешенные, голые окна.

6

На вокзал уходили рано на рассвете. Население дома в этот час еще не подымалось. Жилица Зевороткина, обычная застрельщица всяких дружных действий миром и навалом, обежала спящих квартирантов, стуча в двери и крича:

— Внимание, товарищи! Прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Гарумековы уходят.

Прощаться высыпали в сени и на крыльцо черной лестницы (парадное стояло теперь круглый год заколоченным) и облепили его ступеньки амфитеатром, словно собираясь сниматься группой.

Зевающие жильцы нагибались, чтобы накинутые на плечи тощие пальтишки, под которыми они ежились, не сползли с них, и зябко перебирали голыми ногами, наспех сунутыми в широченные валенки.

Маркел умудрился нахлестаться чего-то смертоубийственного в это безалкогольное время, валился как подкошенный на перила и грозил их обрушить. Он вызывался нести вещи на вокзал и обижался, что отвергают его помощь. Насилу от него отвязались.

На дворе еще было темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные мохнатые хлопья падали, ленясь, и невдалеке от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь, ложиться ли им на землю или нет.

Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело. Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов, так что пропадало ощущение движения и им казалось, что они топчутся на месте.

На улице не было ни души. Путникам из Сивцева никто не попадался навстречу. Скоро их обогнал, весь в снегу, точно вывалянный в жидком тесте, извозчик порожняком на убеленной снегом кляче и за баснословную, копейки не стоившую сумму тех лет усадил всех с вещами в пролетку, кроме Юрия Андреевича, которого по его просьбе отпустили налегке, без вещей, на вокзал пешком.

7

На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место в несметной очереди, стиснутой барьерами деревянного ограждения. Посадку производили теперь не с перронов, а с добрых полверсты от них в глубь путей у выходного семафора, потому что на расчистку подходов к дебаркадеру не хватало рук, половина вокзальной территории была покрыта льдом и нечистотами, и паровозы не доезжали до этой границы.

Нюши и Шурочки не было в толпе с матерью и дедом. Они прогуливались на воле под огромным навесом наружного входа, лишь изредка наведываясь из вестибюля, не пора ли им присоединиться к старшим. От них сильно пахло керосином, которым, в предохранение от тифозных вшей, были густо смазаны у них щиколотки, запястья и шеи.

Завидев подоспевшего мужа, Антонина Александровна поманила его рукою, но не дав ему приблизиться, прокричала ему издали, в какой кассе компостируют командировочные мандаты. Он туда направился.

— Покажи, какие печати тебе поставили, — спросила она его по возвращении. Доктор протянул пучок сложенных бумажек за загородку.

— Это литер в делегатский, — сказал сосед Антонины Александровны сзади, разобрав через ее плечо штамп, поставленный на удостоверении. Ее сосед спереди, из

формалистов-законников, знающих при любых обстоятельствах все правила на свете, пояснил подробнее:

— С этой печатью вы вправе требовать места в классном, другими словами, в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе.

Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса:

— Поди вперед найди их, классные. Больно жирно будет. Теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо.

— Вы их не слушайте, командировочный. Вы послушайте, что я вам объясню. Как в настоящее время отдельные поезда аннулированные, а имеется один сборный, он тебе и воинский, он и арестантский, он и для скотины, он и людской. Говорить что угодно можно, язык — место мягкое, а чем человека с толку сбивать, надо объяснить, чтоб было ему понятно.

— Ты-то объяснил. Какой умник нашелся. Это полдела, что у них литер в делегатский. Ты вперед на них погляди, а тогда толкуй. Нешто можно с такой бросающею личностью в делегатский? В делегатским полно братишков. У моряка наметанный глаз, и притом наган на шнуре. Он сразу видит — имущий класс и тем более — доктор, из бывших господ. Матрос хвать наган, и хлоп его как муху.

Неизвестно куда завело бы сочувствие к доктору и его семье, если бы не новое обстоятельство.

Из толпы давно бросали взгляды вдаль за широкие вокзальные окна из толстого зеркального стекла. Длинные, тянущиеся вдаль навесы дебаркадера до последней степени удаляли зрелище падающего над путями снега. В таком отдалении казалось, что снежинки, почти не двигаясь, стоят в воздухе, медленно оседая в нем, как тонут в воде размокшие крошки хлеба, которым кормят рыбу.

В эту глубину давно кучками и поодиночке направлялись какие-то люди. Пока они проходили в небольшом количестве, эти фигуры, неотчетливые за дрожащею сеткою снега, принимали за железнодорожников, по своей обязанности расхаживающих по шпалам. Но вот они повалили кучею. В глубине, куда они направлялись, задымил паровоз.

— Отпирай двери, мошенники! — заорали в очереди. Толпа всколыхнулась и подалась к дверям. Задние стали напирать на передних.

— Гляди, что делается! Тут стеной загородили, а там лезут без очереди в обход! Набьют вагоны доверху, а мы стой тут, как бараны! Отпирай, дьяволы, — выломаем! Эй, ребята, навались, нажми!

— Кому, дурачье, завидуют, — говорил всезнающий законник. — Мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду на Северный направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей. Под конвоем. На рытье окопов.

8

В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы. Дорожная картина была зимняя: рельсы путей, поля, леса, крыши Деревень — все под снегом.

Семье Живаго посчастливилось попасть в левый угол верхних передних нар, к тусклому продолговатому окошку под самым потолком, где они и разместились своим домашним кругом, не дробя компании.

Антонина Александровна в первый раз путешествовала в товарном вагоне. При погрузке в Москве Юрий Андреевич на руках поднял женщин на высоту вагонного пола, по краю которого ходила тяжелая выдвижная дверца. Дальше в пути женщины приноровились и взбирались в теплушку сами.

Вагоны на первых порах показались Антонине Александровне хлевами на колесах. Эти клетушки должны были, по ее мнению, развалиться при первом толчке или

сотрясении. Но вот уже третий день их бросало вперед и назад, и валило набок при перемене движения и на поворотах, и третий день под полом часто-часто перестукивались колесные оси, как палочки заводного игрушечного барабанчика, апоездка протекала благополучно, и опасения Антонины Александровны не оправдывались.

Вдоль станций с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из двадцати трех вагонов (Живаго сидели в четырнадцатом), вытягивался только одной какой-нибудь частью, головой, хвостом или середкой.

Передние вагоны были воинские, в средних ехала вольная публика, в задних — мобилизованные на трудовую повинность.

Пассажиров этого разряда было человек до пятисот, люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий.

Восемь вагонов, занятых этою публикой, представляли пестрое зрелище. Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей-извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов.

Первые сидели вокруг докрасна раскаленных печурок без пиджаков на коротко спиленных чурках, поставленных стоймя, наперерыв друг другу что-то рассказывали и громко хохотали. Это были люди со связями. Они не унывали. За них дома хлопотали влиятельные родственники. В крайнем случае дальше в пути они могли откупиться.

Вторые, в сапогах и расстегнутых кафтанах или в длинных распоясанных рубахах поверх портов и босиком, бородатые и без бород, стояли у раздвинутых дверей душных теплушек, держась за косяки и наложенные поперек пролетов перекладины, угрюмо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств. Им не на что было надеяться.

Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава вперемешку с вольной публикой. Люди этого рода имелись и в четырнадцатой теплушке.

9

Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна приподымалась в неудобной позе, к которой принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок, свешивала голову с полатей и через щелку приотодвинутой двери определяла, представляет ли место интерес с точки зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу.

Так было и сейчас. Замедлившийся ход поезда вывел ее из дремоты. Многочисленность переводных стрелок, на которых подскакивала теплушка с учащающимся стуком, говорила о значительности станции и продолжительности предстоящей остановки.

Антонина Александровна села согнувшись, протерла глаза, поправила волосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, вытащила, до дна перерыв его, вышитое петухами, парубками, дугами и колесами полотенце.

Тем временем проснулся доктор, первым соскочил вниз с полатей и помог жене спуститься на пол.

Между тем мимо растворенной вагонной дверцы вслед за будками и фонарями уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега, который они как хлеб-соль протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезду, и с поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег перрона матросы и бегом, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно, под защитой боковой стены, прятались торговки запрещенным съестным.

Черная форма моряков, развевающиеся ленты их бескозырок и их раструбом книзу расширяющиеся брюки придавали их шагу натиск и стремительность и заставляли расступаться перед ними, как перед разбежавшимися лыжниками или несущимися во весь дух конькобежцами.

За углом станции, прячась друг за друга и волнуясь, как на гадании, выстраивались гуськом крестьянки ближних деревень с огурцами, творогом, вареной говядиной и ржаными ватрушками, хранившими на холоде дух и тепло под стеганными покрышками, под которыми их выносили. Бабы и девки в заправленных под полушубки платках вспыхивали, как маков цвет, от иных матросских шуток, и в то же время боялись их пуще огня, потому что из моряков, преимущественно, формировались всякого рода отряды по борьбе со спекуляцией и запрещенною свободною торговлей.

Смущение крестьянок продолжалось недолго. Поезд останавливался. Прибывали остальные пассажиры. Публика перемешивалась. Закипала торговля.

Антонина Александровна производила обход торговок, перекинув через плечо полотенце с таким видом, точно шла на станционные задворки умыться снегом. Ее уже несколько раз окликнули из ряда:

— Эй, эй, городская, что просишь за ширинку?

Но Антонина Александровна, не останавливаясь, шла с мужем дальше.

В конце ряда стояла женщина в черном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой. Ее дерзкие глаза разгорелись. Она поглядела по бокам, удостоверилась, что опасность не грозит ниоткуда, быстро подошла вплотную к Антонине Александровне и, откинув попонку со своего товара, прошептала горячей скороговоркой:

— Эвона что. Небось такого не видала? Не соблазнишься? Ну, долго не думай — отымут. Отдай полотенце за полоток.

Антонина Александровна не разобрала последнего слова. Ей подумалось, что речь о каком-то платке. Она переспросила:

— Ты что, голубушка?

Полотком крестьянка назвала ползайца, разрубленного пополам и целиком зажаренного от головы до хвоста, которого она держала в руках. Она повторила:

— Отдай, говорю, полотенце за полоток. Ты что глядишь? Чай, не собачина. Муж у меня охотник. Заяц это, заяц.

Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу, вдаль уводившей стежке.

В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха:

— Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!

— Это какой же?

— Вон, голомордый, идет, смеется.

— Это который драный локоть?

— Ну да, ну да. Держи его, басурмана!

— Это который на рукаве заплатка?

— Нуда, нуда. Ай, батюшки, ограбили!

— ЧТ;0 тут попритчилось?

— Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьють. Вот, плачет, убивается.

— Нельзя этого так оставить. Поймать надо.

— Поди поймай. Весь в ремнях и патронах. Он тебе поймает.

10

В четырнадцатой теплушке следовало несколько набранных в трудармию. Их стерег конвойный Воронюк. Из них по разным причинам выделялись трое. Это были: бывший кассир петроградской казенной винной лавки Прохор Харитонович Притульев, кастер, как его звали в теплушке, шестнадцатилетний Вася Брыкин, мальчик из скобяной лавки, и седой революционер-кооператор Костоед-Амурский, перебывавший на всех каторгах старого времени и открывший новый ряд их в новое время.

Все эти завербованные были люди друг другу чужие, нахватанные с бору да с сосенки и постепенно знакомившиеся друг с Другом только в дороге. Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Притульев и торговый ученик Вася Брыкин — земляки, оба — вятские и, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени.

Мещанин города Малмыжа Притульев был приземистый, стриженный бобриком, рябой, безобразный мужчина. Серый, до черноты пропотевший под мышками китель плотно облегал его, как охватывает мясистый бюст женщины надставка сарафана. Он был молчалив, как истукан, и, часами о чем-то задумываясь, расковыривал до крови бородавки на своих веснушчатых руках, так что они начинали гноиться.

Год тому назад он как-то шел осенью по Невскому и на углу Литейного угодил в уличную облаву. У него спросили документы. Он оказался держателем продовольственной карточки четвертой категории, установленной для нетрудового элемента и по которой никогда ничего не выдавали. Его задержали по этому признаку и вместе со многими, остановленными на улице на том же основании, отправили под стражею в казармы. Собранную таким образом партию, по примеру ранее составленной, рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули и через Москву направили на Восточный фронт.

У Притульева была жена в Луге, где он работал в предвоенные годы, до своей службы в Петербурге. Стороной узнав о его несчастии, жена кинулась разыскивать его в Вологду, чтобы вызволить из трудармии. Но пути отряда разошлись с ее розысками. Ее труды пропали даром. Все перепуталось.

В Петербурге Притульев проживал с сожительницей Пела-геей Ниловной Тягуновой. Его остановили на перекрестке Невского как раз в ту минуту, когда он простился с нею на углу, собравшись идти по делу в другую сторону, и среди мелькавших по Литейному пешеходов видел еще вдалеке ее спину, вскоре скрывшуюся.

Эта Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с красивыми руками и толстою косою, которую она с глубокими вздохами перебрасывала то через одно, то через другое плечо себе на грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне.

Непонятно было, что хорошего находили в таком идоле, как Притульев, липнувшие к нему женщины. Кроме Тягуновой, в другой теплушке эшелона, несколькими вагонами ближе к паровозу, ехала неведомо как очутившаяся в поезде другая знакомая Притульева, белобрысая и худая девица Огрызкова, «ноздря» и «спрынцовка», как, наряду с другими оскорбительными кличками, бранно называла ее Тягунова.

Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. Огрызкова никогда не показывалась в теплушке. Было загадкою, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания. Может быть, она довольствовалась его лицезрением издали на общих погрузках дров и угля силами всех едущих.

11

История Васи была иная. Его отца убили на войне. Мать послала Васю из деревни в учение к дяде в Питер.

Зимой дядю, владельца скобяной лавки в Апраксином дворе, вызвали для объяснений в Совет. Он ошибся дверью и вместо комнаты, указанной в повестке, попал в другую, соседнюю. Случайно это была приемная комиссии по трудовой повинности. В ней было очень людно. Когда народу, явившегося в этот отдел по вызову, набралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать в Семеновские казармы, а утром препроводили на вокзал для погрузки в вологодский поезд.

Весть о задержании такого большого числа жителей распространилась в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю и Вася с теткой.

На вокзале дядя стал просить часового выпустить его на минуту за решетку к жене. Часовым этим был ныне сопровождавший группу в четырнадцатой теплушке Воронюк. Без верного ручательства, что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дядя с тетей предложили оставить под стражей племянника. Воронюк согласился. Васю ввели в ограду, дядю из нее вывели. Больше дядя с тетей не возвращались.

Когда подлог обнаружился, не подозревавший обмана Вася заплакал. Он валялся в ногах у Воронюка и целовал ему руки, умоляя освободить его, но ничего не помогало. Конвойный был неумолим не по жестокости характера. Время было тревожное, порядки суровые. Конвойный жизнью отвечал за численность вверенных ему сопровождаемых, установленную перекличкой. Так Вася и попал в трудармию.

Кооператор Костоед-Амурский, пользовавшийся уважением всех тюремщиков при царском и нынешнем правительстве и всегда сходившийся с ними на короткую ногу, не раз обращал внимание начальника конвоя на нетерпимое положение с Васей. Тот признавал, что это действительно вопиющее недоразумение, но говорил, что формальные затруднения не позволяют касаться этой путаницы в дороге и он надеется распутать ее на месте.

Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских рынд и Божьих ангелов. Он был на редкость чист и неиспорчен. Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову, слушать, что они говорят или рассказывают. Тогда по игре его лицевых мускулов, которыми он сдерживал готовые хлынуть слезы или боролся с душившим его смехом, можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, как в зеркале.

12

Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал заячью лопатку, которой его угощали. Он боялся сквозняков и простуды. «Как тянет! Откуда это?» — спрашивал он, и все пересаживался, ища защищенного места. Наконец он уселся так, чтоб на него не дуло, сказал: «Теперь хорошо», — доглодал лопатку, облизал пальцы, обтер их носовым платком и, поблагодарив хозяев, заметил:

— Это у вас из окна. Необходимо заделать. Однако вернемся к предмету спора. Вы неправы, доктор. Жареный заяц — вещь великолепная. Но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере смело, это скачок весьма рискованный.

— Ах, оставьте, — возражал Юрий Андреевич. — Посмотрите на эти станции. Деревья не спилены. Заборы целы. А эти рынки! Эти бабы! Подумайте, какое удовлетворение! Где-то есть жизнь. Кто-то рад. Не все стонут. Этим все оправдано.

— Хорошо, кабы так. Но ведь это неверно. Откуда вы это взяли? Отъезжайте на сто верст в сторону от полотна. Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами.

Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете и, сколько вижу, и знать не хотите.

— А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы! Зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мной и навязывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если и это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить, кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный.

Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом, придвинулся к краю полатей и, свесив голову, стал смотреть, что делается внизу.

Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тягуновой и Васей. Ввиду приближения родных мест Притульев припоминал способ сообщения с ними, до какой станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях, а Вася при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал с горящими глазами и восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой.

— На Сухом броде слезаете? — захлебываясь, переспрашивал он. — Ну как же! Наш разъезд! Наша станция! А потом небось берете на Буйское?

— Потом — Буйским проселком.

— Я и то говорю — Буйским. Село Буйское! Как не знать! Наш поворот. Оттеда пойдет к нам все вправо, вправо. К Веретенникам. А к вам, дядя Харитоныч, видать, влево, прочь от реки? Реку Пел гу слыхали? Ну как же! Наша река. А к нам будет берегом, берегом. И на этой самой реке, на реке Пелге повыше, наши Веретенники, наша деревня. На самом яру. Берег кру-у-той! По-нашему — залавок. Станешь наверху, страшно вниз взглянуть, такая круть. Как бы не свалиться. Ей-богу правда. Камень ломают. Жернова. И в тех Веретенниках маменька моя. И две сестренки. Сестра Аленка. И Аришка сестра. Маменька моя, тетя Палаша, Пелагея Ниловна, вроде сказать, как вы, молодая, белая. Дядя Воронюк! Дядя Воронюк! Христом Богом молю вас... Дядя Воронюк!

— Ну шо? Шо ты задолбыв, як зозуля: «Дядя Воронюк, дядя Воронюк»? Хиба я не знаю, шо я не тетя? Шо ты хочешь, шо тоби треба? Шоб я пустив тебе тикать? Шо ты, сказывсь? Ты дашь винта, а мни за то будет аминь, стенка?

Пелагея Тягунова рассеянно глядела куда-то вдаль, в сторону, и молчала. Она гладила Васю по голове и, о чем-то думая, перебирала его русые волосы. Изредка она наклонениями головы, глазами и улыбками делала мальчику знаки, смысл которых был таков, чтобы он не глупил и вслух при всех не заговаривал с Воронюком о таких вещах. Дай, мол, срок, все устроится само собой, будь покоен.

13

Когда от среднерусской полосы удалились на восток, посыпались неожиданности. Стали пересекать неспокойные местности, области хозяйничанья вооруженных банд, места недавно усмиренных восстаний.

Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов.

Однажды поезд застрял где-то ночью. В вагоны не заглядывали, никого не подымали. Полюбопытствовав, не случилось ли несчастья, Юрий Андреевич спрыгнул вниз с теплушки.

Была темная ночь. Поезд без видимой причины стоял на какой-то случайной версте обыкновенного, обсаженного ельником полевого перегона. Соскочившие ранее Юрия Андреевича соседи, топтавшиеся перед теплушкой, сообщили, что, по их сведениям, ничего не случилось, а, кажется, машинист сам остановил поезд под тем предлогом, что данная местность — угрожаемая, и пока исправность перегона не будет удостоверена на дрезине, отказывается вести состав дальше. Представители пассажиров, говорят, отправились его упрашивать и, в случае необходимости, подмазать. По слухам, в дело вмешались матросы. Эти уломают.

Пока это объясняли Юрию Андреевичу, снежная гладь впереди полотна возле паровоза, словно дышащим отблеском костра, озарялась огненными вспышками из трубы и подтопоч-ного зольника паровоза. Вдруг один из таких языков ярко осветил кусок снежного поля, паровоз и несколько пробежавших по краю паровозной рамы черных фигур.

Впереди промелькнул, видимо, машинист. Добежав до конца мостков, он подпрыгнул вверх и, перелетев через буферный брус, скрылся из виду. Те же движения проделали гнавшиеся за ним матросы. Они тоже пробежали до конца решетки, прыгнули, мелькнули в воздухе и провалились как сквозь землю.

Привлеченный виденным, Юрий Андреевич вместе с несколькими любопытными прошел вперед к паровозу.

В свободной, открывшейся перед поездом части пути им представилось следующее зрелище. В стороне от полотна в цельном снегу торчал до половины провалившийся машинист. Как загонщики — зверя, его полукругом обступали так же, как он, по пояс застрявшие в снегу матросы.

Машинист кричал:

— Спасибо, буревестнички! Дожил! С наганом на своего брата, рабочего! Зачем я сказал, состав дальше не пойдет. Товарищи пассажиры, будьте свидетели, какая это сторона. Кто хочет шляется, отвинчивают гайки. Я, мать вашу пополам с бабушкой, об чем, мне что? Я, сифон вам под ребра, не об себе, об вас, чтоб вам чего не сделалось. И вот мне что за мое попечение. Ну что ж, стреляй меня, минная рота! Товарищи пассажиры, будьте свидетели, вот он я, не хоронюсь.

Из кучки на железнодорожной насыпи слышались разнообразные голоса. Одни восклицали оторопело:

— Да что ты?.. Опомнись... Да нешто... Да кто им даст?.. Это они так... Для острастки...

Другие громко подзадоривали:

— Так их, гаврилка! Не сдавай, паровая тяга!

Матрос, первым высвободившийся из снега и оказавшийся рыжим великаном с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом, с украинизмами, как Воронюк, сказал несколько слов, смешных своим совершенным спокойствием в необычайной ночной обстановке:

— Звиняюсь, шо це за гормидор? Як бы вы не занедужили на витру, громадяне. Ать с холоду до вагонив!

Когда начавшая разбредаться толпа постепенно разошлась по теплушкам, рыжий матрос приблизился к машинисту, который еще не совсем пришел в себя, и сказал:

— Фатит катать истерику, товарищ механик. Вылазть з ямы. Даешь поихалы.

14

На другой день на тихом ходу с поминутными замедлениями, опасаясь схода со слегка завеянных метелью и неразметенных рельс, поезд остановился на покинутом жизнью пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции. На ее закоптелом фасаде можно было различить надпись «Нижний Кельмес».

Не только железнодорожное здание хранило следы пожара. Позади за станцией виднелось опустелое и засыпанное снегом селение, видимо разделившее со станцией ее печальную участь.

Крайний дом в селении был обуглен, в соседнем несколько бревен было подшиблено с угла и повернуто торцами внутрь, всюду на улице валялись обломки саней, поваленных заборов, рваного железа, битой домашней утвари. Перепачканный гарью и копотью снег чернел насквозь выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со вмерзшими головешками, следами огня и его тушения.

Безлюдие в селении и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души.

— Всей слободой горели? — участливо спрашивал соскочивший на перрон начальник поезда, когда из-за развалин навстречу вышел начальник станции.

— Здравствуйте. С благополучным прибытием. Гореть горели, да дело похуже пожара будет.

— Не понимаю.

— Лучше не вникать.

— Неужели Стрельников?

— Он самый.

— В чем же вы провинились?

— Да не мы. Дорога сбоку припеку. Соседи. Нам заодно досталось. Видите, селение в глубине? Вот виновники. Село Нижний Кельмес Усть-Немдинской волости. Все из-за них.

— А те что?

—Да без малого все семь смертных грехов. Разогнали у себя комитет бедноты, это вам раз; воспротивились декрету о поставке лошадей в Красную армию, а заметьте, поголовно татары — лошадники, это два; и не подчинились приказу о мобилизации, это — три, как видите.

— Так, так. Тогда все понятно. И за это получили из артиллерии?

— Вот именно.

— С бронепоезда?

— Разумеется.

— Прискорбно. Достойно сожаления. Впрочем, это не нашего ума дело.

— Притом дело минувшее. Новым мне нечем вас порадовать. Сутки-другие у нас простоите.

— Бросьте шутки. У меня — не что-нибудь: маршевые пополнения на фронт. Я привык — чтоб без простоя.

— Да какие тут шутки. Снежный занос, сами видите. Неделю буран свирепствовал по всему перегону. Замело. А разгребать некому. Половина села разбежалась. Ставлю остальных, не справляются.

— Ах, чтоб вам пусто было! Пропал, пропал! Ну что теперь делать?

— Как-нибудь расчистим, поедете.

— Большие завалы?

— Нельзя сказать, чтобы очень. Полосами. Буран косяком шел, под углом к полотну. Самый трудный участок в середине. Три километра выемки. Тут действительно промучаемся. Место основательно забито. А дальше ничего, тайга, — лес предохранил. Также до выемки, открытая полоса, не страшно. Ветром передувало.

— Ах, чтоб вас черт побрал. Что за наваждение! Я поезд поставлю на ноги, пусть помогают.

— Я и сам так думал.

— Только матросов не трогайте и красногвардейцев. Целый эшелон трудармии. Вместе с вольноедущими человек до семисот.

— Более чем достаточно. Вот только лопаты привезут, и поставим. Нехватка лопат. В соседние деревни послали. Раздобудемся.

— Вот беда, ей-богу! Думаете, осилим?

— А как же. Навалом, говорится, города берут. Железная дорога. Артерия. Помилуйте.

15

Расчистка пути заняла трое суток. Все Живаго, до Нюши включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки.

В местности было что-то замкнутое, недосказанное. От нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина, азиатчиной Аксаковских описаний.

Таинственность уголка довершали разрушения и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы, избегали пассажиров с поезда и не сообщались друг с другом из боязни доносов.

На работы водили по категориям, не все роды публики одновременно. Территорию работ оцепляли охраной.

Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными, в разных местах расставленными бригадами. Между освобождаемыми участками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отгораживавшие соседние группы друг от друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту, по завершении расчистки на всем требующемся протяжении.

Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами, не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие.

Место, куда ходил и копать Живаго, было открытое, живописное. Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а потом шла волнообразным подъемом до самого горизонта.

На горе стоял одинокий, отовсюду открытый дом. Его окружал сад, летом, вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавший здания своей узорной, заиндевелой редизной.

Снеговая пелена все выравнивала и закругляла. Но судя по главным неровностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной, наверное, сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извилистому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок.

Жил ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волостным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними сталось? Скрылись ли они за границу? Погибли ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами?

Пощадил ли их Стрельников, если они оставались тут до последнего времени, или их вместе с кулаками затронула его расправа?

Дом дразнил с горы любопытство и печально отмалчивался. Но вопросов тогда не задавали и никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками взрезала лопата его поверхность! Какими сухими, алмазными искрами рассыпался он на срезах! Как напоминало это дни далекого детства, когда в светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в курчавую, черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах как вкусно было тогда жить на свете, какое все кругом было заглядение и объеденье!

Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытности. И не без причины. Вечерами работающих оделяли горячим сеяным хлебом свежей выпечки, который неведомо откуда привозили неизвестно по какому наряду. Хлеб был с обливной, лопающейся по бокам вкусною горбушкой и толстой, великолепно пропеченной нижней коркой со влекшимися в нее маленькими угольками.

16

Развалины станции полюбили, как можно привязаться к кратковременному пристанищу в экскурсии по снеговым горам. Запомнилось ее расположение, внешний облик постройки, особенности некоторых повреждений.

На станцию возвращались вечерами, когда садилось солнце. Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем месте, за старою березой, росшей у самого окна перед дежурной комнатой телеграфиста.

Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения, против уцелевшего окна. Там все сохранилось: обои кофейного цвета, изразцовая печь с круглою отдушиной под медной крышкой на цепочке, и опись инвентаря в черной рамке на стене.

Опустившись до земли, солнце, точь-в-точь как до несчастия, дотягивалось до печных изразцов, зажигало коричневым жаром кофейные обои и вешало на стену, как женскую шаль, тень березовых ветвей.

В другой части здания имелась заколоченная дверь в приемный покой с надписью такого содержания, сделанной, вероятно, в первые дни февральской революции или незадолго до нее:

«Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу старший фельдшер Усть-Немды такой-то».

Когда отгребли последний снег, буфами остававшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровный, стрелою вдаль разлетевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого снега, окаймленные во всю длину двумя стенами черного бора.

Насколько хватал глаз, в разных местах на рельсах стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз увидали друг друга в полном сборе и удивились своему множеству.

17

Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдаль, обменялись двумя-тремя замечаниями и повернули назад к своей теплушке.

На обратном пути они услышали злые, надсаженные выкрики двух бранящихся женщин. Они в них тотчас узнали голоса Огрызковой и Тягуновой. Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женою, от головы к хвосту поезда, но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции, между тем как Юрий Андреевич и Антонина Александровна шагали по задней, лесной стороне. Между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадали в близость к доктору и Антонине Александровне, а намного обгоняли их или сильно отставали.

Обе они были в большом волнении. Им поминутно изменяли силы. Вероятно, на ходу у них проваливались в снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности походки то подскакивали до крика, то спадали до шепота. Видимо, Тягунова гналась за Огрызковой и, настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыни звучала во сто раз бесстыднее грубой и немузыкальной мужской брани.

— Ах ты шлюха, ах ты задрёпа, — кричала Тягунова. — Шагу ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупни-чает! Мало тебе, суке, колпака моего, раззевалась на детскую душеньку, распустила хвост, малолетнего ей надо испортить.

— А ты, знать, и Васеньке законная?

— Я те покажу законную, хайло, зараза! Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха!

— Но, но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо?

— А надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!

— Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхатела, ежом разродилась... Караул, караул, люди добрые! Ай, убьет меня до смерти лиходейка-пагуба. Ай, спасите девушку, заступитесь за сироту...

— Пойдем скорее. Не могу этого слышать, так противно, — стала торопить мужа Антонина Александровна. — Не кончится это добром.

18

Вдруг все изменилось, места и погода. Равнина кончилась, дорога пошла между гор — холмами и возвышенностями. Прекратился северный ветер, дувший все последнее время. С юга, как из печки, пахнуло теплом.

Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся с середины отлогим спуском. Поезд кряхтя вползал в чащу и еле тащился по ней, точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и все замечавших.

Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстегнутых воротников.

На Юрия Андреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, спал, просыпался, размышлял и прислушивался. Но слушать пока еще было нечего.

19

Пока отсыпался Юрий Андреевич, весна плавила и перетапливала всю ту уйму снега, которая выпала в Москве в день отъезда и продолжала падать всю дорогу; весь тот снег, который они трое суток рыли и раскапывали в Усть-Немде и который необозримыми и толстыми пластами лежал на тысячеверстных пространствах.

Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно долее скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось.

Воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаща наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяною пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая бело-бурая пена, как пивная пена на губах у пьющих.

Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли последние куски пробитой черной ледяной брони.

Юрий Андреевич проснулся, подтянулся к квадратному оконному люку, из которого вынули раму, подперся локтем и стал слушать.

20

С приближением к горнозаводскому краю местность стала населеннее, перегоны короче, станции чаще. Едущие сменялись не так редко. Больше народу садилось и выходило на небольших промежуточных остановках. Люди, совершавшие переезды на более короткие расстояния, не обосновывались надолго и не заваливались спать, а примащивались ночью где-нибудь у дверей в середине теплушки, толковали между собой вполголоса о местных, только им понятных делах и высаживались на следующем разъезде или полустанке.

Из обмолвок здешней публики, чередовавшейся в теплушке последние три дня, Юрий Андреевич вывел заключение, что на севере белые берут перевес и захватили или собираются взять Юрятин. Кроме того, если его не обманывал слух и это не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому госпиталю, силами белых в этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу Галиуллин.

Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся.

21

Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувства счастья, которое было так сильно, что разбудило его. Поезд стоял на какой-то ночной остановке. Станцию обступал стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством шири и открытости места. Оно подсказывало, что разъезд расположен на высоте с широким и свободным кругозором.

По платформе, негромко разговаривая, проходили мимо теплушки неслышно ступающие тени. Это тоже умилило Юрия Андреевича. Он усмотрел в осторожности шагов и голосов уважение к ночному часу и заботу о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны.

Доктор ошибался. На платформе галдели и громыхали сапогами, как везде. Но в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веяньем свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины.

Не разгадав его присутствия, но усыпленный неведомой упругостью здешнего воздуха, доктор снова крепко заснул.

Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого:

— Ну как, угомонили своих? Доломали хвосты им?

— Это лавочников, что ли?

— Нуда, лабазников.

— Утихомирили. Как шелковые. Из которых для примеру вышибли дух, ну остальные и присмирели. Забрали контрибуцию.

— Много сняли с волости?

— Сорок тысяч.

— Врешь!

— Зачем мне врать?

— Ядрена репа, сорок тысяч!

— Сорок тысяч пудов.

— Ну, бей вас кобыла задом, молодцы! Молодцы!

— Сорок тысяч мелкого помола.

— А положим какое диво. Места — первый сорт. Самая мучная торговля. Тут по Рыньве пойдет теперь вверх к Юрятину, село к селу, пристаня', ссыпные пункты. Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями, оптовик на оптовике!

— Тише ори. Народ разбудишь.

— Ладно.

Говоривший зевнул. Другой предложил:

— Залечь подремать, что ли? Похоже, поедем.

В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный шум, перекрывший грохот водопада, и по второму пути разъезда мимо стоящего без движения эшелона промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца, отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди.

Разговор внизу возобновился.

— Ну, теперь шабаш. Настоимся.

— Теперь не скоро.

— Надо быть, Стрельников. Броневой особого назначения.

— Стало быть, он.

— Насчет контры это зверь.

— Это он на Галеева побежал.

— Это на какого же?

— Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом заслоном у Юрятина. Забрал, ядрена репа, под себя пристаня и держит. Атаман Галеев.

— А може, князь Галилеев. Запамятовал.

— Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан. Перепутал ты.

— Може, и Курбан.

— Это другое дело.

22

Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз. Опять ему снилось что-то приятное. Чувство блаженства и освобождения, преисполнявшее его, не прекращалось. Опять поезд стоял, может статься на новом полустанке, а может быть и на старом. Опять шумел водопад, скорее всего тот же самый, а возможно и другой.

Юрий Андреевич тут же стал засыпать, и сквозь дрему ему мерещились беготня и суматоха. Костоед сцепился с начальником конвоя, и оба кричали друг на друга. Наружи стало еще лучше, чем было. Веяло чем-то новым, чего не было прежде. Чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые, тающие хлопья, упав на землю, не убеляют ее, а

делают еще чернее. Чем-то прозрачным, черняво-белым, пахучим. «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич во сне.

23

Утром Антонина Александровна говорила:

— Удивительный ты все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и до утра глаз не сомкнешь, а тут шум, споры, переполох, а тебя не добудиться. Ночью бежали кассир Притульев и Вася Брыкин. Да, подумай! И Тягунова и Огрызкова. Погоди, это еще не все. И Воронюк. Да, да, бежал, бежал. Да, представь себе. Теперь слушай. Как они скрылись, вместе или врозь, и в каком порядке — абсолютная загадка. Ну, допустим, Воронюк, этот, естественно, решил спастись от ответственности, обнаружив побег остальных. А остальные? Все ли именно исчезли по доброй воле, или кто-нибудь устранен насильственно? Например, подозрение падает на женщин. Но кто кого убил, Тягунова ли Огрызкову или Огрызкова Тягунову, никому не известно. Начальник конвоя бегает с одного конца поезда на другой. «Как вы смеете, — кричит, — давать свисток к отправлению. Именем закона требую задержать эшелон до поимки бежавших». А начальник эшелона не сдается. «Вы с ума, говорит, сошли. У меня маршевые пополнения на фронт, срочная первоочередность. Дожидаться вашей вшивой команды! Ишь что выдумали!» И оба, понимаешь, с упреками на Костоеда. Как это он, кооператор, человек с понятиями, был тут рядом и не удержал солдата, темное, несознательное существо, от рокового шага. «А еще народник», — говорят. Ну, Костоед, конечно, в долгу не остается. «Интересно! — говорит. — Значит, по-вашему, за конвойным арестант должен смотреть? Вот уж действительно когда курица петухом запела». Я тебя и в бок, и за плечо. «Юра, — кричу, — вставай, побег!» Какое! Из пушки не добудиться... Но прости, об этом потом. А пока... Не могу!.. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть!

Перед отверстием окна, у которого, вытянув головы, они лежали, раскинулась местность, без конца и краю затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода ее бокового рукава подступила близко к насыпи. В укорочении, получившемся при взгляде с высоты полатей, казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде.

Ее гладь в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стряпуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога.

В этой заводи, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями уходившие на дно.

Где-то в середине этой заводи виднелась узкая полоска земли с двойными, вверх и вниз между небом и землей висевшими деревьями.

— Утки! Выводок! — вскрикнул Александр Александрович, глядя в ту сторону.

— Где?

— У острова. Не туда смотришь. Правее, правее. Эх, черт, полетели, спугнули.

— Ах да, вижу. Мне надо будет кое о чем поговорить с вами, Александр Александрович. Как-нибудь в другой раз. А наши трудармейцы и дамы молодцы, что удрали. И, я думаю, — мирно, никому не сделавши зла. Просто бежали, как вода бежит.

24

Кончалась северная белая ночь. Все было видно, но стояло словно не веря себе, как сочиненное: гора, рощица и обрыв.

Рощица едва зазеленела. В ней цвело несколько кустов черемухи. Роща росла под отвесом горы, на неширокой, так же обрывавшейся поодаль площадке.

Невдалеке был водопад. Он был виден не отовсюду, а только по ту сторону рощицы, с края обрыва. Вася устал ходить туда глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение.

Водопаду не было кругом ничего равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность.

В полувысоте падения водопад обрушивался на выдавшийся зубец утеса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращалось еле уловимое движение из стороны в сторону, точно водопад все время поскальзывался и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся и, сколько ни пошатывался, все время оставался на ногах.

Вася, подостлав кожух, лежал на опушке рощи. Когда рассвет стал заметнее, с горы слетела вниз большая, тяжелокрылая птица, плавным кругом облетела рощу и села на вершину пихты возле места, где лежал Вася. Он поднял голову, посмотрел на синее горло и серо-голубую грудь сизоворонки и зачарованно прошептал вслух: «Роньжа», ее уральское имя. Потом он встал, поднял с земли кожух, накинул его на себя и, перейдя полянку, подошел к своей спутнице. Он сказал:

— Пойдемте, тетя. Ишь озябли, зуб на зуб не попадает. Ну что вы глядите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо итить. Войдите в положение, к деревням надо держать. В деревне своих не обидят, схоронют. Эдаким манером, два дни не евши, мы с голоду помрем. Небось дядя Воронюк какой содом поднял, кинулись искать. Уходить нам надо, тетя Палаша, просто скажем, драть. Беда мне с вами, тетя, хушь бы вы слово сказали за цельные сутки! Это вы с тоски без языка, ей-богу. Ну об чем вы тужите? Тетю Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона, задели бочком, я сам видал. Встала она потом с травы целехонька, встала и побежала. И то же самое дядя Прохор, Прохор Харитоныч. Догонют они нас, все опять вместе будем, вы что думаете? Главная вещь, не надо себя кручинить, тогда и язык у вас в действие произойдет.

Тягунова поднялась с земли и, подав руку Васе, тихо сказала:

— Пойдем, касатик.

25

Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи. Под ней рос молодой мешаный лес, вершинами не достигавший ее уровня. Внизу были луга, с которых недавно сошла вода.

Трава, перемешанная с песком, была покрыта шпальными бревнами, в беспорядке лежавшими в разных направлениях. Вероятно, их заготовили для сплава на какой-нибудь ближней деляне, откуда их смыло и принесло сюда полою водой.

Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой. Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок, вроде грязи или припухлости, и этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь, зеленым пламенем листвы охватившая первые распустившиеся в лесу деревья.

Там и сям мученически прямились березы, пронзенные зубчиками и стрелами парных раскрывшихся листиков. Чем они пахли, можно было определить на глаз. Они пахли тем же, чем блистали. Они пахли древесными спиртами, на которых варят лаки.

Скоро дорога поравнялась с местом, откуда могли быть смытые бревна. На повороте в лесу показалась прогалина, засыпанная дровяной трухой и щепками, с кучей бревен тройника посредине. У лесосеки машинист затормозил. Поезд дрогнул и

остановился в том положении, какое он принял, легко наклонившись на высокой дуге большого закругления.

С паровоза дали несколько коротких лающих свистков и что-то прокричали. Пассажиры и без сигналов знали: машинист остановил поезд, чтобы запастись топливом.

Дверцы теплушек раздвинулись. На полотно высыпало доброе население небольшого города, кроме мобилизованных из передних вагонов, которые всегда освобождались от авральной работы и сейчас не приняли в ней участия.

Груды швырка на прогалине не могло хватить для загрузки тендера. В придачу требовалось распилить некоторое количество длинного тройника.

В хозяйстве паровозной бригады имелись пилы. Их распределили между желающими, разбившимися на пары. Получили пилу и профессор с зятем.

Из воинских теплушек в раздвинутые дверцы высовывались веселые рожи. Не бывавшие в огне подростки, старшие ученики мореходных классов, казалось, по ошибке затесавшиеся в вагон к суровым семейным рабочим, тоже не нюхавшим пороху и едва прошедшим военную подготовку, нарочно шумели и дурачились вместе с более взрослыми матросами, чтобы не задумываться. Все чувствовали, что час испытания близок.

Шутники провожали пильщиков и пильщиц раскатистым зубоскальством:

— Эй, дедушка! Скажи, — я грудной, меня мамка не отлучила, я к физическому труду неспособный. — Эй, Мавра! Мот-ри пилой подола не отпили, продувать будет. — Эй, молодая! Не ходи в лес, лучше поди за меня замуж.

26

В лесу торчало несколько козел, сделанных из связанных крест-накрест кольев, концами вбитых в землю. Одни оказались свободными. Юрий Андреевич и Александр Александрович расположились пилить на них.

Это была та пора весны, когда земля выходит из-под снега почти в том виде, в каком полгода тому назад она ушла под снег. Лес обдавал сыростью и весь был завален прошлогодним листом, как неубранная комната, в которой рвали на клочки квитанции, письма и повестки за много лет жизни и не успели подмести.

— Не так часто, устанете, — говорил доктор Александру Александровичу, направляя движение пилы реже и размереннее, и предложил отдохнуть.

По лесу разносился хриплый звон других пил, ходивших взад и вперед то в лад у всех, то вразнобой. Где-то далеко-далеко пробовал силы первый соловей. С еще более долгими перерывами свистал, точно продувая засоренную флейту, черный дрозд. Даже пар из паровозного клапана подымался к небу с певучей воркотнёю, словно это было молоко, закипающее в детской на спиртовке.

— Ты о чем-то хотел побеседовать, — напомнил Александр Александрович. — Ты не забыл? Дело было так: мы разлив проезжали, утки летели, ты задумался и сказал: «Мне надо будет поговорить с вами».

— Ах да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, мы все больше углубляемся... Тут весь край в брожении. Мы скоро приедем. Неизвестно, что мы застанем у цели. На всякий случай надо бы сговориться. Я не об убеждениях. Было бы нелепостью выяснять или устанавливать их в пятиминутной беседе в весеннем лесу. Мы знаем друг друга хорошо. Мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга только степенью его постижения. Я не об этом. Это азбука. Я о другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга и не накладывать друг на друга пятна позора.

— Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса. Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой в метель. Помнишь, как это было неслыханно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне поверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают.

Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы. Каковы климатические условия? Слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь?

Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить «за семь верст киселя хлебать», потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозябать по современному и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря. Не к восстановлению его собственности, а к ее расточению, к обобществленному просаживанию тысяч, чтобы просуществовать на копейку, и непременно как все, в современной, не укладывающейся в сознании, хаотической форме. Озолоти меня, я на старых началах не приму завода даже в подарок. Это было бы так же дико, как начать бегать голышом или перезабыть грамоту. Нет, история собственности в России кончилась. А лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении.

27

Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха. Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке.

Он осторожно спустился с края полатей и тихонько, чтобы никого не будить, приотодвинул вагонную дверь.

В лицо ему пахнуло сыростью, липкой, как когда в погребе лицом попадешь в паутину. «Туман, — догадался он. — Туман. День, наверное, будет знойный, палящий. Вот почему так трудно дышать и на душе такая давящая тяжесть».

Перед тем как сойти на полотно, доктор постоял в дверях, вслушиваясь кругом.

Поезд стоял на какой-то очень большой станции, разряда узловых. Кроме тишины и тумана, вагоны были погружены еще в какое-то небытие и заброшенность, точно о них забыли, — знак того, что состав стоял на самых задворках и что между ним и далеким вокзальным зданием было большое расстояние, занятое бесконечною сетью путей.

Два рода звуков слабо раздавались в отдалении.

Сзади, откуда они приехали, слышалось мерное шлепанье, словно там полоскали белье или ветер щелкал о древко флагштока мокрым полотнищем флага.

Спереди доносился рокот, заставивший доктора, побывавшего на войне, вздрогнуть и напречь слух.

«Дальнобойные орудия», — решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой, сдержанной ноте.

«Вот как. К самому фронту подъехали», — подумал доктор, покачал головой и спрыгнул с вагона вниз на землю.

Он прошел несколько шагов вперед. За двумя следующими вагонами поезд обрывался. Состав стоял без паровоза, который куда-то ушел вместе с отцепленными передними вагонами.

«То-то они вчера храбрились, — подумал доктор. — Чувствовали, видно, что лишь довезут их, с места бросят в самый огонь».

Он обошел конец поезда в намерении пересечь пути и разыскать дорогу на станцию. За углом вагона как из-под земли вырос часовой с ружьем. Он негромко отрезал:

— Куда? Пропуск!

— Какая это станция?

— Станция никакая. Сам ты кто такой?

— Я доктор из Москвы. Следую с семьей в этом эшелоне. Вот мой документ.

— Лыковое кульё твой документ. Дурак я впотьмах бумажки читать, глаза портить. Видишь, туман. Тебя без документа за версту видно, какой ты есть доктор. Вон доктора твои из двенадцатидюймовых содют. По-настоящему стукнуть бы тебя, да рано. Марш назад, пока цел.

«Меня за кого-то принимают», — подумал доктор. Вступать в пререкания с часовым было бессмысленно. Лучше правда было удалиться, пока не поздно. Доктор повернул в противоположную сторону.

Орудийная стрельба смолкла за его спиной. В том направлении был восток. Там в дымке тумана взошло солнце и тускло проглядывало между обрывками проплывающей мглы, как мелькают голые в бане в облаках мыльного пара.

Доктор шел вдоль вагонов поезда. Он миновал их все и продолжал идти дальше. Ноги его с каждым шагом уходили все глубже в рыхлый песок.

Звуки равномерного шлепанья приближались. Местность отлого спускалась. Через несколько шагов доктор остановился перед неясными очертаниями, которым туман придавал несоответственно большие размеры. Еще шаг, и навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые выступы вытащенных на берег лодок. Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавшей ленивой зыбью в борта рыбачьих баркасов и доски береговых причальных мостков.

— Тебе кто тут позволил шляться? — спросил, отделившись от берега, другой часовой.

— Какая это река? — против воли выпалил доктор, хотя всеми силами души не хотел ничего спрашивать после недавнего опыта.

Вместо ответа часовой сунул в зубы свисток, но не успел им воспользоваться. Первый часовой, которого он хотел подозвать свистком и который, как оказалось, незаметно шел по пятам за Юрием Андреевичем, сам подошел к товарищу. Оба заговорили.

— Тут и думать нечего. Видно птицу по полету. «Это какая станция, это какая река?» Чем вздумал глаза отводить. По-твоему как, прямо на мысок или вперед в вагон?

— Я полагаю, в вагон. Как начальник скажет. — Удостоверение личности, — рявкнул второй часовой и схватил в горсть пачку протянутых доктором свидетельств.

— Постереги, земляк, — неизвестно кому сказал он и вместе с первым часовым пошел в глубь путей к станции.

Тогда для уяснения положения крякнул и задвигался лежавший на песке человек, видимо, рыбак:

— Твое счастье, что они тебя к самому хотят. Может, милый человек, тут твое спасение. А только ты их не вини. Такая у них должность. Время народное. Может, оно и к лучшему. А пока и не говори. Они, видишь, обознались. Они лавят, лавят одного. Ну, думают, — ты. Думают, вот он, злодей рабочей власти, — поймали. Ошибка. Ты, в случае чего, добивайся главного. А этим не давайся. Эти — сознательные, беда, не приведи Бог. Порешить тебя — это им полкопейки не стоит. Они скажут, — пойдем, а ты не ходи. Ты говори — мне чтобы главного.

От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед которой он стоял, — знаменитая судоходная река Рыньва, что железнодорожная станция близ реки — Развилье, речное фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый Юрятин, лежащий в двух или трех верстах выше, все время отбивали и, кажется, уже отбили от белых. Рыбак рассказал ему, что и в Развилье были беспорядки и тоже, кажется, подавлены и что кругом царит такая тишина, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном. Он узнал, наконец, что среди поездов, стоящих на путях с размещенными в них военными учреждениями, находится особый поезд краевого военкома Стрельникова, в вагон которого понесли докторовы бумаги.

Оттуда за доктором через некоторое время явился новый часовой, отличавшийся от предшественников тем, что волочил ружье прикладом по земле или переставлял его перед собой, точно тащил под руку выпившего приятеля, который без него свалился бы наземь. Он повел доктора в вагон к военкому.

28

В одном из двух соединенных между собою крытых кожаным переходом салон-вагонов, в который, сказав караулу пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движение, мгновенно смолкшие при их появлении.

Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе доктор штаб-квартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области.

Но, наверное, центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди, в штабе фронта, ближе к месту военных действий, здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка.

Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купален, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях.

Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенный в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов.

«Сейчас», — сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора.

Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик. Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезывал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении, одно за другим, и сказал: «Жарко будет сегодня», точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого.

По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком вбок, и ее защемило в раме. Молодой военный стал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничьей складки. Все занялись машинкой.

Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди, лучше его посвященные в его вероятную участь, так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного.

«Впрочем, кто их знает? — думал он. — Откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столького насмотрелись, что все в них притупилось?»

И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна.

29

Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция Развилье на горе в одноименном предместье.

С путей к станции вела некрашеная деревянная лестница с тремя площадками.

Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли обращенные труба к трубе среди груд вагонного лома.

Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зрелище заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннею утреннею жарою.

В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах.

К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса.

Там, верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке, дом на доме и улица над улицей, с большим собором посередине на макушке.

«Юрятин! — взволнованно сообразил доктор. — Предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой! Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые!»

В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы. Последовал за их взглядом и доктор.

По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных, среди них гимназиста, раненного в голову. Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он размазывал ладонью по загорелому, потному лицу.

Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которою дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать.

С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того чтобы снять ее и нести в руках, он то и дело поправлял ее и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца.

В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И, уступая ее многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, рвавшимся наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобождении от них.

Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми, стремительными шагами.

Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились?

Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть мятая, но производившая впечатление глаженой, полотняной.

Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя, как в седле, в любом положении земного существования.

Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Прославленным героям истории. Фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах и поразившим воображение. Наиболее признанным народным авторитетам. Вышедшим в первые ряды товарищам. Просто друг другу.

Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал:

— Поздравляю. Мы их отогнали. Это кажется военною игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, я ему обязан. А я рад, что отбросил его за реку, а может быть, и дальше. Скорей налаживайте связь, Гурьян. Нет возможности держаться на одних вестовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара? Часа полтора я все-таки поспал! Ах да... — спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения. Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тут этот задержанный.

«Этот? — подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом. — Ничего похожего. Вот дураки!» Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу:

— Простите, товарищ. Вас приняли за другого. Мои часовые напутали. Вы свободны. Где трудовая книжка товарища? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть. Живаго... Живаго... Доктор Живаго... Что-то московское... Пройдемте, знаете, все же на минуту ко мне. Это — секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйте. Я вас долго не задержу.

Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим.

Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным.

Стрельников оправдал оказанное ему доверие.

Его послужной список последнего периода содержал усть-немдинское и нижне-кельмесское дела, дело губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием четырнадцатым пехотным полком на станции Медвежья Пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин Ус, с убийством командира, оставшегося верным советской власти.

Во все эти места он сваливался как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно.

Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно.

Наконец в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться.

Стрельников знал, что молва дала ему прозвище Расстрел ь-никова. Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся.

Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в девятьсот пятом году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим.

По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце семнадцатого года на родину, узнав, что в России революция.

Две черты, две страсти отличали его.

Он мыслил незаурядно ясно и правильно. И он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости, он чувствовал горячо и благородно.

Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения.

А для того чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое.

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства.

Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее.

Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила.

31

— Живаго, Живаго, — продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли. — Что-то купеческое. Или дворянское. Нуда: доктор из Москвы. В Варыкино. Странно. Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол.

— Именно с этой целью. В поисках тишины. В глушь, в неизвестность.

— Скажите какая поэзия. Варыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие крюгеровские заводы. Часом не родственнички? Наследники?

— К чему этот насмешливый тон? При чем тут «наследники»? Хотя жена действительно...

— Ага, вот видите. По белым стосковались? Разочарую. Опоздали. Округ очищен.

— Вы продолжаете издеваться?

— И затем — доктор. Военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах. Ищут тишины. Основание?

— Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности.

— Сейчас вы представите записку Наркомпроса или Нар-комздрава, рекомендующую вас как «вполне советского человека», как «сочувствующего» и удостоверяющую вашу «лояльность». Сейчас Страшный суд на земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз. Я предчувствую, что мы еще встретимся, и тогда разговор будет другой, берегитесь.

Угроза и вызов не смутили Юрия Андреевича. Он сказал:

— Я знаю все, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем и, надо думать, имел время прийти к какому-то заключению. В двух словах этого не скажешь. Позвольте мне удалиться без объяснений, если я действительно свободен, а если нет — распоряжайтесь мною. Оправдываться мне перед вами не в чем.

Их прервало верещанье гудка. Телефонная связь была восстановлена.

— Спасибо, Гурьян, — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. — Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарищу Живаго. Как бы опять чего-нибудь не случилось. И развильевскую уточку мне, пожалуйста, управление транспортным чека в Развилье.

Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал:

— Мальчика тут провели, насовывает шапку на уши, а голова забинтована, безобразие. Да. Подать медицинскую помощь, если нужно. Да, как зеницу ока, лично будете отвечать передо мной. Паек, если потребуется. Так. А теперь о делах. Я говорю, я не кончил. Ах, черт, кто-то третий затесался. Гурьян! Гурьян! Разъединили.

«Может быть, из моих приготовишек, — думал он, на минуту отложив попытку докончить разговор с вокзалом. — Вырос и бунтует против нас». Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны и плена, сойдется ли сумма с возрастом мальчика. Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой, у выезда из Юрятина, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним! Сейчас, сию минуту! Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту, новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет когда-нибудь, когда-нибудь. Да, но когда, когда?

ВТОРАЯ КНИГА

Часть восьмая ПРИЕЗД

1

Поезд, довезший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненный другими составами, но чувствовалось, что связь с Москвою, тянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась.

Начиная отсюда открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевшей к другому, своему, центру притяжения.

Здешние люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юрятин—Развилье была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, «просачивались», как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон, ими полны были дверные пролеты теплушек, они ходили по путям вдоль поезда и стояли на насыпи у входов в свои вагоны.

Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались издали, здоровались, поравнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки.

Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы.

Ответ не замедлил явиться в самой живой форме.

2

В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им, как посохом, доктор возвращался к своему поезду.

Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой.

Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил:

— Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просо, самое золотое время. А гречиху рано. Гречиху у нас на Акулину сеют. Моршанские мы, Тамбовской губернии, нездешние. Эх, товарищ доктор! Кабы сейчас не эта гидра гражданская, моровая контра, нешто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать? Черной кошкой классовою она промеж нас пробежала и вишь что делает!

3

— Спасибо. Я сам, — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, стал на ноги и обнялся с женою.

— Наконец-то. Ну слава, слава Богу, что все так кончилось, — твердила Антонина Александровна. — Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость.

— Как не новость?

— Мы все знали.

— Откуда?

— Часовые доносили. А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон спит, не добудишься. Как сноп повалился от перенесенного волнения, — не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением. — Вот он у меня какой! — неожиданно переменила она разговор, повернула голову — и через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров, сдавленному соседями, сзади, в глубине теплушки.

— Самдевятов, — повышалось оттуда, над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа, и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору.

«Самдевятов, — размышлял Юрий Андреевич тем временем. — Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка».

— Ну что, задал вам страху Стрельников? Сознайтесь.

— Нет, отчего же? Разговор был серьезный. Во всяком случае, человек сильный, значительный.

— Еще бы. Имею представление об этой личности. Не наш уроженец. Ваш, московский. Равно как и наши новшества последнего времени. Тоже ваши столичные, завозные. Своим умом бы не додумались.

— Это Анфим Ефимович, Юрочка, — всевед — всезнайка. Про тебя слыхал, про твоего отца, дедушку моего знает, всех, всех. Знакомьтесь. — И Антонина Александровна спросила мимоходом, без выражения: — Вы, наверное, и учительницу здешнюю Антипову знаете? — На что Самдевятов ответил так же невыразительно:

— А на что вам Антипова? — Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора. Антонина Александровна продолжала:

— Анфим Ефимович — большевик. Берегись, Юрочка. Держи с ним ухо востро.

— Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду скорее что-то артистическое.

— Отец постоялый двор держал. Семь троек в разгоне ходило. А я с высшим образованием. И, действительно, социал-демократ.

— Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не во гнев вам будь сказано, имя-отчество у вас — язык сломаешь. — Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу. Нам ужасно повезло. Юрятин-город нас не принимает. В городе пожары и мост взорван, нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию, и как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит Торфяная. Ты подумай! И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово помотают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил.

4

Предсказания Антонины Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле.

Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара относило ветром. Он развевающейся конскою гривою тянулся по всему небу.

Доктор и Самдевятов сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Самдевятов все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его, так что ничего нельзя было

расслышать. Юрий Андреевич переспрашивал. Анфим Ефимович приближал лицо к доктору и, надрываясь от крика, повторял сказанное прямо ему в уши.

— Это иллюзион «Гигант» зажгли. Там юнкера засели. Но они раньше сдались. Вообще, бой еще не кончился. Видите черные точки на колокольне. Это наши. Чеха снимают.

— Ничего не вижу. Как это вы все различаете?

— А это Хохрики горят, ремесленная окраина. А Колодее-во, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует. В рядах двор наш. Пожар небольшой. Центр пока не затронут.

— Повторите. Не слышу.

— Я говорю, — центр, центр города. Собор, библиотека. Наша фамилия, Самдевятовы, это переделанное на русский лад Сан-Донато. Будто из Демидовых мы.

— Опять ничего не разобрал.

— Я говорю, Самдевятовы — это видоизмененное Сан-Донато. Будто из Демидовых мы. Князья Демидовы Сан-Донато. А может, так, вранье. Семейная легенда. А эта местность называется Спирькин низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название?

Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы.

Широкая мощеная дорога извивалась лентою, соперничая красотою с рельсовым путем. Она то скрывалась за горизонтом, то на минуты выставлялась волнистою дугой поворота. И пропадала вновь.

— Тракт наш знаменитый. Через всю Сибирь проложен. Каторгой воспет. Плацдарм партизанщины нынешней. Вообще, ничего у нас. Обживетесь, привыкнете. Городские курьезы полюбите. Водоразборные будки наши. На перекрестках. Зимние клубы женские под открытым небом.

— Мы не в городе поселимся. В Варыкине.

— Знаю. Мне жена ваша говорила. Все равно. По делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза. Нос. Лоб. Вылитый Крюгер. Вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят.

По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами:

«Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

— Солидная фирма была. Отличные сельскохозяйственные орудия производила.

— Не слышу. Что вы сказали?

— Фирма, говорю. Понимаете, — фирма. Сельскохозяйственные орудия выпускала. Товарищество на паях. Отец акционером состоял.

— А вы говорили, — двор постоялый.

— Двор двором. Одно другому не мешает. А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал. В иллюзион «Гигант» были вложены.

— Вы, кажется, этим гордитесь?

— Смекалкой отцовой? Еще бы!

— А как же социал-демократия ваша?

— А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазнею быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки.

— Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтоб быть наукою.

Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине.

Самдевятов считал слова доктора выходками чудака-острослова. Он только посмеивался и не возражал ему.

Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном, перекладывала вязание, которым была занята, из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он мало-помалу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему.

Самдевятов принимал ее движение на собственный счет. «Кому это она? — задумывался он. — Что-то знакомое. Не Тун-цева ли? Похоже — она. Впрочем, что я? Едва ли. Больно стара для Глашки. И при чем я тут? На Руси-матушке перевороты, бестолочь на железных дорогах, ей, сердяге, наверное трудно, а я виноват и мне кулаком. А ну ее к черту, из-за нее еще голову ломать!»

Наконец, помахав флагом и что-то крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор, на простор пути его следования, и, когда мимо нее пронеслась четырнадцатая теплушка, показала язык намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять Самдевятов задумался.

5

Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили вдаль и скрылись и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, Самдевятов сказал:

— Встанем и разойдемся. Мне скоро слезать. Да и вам через перегон. Смотрите не прозевайте.

— Здешние места вы, верно, знаете основательно?

— До умопомрачения. На сто верст в окружности. Я ведь юрист. Двадцать лет практики. Дела. Разъезды.

— И до настоящего времени?

— А как же.

— Какого порядка дела могут совершаться сейчас?

— А какие пожелаете. Старых незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств — по горло, до ужаса.

— Разве отношения такого рода не аннулированы?

— По имени, разумеется. А на деле в одно и то же время требуются вещи, друг друга исключающие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсовнархо-зу. И вместе с тем всем хочется жить. Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером, вроде моего. Блажен муж, иже не иде, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал. Полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться, пр делам лесоснабжения. На лошади, разумеется, только выходится. Последняя охромела. А то, была бы здорова, стал бы я на этой завали трястись! Ишь черт, тащится, а еще машиной называется. В наезды свои в Варыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю как свои пять пальцев.

— Известна вам цель нашего путешествия, наши намерения?

— Приблизительно. Догадываюсь. Имею представление. Извечная тяга человека к земле. Мечта пропитаться своими руками.

— И что же? Вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете?

— Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же? Помоги вам Бог. Но не верю. Утопично. Кустарщина.

— Как отнесется к нам Микулицын?

— Не пустит на порог, выгонит помелом и будет прав. Тут у него и без вас содом, тысяча и одна ночь, бездействующие заводы, разбежавшиеся рабочие, в смысле средств к существованию ни хрена, бескормица, и вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкая. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю.

— Вот видите, вы — большевик, и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное, фантасмагория, несуразица.

— Разумеется. Но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти.

— Почему же неизбежность?

— Что вы, маленький или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли? Обжоры тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти, и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятна правомерность народного гнева, желание жить по справедливости, поиски правды? Или вам кажется, что коренная ломка была достижима в думах, путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры?

— Мы говорим о разном и, хоть век проспорь, ни о чрм не столкуемся. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли.

— Какой вздор. Во-первых, разве только и свету в окошке что Микулицыны? Во-вторых, Микулицын преступно добр, добр до крайности. Пошумит, покобенится и размякнет, рубашку с себя снимет, последнею коркою поделится. — И Самдевятов рассказал.

6

Двадцать пять лет тому назад Микулицын студентом Технологического института приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были четыре сестры Тунцевы, на одну больше, чем у Чехова, — за ними ухаживали все юрятинские учащиеся, — Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перифразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился.

Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт. Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой, перед самой революцией.

Кончилась война. Вернулся Ливерий. Кто он? Это герой прапорщик с тремя крестами и, ну конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про «Лесных братьев» вы слыхали?

— Нет, простите.

— Ну тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечателен? В настоящее время —

партизанщиной. Что такое партизаны? Это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы. Политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина, после проигранной войны отказывающая в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей получилось партианское воинство. Состав его пестрый. В основном это крестьяне-середняки. Но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи-расстриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки. Есть анархисты идейные, и беспаспортные голоштанники, и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи-оболтусы. Есть австро-германские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот, одною из частей этой многотысячной народной армии, именуемой «Лесными братьями», командует товарищ Лесных, Ливка, Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича Микулицына.

— Что вы говорите?

— То, что вы слышите. Однако продолжаю. После смерти жены Аверкий Степанович женился вторично. Новая жена, Елена Прокловна, — гимназистка, прямо со школьной скамьи привезенная под венец. Наивная от природы, но и с расчетом наивничающая, молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. «В каком году родился Суворов?», «Перечислите случаи равенства треугольников». И будет ликовать, срезав вас и посадив в калошу. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание.

У «самого» другие слабости: трубка и семинарская славянщина: «ничтоже сумняшеся, еже и понеже». Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза. Да чуть не забыл подробности: эсер, выбран от края в Учредительное собрание.

— Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах? Политические противники?

— Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Барыкиным не воюет. Однако продолжаю. Остальные Тунце-вы, свояченицы Аверкия Степановича, по сей день в Юрятине. Девы-вековуши. Переменились времена, переменились и девушки.

Старшая из оставшихся, Авдотья Севериновна, — библиотекаршей в городской читальне. Милая, черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности. Ни с того ни с сего зардеется как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до двадцати, со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности.

Средняя, Глафира Севериновна, благословение сестер. Бой-девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение, в один голос, что партизанский вожак Лесных в эту тетку. Вот ее видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, ан она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила? Вот те фунт, думаю, в сторожихи на дорогу Глафира определилась. Но, кажется, не она. Слишком стара.

Младшая, Симушка, — крест семьи, испытание. Ученая девушка, начитанная. Занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции, под влиянием общей приподнятости, уличных шествий, речей на площадях с трибуны, тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а она шасть в окно и пойдет махать по улицам, публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующей. Готовьтесь.

Когда Анфим Ефимович сошел с поезда, Антонина Александровна сказала:

— Я не знаю, как ты на это смотришь, но, по-моему, человек этот послан нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благодетельную роль в нашем существовании.

— Очень может быть, Тонечка. Но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников, едва я назвал Варыкино, ввернул язвительно: «Варыкино, заводы Крюгера. Часом не родственнички? Не наследники?»

Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности.

Конечно, делать теперь нечего. Снявши голову, по волосам не плачут. Но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недобрые предчувствия. Давай будить наших, уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке.

7

Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утоптанный песок платформы под ногами, а между тем страх, как бы не проехать остановки, не покинул ее и стук идущего поезда продолжал шуметь в ее ушах, хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать.

Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону.

Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в Торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек.

Приезжих поражала тишина на станции, безлюдие, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания.

Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому, сыровато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые ее едва колышущимися вершинами. Птичий свист в роще соответствовал ее свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися, книзу клонящимися ветвями, как концами широких, до полу ниспадающих рукавов.

Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши. До ее сознания дошло все сразу. Звонкость птиц, чистота лесного уединения, безмятежность разлитого кругом покоя. У нее в уме была составлена фраза: «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников, свеликодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Все только показное». Вместо этих заготовленных слов она сказала другое.

— Какая прелесть! — вырвалось у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы. Она громко расплакалась.

Заслышав ее всхлипывания, из здания вышел старичок, начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил:

— Может быть, успокаивающих капель барышне? Из вокзальной аптечки.

— Пустяки. Спасибо. Обойдется.

— Путевые заботы, тревоги. Вещь известная, распространенная. Притом жара африканская, редкая в наших широтах. И вдобавок события в Юрятине.

— Мимоездом пожар из вагона наблюдали.

— Стало быть, сами из России будете, если не ошибаюсь.

— Из Белокаменной.

— Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камня на камне не осталось?

— Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять. Вот малыш их. А это нянюшка наша молодая, Нюша.

— Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Самдевятов Анфим Ефимович с разъезда Сак-мы по дорожному телефону навертел. Доктор Живаго с семьей из Москвы, прошу, говорит, окажите всемерное содействие. Этот самый доктор, стало быть, вы и будете?

— Нет, доктор Живаго это он вот, мой зять, а я по другой части, по сельскому хозяйству, профессор агроном Громеко.

— Виноват, обознался. Извините. Очень рад познакомиться.

— Значит, судя по вашим словам, вы знаете Самдевятова?

— Как не знать его, волшебника. Надежа наша и кормилец. Без него давно бы мы тут ноги протянули. Да, говорит, окажи всемерное содействие. Слушаюсь, говорю. Пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать. Вы куда намерены?

— Нам в Варыкино. Это как, далеко отсюда?

— В Варыкино? То-то я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так. А вам в Варыкино! Тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу, снарядим. Человека кликну, раздобудем подводу. Донат! Донат! Вещи снеси вот, пока суд да дело, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади? Сбегай, брат, в чайную, спроси, нельзя ли? Словно бы утром Вакх тут маячил. Спроси, может, не уехал? Скажи, в Варыкино свезти четверых, поклажи все равно что никакой. Новоприезжие. Живо. А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожнее на этот счет. Не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте.

При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа, и прочие местные россказни и небылицы.

8

Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий, лохматый, белый как лунь старик. Все на нем было белое по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха вылиняли и побелели от времени.

За белою кобылой, вскидывая хрящеватые, неокостенев-шие ноги, бежал вороной, черный как ночь жеребенок с курчавой головкой, похожий на резную кустарную игрушку.

Сидя по краям подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась, они

приближались к цели путешествия. Со щедрой широтой и роскошью медлили, задерживались предвечерние часы чудесного ясного дня.

Дорога шла то лесом, то открытыми полянами. В лесу толчки от коряг сбивали едущих в кучу, они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. На открытых местах, где само пространство от полноты души как бы снимало шапку, путники разгибали спины, располагались просторнее, встряхивали головами.

Места были гористые. У гор, как всегда, был свой облик, своя физиономия. Они могучими, высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо рассматривая едущих. Отрадно розовый свет следовал по полю за путешественниками, успокаивая, обнадеживая их.

Все нравилось им, все их удивляло, и больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы, в которой следы исчезнувших древнерусских форм, татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения.

Когда жеребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными, плещущими скачками. Неумелым шагом длинных, сближенных ног подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку.

— Я все-таки не понимаю, — стуча зубами от тряски, с расстановкою, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Александровна. — Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх, о котором рассказывала мама. Ну, помнишь, белиберда всякая. Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец Вакх Железное Брюхо. Я понимаю, что все это сказка. Но неужели это сказка о нем? Неужели это тот самый?

— Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за сто. Но к чему так громко? Старик услышит, обидится.

—- Ничего он не услышит, — туг на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, — с придурью.

— Эй, Федор Нефедыч! — неизвестно почему мужским величаньем понукал старик кобылу, прекрасно, и лучше седоков, сознавая, что она кобыла. — Инно жара кака анафемска! Яко во пещи авраамстии отроци персидстей! Но, черт, непасёный! Тебе говорят, мазепа!

Неожиданно он затягивал обрывки частушек, в былые времена сложенных на здешних заводах.

Прощай главная контора, Прощай щегерь, рудный двор, Мне хозяйской хлеб приелси, Прилилась в пруду вода. Нимо берег плыве лебедь, Под себе воду гребё, Не вино мене шатая, Сдают Ваню в некрута. А я, Маша, сам не промах, А я, Маша, не дурак. Я пойду в Селябу город, К Сентетюрихе наймусь.

— Эй, кобыла, Бога забыла! Поглядите, люди, кака падаль бестия! Ты ее хлесь, а она тебе: слезь. Но, Федя-Нефедя, когда поедя? Энтотлес прозвание ему тайга, ему конца нет. Тама сила народу хресьянского, у, у! Тама лесная братия. Эй, Федя-Нефедя, опять стала, черт, шиликун!

Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал:

— Ты как мозгушь, молода, аль я не учул, откеда ты таков-ска? А и проста ты, мать, погляжу. Штоб мне скрезь землю провалиться, признал! Признал! Шарам своим не верю, живой Григов! (Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.) Бывать случаем не внука? У меня ли на Григова не глаз? Я у ём свой век отвековал, я на ём зубы съел. Во всех рукомествах — предолжностях! И крепежником, и у валка, и на

конном дворе. — Но, шевелись! Опять стала, безногая! Анделы в Китаях, тебе говорят аль нет?

Ты вот башь, какой энто Вакх, не оной кузнец ли? А и проста ты, мать, така глазаста барыня, а дура. Твой-от Вакх, Постаногов ему прозвище. Постаногов Железно Брюхо, он лет за полета тому в землю, в доски ушел. А мы теперь, наоборот, Мехоношины. Име одна, — тезки, а фамилие разная, Федот, да не тот.

Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицыных от Самдевятова. Его он называл Микуличем, а ее Микуличной. Нынешнюю жену управляющего звал второбрачною, а про «первеньку, упокой-ницу» говорил, что та была мед-женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия и узнал, что до Москвы его слава не докатилась и в Москве ничего о лесных братьях не слыхали, это показалось ему невероятным:

— Не слыхали? Про Лесного товарища не слыхали? Анде-лы в Китаях, тады на что Москве уши?

Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому простору. Там и сям одинокими пучками с кистями цветений на концах росли деревянистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, иван-чая. Озаряемые снизу, с земли, лучами заката, они призрачно вырастали в очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами.

Далеко впереди, в конце, равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок.

Наверху кручи обозначился белый, удлиненной формы одноэтажный дом.

— Видишь вышку на шихане? — спросил Вакх. — Микулич твой и Микулишна. А под ними распадок, лог, прозвание ему Шутьма.

Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.

— Что это? Никак, партизаны, дедушка? Не в нас ли?

— Христос с вами. Каки партижане. Степаныч в Шутьме волков пужая.

9

Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась томительная, поначалу молчаливая, а потом — сбивчиво-шумная, бестолковая сцена.

Елена Прокловна возвращалась по двору из лесу с вечерней прогулки. Вечерние лучи солнца тянулись по ее следам через весь лес от дерева к дереву почти того же цвета, что ее золотистые волосы. Елена Прокловна одета была легко, по-летнему. Она раскраснелась и утирала платком разгоряченное ходьбою лицо. Ее открытую шею перехватывала спереди резинка, на которой болталась ее скинутая на спину соломенная шляпа.

Ей навстречу шел с ружьем домой ее муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов, ввиду замеченных при разряде недочетов.

Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во двор лихо и громко вкатил Вакх со своим подарком.

Очень скоро, слезши с телеги со всеми остальными, Александр Александрович с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первые объяснения.

Несколько мгновений длилось истинное, не показное остолбенение поставленных в тупик хозяев и непритворная, искренняя потерянность сгорающих со стыда

несчастных гостей. Положение было понятно без разъяснений не только участникам, Вакху, Нюше и Шурочке. Ощущение тягостности передавалось кобыле и жеребенку, золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловны и садившимся на ее лицо и шею.

— Не понимаю, — прервал наконец молчание Аверкий Степанович. — Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму. Что у нас юг, белые, хлебная губерния? Почему именно на нас пал выбор, почему вас сюда, сюда, к нам угораздило?

— Интересно, подумали ли вы, какая это ответственность для Аверкия Степановича?

— Леночка, не мешай. Да, вот именно. Она совершенно права. Подумали ли вы, какая это для меня обуза?

— Бог с вами. Вы нас не поняли. О чем речь? Об очень малом, ничтожном. Никакого покушения на вас, на ваш покой. Угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройке. Клинушек никому не нужной, даром пропадающей земли под огород. Да возик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство?

— Да, но свет широк. При чем мы тут? Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?

— Мы о вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали. Что мы не чужие для вас и сами попадем не к чужим.

— А, так дело в Крюгере, в том, что вы его родня? Да как у вас язык поворачивается признаваться в таких вещах в наше время?

Аверкий Степанович был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы, широко ступавший на всю ногу и летом тесьмяным снурком с кисточкой подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках, в новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя.

Свою молодость Аверкий Степанович отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее или что, разразившись, она своей умеренностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения, а он, прирожденный и постоянный рабочелюбец, один из первых учредивший на «Святогоре Богатыре» фабрично-заводский комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бобах, не у дел, в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью шедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошеные крюгеровские последыши казались ему насмешкою судьбы, ее намеренной каверзой и переполняли чашу его терпения.

— Нет, это чудеса в решете. Уму непостижимо. Понимаете ли вы, какая вы для меня опасность, в какое положение вы меня ставите? Я, видно, право, с ума сошел. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму.

— Интересно, постигаете ли вы, на каком мы тут и без вас вулкане?

— Погоди, Леночка. Жена совершенно права. И без вас не сладко. Собачья жизнь, сумасшедший дом. Все время меж двух огней, никакого выхода. Одни собак вешают, отчего такой красный сын, большевик, народный любимец. Другим не нравится, зачем самого выбрали в Учредительное собрание. Ни на кого не угодишь, вот и барахтайся. А тут еще вы. Очень весело будет за вас под расстрел идти.

— Да что вы! Опомнитесь! Бог с вами!

Через некоторое время, переложив гнев на милость, Микулицын говорил:

— Ну, полаялись на дворе, и ладно. Можно в доме продолжать. Хорошего, конечно, впереди ничего не вижу, но сие есть темна вода во облацех, сеннописаный мрак гаданий. Одначе не янычары мы, не басурмане. В лес на съедение Михаиле Пота-пычу

не погоним. Я думаю, Ленок, лучше всего их в пальмовую, рядом с кабинетом. А там потолкуем, где им обосноваться, мы их, я думаю, в парке водворим. Пожалуйте в дом. Милости просим. Вноси вещи, Вакх. Пособи приезжим.

Исполняя приказание, Вакх только вздыхал:

— Мати безневестная! Добра что у странников. Одни узелки. Ни единого чумадала!

10

Наступила холодная ночь. Приезжие умылись. Женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате. Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что его ребяческие изречения на детском языке принимаются взрослыми восторженно, и потому, подлаживаясь под их вкус, с увлечением и охотно несший околесину, был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не имела успеха, на него не обращали внимания. Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям. Свои искренние страхи он громко выражал окружающим, но его милые нелепости не производили привычного впечатления. Стесненные пребыванием в чужом доме, старшие двигались торопливее обычного и были молчаливо погружены в свои заботы. Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать. Наконец он уснул. Нюшу увела к себе кормить ужином и посвящать в тайны дома микулицынекая Устинья. Антонину Александровну и мужчин попросили к вечернему чаю.

Александр Александрович и Юрий Андреевич попросили разрешения отлучиться на минуту и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.

— Сколько звезд! — сказал Александр Александрович. Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов на крыльце,

зять и тесть не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна в овраг. В его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса не захватывала беседовавших и еще больше сгущала темноту вокруг них.

— Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, и, если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, за грядки. Мне послышалось, будто он между слов, в разговоре обещал помочь семенною картошкой. Или я ослышался?

— Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки. По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь. Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб, наверное, основательно унаваживалась и богата перегноем.

— Завтра посмотрим. Не знаю. Грунт, наверное, страшно затравянел и тверд как камень. При усадьбе был, должно быть, огород. Может быть, участок сохранился и пустует. Все это выяснится завтра. По утрам тут еще, наверное, заморозки. Ночью мороз будет наверняка. Какое счастье, что мы уже здесь, на месте. С этим можно поздравить друг друга. Тут хорошо. Мне нравится.

— Очень приятные люди. В особенности он. Она немного ломака. Она чем-то недовольна собой, ей что-то в себе самой не нравится. Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей

внешности, предупредить невыгодное впечатление. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность. Это действительно к лицу ей.

— Пойдем, однако, в комнаты. Мы слишком тут застряли. Неудобно.

По пути в освещенную столовую, где за круглым столом под висячею лампой сидели за самоваром и распивали чай хозяева с Антониной Александровной, зять и тесть прошли через темный директорский кабинет.

В нем было широкое цельного стекла окно во всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить доктор еще вначале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и равнину, по которой провозил их Вакх. У окна стоял широкий, также во всю стену, стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало, в длину положенное, охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа и тем оттеняя большую ширину стола.

Теперь, минуя кабинет, Юрий Андреевич снова с завистью отметил окно с обширным видом, величину и положение стола и поместительность хорошо обставленной комнаты, и это было первое, что в виде восклицания хозяину вырвалось у Юрия Андреевича, когда он и Александр Александрович подошли к чайному столу, войдя в столовую.

— Какие у вас замечательные места. И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, вдохновляющий.

— Вам в стакане или в чашке? И какой вы любите, слабый или крепкий?

— Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сын Аверкия Степановича смастерил, когда был маленький.

— Он до сих пор еще не вырос, не остепенился, хотя отвоевывает советской власти область за областью у Комуча.

— Как вы сказали?

— Комуч.

— Что это такое?

— Это войска Сибирского правительства, стоящие за восстановление власти Учредительного собрания.

— Мы весь день не переставая слышим похвалы вашему сыну. Можете по всей справедливости им гордиться.

— Эти виды Урала, двойные, стереоскопические, тоже его работа и сняты его самодельным объективом.

— На сахарине лепешки? Замечательное печенье.

— О что вы! Такая глушь и сахарин! Куда нам! Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили.

— Да, действительно. Я фотографии рассматривала. И, кажется, чай натуральный?

— С цветком. Само собою.

— Откуда?

— Скатерть-самобранка такая. Знакомый. Современный деятель. Очень левых убеждений. Официальный представитель Губсовнархоза. От нас лес возит в город, а нам по знакомству крупу, масло, муку. Сиверка (так она звала своего Аверкия), Сиверка, пододвинь мне сухарницу. Атеперь интересно, ответьте, в котором году умер Грибоедов?

— Родился, кажется, в тысяча семьсот девяносто пятом. А когда убит, в точности не помню.

— Еще чаю.

— Нет, спасибо.

— А теперь такая штука. Скажите, когда и между какими странами заключен Нимвегенский мир?

— Да не мучай их, Леночка. Дай людям очухаться с дороги.

— Теперь вот что мне интересно. Перечислите, пожалуйста, каких видов бывают увеличительные стекла и в каких случаях получаются изображения действительные, обращенные, прямые и мнимые?

— Откуда у вас такие познания по физике?

— Великолепный математик был у нас в Юрятине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как объяснял! Как бог! Бывало, все разжует и в рот положит. Антипов. На здешней учительнице был женат. Девочки были без ума от него, все в него влюблялись. Пошел добровольцем на войну и больше не возвращался, был убит. Утверждают, будто бич божий наш и кара небесная, комиссар Стрельников, это оживший Антипов. Легенда, конечно. И непохоже. А впрочем, кто его знает. Все может быть. Еще чашечку.

Часть девятая ВАРЫКИНО

1

Зимою, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя:

«Как часто летом хотелось сказать вместе с Тютчевым:

Какое лето, что за лето! Ведь это, право, волшебство, И как, спрошу, далось нам это, Так, ни с того и ни с сего?

Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая Творцу в сотворении вселенной, вслед за родною матерью производя себя вновь и вновь на свет!

Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой; пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей; пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье.

Я не иду дальше сказанного, не проповедую Толстовского опрощения и перехода на землю, я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей случайно подвернувшейся судьбы в систему. Наш пример спорен и не пригоден для вывода. Наше хозяйство слишком неоднородного состава. Только небольшою его частью, запасом овощей и картошки мы обязаны трудам наших рук. Все остальное — из другого источника.

Наше пользование землею беззаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственною властью учета. Наши лесные порубки — воровство, не извинимое тем, что мы воруем из государственного кармана, в прошлом — крюгеров-ского. Нас покрывает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом, нас спасают расстояния, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не знают о наших проделках.

Я отказался от медицины и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей свободы. Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Варыкине поселился доктор, и верст за тридцать тащится за советом, какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чем-нибудь. Как я ни отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться, потому что люди не верят в действенность

безвозмездных, даром доставшихся советов. Итак, кое-что дает мне врачебная практика. Но главная наша и микулицынская опора — Самдевятов.

Уму непостижимо, какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облек его юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить варыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелай он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман что и сколько бы захотел, и тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует "Бесов" Достоевского и Коммунистический

Манифест одинаково увлекательно, и мне кажется, если бы он не осложнял своей жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки».

2

Несколько позднее доктор записал:

«Мы поселились в задней части старого барского дома, в двух комнатах деревянной пристройки, в детские годы Анны Ивановны предназначавшейся Крюгером для избранной челяди, доя домашней портнихи, экономки и отставной няни.

Этот угол порядком обветшал. Мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше нагрева.

В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполонившей. Теперь, зимой, когда все кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее.

Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным, ее у нас до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху, поверх пола, сеном и старыми рваными одеялами. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек наквашенной ею капусты. Свежая развешана по столбам крепления, вилок с вилком, связанная попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху в доме множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом, едва подымешь опускную дверцу погреба, в ранний час, до зимнего рассвета, со слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке.

Выйдешь из сарая, день еще не занимается. Скрипнешь дверью, или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногою, и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях, одна за другой, надолго разлаются собаки. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петь. И начнет светать.

Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь многоверстные переходы.

На них ставят капканы, слопцы, как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом.

Вначале, весною и летом, было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь, зимними вечерами, отдыхаем. Собираемся благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином, вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка, я, как давний признанный истопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее,.бегом, всю в дыму, за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек, и шипит и гаснет, упав в сугроб.

Без конца перечитываем "Войну и мир", "Евгения Онегина" и все поэмы, читаем в русском переводе "Красное и Черное" Стендаля, "Повесть о двух городах" Диккенса и коротенькие рассказы Клейста».

3

Ближе к весне доктор записал:

«Мне кажется, Тоня в положении. Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые.

Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела. Но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее и уже больше не есть она сама.

Этот выход облика женщины из-под ее надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет ее лицо, грубеет кожа и начинают по-другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза, точно она всем этим не управилась и запустила.

Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расто-ропна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени.

Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства.

На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленное™ себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось.

Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его.

Богоматерь просят: "Молися прилежно Сыну и Богу Твоему". Ей вкладывают в уста отрывки псалма: "И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко призре на смирение рабы своея, се бо отныне ублажат мя вси роди". Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее ("Яко сотвори ми величие сильный"), он — ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери — матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их».

4

«Без конца перечитываем "Евгения Онегина" и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков. Лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве.

Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной

истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно как день, я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль?

Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах "Преступления и наказания" потрясает больше, чем преступление Раскольникова.

Искусство первобытное, египетское, греческое, наше, это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».

5

«Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело. Это аорта. Первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано? Не долгий я в таком случае жилец на белом свете.

В комнате легкий угар. Пахнет глаженым. Гладят и то и дело из непротопившейся печки подкладываютжаром пламенеющий уголь в ляскающий крышкой, как зубами, духовой утюг. Что-то напоминает. Не могу вспомнить что. Забывчив по нездоровью.

На радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатили генеральную стирку, и Шурочка два дня без присмотра. Забирается, когда я пишу, под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в розвальнях.

Как выздоровею, надо будет поездить в город, почитать кое-что по этнографии края, по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека, составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься, и весна. Тогда будет не до чтения и писания.

Все усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте, по пробуждении. Сон вылетел из головы, в сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес ее образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не ее голос. Так это и осталось невыясненным.

Кстати о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем, в бодрствовании, произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения.

Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение».

6

«Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат

отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями. Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно все небо.

Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали лицейские стихотворения первого тома. Как много зависело от выбора стихотворного размера!

В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был Арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным, притворным здравомыслием.

Но едва с подражаний Оссиану или Парни или с "Воспоминаний в Царском Селе" молодой человек нападал на короткие строки "Городка", или "Послания к сестре", или позднейшего кишиневского "К моей чернильнице", или на ритмы "Послания к Юдину", в подростке пробуждался весь будущий Пушкин.

В стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной колонною выстраивались по краям стихотворения.

Точно этот, знаменитый впоследствии, пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или называют номер перчатки для приискания ее по руке, впору.

Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой».

7

«Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное.

Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, с опровержения царящих заблуждений и ложных теорий.

О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым предтечам.

Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение, — вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это, и поначалу кажется, — какая широта фантазии, какое богатство! А наделе оно именно и высокопарно по недостатку дарования.

Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас стало звучать укорительно: мещанин, обыватель. Этот упрек предупрежден строками из "Родословной":

"Я мещанин, я мещанин".

И из "Путешествия Онегина":

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, и за их чередованием незаметно прожили жизнь как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дерева дозревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь все большею сладостью и смыслом».

8

«Первые предвестия весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно, ресницами игл, щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает.

В седьмой главе "Евгения Онегина" — весна, пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу, у воды, под горою.

И соловей, весны любовник, Поет всю ночь. Цветет шиповник.

Почему—любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно — любовник. Кроме того — рифма к слову "шиповник". Но звуковым образом не сказался ли также былинный "соловей-разбойник"?

В былине он называется Соловей-разбойник Одихмантьев сын. Как хорошо про него говорится!

От него ли то от посвисту соловьего, От него ли то от покрику звериного, То все травушки-муравушки уплетаются, Все лазоревы цветочки отсыпаются. Темны лесушки к земле все преклоняются, А что есть людей, то все мертвы лежат.

Мы приехали в Варыкино раннею весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под микули-цынским домом, — черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи.

И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов, какой скачок, без постепенного перехода, совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. Учащенно-жадное и роскошное "тёх-тёх-тёх", иногда трехдольное, иногда без счета, в ответ на которое заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: "Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!"

9

«Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника. А приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы.

На днях, на этот раз действительно на масленице, в распутицу, въезжает на санях во двор по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. "Не взыщи, милый, перестал этим заниматься, — ни настоящего подбора лекарств, ни

нужных приспособлений". Да разве так отвяжешься. "Помоги. Кожею скудаем. Помилосердствуй. Телесная болезнь".

Что делать? Сердце не камень. Решил принять. "Раздевайся". Осматриваю. "У тебя волчанка". Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно, за бутыль с карболкой. (Боже правый, не спрашивайте, откуда она у меня, и еще кое-что, самое необходимое! Все это — Самдевятов.) Смотрю, — на двор другие сани, с новым больным, как мне кажется в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома, Тони, Шурочки, Александра Александровича. Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным. Начинаются расспросы, — как, откуда? По обыкновению увертывается, уклоняется, ни одного прямого ответа, улыбки, чудеса, загадки.

Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юря-тин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее Самдевятова, а дела и связи его еще менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается? Перед исчезновением обещал облегчить нам ведение хозяйства, так, чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Шуры, а у меня — для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать. Опять отмалчиванье и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся.

Удивительное дело! Это мой сводный брат. Он носит одну со мною фамилию. А знаю я его, собственно говоря, меньше всех.

Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?»

На этом кончались записи Юрия Андреевича. Больше он их не продолжал.

10

Юрий Андреевич просматривал в зале Юрятинской городской читальни заказанные книги. Многооконный читальный зал на сто человек был уставлен несколькими рядами длинных столов, узенькими концами к окнам. С наступлением темноты читальня закрывалась. В весеннее время город по вечерам не освещался. Но Юрий Андреевич и так никогда не досиживал до сумерек и не задерживался в городе позже обеденного времени. Он оставлял лошадь, которую ему давали Микулицыны, на постоялом дворе у Самдевятова, читал все утро и с середины дня возвращался верхом домой в Варыкино.

До этих наездов в библиотеку Юрий Андреевич редко бывал в Юрятине. У него не было никаких особенных дел в городе. Доктор плохо знал его. И когда на его глазах зал постепенно наполнялся юрятинскими жителями, садившимися то поодаль от него, то совсем по соседству, у Юрия Андреевича являлось чувство, будто он знакомится с городом, стоя на одном из его людных скрещений, и будто в зал стекаются не читающие юрятинцы, а стягиваются дома и улицы, на которых они проживают.

Однако и действительный Юрятин, настоящий и невымышленный, виднелся в окнах зала. У среднего, самого большого окна стоял бак с кипяченою водой. Читающие в виде отдыха выходили покурить на лестницу, окружали бак, пили воду, сливая остатки в полоскательницу, и толпились у окна, любуясь видами города.

Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, — их было большинство, — и люди из простого народа.

У первых, среди которых преобладали женщины, бедно одетые, переставшие следить за собой и опустившиеся, были нездоровые, вытянувшиеся лица, обрюзгшие

по разным причинам, — от голода, от разлития желчи, от отеков водянки. Это были завсегдатаи читальни, лично знакомые с библиотечными служащими и чувствовавшие себя здесь как дома.

Люди из народа с красивыми здоровыми лицами, одетые опрятно, по-праздничному, входили в зал смущенно и робко, как в церковь, и появлялись шумнее, чем было принято, не от незнания порядков, а вследствие желания войти совершенно бесшумно и неумения соразмерить свои здоровые шаги и голоса.

Напротив окон в стене было углубление. В этой нише на возвышении, отделенные высокою стойкой от остального зала, занимались своим делом служащие читальни, старший библиотекарь и две его помощницы. Одна из них, сердитая, в шерстяном платке, без конца снимала и напяливала на нос пенсне, руководствуясь, по-видимому, не надобностями зрения, а переменчивостью своих душевных состояний. Другая, в черной шелковой кофте, вероятно, страдала грудью, потому что почти не отнимала носового платка от рта и носа, и говорила и дышала в платок.

У библиотечных служащих были такие же опухшие, книзу удлиненные, оплывшие лица, как у половины читающих, та же дряблая, обвислая кожа, землистая с прозеленью, цвета соленого огурца и серой плесени, и все они втроем делали попеременно одно и то же, шепотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов.

И странно, по непонятному сцеплению идей перед лицом действительного города за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели зобами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда, и общую панораму города вдали, и Самдевятова рядом на полу вагона, и его объяснения. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил обозначений Самдевятова, и у него ничего не выходило.

11

Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в шелковой кофте шепотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов.

Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами, с тем чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменять на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей и видел их мысленным взором справа и слева от себя, не подымая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинутся с места церкви и здания города, видневшиеся в окне.

Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь оно светило в окна южной стены, ослепляя наиболее близко сидевших и мешая им читать.

Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые, напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это,

крайнее, затененное, она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась.

Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это свояченица Микулицына, одна из Тунцевых, о которых рассказывал Самдевятов. Вслед за другими читающими Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону.

Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и вполголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней. Вероятно, этот разговор имел благодетельное влияние на библиотекаршу. Она излечилась мигом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув Антиповой теплый, признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала, и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся.

Эта отмеченная трогательною мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе.

12

Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем чуждые его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся, и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собой, а другую развернутою на коленях.

Однако мысли его витали за тридевять земель от предмета его занятий. Вне всякой связи с ними он вдруг понял, что голос, который однажды он слышал зимнею ночью во сне в Варыкине, был голосом Антиповой. Его поразило это открытие, и, привлекая внимание окружающих, он порывисто переставил стул в прежнее положение, так чтобы с его места было видно Антипову, и стал смотреть на нее.

Он видел ее со спины, вполоборота, почти сзади. Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, с самозабвением, как дети, склонив голову немного набок, к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая глаза к потолку, или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги.

Юрий Андреевич проверял и подтверждал свои старые ме-люзеевские наблюдения. «Ей не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе самой удесятеряет ее неотразимость.

Как хорошо все, что она делает. Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простейшее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку».

За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет. Он невольно улыбнулся. Присутствие Антиповой оказывало на него такое же действие, как на нервную библиотекаршу.

Не заботясь о том, как стоит его стул, и не боясь помех и рассеяний, он час или полтора проработал еще усидчивей и сосредоточенней, чем до прихода Антиповой. Он перерыл высившуюся перед ним гору книг, отобрал самое нужное и даже попутно успел проглотить две встретившиеся в них существенные статьи. Решив удовольствоваться сделанным, он стал собирать книги, чтобы отнести их к столу выдач. Всякие посторонние соображения, порочащие сознание, покинули его. С чистою совестью и совершенно без задних мыслей он подумал, что честно отработанным уроком он заслужил право встретиться со старой доброю знакомою и на законном основании позволить себе эту радость. Но когда, поднявшись, он окинул взглядом читальню, он не обнаружил Антиповой, в зале ее больше не было.

На стойке, куда доктор перенес свои тома и брошюры, еще лежала неубранною литература, возвращенная Антиповой. Все это были руководства по марксизму. Вероятно, как бывшая, вновь переопределяющаяся учительница, она своими силами на дому проходила политическую переподготовку.

В книжки заложены были требования Ларисы Федоровны в каталожную. Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения. «Купеческая, против дома с фигурами».

Тут же у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «У пяти углов» в Петербурге.

Так назывался темно-серый стального цвета дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом-театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. По этому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался горком партии, и на стене его косого, спускавшегося под гору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства.

13

Был холодный ветреный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову.

Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше.

Антипова жила на углу Купеческой и Новосвалочного переулка, против темного, впадавшего в синеву дома с фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное, тревожное впечатление.

Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло все женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу Купеческую.

К Антйповой было два хода, через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй.

Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квохтаньем бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха.

Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече. Она была наскоро повязана косынкой, чтобы не пылить волос, узлом на лоб, «кукушкой», и зажимала коленями подол пузырившегося капота, чтобы ветер не подымал его. Она двинулась было с водою к дому, но остановилась, удержанная новым порывом ветра, который сорвал с ее головы платок, стал трепать ей волосы и понес платок к дальнему концу забора, ко все еще квохтавшим курам.

Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешившей Антиповой. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось:

— Живаго!

— Лариса Федоровна!

— Каким чудом? Какими судьбами?

— Опустите ведра наземь. Я снесу.

— Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдемте.

— А то к кому же?

— Кто вас знает.

— Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь.

— Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться?

— Откуда вы знаете?

— Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке.

— Что же вы меня не окликнули?

— Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели.

За слегка покачивавшейся под качавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол, высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком.

— Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадное выведу. Там светло. Там подождете. А я воду с черного хода внесу, немного приберу наверху, приоденусь. Видите, какая у нас лестница. Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом. Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь. Видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете, тогда милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут, ключ. Но мне не нужно, я сзади войду и отворю дверь изнутри. Одно горе — крысы. Тьма-тьмущая, отбою нет. По головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели. Где могу, заделываю, воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы. А? Ну, оставайтесь на площадке, поразмыслите о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну.

В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал: «В читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой. И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда. Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее

спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ей губы и округляющей подбородок, и в ее словах и мыслях».

— Живаго! — раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице.

14

— Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь.

— Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это так? В квартире ремонт?

— О нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю чья. У нас была своя, казенная, в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел Юрсовета, меня с дочерью переселили в часть этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев. Много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так. Направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог. Не оступитесь.

Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полами расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах, лицом к окну, знакомая доктору вывеска: «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и, не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. Эта часть рассказа произвела особенное впечатление на Ларису Федоровну.

— Вы видали Стрельникова?! — живо переспросила она. — Я пока вам больше ничего не скажу. Но как знаменательно! Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться. Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление?

— Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя-солдафона или революционного маниака-душителя и не нашел ни того ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им.

— Говорят, он беспартийный.

— Да, мне кажется. Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случаен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут, как многих военных специалистов до него.

— Вы думаете?

— Обязательно.

— А нет ли для него спасения? В бегстве, например?

— Куда, Лариса Федоровна? Это прежде, при царях водилось. А теперь попробуйте.

— Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему. А вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.

— В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Но довольно. Теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке?

— О, еще бы! Конечно. Кругом пожары. Сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло! На дворе до сих пор неразорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразия. Как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные. Не впервой было. А во время белых что творилось! Убийства из-за угла по мотивам личной мести, вымогательства, вакханалия! Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиуллин-то наш! Преважною шишкой тут оказался при чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора.

— Знаю. Слышал. Вы с ним видались?

— Очень часто. Скольким я жизнь спасла благодаря ему! Скольких укрыла! Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски, не то что всякая мелкая сошка, казачьи там есаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиуллин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах: А по специальности я учительница-историчка. Да, так вот как, Живаго. Многим я помогла. Ходила к нему. Вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается! Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же!

— А, так ты здесь, оказывается?

В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозапле-тенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала. Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но, показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление, сделала книксен и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка.

— Моя дочь Катенька. Прошу любить и жаловать.

— Вы в Мелюзееве карточку показывали. Как выросла и изменилась!

— Так ты, оказывается, дома? А я думала, — гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла.

— Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины кры-сина! Я закричала, и в сторону! Думала, умру со страху.

Катенька говорила, корча премилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка.

— Ну ступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой и позову тебя.

— Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать, а езды три часа с чем-то, если не все четыре. Потому-то я к вам так рано, — простите, — и скоро подымусь.

— Только полчаса еще.

— С удовольствием.

15

— А теперь, — откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой Паша, Павел Павлович Антипов, которого я ездила разыскивать на фронт и в мнимую смерть которого с такою правотой отказывалась верить.

— Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем, точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслица. Я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним? Что между вами общего?

— И все же это так, Юрий Андреевич. Стрельников — это Антипов, муж мой. Я согласна с общим мнением. Катенька это тоже знает и гордится своим отцом. Стрельников — это его подставное имя, псевдоним, как у всех революционных деятелей. Из каких-то соображений он должен жить и действовать под чужим именем.

Вот он Юрятин брал, забрасывал нас снарядами, знал, что мы тут, и ни разу не осведомился, живы ли мы, чтобы не нарушить своей тайны. Это был его долг, разумеется. Если бы он спросил, как ему быть, мы бы ему то же посоветовали. Вы также скажете, что моя неприкосновенность, сносность жилищных условий, предоставленных горсоветом, и прочая, — косвенные доказательства его тайной заботы о нас! Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас! Это в моем мозгу не укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей. Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем одинаково. Но в вещах широкого значения, в философии жизни лучше будем противниками. Но вернемся к Стрельникову.

Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиулли-ну, от которого не скрыт секрет его имени и моего супружества и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так, значит, теперь он в Сибири.

А когда он тут был (он тут долго пробыл и жил все время на путях в вагоне, где вы его видели), я все порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось Военное управление Комуча, войск Учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в

штаб был в том же флигеле, где меня раньше Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать. Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе, кадеты стали неугодных преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати. Если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости,, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.

Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали.

Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?

— Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов.

— Так вот сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. Когда-то во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка: «Бюро претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец Павел Ферапонтович Антипов, бывший политический ссыльный, из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. В месте своей прежней ссылки. И друг его, Тиверзин. Члены революционного трибунала. Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается, и тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы. Дисциплина.

Да наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность! До жен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной, это другой разговор, это я понимаю. А отдельное двуногое вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вошь.

Адъютант обходил, опрашивал. Некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по личному. Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала.

И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит? О, напротив! Я так его знаю! У него от избытка чувств такое задумано! Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе, победителем! Обессмертить, ослепить нас! Как ребенок!

В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях.

Юрий Андреевич возвращался верхом из города в Варыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее.

Он приближался клееному перекрестку, где от прямого пути на Варыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевское на реке Сакме. В месте их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как в одну из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у Самдевятова. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его — Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно.

Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам.

Дома в родном кругу он чувствовал себя неуличенным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать.

Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку. Слезы душили его. «Что с тобой? — недоумевала Тоня. — Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили? Или расстреляли? Скажи мне. Не бойся меня расстроить. Тебе будет легче».

Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи «свободной любви», слова вроде «прав и запросов чувства» были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал «цветов удовольствия», не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести.

Что будет дальше? — иногда спрашивал он себя и, не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств.

Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою.

Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, на веки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тоне и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком смягченно, недостаточно решительно.

Ларисе Федоровне не хотелось огорчать Юрия Андреевича тяжелыми сценами. Она понимала, как он мучится и без того. Она постаралась выслушать его новость как можно спокойнее. Их объяснение происходило в пустой, не обжитой Ларисой Федоровной комнате прежних хозяев, выходившей на Купеческую. По Лариным щекам текли неощутимые, не сознаваемые ею слезы, как вода шедшего в это время дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме с фигурами. Она искренне, без напускного великодушия, тихо приговаривала: «Делай как тебе лучше, не считайся со мною. Я все переборю». И не знала, что плачет, и не утирала слез.

При мысли о том, что Лариса Федоровна поняла его превратно и что он оставил ее в заблуждении, сложными надеждами, он готов был повернуть и скакать обратно в

город, чтобы договорить оставшееся недосказанным, а главное, распроститься с ней гораздо горячее и нежнее, в большем соответствии с тем, чем должно быть настоящее расставание на всю жизнь, навеки. Он едва пересилил себя и продолжал путь.

По мере того как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. В нем запахло лиственною сыростью распаренного веника, как при входе в предбанник. В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей.

«Очнись! Очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!»

Вдруг простейшая мысль осенила Юрия Андреевича. К чему торопиться? Он не отступит от слова, которое он дал себе самому. Разоблачение будет сделано. Однако где сказано, что оно должно произойти сегодня? Еще Тоне ничего не объявлено. Еще не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он еще раз съездит в город. Разговор с Ларой будет доведен до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О, как хорошо! Как чудно! Как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову!

При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он все снова пережил в предвосхищении.

Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. Он идет к ней. Сейчас, в Новосвалочном, пустыри и деревянная часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух захватывает! Вот там живет она, в том конце. Под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он любит эти знакомые домики по пути к ней! Так и подхватил бы их с земли на руки и расцеловал!

Эти поперек крыш нахлобученные одноглазые мезонины! Ягодки отраженных в лужах огоньков и лампад! Под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он опять получит в дар из рук Творца эту Богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темное закутанная фигура. И обещание ее близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега.

Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел вскачь.

На плавном полете галопа, в промежутке между редкими, еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему.

Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков вбок, попятился и стал садиться на круп, собираясь стать на дыбы.

Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенной пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как

маскарадный ряженый, толстяк в стеганых штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями.

— Ни с места, товарищ доктор, — ровно и спокойно сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. — В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю. При малейшей мысли о побеге церемониться не будем.

— Вы сын Микулицына Ливерий, товарищ Лесных?

— Нет, я его начальник связи Каменнодворский.

Часть десятая

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

1

Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчино, Пажинск, Тысяцкое, починок Яглинское, Звонарская слобода, станок Вольное, Гуртовщики, Кежемская заимка, станица Казеево, слобода Кутейный посад, село Малый Ермолай.

Тракт пролегал через них, старый-престарый, самый старый в Сибири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города пополам ножом главной улицы, а села пролетал не оборачиваясь, раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы, или выгнув их дугой, или крюком внезапного поворота.

В далеком прошлом, до прокладки железной дороги через Ходатское, проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чаями, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом накандальников, пропащие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели кругом, темные, непроходимые.

Тракт жил одной семьей. Знались и роднились город с городом, селенье с селеньем. В Ходатском, на его пересечении с железною дорогой были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороге, мыкала горе голытьба, скученная в казармах, болела, мерла. Отбывшие каторгу политические ссыльные с техническими познаниями выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении.

Вдоль всей этой линии первоначальные советы давно были свергнуты. Некоторое время держалась власть Сибирского временного правительства, а теперь сменена была по всему краю властью Верховного правителя Колчака.

2

На одном из перегонов дорога долго подымалась в гору. Обзор открывавшихся далей все расширялся. Казалось, конца не будет подъему и росту кругозора. И когда лошади и люди уставали и останавливались, чтобы перевести дыхание, подъем кончался. Впереди под дорожный мост бросалась быстрая река Кежма.

За рекой на еще более крутой высоте показывалась кирпичная стена Воздвиженского монастыря. Дорога низом огибала монастырский косогор и в несколько поворотов между задними дворами окраины пробиралась внутрь города.

Там она еще раз захватывала край монастырского владения на главной площади, куда растворялись железные, крашенные в зеленую краску монастырские ворота. Вратную икону на арке входа полувенком обрамляла надпись золотом: «Радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа».

Была зима в исходе. Страстная, конец Великого поста. Снег на дорогах чернел, обличая начавшееся таяние, а на крышах был еще бел и нависал плотными высокими шапками.

Мальчишкам, лазившим к звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома внизу казались сдвинутыми в кучу маленькими ларцами и ковчежцами. К домам подходили величиной в точечку маленькие черные человечки. Некоторых с колокольни узнавали по движениям. Подходившие читали расклеенный по стенам указ Верховного правителя о призыве в армию трех очередных возрастов.

3

Ночь принесла много непредвиденного. Стало тепло, необычно для такого времени. Моросил бисерный дождь, такой воздушный, что казалось, он не достигал земли и дымкой водяной пыли расплывался в воздухе. Но это была видимость. Его теплых, ручьями растекавшихся вод было достаточно, чтобы смыть

дочиста снег с земли, которая теперь вся чернела, лоснясь, как от пота.

Малорослые яблони, все в почках, чудесным образом перекидывали из садов ветки через заборы на улицу. С них, недружно перестукиваясь, падали капли на деревянные тротуары. Барабанный разнобой их раздавался по всему городу.

Лаял и скулил во дворе фотографии до утра посаженный на цепь щенок Томик. Может быть, раздраженная его лаем, на весь город каркала ворона в саду у Галузиных.

В нижней части города купцу Любезнову привезли три телеги клади. Он отказывался ее принять, говоря, что это ошибка и он такого товару никогда не заказывал. Ссылаясь на поздний час, молодцы-ломовики просились к нему на ночлег. Купец ругался с ними, гнал их прочь и не отворял им ворот. Перебранка их тоже была слышна во всем городе.

В час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега, и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба.

Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати Евангелий. В глубине за сетчатою пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие прошли к утрене.

Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва начавшейся заутрени. Она шла неровною походкою, то разбегаясь, то останавливаясь, в накинутом на голову платке и расстегнутой шубе. Ей стало нехорошо в духоте церкви, и она вышла на воздух, а теперь стыдилась и сожалела, что не достояла службы и второй год не говеет. Но не в этом была причина ее печали. Днем ее огорчил расклеенный всюду приказ о мобилизации, действию которого подлежал ее бедный дурачок сын Тереша. Она гнала это неудовольствие из головы, но всюду белевший в темноте клок объявления напоминал ей о нем.

Дом был за углом, рукой подать, но на воле ей было лучше. Ей хотелось побыть на воздухе, ее не тянуло домой, в духоту.

Грустные мысли обуревали ее. Если бы она взялась продумать их вслух по порядку, у нее не хватило бы слов и времени до рассвета. А тут, на улице, эти нерадостные соображения налетали целыми комками, и со всеми ими можно было разделаться в несколько минут, в два-три конца от угла монастыря до угла площади.

Светлый праздник на носу, а в доме ни живой души, все разъехались, оставили ее одну. А что, разве не одну? Конечно, одну. Воспитанница Ксюша не в счет. Да и кто она? Чужая душа потемки. Может, она друг, может, враг, может, тайная соперница.

Перешла она в наследство от первого мужнина брака, Вла-сушкина приемная дочь. А может, не приемная, а незаконная? А может, и вовсе не дочь, а совсем из другой оперы! Разве в мужскую душу влезешь? А впрочем, ничего не скажешь против девушки. Умная, красивая, примерная. Куда умнее дурачка Те-решки и отца приемного.

Вот и одна она на пороге Святой, покинули, разлетелись, кто куда.

Муж Власушка вдоль по тракту пустился новобранцам речи говорить, напутствовать призванных на ратный подвиг. А лучше бы, дурак, о родном сыне позаботился, выгородил от смертельной опасности.

Сын Тереша тоже не утерпел, бросился наутек, накануне великого праздника. В Кутейный посад укатил к родне, развлечься, утешиться после перенесенного. Исключили малого из реального. В половине классов по два года высидел без последствий, а в восьмом не пожалели, выперли.

Ах, какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки опускаются. Все из рук валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? В том ли сила, что революция? Нет, ах нет! От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна гниль никчемная, никудышная.

То ли было в батюшкином дому, у отца-подрядчика? Отец был непьющий, грамотный, дом был полная чаша. И две сестры — Поля и Оля. И как имена складно сходились, такие же обе они были согласные, под пару красавицы. И плотничьи десятники к отцу ходили, видные, статные, авантажные. Или вдруг вздумали они, — нужды в доме не знали, — вздумали шести шерстей шарфы вязать, затейницы. И что же, такие оказались вязальщицы, по всему уезду шарфы славились. И все, бывало, радовало густотой и стройностью, — церковная служба, танцы, люди, манеры, даром что из простых была семья, мещане, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в девушках, и были у ней настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним. А теперь сошел со всего лоск, одна штатская шваль адвокатская да жидова день и ночь без устали слова жует, словами давится. Власушка со приятели думает замануть назад золотое старое времечко шампанским и добрыми пожеланиями. Да разве так потерянной любви добиваются? Камни надо ворочать для этого, горы двигать, землю рыть!

4

Галузина уже не раз доходила до привоза, торговой площади Крестовоздвиженска. Отсюда в дом к ней было налево. Но каждый раз она передумывала, поворачивала назад и опять углублялась в прилегавшие к монастырю закоулки.

Привозная площадь была величиной с большое поле. В прежнее время по базарным дням крестьяне уставляли ее всю своими телегами. Одним концом она упиралась в конец Еленинской. Другая сторона по кривой дуге была застроена небольшими домами в один этаж или два. Все они были заняты амбарами, конторами, торговыми помещениями, мастерскими ремесленников.

Здесь в спокойные времена, бывало, за чтением «Газеты-копейки» восседал на стуле у порога своей широченной, на четыре железных раствора раскидывавшейся двери грубиян-медведь в очках и длиннополом сюртуке, женоненавистник Брюханов, торговавший кожами, дегтем, колесами, конской сбруей, овсом и сеном.

Здесь на выставке маленького тусклого оконца годами пылилось несколько картонных коробок с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами. За оконцем в пустой комнатке без мебели и почти без признаков товара, если не считать нескольких наложенных один на другой вощаных кругов, совершались тысячные сделки на мастику, воск и свечи неведомыми доверенными неведомо где проживавшего свечного миллионера.

Здесь в середине уличного ряда находилась большая в три окна колониальная лавка Галузиных. В ней три раза в день подметали щепящийся некрашеный пол спитым чаем, который пили без меры весь день приказчики и хозяин. Здесь молодая хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый, фиолетовый, цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее столового винного стекла. Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося дореволюционного девичества России казался ей тоже светло-сиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, потому что благоухавший крахмалом, сахаром и темно-лиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет.

Здесь на углу, рядом с лесным складом, стоял старый, рассевшийся на четыре стороны, как подержанный рыдван, двухэтажный дом из серого теса. Он состоял из четырех квартир. В них было два входа, по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного, над нотариусом, ютилось много квартирантов, о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах, здесь помещалась гравировальня Каминского.

Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов ретушер Сеня Магидсон и студент Блажеин соорудили себе род лаборатории во дворе, в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, по-видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, подслеповато мигавшего в оконце конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи повизгивавший на всю Еленинскую песик Томка.

«Сбились всем кагалом, — подумала Галузина, проходя мимо серого дома. — Притон нищеты и грязи». Но тут же она рассудила, что не прав Влас Пахомович в своем юдофобстве. Не велика спица в колеснице эти люди, чтобы что-то значить в судьбах державы. Впрочем, спроси старика Шмулевича, отчего непорядок и смута, изогнется, скривит рожу и скажет, осклабившись: «Лейбочкины штучки».

Ах, но о чем, но о чем она думает, чем забивает голову? Разве в этом дело? В том ли беда? Беда в городах. Не ими Россия держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали, к чужому не пристали.

А может быть, наоборот, весь грех в невежестве. Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы когда голову снимут, тогда шапки хватимся. Как в темном лесу. Оно положим, не сладко теперь и образованным. Вон из городов погнало бесхлебье. Ну вот тут и разберись. Сам черт ногу сломит.

А все-таки то ли дело наша родня деревенская? Селитви-ны, Шелабурины, Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Модых? Своя рука владыка, себе головы, хозяева. Дворы по тракту новые, залюбуешься. Десятин по пятнадцать засева у каждого, лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три. Инвентарь — загляденье. Уборочные машины. Перед ними Колчак лебезит, к себе зазывает, комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в «Георгиях», и сразу нарасхват в инструктора. Хушь ты с погонами, хушь без погон. Коли ты человек знающий, везде на тебя спрос Не пропадешь.

Однако пора домой. Просто неприлично так дол го женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло.

И окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины.

Она вспомнила теперешних верховодов в Ходатском, о которых имела близкое представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархиста Вдовиченко-Чер-ное знамя, здешнего слесаря Горшеню Бешеного. Все это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили, что-то, верно, опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких, поверх фуфаек, пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтобы чем не заразиться, пьют кипяченую воду. Ничего не выйдет у Власушки, эти все перевернут по-своему, всегда поставят на своем.

И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо сохранившаяся и умная, неплохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре, да и нигде, может быть. И непристойные куплеты о дуре Сентетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки:

Сентетюриха телегу продала, На те деньги балалайку завела, —

а дальше шли скабрезности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с намеком на нее.

И, горько вздохнув, она вошла в дом.

5

Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты выходили в сад. Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри и за окном снаружи почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями. Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю черно-лиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темно-фиолетовый жар приближающегося праздника.

Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования: метер теу, Матерь Божия. Вложенная в золотой подлампадник темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание.

Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась, и ее опять кольнуло в бок и стало подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать: «Великое заступление печальным, Богородице чистая, скорая помощница, миру покров», — и заплакала. Потом, выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа выскальзывали из-под ее рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом нашаривала их.

В комнату вошла разбуженная ее приходом воспитанница Ксюша.

— Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?

— Не надо. И так видно.

— Мамочка Ольга Ниловна, дайте я расстегну. Не надо мучиться.

— Не слушаются пальцы, хоть плачь. Не хватило ума у порхатого крючки пришить по-человечески, слепая курица. Спороть донизу и всей кромкой в рожу.

— Хорошо пели у Воздвиженья. Ночь тихая. Сюда доносило воздухом.

— Пели-то хорошо. Да мне, мать моя, плохо. Опять колотье и тут и тут. Везде. Вот какой грех. Не знаю, что делать.

— Гомеопат Стыдобский вам помогал.

— Всегда советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А во-вторых, уехал он. Уехал, уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение ли какое предвидится?

— Ну тогда пленный доктор венгерский хорошо вас пользовал.

— Опять ерунда с горохом. Говорю тебе, никого не осталось, все разбрелись. Очутился Керени Лайош с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика. Взяли в Красную армию.

— Ведь это у вас одна мнительность. Сердечный невроз. Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка-шептунья вас с успехом заговаривала. Как рукой снимало. Забыла, как ее, солдатку. Имя забыла.

— Нет, ты положительно считаешь меня темною дурой. Еще, чего доброго, про меня за глаза Сентетюриху поешь.

— Побойтесь Бога! Грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню.

— А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе. Кубарйхой ее зовут, и Медведихой, и Злыдарихой. И еще прозвищ с десяток. Нет поблизости и ее. Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божию в Кежемскую тюрьму. За вытравление плода и порошки какие-то. А она вишь, чем в остроге скучать, из тюрьмы дала драла куда-то на Дальний Восток. Я ведь тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, тетя Поля, сердце податливое. Честных женщин одни мы с тобой две дуры во всем городе, разве я шучу. И никакой врачебной помощи. Случись что, и конец, никого не докличешься. Говорили, знаменитость из Москвы в Юрятине, профессор, сын самоубийцы, купца сибирского. Пока я раздумывала выписать, двадцать красных кордонов на дороге наставили, чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать, и я лечь попробую. Тебе студент Блажеин голову кружит. Зачем отпираться. Все равно не ухоронишься, покраснела как рак. Трудится твой студент несчастный над карточками во Святую ночь, карточки мои проявляет и печатает. Сами не спят и другим спать не дают. Томик у них на весь город заливается. И ворона стерьва раскаркалась у нас на яблоне, видно, опять не уснуть мне всю ночь. Да что ты, право, обижаешься, недотрога ты этакая? На то и студенты, чтобы девушкам нравиться.

6

— Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Не ровён час ащеулы нагрянут. Ты не уходи, Устин. И ты стой тут, Сивоблюй. Без вас обойдется.

Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой:

— Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но по сути вещей и всему трудовому крестьянству. Сибирское и уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой...

Наконец он расслышал, что его обрывают, остановился, утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза.

Близстоявшие к нему обращались вполголоса:

— Передохни маненько. Водицы испей. Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали:

— Да чего ты волнуешься? Все в порядке. Сигнальный фонарик на окне. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. Я полагаю, можно возобновить слово по докладу. Говорите, товарищ Лидочка.

Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмою собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки Константи-новского тупика за монастырскою стеною.

Докладчик, в черной коленкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледно-оливковым лицом и черной бородою до ушей, страдал нервною испариной и все время обливался потом. Он жадно разжигал недокурен-ный окурок о горячую воздушную струю горевшей на столе керосиновой лампы и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом:

— Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через советы. Волею-неволей сибирское крестьянство будет теперь стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания. При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную.

Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание.

Партизанский главарь, точнее, военачальник Кежемского объединения партизан Зауралья, сидел перед самым носом докладчика в вызывающе небрежной позе и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями и его слушались и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги в борта кавалерийской шинели. Сброшенный шинельный верх и рукава, перекинутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон.

По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных ко-ротайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались.

Кроме этих людей, в сарае было еще человек десять — пятнадцать народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и ее кругло выступающим проконопаченным бревнам.

Для почетных гостей были расставлены стулья. Их занимали три-четыре человека рабочих, старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое.

Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столп русского

анархизма Вдо-виченко-Черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиною гривой, из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны и, во всяком случае, — русско-японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель.

По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая все превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался.

Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник и зверолов Свирид. Хотя Свирид не крестьянствовал, его земляная, черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик-полубурят, душевный и неграмотный, с волосами узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, все время морщившееся сочувственной улыбкой.

Докладчик, объезжавший Сибирь с военною инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но, революционер и народолюбец от младых ногтей, он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полководца. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением, к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине наглая бесцеремонность ее повелителя.

Партизанский вождь был сын Микулицына Ливерий, докладчик из центра — бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам-революционерам, Костоед-Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние, и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее послан на такую ответственную работу.

Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважение к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидкам, а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс в охваченной восстаниями Западной Сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний.

Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движения, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но может быть, все это было накладное? Партия предписала ему строгую зашифрованность. Подпольные его клички были Берендей и товарищ Лидочка.

Когда улегся шум, вызванный несвоевременным заявлением Вдовиченки о его согласии с зачитанными пунктами инструкции, Костоед продолжал:

— В целях возможно полного охвата нарастающего движения крестьянских масс необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета.

Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям.

— Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций, где хранятся крупные денежные средства и система их хранения.

Надобно детально, во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, о подрывной тактике на территории противника, как-то: о разрушении мостов, железнодорожных линий, пароходов, барж, станций, мастерских с их техническими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия.

Ливерий терпел-терпел и не выдержал. Все это казалось ему не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал:

— Прекрасная лекция. Намотаю на ус. Видимо, все это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной армии.

— Разумеется.

— А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, с детскою твоей шпаргалкою, когда, дуй тебя в хвост, силы мои, в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?

«Какая прелесть! Какая сила!» — думал Костоед. Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал:

— Извините, товарищ докладчик. Я не уверен. Может быть, я неправильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться: «Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника». Товарищ Костоед, это правильно записано?

— Правильно. Слово в слово. Правильно.

— В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие, участники революции девятьсот пятого года, не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция.

Кругом раздавались голоса:

— Довольно! Резолюцию! Резолюцию! Пора расходиться. Поздно.

— Я согласен с мнением большинства, — ввернул громыхающим басом Вдовиченко. — Выражаясь поэтически, вот именно. Гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки. Их нельзя вбивать сверху, как столбы частокола. В этом была ошибка якобинской диктатуры, отчего конвент и был раздавлен термидорианцами.

— Это как божий день, — поддержал приятеля по скитаниям Свирид, г- это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать да переть напролом. Кряхти да гнись. А то что ж это будет, размахались, и на попят? Сам сварил, сам и кушай. Сам полез в воду, не кричи — утоп.

— Резолюцию! Резолюцию! — требовали со всех сторон. Еще немного поговорили, со все менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание. Расходились с предосторожностями поодиночке.

7

Было одно живописное место на тракте. Расположенные по крутому скату, разделенные быстрой речкой Пажинкой почти соприкасались: спускавшаяся сверху деревня Кутейный посад и пестревшее под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев, в Малом Ермолае — под председательством полковника Штрезе продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя, после пасхального перерыва, подлежащую призыву молодежь Малоермолаевской и нескольких прилегавших волостей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки.

Был третий день не по времени поздней Пасхи и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в Кутейном на улице, под открытым небом, с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе не совсем в линию, и они длинной неправильной кишкою вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями.

Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола, два копченых окорока, несколько куличей, две-три пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего, крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашеных, высокою горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые.

Наколупанной яичной скорлупой, голубой, розовой и с изнанки — белой, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платья девушек. Голубого цвета было небо. Розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними.

Розового цвета была подпоясанная семишелковым кушаком рубашка на Власе Пахомовиче Галузине, когда он бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки пафнуткинского крыльца к столам, — дом Пафнуткиных стоял над столами на горке, — и начал:

— Этот стакан народного самогона я заместо шампанского опустошаю за вас, ребятушки. Исполать вам и многая лета, отъезжающие молодые люди! Господа новобранцы! Я желаю про-здравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания. Крестный путь, который расстилается перед вами дальнею дорогой, грудью стать на защиту родины от насильников, заливших поля родины братоубийственной кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевания революции, но как партия большевиков будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, Учредительное собрание, разогнано грубою силою штыка и кровь льется беззащитною рекою. Молодые отъезжающие люди! Выше подымите поруганную честь русского оружия, как будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными опять нагло подымающую голову Германию и Австрию. С нами Бог, ребятушки, — еще говорил Галузин, а уже крики «ура» и требования качать Власа Пахомовича заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную, плохо очищенную жидкость. Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более изысканных букетов. Но сознание приносимой общественной жертвы преисполняло его чувством удовлетворения.

— Орел у тебя родитель. Экий зверь речи отжаривать! Что твой думский Милюков какой-нибудь. Ей-богу, — полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых своему дружку и соседу за столом Терентию Галу-зину его папашу. — Право слово, орел. Видно, не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать.

— Что ты, Гошка! Посовестился бы. Выдумает тоже, «отхлопотать». Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть, чего доброго, в вольнопе-ры. В рядовые пошлют. А папаша, действительно, насчет речей парадных, и не говори. Мастер. Главная вещь, откуда? Природное. Никакого систематического образования.

— Слыхал про Саньку Пафнуткина?

— Слыхал. Будто правда это такая зараза?

— На всю жизнь. Сухоткой кончит. Сам виноват. Предупреждали, не ходи. Главная вещь, с кем спутался.

— Что же с ним теперь будет?

— Трагедия. Хотел застрелиться. Нынче на комиссии в Ермолае осматривают, должно, возьмут. Пойду, говорит, в партизаны. Отомщу за язвы общества.

— Ты слышь, Гошка. Вот ты говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть.

— Я знаю, про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок.

— Я те в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый!

— Пошутил я, утихомирься. Я что тебе хотел сказать. Я в Пажинске разговлялся. В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение личности». Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер — это, говорит, пробуждение животного электричества. А? Такой вундеркинт. Но я здорово наклюкался. И орут кругом не разбери-бери что, оглохнешь. Не могу больше, Терешка, замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись.

— Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно?

— Я хоша по этим словам профессор, ну как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник — это кто с другим из одной шайки. Раз сказано соватажник, стало быть, ты с ним из одной ватаги. Понял, балда?

— Я так и думал, что слово ругательное. А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать. Для поднятия деятельности. Наложенным платежом. А тут вдруг новый переворот. Не до поясов.

Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту он возобновился с еще более беспорядочною силою. Часть сидевших повскакала с мест. Кто потверже, устояли на ногах. Другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины. Начался переполох.

Влас Пахомович бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напружилась, лицо побагровело, он заорал во все горло:

— Это какой Иуда затесавший в наши ряды безобразничает? Это какой материн сын тут гранатами балуется? Чей бы он ни объявился, хушь мой собственный, задушу гадину! Не потерпим, граждане, такие шутки шутить! Требую учинить облаву. Оцепим деревню Кутейный посад! Изловим провоката! Не дадим уйтить суке!

Вначале его слушали. Потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из волостного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается.

Из горящего Ермолаевского волостного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный. Вдогонку бегущим на ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат.

События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерки, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялся из села в соседний Кутейный. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу.

К этому времени половина чествуемых были готовы и, перепившись до положения риз, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них наземь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже темно.

Несколько ребят кинулись от милиции наутек по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под не доходивший до земли заплот первого попавшегося амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подызбица потребиловки.

У прятавшихся не было ничего на совести. Было ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это впопыхах, с пьяных глаз, сдуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь все ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались большевиками.

Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили. Пространство между землей и полом амбара было полно народу. Здесь пряталось несколько человек кутейниковских и ермола-евских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром была тьма хоть глаз выколи, духота и вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли, землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шепот особенно неугомонных, насмерть перепуганного Терентия Галузина и ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.

— Тише ори, сука, всех погубишь, черт сопливый. Слышишь, штрезенские рыщут — шастают. С околицы свернули, идут по ряду, скоро тут будут. Вот они. Замри, не дхни, удавлю! Ну, твое счастье, — далеко. Прошли мимо. Кой черт тебя сюда понес? И он, балда, туда же, прятаться! Кто бы тебя пальцем тронул?

— Слышу я, Гошка орет, — хоронись, лахудра. Я и залез.

— Гошка другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в Ходатском. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуролом ты этакий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься, сам вымажешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь, что ли, воняет. Штрезе отчего по деревне носится? Пажинских ищет. Пришлых.

— Как, Коська, это все подеялось? С чего началось?

— Из-за Саньки весь сыр-бор, из-за Саньки Пафнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Сань-кина очередь. Не раздевается. Санька был выпивши, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит. Вежливо. Саньке «вы» говорит. Военный писарь. А Санька ему эдак грубо: «Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать». Быдто ему совестно. И пододвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да. И что же ты думаешь. Никто моргнуть не успел, нагибается Санька, хвать столик канцелярский за ножку и со всем, что на столе, с чернильницей, с военными списками на пол! Из дверей правления

Штрезе: «Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик?»

А Санька к окну. «Караул, кричит, разбирай одежу! Конец нам тут, товарищи!» Я — за одежей, на бегу оделся и к Саньке. Вышиб Санька кулаком стекло и фьють на

улицу, лови ветер в поле. И я за ним. И еще какие-то. И давай бог ноги. А уже за нами улюлю, погоня. А спроси ты меня, из-за чего это все? Никто ничего не поймет.

— А бомба?

— Чего бомба?

— А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, — гранату?

— Господи, да разве это мы?

— А кто же?

— А почем я знаю. Кто-то другой. Видит, суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. На других, мол, подумают. Кто-нибудь политический. Политических, пажинских, полно ведь тут. Тише. Заткнись. Голоса. Слышишь, штрезенские назад идут. Ну, пропали. Замри, говорю.

Голоса приближались. Скрипели сапоги, звенели шпоры.

— Не спорьте. Меня не проведешь. Не из таковских. Где-то определенно разговаривали, — раздавался начальственный, все-отчетливый, петербургский голос полковника.

— Могло почудиться, ваше превосходительство, — урезонивал его малоермолаевский сельский староста, рыбопромышленник старик Отвяжистин. — А что удивительного, что разговоры, коли деревня. Не кладбище. Може, где и разговаривали. В домах не твари бессловесные. А може, кого и домовой во сне душит.

— Но-но! Я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой! Домовой! Больно вы тут распустились. Вот доумничаетесь до международной, тогда поздно будет. Домовой!

— Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник! Какая тут международная! Олухи еловые, непроезжая темь. В старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. Куда им революция.

— Так вы все говорите до первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу. Перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки. Обыскать прилегающие строения.

— Слушаемся, ваше превосходительство.

— Пафнуткина, Рябых, Нехваленых живыми или мертвыми. Хоть со дна морского. И галузинского пащенка. Это ничего, что папаша патриотические речи произносит, зубы заговаривает. Наоборот. Это не усыпит нас. Раз лавочник ораторствует, значит, дело неладно. Это подозрительно. Это противно природе. По негласным сведениям, у них на дворе в Крестовоздви-женске политических прячут, устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожаления остальным в назидание.

Обыскивавшие двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська Нехваленых спросил помертвевшего Терешку Галузина:

— Слыхал?

— Да, — не своим голосом прошептал тот.

— Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой в лес одна дорога. Я не говорю, навсегда. Покамест образумятся. А когда опомнятся, тогда видно будет. Может, воротимся.

Часть одиннадцатая ЛЕСНОЕ ВОИНСТВО

1

Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не

отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселения и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем.

Казалось, этой зависимости, этого плена не существует, доктор на свободе и только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой.

Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял.

Ему мирволил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью.

2

Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной

Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости.

Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть.

В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения главным в них становилась именно эта тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов.

Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием.

Был темный дождливый день в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней.

Вконец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу Пелагею Тягунову.

Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды, то полные решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающие готовность отступить.

Через минуту он все вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных и пассажирки с перекинутыми на грудь косами он увидел своих в середине картины. Подробности по-

запрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним.

Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней.

Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудообязанных красивом неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притульеве ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу.

Тем временем случились несчастия с людьми, милыми ее сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе.

По случайности Тягунова работала судомойкой в пажин-ской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передачи товара.

Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к Дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутыли и ящики.

Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивевшая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и рябила киноварью.

А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины. В захваченной партии лекарств оказалась целая банка кокаину, нюханьем которого грешил в последнее время партизанский начальник.

3

Работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой — сыпной тиф, летом — дизентерия и, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий.

Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно вдесятеро. Теперь они достигли указанных размеров.

У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правою его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски.

4

По международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиною партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступая.

Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты-первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья? Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравируя опасностью, не' прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных числу видимых мишеней.

Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.

Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.

Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену, чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось

перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.

Целясь и по мере все уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когданибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.

Наконец белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.

Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.

На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.

Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. Отрывки церковно-славянского текста были переписаны в грамотке по-русски.

В псалме говорится: «Живый в помощи Вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помощи». Стих псалма «Не убоишися... от стрелы летящия во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя Мое», — говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в зиму его».

Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.

От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.

Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич, — имя и фамилия убитого.

Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.

В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?

Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.

При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.

Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу.

Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.

5

Осенью лагерь партизан стоял в Лисьем отоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороинами, стремительная пенистая речка.

Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весною его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны.

Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать.

— Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер-папахен мой.

«Господи, до чего не выношу я этого паяснического тона, — про себя вздыхал доктор. — И ведь вылитый отец!»

— Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы Аверкия Степановича достаточно узнали. И, как мне кажется, — довольно неплохого мнения о нем. А, милостивый государь?

— Ливерий Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лайошем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал. Отложим собеседование. Помилосердствуйте.

— Нет — всё же, возвращаясь к Аверкию Степановичу. Что вы скажете о старикане?

— У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкиевич. Зачем вы тдк о нем отзываетесь. А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в

отдельных градациях социалистического настоя и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. Аверкий Степанович тип и характер революционный. Так же как и вы, он представитель русского бродильного начала.

— Что это, похвала или порицание?

— Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени. Кроме того, обращаю ваше внимание на кокаин, который вы опять нюхаете без меры. Вы его самовольно расхищаете из подведомственных мне запасов. Он нам нужен для других Целей, не говоря о том, что это яд и я отвечаю за ваше здоровье.

— Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем вы — доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется?

— Не знаю как. Наверное, никак не вяжется, ничего не поделаешь. Я достоин жалости.

— Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным.

— Господь с вами, Ливерий Аверкиевич! Какое тут высокомерие! Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к беззащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину, это род толстовства, это мечта о достойном существовании, этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами?

Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние.

Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.

— И все же посещение собраний и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику.

Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня, — временно они не подлежат огласке, — и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите. Мы победим. Утешьтесь.

«Нет, это неподражаемо! — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же».

Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения и он насилу сдерживается. От Ливерия это не укрылось.

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав, — сказал он.

— Поймите, поймите, наконец, что все это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал о, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело. Мор может уйти», — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу я, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к черту.

Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, отдела, ото всего, что мне дорого и чем я жив.

Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Варыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Каменно-Дворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и папахах в страшный мороз перешли Рыньву по льду, не говоря худого слова перестреляли все живое в поселке и затем сгинули так же загадочно, как появились. Что вам об этом известно? Это правда?

— Чушь. Вымыслы. Подхваченные сплетниками непроверенные бредни.

— Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что все остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, черт возьми, право просто-напросто хотеть спать!

Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывавшегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты. Гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного, и стольких жертв, и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Да и куда пошел бы теперь доктор. Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного.

«Завел шарманку, дьявол! Заработал языком! Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку?» — вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. «Заслушался себя, златоуст, кокаинист несчастный. Ночь ему не в ночь, ни сна, ни житья с ним, проклятым. О, как я его ненавижу! Видит Бог, я когда-нибудь убью его.

О Тоня, бедная девочка моя! Жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно! Как прошли твои роды? Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой и вина моя! Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи! Господи! А этот все ораторствует, не унимается, ненавистное, бесчувственное животное! О, я когда-нибудь не выдержу и убью его, убью его».

6

Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего отока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого

блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лайошем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали.

Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый сумрачною, почти черною стеною щетинился в глубине, второй винно-огненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из его бревен.

Земля во рву, под ногами у доктора и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженым, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара.

Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лайош.

— Здравствуйте, коллега, — сказал он по-немецки. Они занялись делами.

— У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно, в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но, по моим наблюдениям, мы сходим с ума, дорогой Лайош, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы.

— Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожение. Судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с ихженами, детьми и стариками.

— Да, их придется подождать.

— И все это перед выборами единого командования, общего над другими, нам не подчиненными отрядами. Я думаю, — единственный кандидат товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченку. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков, дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры. Они особенно расшумелись.

— Что, по-вашему, будет с санитарами, варившими и продававшими самогон?

— По-моему, их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный.

— Однако мы с вами заболтались. Займемся делами. Реорганизация лазарета. Вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову.

— Хорошо. Но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался, на страхе за своих близких, в случае если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменнодворского. Надо бы осмотреть его.

— Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его. Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. И всегда меня отталкивал. Ладно. Я займусь им.

7

Был ясный солнечный день. Стояла тихая сухая, как всю предшествующую неделю, погода.

Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржанье лошадей, тявканье собак и пенье петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь.

Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность.

В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городища, носившая местное название буйвища. На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного.

В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла.

На открытой лужайке близ своего архива начальник связи Каменнодворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам доставшейся ему каппелевской полковой канцелярии вместе с грудами своей собственной, партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса». Огня не было видно, и только по выбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется.

Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами: нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми бело-малиновыми кистями калины. Позванивая стеклянными крылышками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы.

Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его гРУДь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!» — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству.

Но очередное, злободневное, продолжалось, в России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И, сам того не замечая, он подошел к костру Каменнодворского.

— Делопроизводство уничтожаете? До сих пор не сожгли?

— Куда там! Этого добра еще надолго хватит.

Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях вроде следующего: «Омск генквар-верх первому копия Омск наштаокр омского карта сорок верст Енисейского не поступало». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка: «Весьма срочно. Об отпусках. Перевыборы членов ревизионной комиссии. Текущее. Ввиду недосказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы армейский совет полагает...»

В это время Каменнодворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал:

— Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся.

Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул.

— Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось! Ходячие и перевязочные пешком пойдут. Но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование!

— Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное.

— Палых? Мне Лайош говорил.

— Да. Сходите к нему. Исследуйте.

— Что-то психическое?

— Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается. По-видимому, галлюцинации. Бессонница. Головные боли.

— Хорошо. Пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?

— Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас.

— Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерий Аверкиевич любит по ночам философствовать, заговорил меня. Как пройти к Памфилу? Где он помещается?

— Молодой березнячок за бутовой ямой знаете? Березовый молоднячок.

— Найду.

— Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили. В ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе. Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги.

8

По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствия накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж. Но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему.

Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев. Листья легли в клетку, шашками, на лужайку. Так же ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах

рябило от этой двойной, скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного.

Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавший бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку-невидимку.

Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонение от меры производит обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь Ливерий, — возмущался он. — Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастеника. Я когда-нибудь убью его».

Цветным складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которою она и слилась совершенно неотличимо. Бабочка незаметно стушевалась на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней.

Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности как следствии совершенствующегося приспособления. О мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске. О выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве.

И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий, заглушённый говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что уславливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевельнулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться.

Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из «серебряной роты» Сивоб-люя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности, шедшей от Разина и Пугачева, этого приближенного за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали атамановым ухом. Он, значит, тоже был участником заговора.

Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они уславливались с изменниками, и только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника.

Больше всего, говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.

— Теперь, которые прочие, слухай. Главное, — втихаря, потаюхой. Ежели кто ушатнется, съябедничает, видал финку? Энтою финкой выпущу кишки. Понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение. Надо исделать штуку, чего свет не видал, из ряду вон. Они требовают его живого, в веревках. Теперь слышишь, к эн-тим лесам подходит ихний сотник Гулевой. (Ему подсказали, как правильно, он не расслышал и поправился: «генерал Галеев».) Такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам все докажут. Они говорят, беспременно чтобы связанного, живьем. Сами спросите товарищей. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва.

Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил Гораздых.

— Слыхали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золотце, какое зельецо. За такого ли платиться? Рази это человек? Это порченый, блаженный, вроде как бы недоросток или скитник. Я те дам ржать, Терешка! Ты чего зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубки говорится. Да. Вроде как во отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя вконец обмона-шит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде, долой сквернословие, борьба с пьянством, отношение к женщине. Нешто можно так жить? Окончательное мое слово. Седни в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на елань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость? Это раз плюнуть. В чем кавычка? Они хочут, надо живьем. Связать. А увижу, не выходит по-нашему, сам расправлюсь, пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут.

Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать.

«Ведь это они Ливерия, мерзавцы! — с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. — Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменнодворского. И как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности».

Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского.

Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее.

9

Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисьем отоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых.

Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены и, рухнув всею тяжестью, остриями подломившихся сучьев воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку.

— В ожидании дорогих гостей, — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. — Жене, детишкам будет палатка низка. И заливает в дождь. Хочу кольями верх подпереть. Нарубил слег.

— Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы невоенным, женщинам и детям, в самом войске стоять, где это видано? Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худаешь ты, пить-есть не стал, не спишь? А на вид ничего. Только немного оброс.

Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего исподлобья.

В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить.

В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за

Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков.

Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.

— Войдем в палатку, — пригласил Памфил.

— Нет, зачем. И не влезть мне. На воздухе лучше.

— Ладно. Будь по-твоему. И впрямь нора. Побалакаем на должиках (так назвал он сваленные в длину деревья).

И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.

— Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать.

Ну, так, что ли. Жили мы с хозяйкой моей. Молодые. Домовничала она. Не жаловался, крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать. Ты ее видал, товарищ медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, на буржуев! И тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с Российского фронта первый и второй Ставропольский снял и первый Оренбургский казачий. Нешто я маленький, не понимаю? Нешто я в армии не служил? Плохо наше дело, военный доктор, наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо.

Теперь в настоящее время жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона?

Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает, за меня жену и детей замучит, по суставчикам, по косточкам переберет. Вот и спи и ешь тут, изволь. Даром что чугунный, сказишься, тронешься.

— Чудак ты, Памфил. Не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь не сегоднязавтра с ними свидишься, и чем радоваться, панихиду по них поешь.

— То прежде, а то теперь, большая разница. Одолевает нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь. Мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то родименьких я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке.

— И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются.

— Ну ин ладно, доктор. Я не все тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно, слушай мою правду колкую, не взыщи, я тебе все в глаза скажу.

Много я вашего брата в расход пустил, много на мне крови господской, офицерской, и хоть бы что. Числа-имени не помню, вся водой растеклась. Оголец у меня один из головы нейдет, огольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, уморил он меня. Со смеху застрелил, сдуру. Низа что.

В февральскую было. При Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку-агитаря, языком нас в атаку подымать. Чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Такой щупленький. Был у него лозунг: до победного конца. Вскочил он с этим лозунгом на пожарный ушат, пожарный ушат стоял на станции. Вскочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше, и вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ой смехота! Я так и покатился. Думал, помру. Ой умора! А у меня в руках ружье. А я хохочу-хохочу, и все тут, хоть ты что хошь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул.

Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко.

— В городе Мелюзееве было, станция Бирючи?

— Запамятовал.

— С зыбушинскими жителями бунтовали?

— Запамятовал.

— Фронт-то какой был? На каком фронте? На Западном?

— Вроде Западный. Все может быть. Запамятовал.

Часть двенадцатая РЯБИНА В САХАРЕ

1

Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов.

Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо, солдатка Злыдариха или Кубарйха, скотья лекарка, ветеринарка, а втайне также и ворожея.

Она ходила в шапочке пирожком, надетой набекрень, и гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок Верховному правителю, и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата и что будто бы красные освободили ее из Кежемской централки, где ее неизвестно за что держал Колчак.

В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестностей и не подыщут места для

более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать.

Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе.

У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.

Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь». И усмехалась.

Другое место в лесу было еще замечательнее.

Оно было на возвышенности. Возвышенность эта, род шихана, с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху, — река, или овраг, или глухой, некошеной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине, на другом, вершинами деревьев под ноги ушедшем, опустившемся уровне. Вероятно, это было следствие обвала.

Точно этот суровый, подоблачный, богатырский лес, как-то споткнувшись, весь как есть, полетел вниз и должен был провалиться в тартарары, сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле и вот, цел и невредим, виднеется и шумит внизу.

Но не этим, другой особенностью была замечательна лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений.

На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам.

Человек двадцать преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть.

Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были изможденны и страшны, как призраки.

Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумленьем над людьми перед близкой смертью.

Вдруг шедший рядом'с Вдовиченкой друг его и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий дал три выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом, до общей команды, на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще три неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв о них и раздосадованный промахом, он шваркнул браунинг о камни. От удара браунинг разрядился в четвертый раз, ранив в ногу приговоренного Пачколю.

Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу, и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, послышались мольбы, жалобы, раздались проклятия.

Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше в толпе к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно, нараспев:

— Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду. Не губите. Не убивайте. Не жил я еще, молод умирать. Пожить бы мне еще, маменьку, маменьку свою еще один разочек увидеть. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши буду целовать. Воду вам буду на себе возить. Ой, беда, беда, — пропал, маменька, маменька.

Из середины причитали, не видно было кто:

— Товарищи миленькие, хорошие! Как же это? Опомнитесь. Вместе на двух войнах кровь проливали. За одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите. Мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем. Аль вы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!

Сивоблюю кричали:

— Ах ты, Иуда-христопродавец! Какие мы против тебя изменники? Сам ты, собака, трижды изменник, чтоб тя удавили! Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал. Целуйся с чертом своим Лесным, пока не предал. Предашь.

Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развевающимися волосами, он громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому:

— Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История все разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссаро-державия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа. Да здравствует всемирная анархия.

Залп двадцати ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения.

2

От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведки и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Вытско-Кежем-ского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного.

Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее.

Во всяком случае, двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию.

Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры, и сами упавшие духом, потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения.

Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия.

Партизан-хозяйственник Бисюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бисюрин предвидел, что зимой главною пищей будет мясо и молоко.

Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу.

Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли сорок верст пешком на носилках.

Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, йод и глауберова соль. Йод, требовавшийся для операций и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам, с поручением починить поломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладил и для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане.

Выгонку вещества довели почти до ста градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоянным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа.

3

В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьею. Жена и дети его всё истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам, под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей, были светлые, выгоревшие на солнце, льняные волосы и белые, строгие брови на черных, обветренных, загорелых

лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите.

Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью, изумлявшей доктора, резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов.

Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их присными, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил. Но Памфил помрачнел, и к нему вернулись его прежние бегунчики.

4

На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей.

Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицын, Квадри и Басалыго. Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест и остававшееся в своих деревнях позади, за неприятельскою цепью.

Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации.

Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл.

Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской родней этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашенное карательными мерами белых все окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и естественно тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту.

Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону, к мельнице в Чилимской росчисти, на речке Чилимке. Это место на кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось Дворы. В этих Дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия.

Между тем как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало.

Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано.

С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними, а женщины стихийным потоком двигались в глубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги.

Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания.

5

По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом невдалеке от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгою. На дороге стояли его начальники, споря, резать или нет провода тянувшегося вдоль дороги телеграфа. Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой-звероловом. Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не Уходили.

Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрела Вдовиченки, ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей наособицу, по-прежнему. Да не тут-то было.

Нанялся, продался, —- его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев.

Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий, порывистый ветер нес низко над землею рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности какого-то белого помешательства.

В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала, истаивала дотла. Выступала черная как уголь земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуты просветления тучи расходились, точно, проветривая небо, наверху растворяли окна, отливающие холодною стеклянной белизной. Стоячая, не впитываемая почвою вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска.

Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно, одна к другой и не отрывались.

Свирид был из числа отправленных в глубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов. Об изуверствах, учиняемых наиболее слабою, изверившеюся частью женских скопищ. Двигавшиеся пешком с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше-де скорая смерть, чем долгая от голоду. Лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы.

Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Свирида не только оттого, что его ждали на дороге и кивали и кричали ему, но потому, что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями, и Л иверию все это было известно.

— Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не речист. У меня слово в зубах застреват, я словом подавлюсь. Я те что говорю? Сходи в беженский обоз, скажи женкам чалдонским закон да дело. Ишь какая у них непуть пошла. Я те спрашиваю, что у нас, «все на Колчака!» или бабье побоище?

— Короче, Свирид. Видишь, кличут меня. Не накручивай.

— Теперь эта лешачйха-дейманка Злыдариха, пес ее знат, кто она есть, бабенка. Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой-ветренянкой...

— Ветеринаркой, Свирид.

— А я про что? Я и говорю, — бабой-ветренянкой животные поветрия лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина, маткой беспоповкой, столоверкой, оборотилась, коровьи обедни служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняйте, до чего доводит за красным флаком задрамши подол. Другой раз не бегайте.

— Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших, партизанских, или еще про каких-нибудь других?

— Вестимо про других. Про новых, чужеместных.

— Так ведь было им распоряжение в сельцо Дворы, на чи-лимскую мельницу. Как они здесь очутились?

— Эва, сельцо Дворы. От твоих Дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельница, и вся кулижка в угольках. Они, при-шедши на.Чилимку, видят, пустошь голая. Половина ума решилась, воймя воет и назад к белякам. А другие оглобли наоборот и сюда всем обозом.

— Через глухую чащу, через топи?

— А топоры-пилы на что? Им мужиков наших послали, охранять, — пособили. Тридцать, говорят, верст дороги прорубили. С мостами, бестии. Говори после этого — бабы. Такое сделают, злыдни, не сообразишь в три дни.

— Хорош гусь! Чего же ты радуешься, кобыла, тридцать верст дороги. Это ведь Вицыну и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати.

— Заслон. Заслон. Выставь заслон, и дело с концом.

— Бог даст, без тебя додумаюсь.

6

Дни сократились. В пять часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом все смолкло. Все, наверное, разошлись.

Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация?

Русская песня как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво.

Всеми способами, повторениями, параллелизмами она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом

поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собою тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время.

Кубариха наполовину пела, наполовину говорила:

Что бежал заюшка по белу свету,
По белу свету да по белу снегу.
Он бежал, косой, мимо рябины-дерева,
Он бежал, косой, рябине плакался.
У меня ль, у зайца, сердце робкое,
Сердце робкое, захолончивое.
Я робею, заяц, следу зверьего,
Следу зверьего, несыта волчья черева.
Пожалей меня, ряби нов куст,
Что рябинов куст, краса рябина-дерево.
Ты не дай красы своей алому ворогу,
Злому ворогу, злому ворону.
Ты рассыпь красны ягоды горстью по ветру,
Горстью по ветру, по белу свету, по белу снегу,
Закати, закинь их на родиму сторону,
В тот ли крайний дом с околицы,
В то ли крайнее окно, да в ту ли горницу,
Там затворница укрывается,
Милая моя, желанная.
Ты скажи на ушко моей жалёнушке
Слово жаркое, горячее.
Я томлюсь во плену, солдат-ратничек,
Скучно мне, солдату, на чужбинушке.
А и вырвусь я из плена горького,
Вырвусь к ягодке моей, красавице.

7

Солдатка Кубариха заговаривала больную корову Палихи, Памфиловой жены Агафьи Фотиевны, в просторечии Фатевны. Корову вывели из стада и поставили в кустарник, привязав за рога к дереву. У передних ног коровы на пеньке села хозяйка, у задних — на доильной скамеечке, солдатка-ворожея.

Остальное несметное стадо теснилось на небольшой прогалине. Темный бор отовсюду обступал его стеною высоких, как горы, треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыренных нижних ветвей.

В Сибири разводили какую-то одну премированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой, они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом, по-бычьи налезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые вымена. Покрытые ими телицы, задрав хвост, вырывались из-под них и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики пастухи и дети-подпаски.

И точно запертые в тесном кружке, который вычерчивали еловые верхушки в зимнем небе, так же бурно и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесною прогалиной.

Стоявшие кучкою поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрым взглядом смеривала их с головы до ног. Но было ниже ее достоинства признаваться, что они ее

стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее. И она делала вид, что не замечает их. Доктор наблюдал ее из задних рядов, скрытый от нее.

Он в первый раз толком разглядел ее. Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычернившей глаза и брови этой немолодой женщины, на лице ее было ясно написано, до чего ей все равно, в чем и без чего быть ей.

Но вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал ее. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза ее готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней ее тайные страхи.

— Не доится, милая, — говорила Агафья. — Думала — межмолок, да нет, давно пора бы молоку, а все безмолочнеет.

— Чего межмолок. Вон на соске у ней болячка антракс. Травку дам на сале, смазывать. И, само собой, нашепчу.

— Другая моя беда — муж.

— Приворожу, чтоб не гулял. Это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай.

— Да не гуляет. Добро бы гулял. То-то и беда, что наоборот, пуще мочи ко мне, к детям прирос, душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот думает — лагеря разделят, зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы басалыжским, а его с нами не будет. Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его думы. Как бы чего над собой не сделал.

— Подумаем. Уймем печаль. Третью беду сказывай.

— Да нет ее, третьей. Вот и все они, корова да муж.

— Ну и бедна ж ты бедами, мать! Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать. Две беды горести у бедной головушки, а и одна — жалостливый муж. Что дашь за корову? Начнем отчитывать.

— А ты что хошь?

— Ситного ковригу да мужа. Кругом захохотали.

— Смеешься, что ли?

— Ну, коли больно дорого, ковригу скину. На одном муже сойдемся.

Хохот кругом удесятерился.

— Как кличка-то? Да не мужняя — коровы.

— Красава.

—Тут почитай полстада всё Красавы. Ну ладно. Благословясь.

И она начала заговаривать корову. Вначале ее ворожба действительно относилась к скотине. Потом она сама увлеклась и прочла Агафье целое наставление о колдовстве и его применениях. Юрий Андреевич как завороженный слушал эту бредовую вязь, как когда-то при переезде из Европейской России в Сибирь прислушивался к цветистой болтовне возницы Вакха.

Солдатка говорила:

«— Тетка Моргосья, приди к нам в гости. Овторник-середу, сыми порчу вереду. Сойди восца с коровья сосца. Стой смирно, Красавка, не переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Страфи-ла, страшила, слупи наскрозь, струп щелудивый в крапиву брось. Крепко, что царско, слово знахарско.

Все надоть знать, Агафьюшка, отказы, наказы, слово обеж-ное, слово обережное. Ты вот смотришь и думаешь, лес. А это нечистая сила с ангельским воинством сошлась — рубится, вот что ваши с басалыжскими.

Или, к примеру, погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая. Ты глазами гляди, а не затылком, и гляди, куда я пальцем тыкаю. Во, во. Ты думаешь, это что? Думаешь, это на березе ветер ветку с веткой скрутил-спутал? Думаешь, птица гнездо вить задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская. Русалка это дочке своей венок плела. Слышит, люди мимо идут, — бросила. Спугнули. Ночью кончит, доплетет, увидишь.

Или опять это ваше знамя красное. Ты что думаешь? Думаешь, это флак? Ан вот видишь, совсем оно не флак, а это девки-моровухи манкой малиновый платок, манкой, говорю, а отчего манкой? Молодым ребятам платком махать-подмигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили — флак, сходись ко мне всех стран пролета и беднота.

Теперь все надоть знать, мать Агафья, все, все, ну как есть все. Кака птица, какой камень, кака трава. Теперь, к примеру, птица — это будет птица стратим-скворец. Зверь будет барсук.

Теперь, к примеру, вздумать с кем полюбавиться, только скажи. Я тебе кого хошь присушу. Хошь, твоего над вами начальника, Лесного вашего, хошь, Колчака, хошь, Ивана-царевича. Думаешь, хвастаю, вру? А вот и не вру. Ну, смотри, слушай. Придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, кружить столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок и весь красный в крови из снега выну. Что, видала? Ага? А думала, вру. А откеда, скажи, из завирухи буранной кровь? Ветер ведь это, воздух, снеговая пыль. А то-то и есть, кума, не ветер это буран, а разведен-ка-оборотенка детеныша-ведьмёночка своего потеряла, ищет в поле, плачет, не может найтить. И в нее мой нож угодит. Оттого кровь. И я тебе тем ножом чей хошь след выну вырежу и шелком к подолу пришью. И пойдет хошь Колчак, хошь Стрельников, хошь новый царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты, туда и он. А ты думала — вру, думала — сходись ко мне всех стран босота и пролета.

Или тоже, например, теперь камни с неба падают, падают, яко дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на него камни. Или иные видеху конники проезжали верхом по небу, кони копытами задевали за крыши. Или какие кудечники в старину открывали: сия жена в себе заключает зерно, или мед, или куний мех. И латники тем занагощали плечо, яко отмыкают скрын-ницу, и вынимали мечом из лопатки у какой пшеницы меру, у какой белку, у какой пчелиный сот».

Иногда встречается на свете большое и сильное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, чем более мы любим. У некоторых сострадание к женщине переходит все мыслимые пределы. Их отзывчивость помещает ее в несбыточные, не находимые на свете, в одном воображении существующие положения, и они ревнуют ее к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям.

Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивающимися искажениями превращенные в апокриф. Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколения. Их еще раньше путали и перевирали переписчики.

Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невразумительному вздору, к бессмыслице небылицы отнесся он так, точно это были положения реальные?

Ларе приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкап тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент, вываливающимися свертками лент наружу.

О как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо! Но чем, какой стороной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стремительной линией, какою вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу Творцом и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка.

А теперь где он и что с ним? Лес, Сибирь, партизаны. Они окружены, и он разделит общую участь. Что за чертовщина, что за небывальщина. И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Все поплыло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал ее.

— Ступай, — говорила ворожея Агафье, — корову твою отчитала я, — выздоровеет. Молись Божьей Матери. Се бо света чертог и книга слова животного.

8

Шли бои у западных границ тайги. Но она была так велика, что на глаз ее это разыгрывалось как бы на далеких рубежах государства, а затерявшийся в ее дебрях стан был так многолюден, что сколько ни уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось, и он никогда не пустовал.

Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагеря. Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко и разом перешли в частую беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбою в том же месте, где она слышалась, шарахнулись врассыпную. Люди из вспомогательных лагерных резервов побежали к своим телегам. Поднялся переполох. Все стали приводить себя в боевую готовность.

Скоро переполох улегся. Тревога оказалась ложной. Но вот опять к тому месту, где стреляли, стал стекаться народ. Толпа росла. К стоявшим подходили новые.

Толпа окружала лежавший на земле окровавленный человеческий обрубок. Изувеченный еще дышал. У него были отрублены правая рука и левая нога. Было уму непостижимо, как на оставшейся другой руке и ноге несчастный дополз до лагеря. Отрубленная рука и нога страшными кровавыми комками были привязаны к его спине с длинной надписью на дощечке, где между отборными ругательствами было сказано, что это сделано в отплату за зверства такого-то и такого-то красного отряда, к которому партизаны из лесного братства не имели отношения. Кроме того, присовокуплялось, что так будет поступлено со всеми, если к названному в надписи сроку партизаны не покорятся и не сдадут оружия представителям войск Вицынского корпуса.

Истекая кровью, прерывающимся, слабым голосом и заплетающимся языком, поминутно теряя сознание, страдалец-калека рассказал об истязаниях и пытках в тыловых военно-следственных и карательных частях у генерала Вицына. Повешение, к которому его приговорили, ему заменили, в виде милости, отсечением руки и ноги, чтобы в этом изуродованном виде пустить к партизанам в лагерь для их устрашения. До первых подходов к лагерной сторожевой линии его несли на руках, а потом положили на землю и велели ползти самому, подгоняя его издали выстрелами в воздух.

Замученный еле шевелил губами. Чтобы разобрать его невнятный лепет, его слушали, согнув поясницы и низко наклонившись к нему. Он говорил:

— Берегитесь, братцы. Прорвал он вас.

— Заслон послали. Там великая драка. Задержим.

— Прорыв. Прорыв. Он хочет нечаянно. Я знаю. Ой, не могу, братцы. Видите, кровью исхожу, кровью кашляю. Сейчас кончусь.

— А ты полежи, отдышись. Ты помолчи. Да не давайте говорить ему, ироды. Видите, вредно ему.

— Живого места во мне не оставил, кровопийца, собака. Кровью, говорит, своей будешь у меня умываться, сказывай, кто ты есть такой. А как я, братцы, это скажу, когда я самый, как есть, настоящий дизельтер. Да. Я от него к вашим перебег.

— Вот ты говоришь — он. Это кто ж у них над тобой орудовал?

— Ой, братцы, нутро займается. Дайте малость дух переведу. Сейчас скажу. Атаман Бекешин. Штрезе полковник. Вицын-ские. Вы тут в лесу ничего не знаете. В городу стон. Из живых людей железо варят. Из живых режут ремни. Втащут за шиворот незнамо куда, тьма кромешная. Обтрогаешься кругом, — клетка, вагон. В клетке человек больша сорока в одном нижнем. И то и знай отпирают клетку, и лапища в вагон. Первого попавшего. Наружу. Все равно как курей резать. Ей-богу. Кого вешать, кого под шомпола, кого на допрос. Излупцуют в нитку, посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает под себя на низ, заставляют, — жри. А с детишками, а по женскому делу, о Господи!

Несчастный был уже при последнем издыхании. Он недоговорил, вскрикнул и испустил дух. Как-то все сразу это поняли, стали снимать шапки, креститься.

Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь.

Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке.

Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. В воображении он уже видел их отданными на медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он зарубил жену и трех детей тем самым острым как бритва топором, которым резал им, Девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки.

Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он думал? Что у него могло быть впереди? Какие виды, намерения? Это был явный умопомешанный, бесповоротно конченное существование.

Пока Ливерий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать, он бродил на свободе по лагерю, с упавшею на грудь головою, ничего не видя мутно-желтыми, глядящими исподлобья глазами. Тупо блуждающая улыбка нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходила с его лица.

Никто не жалел его. Все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к самосуду над ним. Их не поддерживали.

Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное животное.

9

Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу. От него туго и медленно, как во сне или в сказке, растекались лучи густого, как мед, янтарно-жел-того света и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям.

Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила.

Знакомые останавливались, вступали в разговор. Они приближали друг к другу по-банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного, вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со скупыми, как бы отмороженными, словами их немногосложной речи.

На тропинке столкнулись Ливерий с доктором.

— А, это вы? Сколько лет, сколько зим! Вечером прошу в мою землянку. Ночуйте у меня. Тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение.

— Нарочный вернулся? Есть сведения о Варыкине?

— О моих и о ваших в донесении ни звука. Но отсюда я как раз черпаю утешительные выводы. Значит, они вовремя спаслись. А то бы о них имелось упоминание. Впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас.

В землянке доктор повторил свой вопрос:

— Ответьте только, что вы знаете о наших семьях?

— Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. Наши, по-видимому, живы, в безопасности. Но не в них дело. Великолепнейшие новости. Хотите мяса? Холодная телятина.

— Нет, спасибо. Не разбрасывайтесь. Ближе к делу.

— Напрасно. А я пожую. Цинга в лагере. Люди забыли, что такое хлеб, зелень. Надо было осенью организованнее собирать орехи и ягоды, пока здесь были беженки. Я говорю, дела наши в наивеликолепнейшем состоянии. То, что я всегда предсказывал, совершилось. Лед тронулся. Колчак отступает на всех фронтах. Это полное, стихийно развивающееся поражение. Видите? Что я говорил? А вы ныли.

— Когда это я ныл?

— Постоянно. Особенно когда нас теснил Вицын.

Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую ко-лошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, по-переменно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое. Но как было объяснить это Ливерию?

В землянке пахло душистым угаром. Он садился на нёбо, Щекотал в носу и горле. Землянка освещалась тонко в листик нащепленными лучинками в треногом железном таганце. Когда одна догорала, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой, и Ливерий втыкал в кольцо новую, зажженную.

— Видите, что жгу. Масло вышло. Пересушили полено. Быстро догорает лучина. Да, цинга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины? Цинга. А вы что смотрите, доктор?

Нет того чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цинге и мерах борьбы с нею.

— Не томите, ради Бога. Что вам известно в точности о наших близких?

— Я уже сказал вам, что никаких точных сведений о них нет. Но я не договорил того, что знаю из последних общевоенных сводок. Гражданская война окончена. Колчак разбит наголову. Красная армия гонит его по железнодорожной магистрали на восток, чтобы сбросить в море. Другая часть Красной армии спешит на соединение с нами, чтобы общими силами заняться уничтожением его многочисленных, повсюду рассеянных тылов. Юг России очищен. Что же вы не радуетесь? Вам этого мало?

— Неправда. Я радуюсь. Но где наши семьи?

— В Варыкине их нет, и это большое счастье. Хотя летние легенды Каменнодворского, как я и предполагал, не подтвердились, — помните эти глупые слухи о нашествии в Варыкино какой-то загадочной народности? — но поселок

совершенно опустел. Там, видимо, что-то было все-таки, и очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся.

— А Юрятин? Что там? В чьих он руках?

— Тоже нечто несообразное. Несомненная ошибка.

— А именно?

— Будто в нем еще белые. Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью.

Ливерий вставил в светец новую лучину и, сложив мятую трепаную двухверстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке.

— Смотрите. На всех этих участках белые отброшены назад. Вот тут, тут и тут, по всему кругу. Вы следите внимательно?

-Да.

— Их не может быть в юрятинском направлении. Иначе, при отрезанных коммуникациях, они неизбежно попадают в мешок. Этого не могут не понимать их генералы, как бы они ни были бездарны. Вы надели шубу? Куда вы?

— Простите, я на минуту. Я вернусь сейчас. Тут начажено махоркой и лучинной гарью. Мне нехорошо. Я отдышусь на воздухе.

Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел на нее, нагнулся и, подперев голову обеими руками, задумался. Зимней тайги, лесного лагеря, восемнадцати месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о них. В его воображении стояли одни близкие. Он строил догадки о них одну другой ужаснее.

Вот Тоня идет полем во вьюгу с Шурочкой на руках. Она кутает его в одеяло, ее ноги проваливаются в снег, она через силу вытаскивает их, а метель заносит ее, ветер валит ее наземь, она падает и подымается, бессильная устоять на ослабших, подкашивающихся ногах. О, но ведь он все время забывает, забывает. У неедва ребенка, и меньшого она кормит. Обе руки у нее заняты, как у беженок на Чилимке, от горя и превышавшего их силы напряжения лишавшихся рассудка.

Обе руки ее заняты, и никого кругом, кто бы мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стороне от них, да и папа ли это, такими ли бывают настоящие папы? А где ее собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные? О, лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать.

Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад в землянку. Внезапно мысли его приняли новое направление. Он передумал возвращаться вниз к Ливерию.

Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря, под большою пихтой, которую для верности еще отметил особою зарубкою. Туда, по проторенной среди сугробов пешеходной стежке он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы, и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему.

— Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок.

— Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго.

— Виноват! Не серчай, товарищ Желвак. Не признал. Ахоша и Желвак, дале не пущу. Надо всё следом-правилом.

— Ну, изволь. Пароль — «Красная Сибирь», отзыв — «Долой интервентов».

— Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночебродишь? Больные?

— Не спится, и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти пожевать.

— Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим, колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко?

И так же разгоняясь все скорее и скорее, часовой с сильно взятого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. Атропин-ка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине.

Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня:

— Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя, рябинушка, родная кровинушка.

Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря.

Часть тринадцатая

ПРОТИВ ДОМА С ФИГУРАМИ

1

По кривой горке к Малой Спасской и Новосвалочному спускалась Большая Купеческая. На нее заглядывали дома и церкви более возвышенных частей города.

На углу стоял темно-серый дом с фигурами. На огромных четырехугольных камнях его наклонно скошенного фундамента чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления. Надолго застаиваясь на тротуаре, литературу в безмолвии читали небольшие кучки прохожих.

Было сухо после недавней оттепели. Подмораживало. Мороз заметно крепчал. Было совсем светло в часы, в которые еще недавно темнело. Недавно ушла зима. Пустоту освободившегося места наполнил свет, который не уходил и задерживался вечерами. Он волновал, влек вдаль, пугал и настораживал.

Недавно из города ушли белые, сдав его красным. Кончились обстрелы, кровопролитие, военные тревоги. Это тоже пугало и настораживало, как уход зимы и прирост весеннего дня.

Извещения, которые при свете удлинившегося дня читали уличные прохожие, гласили:

«К сведению населения. Рабочие книжки для состоятельных получаются за 50 рублей штука в Продотделе Юрсовета, Октябрьская, бывшая Генерал-губернаторская, 5, комната 137.

Неимение рабочей книжки или неправильное, а тем более лживое ведение записей карается по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками распубликована в И.Ю.И.К. № 86 (1013) текущего года и вывешена в Продотделе Юрсовета, комната 137».

В другом объявлении сообщалось о достаточности имеющихся в городе продовольственных запасов, которые якобы только прячет буржуазия, чтобы дезорганизовать распределение и посеять хаос в продовольственном деле. Объявление кончалось словами:

«Уличенные в хранении и сокрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте».

Третье объявление предлагало:

«В интересах правильной постановки продовольственного дела не принадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справиться в Продотделе Юрсовета, Октябрьская, бывшая Генерал-губернаторская, 5, комната 137».

Военных предупреждали:

«Не сдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в Юрревкоме, Октябрьская, 6, комната 63».

2

К группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темно-русая борода, которою он оброс, стала седеть. Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогою, или он сбыл ее в обмен на пищу. Он был в выменянных короткорукавых обносках с чужого плеча, не гревших его.

В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала. Около часу назад он вошел в город со стороны железной дороги, и ему понадобился целый час, чтобы добрести от городской заставы до этого перекрестка, так он был измучен ходьбою последних дней и слаб. Он часто останавливался и еле сдерживался, чтобы не упасть на землю и не целовать каменьев города, которого он больше не чаял когда-нибудь увидеть и виду которого радовался, как живому существу.

Очень долго, половину своего пешего странствия, он шел вдоль линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии и вся была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и истощением топлива. Эти застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и погребенные под снегом поезда тянулись почти непрерывною лентою на многие десятки верст. Они служили крепостями шайкам вооруженных, грабившим по дорогам, пристанищем скрывающимся уголовным и политическим беглецам, невольным бродягам того времени, но более всего братскими могилами и сборными усыпальницами умершим от мороза и от сыпняка, свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях целые деревни.

Это время оправдало старинное изречение: человек человеку волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века.

Одиночные тени, кравшиеся иногда по сторонам, боязливо перебегавшие тропинку далеко впереди и которые Юрий Андреевич, когда мог, старательно обходил, часто казались ему знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря. В большинстве случаев это были ошибки, но однажды глаз не обманул его. Подросток, выползший из снеговой горы, скрывавшей корпус международного спального вагона, и по совершении нужды заюркнувший обратно в сугроб, действительно был из лесных братьев. Это был мнимо насмерть расстрелянный Терентий Галузин. Его недострелили, он пролежал в долгом обмороке, пришел в себя, уполз с места казни, скрывался в лесах, оправился от ран и теперь тайком под другой

фамилией пробирался к своим в Крестовоздвиженск, хоронясь по пути от людей в засыпанных поездах.

Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частицами каких-то неведомых, инопланетных существований, по ошибке занесенных на землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такою, какой изображали ее художники новейшего времени.

Выдавались тихие зимние вечера, светло-серые, темно-розовые. По светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения, в берегах из белого, горами лежащего, снизу подмоченного темною речной водою снега. И вот такой вечер, морозный, прозрачно-серый, сердобольный, как пушинки вербы, через час другой обещал наступить против дома с фигурами в Юрятине.

Доктор подошел было к доске Центропечати на каменной стене дома, чтобы просмотреть казенные оповещения. Но взгляд его поминутно падал на противоположную сторону, устремленный вверх, в несколько окон второго этажа в доме напротив. Эти выходившие на улицу окна были забелены мелом когда-то. В находившихся за ними двух комнатах была сложена хозяйская мебель. Хотя мороз подернул низы оконниц тонкой хрустальной коркой, было видно, что окна теперь прозрачны и отмыты от мела. Что означала эта перемена? Вернулись ли хозяева? Или Лара выехала, в квартире новые жильцы и теперь там все по-другому?

Неизвестность волновала доктора. Он не мог совладать с волнением. Он перешел через дорогу, вошел с парадного подъезда в сени и стал подниматься по знакомой и такой дорогой его сердцу парадной лестнице. Как часто в лесном лагере до последней завитушки вспоминал он решетчатый узор литых чугунных ступеней. На каком-то повороте подъема, при взгляде сквозь решетку под ноги, внизу открывались сваленные под лестницей худые ведра, лохани и поломанные стулья. Так повторилось и сейчас. Ничего не изменилось, все было по-прежнему. Доктор был почти благодарен лестнице за верность прошлому.

Когда-то в двери был звонок. Но он испортился и бездействовал уже в прежние времена, до лесного пленения доктора. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо ввинченные в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей отделкою. Прежде такого варварства не допускали. Пользовались врезными дверными замками, хорошо запиравшимися, а если они портились, на то были слесаря, чтобы чинить их. Ничтожная эта мелочь по-своему говорила об общем сильно подвинувшемся вперед ухудшении.

Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме, а может быть, и в Юрятине, а может быть, даже и на свете. Он готов был к самым страшным разочарованиям. Только для очистки совести решил он пошарить в дыре, которой так боялись он и Катенька, и постучал ногой по стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в отверстии. У него не было надежды найти что-нибудь в условном месте. Дыра была заложена кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул в углубление руку. О чудо! Ключ и записка. Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор подошел к лестничному окошку на площадке. Еще большее чудо, еще более невероятное! Записка написана ему! Он быстро прочел:

«Господи, какое счастье! Говорят, ты жив и нашелся. Тебя видели в окрестностях, прибежали и сказали мне. Предполагая, что первым делом ты поспешишь в Варыкино, отправляюсь к тебе сама туда с Катенькой. На всякий случай ключ в обычном месте. Дожидайся моего возвращения, никуда не уходи. Да, ты этого не знаешь, я теперь в

передней части квартиры, в комнатах, выходящих на улицу. Впрочем, сам догадаешься. В доме простор, запустение, пришлось продать часть хозяйской мебели. Оставляю немного еды, главным образом вареной картошки. Придавливай крышку кастрюли утюгом или чем-нибудь тяжелым, как я сделала, в предохранение от крыс. Без ума от радости».

Тут кончалась лицевая сторона записки. Доктор не обратил внимания, что бумажка исписана и с другой стороны. Он поднес разложенный на ладони листок к губам, а потом, не глядя, сложил и сунул его вместе с ключом в карман. Страшная, ранящая боль примешалась к его безумной радости. Раз она не обинуясь, без всяких оговорок направляется в Варыкино, следовательно, его семьи там нет. Кроме тревоги, которую вызывала эта частность, ему еще нестерпимо больно и грустно было за своих. Отчего она ни словом не обмолвилась о них и о том, где они, точно их и вообще не существовало.

Но раздумывать было некогда. На улице начинало темнеть. Множество дел надо было успеть сделать засветло. Не последнею заботою было ознакомление с развешанными на улице декретами. Время было нешуточное. Можно было по незнанию заплатить жизнью за нарушение какого-нибудь обязательного постановления. И не отпирая квартиры и не снимая котомки с натруженного плеча, он сошел вниз на улицу и подошел к стене, на большом пространстве сплошь облепленной разнообразною печатью.

3

Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавия. «О порядке реквизиции и обложении имущих классов. О рабочем контроле. О фабрично-заводских комитетах». Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Времен первого переворота или последующих периодов, после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке? Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя? Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал: «Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакгаузах Юрятина-Товарно-го, на участке Юрятин — Развилье и Развилье — Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода».

«Какое завидное ослепление! — думал доктор. — О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует? Какое забвение своих собственных предначертаний и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне? Кем надо быть, чтобы с таким неосты-вающим горячешным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы и ничего не знать, ничего кругом не видеть!»

У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание и ему помогли встать, ему предложили отвести его, куда он укажет. Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив.

4

Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ларину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его.

Щелкание отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствие людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол и врассыпную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут, наверное, расплодилась тьма-тьмущая.

И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы.

Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры. Миновав темную проходную комнату, он очутился в светлой, двумя окнами выходившей на улицу. Прямо против окон на другой стороне темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиною к окнам, газеты читали прохожие.

Свет в комнате и наруже был один и тот же, молодой, не-выстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне, где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи на Купеческой.

Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его.

Сейчас же однородность освещения в доме и на воле так же беспричинно радовала его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, роднил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболеет. Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства.

Безумное возбуждение и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось. Его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу.

Перед тем как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду. В этих видах он, уже проходя через город, заглядывал в витрины бывших парикмахерских. Часть помещений пустовала или была занята под другие надобности. Другие, отвечавшие прежнему назначению, были под замком. Постричься и побриться было негде. Своей бритвы у Юрия Андреевича не было. Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести его из затруднения. Но в беспокойной торопливости, с какой он перерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил.

Он вспомнил, что на Малой Спасской находилась когда-то швейная мастерская. Он подумал, что если заведение не прекратило своего существования и там до сих пор

работают и если он поспеет к ним до часа их закрытия, ножницы можно будет попросить у какой-нибудь из мастериц. И он еще раз вышел на улицу.

5

Воспоминание его не обмануло. Мастерская оставалась на старом месте, в ней работали. Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены. Мастерицы работали на виду у идущих по улице.

В комнате была страшная теснота. В придачу к настоящим работницам на работу, наверное, пристроились швеи-любительницы, стареющие дамы из юрятинского общества, для получения рабочих книжек, о которых говорилось в декрете на стене дома с фигурами.

Их движения сразу были отличимы от расторопности действительных портних. В мастерской шили одно военное, ватные штаны, стеганки и куртки, а также сметывали, как Юрий Андреевич это уже видел в партизанском лагере, сборные шутовского вида тулупы из разномастных собачьих шкур. Неловкими пальцами подсовывая подогнутые для подрубания полы под пробивные иглы швейных машин, швеи-любительницы еле справлялись с непривычною, наполовину скорняж-ною работой.

Юрий Андреевич постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили. Такими же знаками ему ответили, что от частных людей заказов не берут. Юрий Андреевич не отступал и, повторяя те же движения, настаивал, чтобы его впустили внутрь и выслушали. Отнекивающимися движениями ему дали понять, что у них спешное дело, чтобы он отстал, не мешал и шел дальше. Одна из мастериц изобразила на лице недоумение и в знак досады выставила ладошку лодочкой вперед, глазами спрашивала, что ему, собственно, нужно. Двумя пальцами, указательным и средним, он изобразил чикающее движение ножниц. Его движения не поняли. Решили, что это какая-то непристойность, что он передразнивает их и с ними заигрывает. Оборванным видом и странным поведением он производил впечатление больного или сумасшедшего. В мастерской хихикали, пересмеивались и махали на него руками, гоня его прочь от окна. Наконец °н догадался поискать пути через двор дома, нашел его и, отыскав дверь в мастерскую, постучался в нее с черного хода.

6

Дверь отворила пожилая темноликая портниха в темном платье, строгая, может быть, старшая в заведении.

— Вот какой, привязался! Наказание в самом деле. Ну, скорее, что вам? Некогда.

— Ножницы мне требуются, не удивляйтесь. Хочу попросить на минуту на подержание. Я тут же при вас сниму бороду и верну с благодарностью.

В глазах портнихи показалось недоверчивое удивление. Было нескрываемо ясно, что она усомнилась в умственных способностях собеседника.

— Я издалека. Только сейчас прибыл в город, оброс. Хотел бы постричься. И ни одной парикмахерской. Так вот, я бы, пожалуй, и сам, только ножниц нету. Одолжите, пожалуйста.

— Хорошо. Я постригу вас. Только смотрите. Если у вас что-нибудь другое на уме, хитрости какие-нибудь, изменение внешности для маскировки, что-нибудь политическое, уж не взыщите. Жизнью ради вас не будем жертвовать, пожалуемся куда следует. Не такое теперь время.

— Помилуйте, что за опасения!

Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика, и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней.

Портниха отлучилась за инструментами и немного спустя вернулась с ножницами, гребенкою, несколькими, разных номеров, машинками, ремнем и бритвой.

— Все в жизни перепробовала, — пояснила она, заметив, как изумлен доктор, что это все оказалось наготове. — Парикмахершей работала. На той войне, в сестрах милосердия, стричь и брить научилась. Бороду предварительно отхватим ножницами, а потом пробреем вчистую.

— Волосы будете стричь, пожалуйста, покороче.

— Постараемся. Такие интеллигентные, а притворяетесь незнающими. Сейчас счет не по неделям, а на декады. Сегодня у нас семнадцатое, а по числам с семеркой парикмахеры выходные. Будто это вам неизвестно.

— Да честное слово. Зачем мне притворяться? Я ведь сказал. Я — издалека. Нездешний.

— Спокойнее. Не дергайтесь. Недолго порезаться. Значит, приезжий? На чем ехали?

— На своих двоих.

— Трактом шли?

— Часть трактом, а остальную по линии. Поездов, поездов под снегом! Всякие, люксы, экстренные.

— Ну вот еще кусочек остался. Отсюда снимем, и готово. По семейным надобностям?

— Какое там по семейным! По делам бывшего союза кредитных товариществ. Инспектором я разъездным. Послали в объезд с ревизией. Черт знает куда. Застрял в Восточной Сибири. А назад никак. Поездов-то ведь нет. Пришлось пешком, ничего не попишешь. Полтора месяца шел. Такого навидался, в жизнь не пересказать.

— А и не надо рассказывать. Я вас научу уму-разуму. А сейчас погодите. Вот вам зеркало. Выпростайте руку из-под простыни и возьмите его. Полюбуйтесь на себя. Ну как находите?

— По-моему, мало сняли. Можно бы покороче.

— Прическа не будет держаться. Я говорю, ничего и не надо рассказывать. Обо всем самое лучшее молчок теперь. Кредитные товарищества, поезда люкс под снегом, инспектора и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь! Не по внучке онучки, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно отхватила, сейчас будем набело брить. Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Я за кипятком схожу, воды нагрею.

«Кто она, эта женщина? — между тем думал доктор в ее отсутствие. — Какое-то ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения и я должен ее знать. Что-то виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но черт побери, кого именно?»

Портниха вернулась.

— А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит бритва-то?

— Немного больно.

— Дерет, должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький. Без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа. Да. Видами теперь никого не удивишь. Искусились люди. Хлебнули и мы горюшка. Тут в атамановщину такое творилось! Похищения, убийства, увозы. Залюдьми охотились. Например, мелкий сатрап один, сапуновец, невзлюбил, понимаете, поручика. Посылает солдат устроить засаду близ Загородной

рощи, против дома Крапульского. Обезоруживают и под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь губ-чека. Лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса, да и волос как щетина. Жесткий. Такое место. Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля! Коля мой! И прямо к главному. То есть это только так говорится, что прямо. Кто ее пустит. Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый. Генерал Галиуллин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности. Совершенно как в испанских романах.

«Это она о Ларе, — догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы. — А когда она сказала: «как в испанских романах», она опять кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу ни к городу».

— Теперь, конечно, совсем другой разговор. Оно, положим, расследований, доносов, расстрелов и теперь хоть отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая. Еще без году неделя правят, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая со мной, было четыре сестры. И все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой племянник, — главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.

«Так вот оно что! — осенило Юрия Андреевича. — Это тетка Ливерия, местная притча во языцех и свояченица Микули-цына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать».

— Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос, на Святогоре-Богатыре. Варыкинские заводы, может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем! Ах я дура беспамятная! Полподбородка гладкие, другая половина небрита. Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили? Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду. Остыла.

Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил:

— Варыкино ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие потрясения?

— Ну, как сказать, богоспасаемая. Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Варыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По-нашему не говорили. Дом за домом на улицу выводили и расстреливали. И уходили не говоря худого слова. Так тела неубранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула.

— Вот вы говорили, зять ваш, варыкинекий житель. Его тоже не миновали эти ужасы?

— Нет, зачем. Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. С новой, со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись. Московская семья, приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин, доктор, глава семьи, без вести пропал. Ну что значит без вести! Это ведь только так говорится, что без вести, чтобы не огорчать. А по-настоящему, надо полагать, умер, убит. Искали, искали его — не нашли. Тем временем другого, старшего, вытребовали на родину. Профессор он. По сельскому хозяйству. Вызов, я слышала, получил от самого правительства. Через Юрятин они проехали еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой? Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиента. Слишком много вы требуете от парикмахера.

«Значит, в Москве они!»

7

«В Москве! В Москве», — с каждым шагом отдавалось в душе У него, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице. Пустая квартира снова встретила его содомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этою гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовления к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью, в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы, и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться. Ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину заправленная лампа и около нее в незадвинутом спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом десять, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильней и следами лампадного масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы.

В некоторых местах ребра плинтусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков, остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился.

Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым, до потолка не доходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок десять. Юрий Андреевич решил ограбить Лару охапки на две и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку. Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с ее устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, Юрий Андреевич стал не спеша растапливать печку.

Накладывая поленья в топку, он увидал метку на брусовом срезе одной из плах. С удивлением он узнал ее. Это были следы старого клеймения, две начальные буквы «ка» и «де», обозначавшие на нераспиленных деревьях, с какого они склада. Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Варыкине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса.

Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лары доказывало, что она знает Самдевятова и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора с его семьею. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Ан-фима Ефимовича. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями.

Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимовича и Ларину женскую опрометчивость. Не может быть, чтобы между ними ничего не было.

В печке с дружным треском бурно разгорались сухие кула-бышевские дрова, и по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности.

Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет. Размышления о своих, с новою силой набежавшие на него, заслонили на время его ревнивые выдумки.

«Итак, вы в Москве, родные мои?» Ему уже казалось, что Тунцева удостоверила его в их благополучном прибытии. «Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий,

тяжелый путь? Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно, существует ли он еще, этот дом? О, как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович? Векую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходи-мый? Отчего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся. Все снова пойдет на лад, не правда ли?

Но как земля меня носит, если я все забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту забывчивость. Как прошли ее роды? Как родила она? По пути в Москву они были в Юрятине. Хотя, правда, Лара незнакома с ними, но вот швее и парикмахерше, совершенно посторонней, их судьбы не остались неизвестны, а Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая безучастием невнимательность! Такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с Самдевятовым».

Тут Юрий Андреевич другим, разборчивым взглядом окинул стены спальни. Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной, принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах.

Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от аляповатой меблировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне.

А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нем и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе! Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны! Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и темный, нереальный язык его обожания? Так ли нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является?

А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него.

Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!

Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началам существования.

И неправда, тысячу раз неправда все, что он нагородил тут о ней в минуту сомнений. Как именно совершенно и безупречно все в ней!

Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печь кочергой. Опламе-нившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недо-горевшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О, как ему

сейчас недоставало ее, как нуждался он в этот миг в чем-нибудь, осязательно исходящем от нее!

Он вынул из кармана ее смятую записку. Он извлек ее в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны. Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел:

«О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку». Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало: «Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно...» Конец фразы стерся и был неразборчив.

«Лошадь она побежала просить у Анфима и, наверное, выпросила, раз уехала, — спокойно соображал Юрий Андреевич. — Если бы совесть ее не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности».

8

Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко заснул. Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим.

Он находился в Москве, в комнате перед запертою на ключ стеклянной) дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации, бытового явления той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина, с бешено мчащимся по ней потоком и веками скопившимися в ущелье холодом и темнотою.

Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заглушал крики мальчика. Но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова: «Папочка! Папочка!»

У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки куда глаза глядят.

Но, обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату.

Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. «У меня жар. Я заболеваю, — тотчас подумал он. — Это не тиф. Это какая-то тяжкая, опасная, форму нездоровья принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях, и весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать!» И он опять уснул.

Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве, по всем признакам, до революции, судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету ночных фонарей, желтыми полосами испещрявших серый предрассветный снег мостовых.

Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок, лежали объедки провизии на засаленных развернутых газетах,

обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире вся в хлопотах торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и некстати выясняя, а у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснения она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел и противопоставлением которой все низвел и обесценил!

9

Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя.

«Я заболеваю, я болен, — соображал он в минуты просветления, между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. — Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода».

Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться, и лишался чувств или засыпал.

«Сколько времени я лежу тут, одетый? — обдумывал он в один из таких проблесков. — Сколько часов? Сколько дней? Когда я свалился, начиналась весна. А теперь иней на окне. Такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате».

На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, взбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами.

И опять он спал, и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя?

Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко, и он упал духом, решив, что это начало помешательства. В слезах от жалости к себе он беззвучным шепотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него и оставило его. «Векую отринул мя еси от лица Твоего, Свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!»

И вдруг он понял, что он не грезит и это полнейшая правда, что он раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, а на свежепостланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет, и сидит около кровати, и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья.

10

В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости, и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства.

Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках!

Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шепотом своих вопросов и ответов.

Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги.

Еще более, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большою редкостью.

Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалое™ чувства.

Для них же, — и в этом была их исключительность, — мгновения, когда, подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни.

11

— Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила ее разруха. Сибирью и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось! Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море, эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды, опять в ответ на проявления недовольства бушует чрезвычайка.

Ну куда ты пустишься такой, кожа да кости, еле душа в теле? Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты! Окрепни, наберись сил, тогда другое дело.

Не смею советовать, но на твоем месте, до отправки к своим, я бы немного послужила, непременно по специальности, это ценят, я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе.

А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена — дочь здешнего фабриканта и помещика. Был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться не удел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в губоно. И подо мною почва горит.

— Как горит? А Стрельников?

— Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь.

— Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его?

— Но ведь я пошла за него замуж, он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного, сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человек, а я — дрянь, я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но пожалуйста, довольно об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя, Боттичеллиевская. Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом, прошу тебя. Да, так вот давай вместе служить. Будем оба

ходить на службу. Каждый месяц получать жалованье миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно, и долгое время, всю твою болезнь, жили без денежных знаков. Да. Представь себе. Трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Линючие, плохая печать, краска расплывается.

— Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.

12

— Что ты так долго делала в Варыкине? Ведь там никого нет, пусто? Что тебя там задержало?

— Я убирала с Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда. Мне не хотелось, чтобы ты застал ваше жилище в таком виде.

— В каком? Что же там, развал, беспорядок?

— Беспорядок. Грязь. Я убрала.

— Какая уклончивая односложность. Ты недоговариваешь, ты что-то скрываешь. Но твоя воля, не стану выведывать. Расскажи мне о Тоне. Как крестили девочку?

— Машей. В память твоей матери.

— Расскажи мне о них.

— Позволь как-нибудь потом. Я ведь сказала тебе, я еле сдерживаю слезы.

— Самдевятов этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура. Как по-твоему?

— Преинтереснейшая.

— Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимовича. Он был нашим другом дома здесь, в новых для нас местах, помогал нам.

— Я знаю. Он мне рассказывал.

— Вы, наверное, дружны? Он и тебе старается быть полезным?

— Он меня просто осыпает благодеяниями. Я не знаю, что бы я стала делать без него.

— Легко представляю себе. У вас, наверное, короткие, товарищеские отношения, обхождение запросто? Он, наверное, вовсю приударяет за тобою.

— Еще бы. Неотступно.

— А ты? Но виноват. Я захожу за границы дозволенного. По какому праву я расспрашиваю тебя? Прости. Это нескромно.

— О, пожалуйста. Тебя, наверное, интересует другое — род наших отношений? Ты хочешь знать, не закралось ли в наше доброе знакомство что-нибудь более личное? Нет, конечно. Я обязана Анфиму Ефимовичу неисчислимо многим, я кругом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил меня, если бы отдал жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житейских эти предприимчивые, уверенные в себе, повелительные люди незаменимы. В делах сердечных петушащееся усатое мужское самодовольство отвратительно. Я совсем по-другому понимаю близость и жизнь. Но мало того. В нравственном отношении Анфим напоминает мне другого, гораздо более отталкивающего человека, виновника того, что я такая, благодаря которому я то, что я есть.

— Я не понимаю. А какая ты? Что ты имеешь в виду? Объяснись. Ты лучше всех людей на свете.

— Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез, а ты с комплиментами, как в гостиной. Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь.

Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны, в ложном, бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего.

— Я догадываюсь. Я что-то предполагал. Но погоди. Легко представить себе твою недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой девушки. Но ведь это дело прошлого. Я хочу сказать, — горевать об этом сейчас не твоя печаль, а людей, любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания, оттого, что меня не было уже тогда с тобой, чтобы предотвратить случившееся, если оно правда для тебя горе. Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня.

Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им.

— А я именно об этой красоте. Мне кажется, чтобы ее увидеть, требуется нетронутость воображения, первоначальность восприятия. А это как раз у меня отнято. Может быть, у меня сложился бы свой взгляд на жизнь, если бы с первых шагов я не увидела ее в чуждом опошляющем отпечатке. Но мало того. Из-за вмешательства в мою начинавшуюся жизнь одной безнравственной самоуслаждавшейся заурядности не сладился мой последующий брак с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня и которому я отвечала тем же.

— Погоди. О муже расскажешь мне потом. Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную. А тот?

— Какой «тот»?

— Тот прожигатель жизни, который погубил тебя. Кто он такой?

— Довольно известный московский адвокат. Он был товарищем моего отца и после папиной смерти материально поддерживал маму, пока мы бедствовали. Холостой, с состоянием. Наверное, я придаю ему чрезмерный интерес и несвойственную значительность тем, что так черню его. Очень обыкновенное явление. Если хочешь, я назову тебе фамилию.

— Не надо. Я знаю. Я раз его видел.

— В самом деле?

— Однажды в номерах, когда травилась твоя мать. Поздно вечером. Мы были еще детьми, гимназистами.

— А, я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте, в номерной прихожей. Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь ее из забвения. Ты мне ее напомнил, по-моему, в Мелюзееве.

— Комаровский был там.

— Разве? Вполне возможно. Меня легко было застать с ним. Мы часто бывали вместе.

— Отчего ты покраснела?

— От звука «Комаровский» в твоих устах. От непривычности и неожиданности.

— Вместе со мною был мой товарищ, гимназист-одноклассник. Вот что тогда же в номерах он мне сообщил. Он узнал в Комаровском человека, которого он раз видел случайно, при непредвиденных обстоятельствах. Однажды в дороге этот мальчик, гимназист Михаил Гордон, был очевидцем самоубийства моего отца — миллионера-промышленника. Миша ехал в одном поезде с ним. Отец бросился на ходу с поезда в намерении покончить с собой и разбился. Отца сопровождал Комаровский, его юрисконсульт. Комаровский спаивал отца, запутал его дела и, доведя его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался сиротой.

— Не может быть! Какая знаменательная подробность! Неужели правда! Так он был и твоим злым гением? Как это роднит нас! Просто предопределение какое-то!

— Вот к кому я тебя ревную безумно, непоправимо.

— Что ты? Ведь я не только не люблю его. Я его презираю.

— Так ли хорошо ты всю себя знаешь? Человеческая, в особенности женская природа так темна и противоречива! Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения.

— Как страшно то, что ты сказал. И, по обыкновению, сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне правдой. Но тогда как это ужасно!

— Успокойся. Не слушай меня. Я хотел сказать, что ревную тебя к темному, бессознательному, к тому, с чем немыслимы объяснения, о чем нельзя догадаться. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. И как к такому заражению, я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь, как когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть. Я знаю, тебе это должно казаться нагромождением неясностей. Я не могу сказать это стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.

13

— Расскажи мне побольше о муже. «Мы в книге рока на одной строке», — как говорит Шекспир.

— Откуда это?

— Из «Ромео и Джульетты».

— Я много говорила тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его. И потом тут, в Юрятине, в наши первые встречи с тобою, когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я, по-моему, рассказывала тебе, а может быть, и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли! Я нашла, что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня.

Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный и что это перст обречения. Но может быть, я путаюсь. Может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств, я ведь так много от тебя перенимаю!

— Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции.

— Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был ее осуществлением. Ведь мы с одного двора почти. Я, он, Галиуллин. Я была его детским увлечением. Он обмирал, холодел при виде меня. Наверное, нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассией, той порабощающей страстью, которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить и которая без слов написана на лице и видна каждому. Мы дружили. Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним.

И подумай, каких он способностей! Необычайных! Сын простого стрелочника или железнодорожного сторожа, он одною своей одаренностью и упорством труда достиг, — я чуть не сказала — уровня, а должна была бы сказать — вершин современного университетского знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка!

— В таком случае, что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга?

—Ах, как трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно. Мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим, и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем.

14

После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее:

— Я скажу тебе. Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если бы где-то вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем. Даже самым дорогим. Тобою. И моею близостью с тобой, такой легкой, невынужденной, саморазумеющейся. О, прости. Я не то говорю. Это неправда.

Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя. Утирая слезы, она говорила:

— Но ведь это тот же голос долга, который гонит тебя к Тоне. Господи, какие мы бедные! Что с нами будет? Что нам делать?

Когда она совсем оправилась, она продолжала:

— Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилось наше счастье. Я так ясно это потом поняла. Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас. Это стало судьбой многих.

— Говори, моя умница.

— Мы женились перед самою войною, за два года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших, доныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряду вон выходящим явлением. Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.

И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства.

Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания.

— Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься! Какая радость тебя слушать.

— Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной.

Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Все подпадало под его влияние. Не устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и ее не заметить?

И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую ошибку. Знамение времени, общественное зло он принял за явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал тому, что он — сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества.

Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. О, если бы я могла спасти его!

— Как неимоверно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его. Я не ревную тебя к нему, я не мешаю тебе.

15

Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии предполагаемого отъезда в Москву, он поступил натри места. Быстро развивающееся обесценение денег заставляло ловчиться на нескольких службах.

Доктор вставал с петухами, выходил на Купеческую и спускался по ней мимо иллюзиона «Гигант» к бывшей типографии Уральского казачьего войска, ныне переименованной в «Красного наборщика». На углу Городской, на двери Управления делами, его встречала дощечка «Бюро претензий». Он пересекал площадь наискось и выходил на Малую Буяновку. Миновав завод Стенгопа, он через задний двор больницы проходил в амбулаторию Военного госпиталя, место своей главной службы.

Половина его пути лежала под тенистыми, перевешивавшимися над улицей деревьями, мимо замысловатых, в большинстве деревянных домишек с круто заломленными крышами, решетчатыми оградами, узорными воротами и резными наличниками на ставнях.

По соседству с амбулаторией, в бывшем наследственном саду купчихи Гореглядовой, стоял любопытный невысокий дом в старорусском вкусе. Он был облицован граненными изразцами с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат.

Из амбулатории Юрий Андреевич раза три-четыре в декаду отправлялся в бывший дом Лигетти на Старой Миасской, на заседания помещавшегося там Юрятинского облздрава.

Совсем в другом, отдаленном районе стоял дом, пожертвованный городу отцом Анфима, Ефимом Самдевятовым, в память покойной жены, которая умерла в родах, дав жизнь Анфиму. В доме помещался основанный Самдевятовым Институт гинекологии и акушерства. Теперь в нем были размещены ускоренные медико-хирургические курсы имени Розы Люксембург. Юрий Андреевич читал на них общую патологию и несколько необязательных предметов.

Он возвращался со всех этих должностей к ночи измученный и проголодавшийся и заставал Ларису Федоровну в разгаре домашних хлопот, за плитою или перед корытом. В этом прозаическом и будничном виде, растрепанная, с засученными рукавами и подоткнутым подолом, она почти пугала своей царственной, дух захватывающей притягательностью, более, чем если бы он вдруг застал ее перед выездом на бал, ставшею выше и словно выросшею на высоких каблуках, в открытом платье с вырезом и широких шумных юбках.

Она готовила или стирала и потом оставшеюся мыльной водой мыла полы в доме. Или, спокойная и менее разгоряченная, гладила и чинила свое, его и Катенькино белье. Или, справившись со стряпней, стиркой и уборкой, учила Катеньку. Или, уткнувшись в руководства, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницею в новую, преобразованную школу.

Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мыслей долгом перед своими и его болью о нарушенной верности им. В этом ограничении Для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейственный способ чувствования заключал целый мир почтительности, исключавший развязность и амикошонство.

Но это раздвоение всегда мучило и ранило, и Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к незажившей, часто вскрывающейся ране.

16

Так прошло месяца два или три. Как-то в октябре Юрий Андреевич сказал Ларисе Федоровне:

— Знаешь, кажется, мне придется уйти со службы. Старая, вечно повторяющаяся история. Начинается как нельзя лучше. «Мы всегда рады честной работе. А мыслям, в особенности новым, и того более. Как их не приветствовать. Добро пожаловать. Работайте, боритесь, ищите».

Но на поверку оказывается, что под мыслями разумеется одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей предержащих. Это утомительно и надоедает. И я не мастер по этой части.

И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними. Но мне трудно примириться с мыслью, что они герои, светлые личности, а я — мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека. Слышала ты когда-нибудь имя Николая Веденяпина?

— Ну конечно. До знакомства с тобой и потом, по частым твоим рассказам. О нем часто упоминает Симочка Тунце-ва. Она его последовательница. Но книг его, к стыду своему, я не читала. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен. Впрочем, прости, своими глупостями я отвлекла тебя.

— Нет, напротив. Я согласен с тобой. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так о дяде. Может быть, я действительно испорчен его влиянием. Но ведь сами они в один голос кричат: гениальный диагност, гениальный диагност. И правда, я редко ошибаюсь в определении болезни. Но ведь это и есть ненавистная им интуиция, которой якобы я грешу, цельное, разом охватывающее картину познание.

Я помешан на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут, в этом цветовом подлаживании, скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее.

Я осмелился коснуться этого на лекциях. И пошло! «Идеализм, мистика. Натурфилософия Гёте, неошеллингианство».

Надо уходить. Из губздрава и института я уволюсь по собственному прошению, а в больнице постараюсь продержаться, пока меня не выгонят. Я не хочу пугать тебя, но временами у меня ощущение, будто не сегодня-завтра меня арестуют.

— Сохрани Бог, Юрочка. До этого, по счастью, еще далеко. Но ты прав. Не мешает быть осторожнее. Насколько я заметила, каждое водворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. В начале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками.

Потом наступает второй период. Получают перевес темные силы «примазавшихся», притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы.

За примером далеко ходить не приходится. Сюда в коллегию ревтрибунала перевели из Ходатского двух старых политкаторжан, из рабочих, некоего Тиверзина и Антипова.

Оба великолепно меня знают, а один даже просто отец мужа, свекор мой. Но собственно только с перевода их, совсем недавно, я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости.

Продолжение этого разговора состоялось довольно скоро. К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер сорок восемь по Малой Буяновке, рядом с амбулаторией, у вдовы Гореглядовой. В доме нашли склад оружия и раскрыли контрреволюционную организацию. Было арестовано много людей в городе, обыски и аресты продолжались. По этому поводу перешептывались, что часть подозреваемых ушла за реку. Высказывались такие соображения: «А что это им поможет? Река реке рознь. Бывают, надо сказать, реки. В Благовещенске на Амуре, например, на одном берегу советская власть, на другом — Китай. Прыгнул в воду, переплыл, и адью, поминай как звали. Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор».

— Атмосфера сгущается, — говорила Лара. — Время нашей безопасности миновало. Нас несомненно арестуют, тебя и меня. Что тогда будет с Катенькой? Я мать. Я должна предупредить несчастье и что-то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаюсь рассудка при этой мысли.

— Давай подумаем. Чем тут можно помочь? В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая.

— Бежать нельзя и некуда. Но можно отступить куда-нибудь в тень, на второй план. Например, уехать в Варыкино. Я подумываю о варыкинском доме. Это порядочная даль, и там всё заброшено. Но там мы никому не мозолили бы глаз, как тут. Приближается зима. Я взяла бы на себя труд перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш. Поддерживать сношения с городом помог бы Самдевятов. Может быть, согласился бы прятать нас. А? Что ты скажешь? Правда, там теперь ни души, жуть, пустота. По крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И, говорят, волки. Страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тиверзина, теперь страшнее волков.

— Я не знаю, что сказать тебе. Ведь ты сама меня все время гонишь в Москву, убеждаешь не откладывать поездки. Сейчас это стало легче. Я справлялся на вокзале. На мешочничество, видимо, махнули рукой. Не всех зайцев, видимо, снимают с маршрутов. Устали расстреливать, расстреливают реже.

Меня беспокоит, что все мои письма в Москву остаются без ответа. Надо добраться туда и выяснить, что с домашними. Ты мне сама это твердишь. Но тогда как понять твои слова о Варыкине? Неужели ты одна без меня пустишься в эту страшную глушь?

— Нет, без тебя, конечно, это немыслимо.

— А сама отправляешь меня в Москву?

— Да, это необходимо.

— Послушай. Знаешь что? У меня замечательный план. Поедем в Москву. Отправляйся с Катенькой вместе со мною.

— В Москву? Да ты с ума сошел. С какой радости? Нет, я должна остаться. Я должна быть наготове где-нибудь поблизости. Здесь решатся Пашенькины судьбы. Я должна дождаться их развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою.

— Тогда давай подумаем о Катеньке.

— Ко мне захаживает по временам Симушка, Сима Тунце-ва. На днях мы с тобой о ней говорили.

— Ну как же. Я часто вижу ее у тебя.

— Я тебе удивляюсь. Где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть! Какая внешность! Рост. Стройность. Ум. Начитанность. Доброта. Ясность суждения.

— В день возвращения сюда из плена меня брила ее сестра, швея, Глафира.

— Я знаю. Сестры живут вместе со старшею, Авдотьей, библиотекаршей. Честная, работящая семья. Я хочу упросить их в случае крайности, если нас с тобой заберут, взять Катеньку на свое попечение. Я еще не решила.

— Но действительно только в случае безвыходности. А до такого несчастья, Бог даст, авось еще далеко.

— Говорят, Сима немного того, не в себе. Действительно, ее нельзя признать женщиной вполне нормальной. Но это вследствие ее глубины и оригинальности. Она феноменально образованна, но не по-интеллигентски, а по-народному. Твои и ее взгляды поразительно сходны. Я с легким сердцем доверила бы Катю ее воспитанию.

17

Опять он ходил на вокзал и вернулся ни с чем, не солоно хлебавши. Все осталось нерешенным. Его и Лару ожидала неизвестность. День был холодный и темный, как

перед первым снегом. Небо над перекрестками, где оно простиралось шире, чем над вытянутыми в длину улицами, имело зимний вид.

Когда Юрий Андреевич пришел домой, он застал в гостях у Лары Симушку. Между обеими происходила беседа, носившая характер лекции, которую гостья читала хозяйке. Юрий Андреевич не хотел мешать им. Кроме того, ему хотелось побыть немного одному. Женщины разговаривали в соседней комнате. Дверь к ним была приотворена. С притолоки опускалась до полу портьера, из-за которой были слышны от слова до слова их разговоры.

— Я буду шить, но вы не обращайте на это внимания, Симочка. Я вся превратилась в слух. Я на курсах в свое время слушала историю и философию. Построения вашей мысли очень по душе мне. Кроме того, слушать вас для меня такое облегчение. Мы последние ночи недосыпаем вследствие разных забот. Мой долг матери перед Катенькой обезопасить ее на случай возможных неприятностей с нами. Надо трезво о ней подумать. Я не особенно сильна в этом. Мне грустно это сознавать. Мне грустно от усталости и недосыпания. Ваши разговоры успокаивают меня. Кроме того, с минуты на минуту должен пойти снег. В снегтакое наслаждение слушать длинные умные рассуждения. Если покоситься в окно, когда снег идет, то правда кажется, будто кто-то направляется двором к дому? Начинайте, Симочка. Я слушаю.

— На чем мы прошлый раз остановились?

Юрию Андреевичу не было слышно, что ответила Лара. Он стал следить за тем, что говорила Сима.

— Можно пользоваться словами: культура, эпохи. Но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним. Заменим их другими выражениями.

Я сказала бы, что человек состоит из двух частей. Из Бога и работы. Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна за другою. Такою работою был Египет, такою работой была Греция, такой работой было библейское богопознание пророков. Такая, последняя по времени, ничем другим пока не смененная, всем современным вдохновением совершаемая работа — христианство.

Чтобы во всей свежести, неожиданно, не так, как вы сами знаете и привыкли, а проще, непосредственнее представить вам то новое, небывалое, что оно принесло, я разберу с вами несколько отрывков из богослужебных текстов, самую малость их, и то в сокращениях.

Большинство стихир образуют соединение рядом помещенных ветхозаветных и новозаветных представлений. С положениями старого мира, неопалимой купиной, исходом Израиля из Египта, отроками в печи огненной, Ионой во чреве китовом и так далее, сопоставляются положения нового, например, представления о зачатии Богородицы и о воскресении Христове.

В этом частом, почти постоянном совмещении старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо.

В целом множестве стихов непорочное материнство Марии сравнивается с переходом иудеями Красного моря. Например, в стихе «В мори Чермнем неискусобрачные невесты образ на-писася иногда» говорится: «Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна». То есть море после перехода Израиля стало снова непроходимо, а дева, родив Господа, осталась нетронутой. Какого рода происшествия поставлены тут в параллель? Оба события сверхъестественны, оба признаны одинаковым чудом. В чем же видели чудо эти разные времена, время древнейшее, первобытное, и время новое, послеримское, далеко подвинувшееся вперед?

В одном случае по велению народного вождя, патриарха Моисея, и по взмаху его волшебного жезла расступается море, пропускает через себя целую народность, несметное, из сотен тысяч состоящее многолюдство и, когда проходит последний, опять смыкается и покрывает и топит преследователей-египтян. Зрелище в духе древности, стихия, послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи видимые и слышимые, оглушающие.

В другом случае девушка — обыкновенность, на которую древний мир не обратил бы внимания, — тайно и втихомолку дает жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, «Живота всех», как потом его называют. Ее роды незаконны не только с точки зрения книжников как внебрачные. Они противоречат законам природы. Девушка рожает не в силу необходимости, а чудом, по вдохновению. Это то самое вдохновение, на котором Евангелие, противопоставляющее обыкновенности исключительность и будням праздник, хочет построить жизнь наперекор всякому принуждению.

Какого огромного значения перемена! Каким образом небу (потому что глазами неба надо все это оценивать, перед лицом неба, в священной раме единственности все это совершается) — каким образом небу частное человеческое обстоятельство, сточки зрения древности ничтожное, стало равноценно целому переселению народа?

Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое.

Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом («человек бывает Бог, да Бога Адама соде-лает»).

Сима продолжала:

— Сейчас я вам еще кое-что скажу на ту же тему. А пока небольшое отступление. В отношении забот о трудящихся, охраны матери, борьбы с властью наживы наше революционное время — небывалое, незабвенное время с надолго, навсегда остающимися приобретениями. Что же касается до понимания жизни, до философии счастья, насаждаемой сейчас, просто не верится, что это говорится всерьез, такой это смешной пережиток. Эти декламации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой повернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По счастью, это невозможно.

Несколько слов о Христе и Магдалине. Это не из евангельского рассказа о ней, а из молитв на Страстной неделе, кажется, в Великий вторник или среду. Но вы все это и без меня хорошо знаете, Лариса Федоровна. Я просто хочу кое-что напомнить вам, а совсем не собираюсь поучать вас.

Страсть по-славянски, как вы прекрасно знаете, значит прежде всего страдание, страсти Господни, «грядый Господь к вольной страсти» (Господь, идучи на добровольную муку). Кроме того, это слово употребляется в позднейшем русском значении пороков и вожделений. «Страстем поработив достоинство души моея, скот бых», «Изринувшеся из рая, воздержанием страстей потщимся внити», и т. д. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без присущей другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые лоснящиеся монахи. И дело не в том, что сами

они жили не по правилам и обманывали других. Пусть бы жили они и по совести. Дело не в них, а в содержании этих отрывков. Эти сокрушения придают излишнее значение разным немощам тела и тому, упитано ли оно или изможденно. Это противно. Тут какая-то грязная, несущественная второстепенность возведена на недолжную, несвойственную ей высоту. Извините, что я так оттягиваю главное. Сейчас я вознагражу вас за свое промедление.

Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее возвращения. Теперь послушайте, с какой действительной страстью, с какой ни с чем не считающейся прямотой делается это упоминание.

Существует спор, Магдалина ли это, или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария. Как бы то ни было, она просит Господа: «Разреши долг, якоже и аз власы». То есть: «Отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния! Можно руками дотронуться.

И сходное восклицание в другом тропаре на тот же день, более подробном, и где речь с большею несомненностью идет о Магдалине.

Здесь она со страшной осязательностью сокрушается о прошлом, о том, что каждая ночь разжигает ее прежние закоренелые замашки. «Яко нощь мне есть разжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха». Она просит Христа принять ее слезы раскаяния и склониться к ее воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть пречистые Его ноги волосами, в шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. «Да облобыжу пречистые Твои нозе и отру сия паки главы моея власы, их же Ева в рай, пополудни шумом уши ог-ласивше, страхом скрыся». И вдруг вслед за этими волосами вырывающееся восклицание: «Грехов моих множества, судеб Твоих бездны кто исследит?» Какая короткость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!

18

Юрий Андреевич пришел с вокзала усталый. Это был его ежедекадный выходной день. Обыкновенно он по этим числам отсыпался за всю неделю. Он сидел, откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нем. Хотя Симу он слушал сквозь приступы набегающей дремоты, ее рассуждения доставляли ему наслаждение. «Конечно, все это от дяди Коли, — думал он. — Но какая талантливая и умница!»

Он соскочил с дивана и подошел к окну. Оно выходило во двор, как в комнате рядом, где Лара с Симушкой теперь невнятно шептались.

Погода портилась. На дворе темнело. На двор залетели и стали летать, высматривая, где им сесть, две сороки. Ветер слегка пушил и раздувал их перья. Сороки опустились на крышку мусорного ящика, перелетели на забор, слетели на землю и стали ходить по двору.

«Сороки к снегу», — подумал доктор. В ту же минуту он услышал из-за портьеры:

— Сороки к вестям, — обращалась Сима к Ларе. — К вам гости собираются. Или письмо получите.

Спустя немного снаружи позвонили в дверной колокольчик на проволоке, который незадолго перед тем починил Юрий Андреевич. Из-за портьеры вышла Лариса Федоровна и быстрыми шагами пошла отпирать в переднюю. По ее разговору у входной двери Юрий Андреевич понял, что пришла сестра Симы, Глафира Севериновна.

— Вы за сестрою? — спросила Лариса Федоровна. — Симушка у нас.

— Нет, не за ней. А впрочем, что же. Вместе пойдем, если она домой собирается. Нет, я совсем не за тем. Письмо вашему приятелю. Пусть спасибо скажет, что я когда-то на почте служила. Через сколько рук прошло и по знакомству в мои попало. Из Москвы. Пять месяцев шло. Не могли разыскать адресата. А я ведь знаю, кто он. Брился как-то у меня.

Письмо, длинное, на многих страницах, смятое, замасленное, в распечатанном и истлевшем конверте, было от Тони. До сознания доктора не дошло, как оно у него очутилось, он не заметил, как Лара вручила ему конверт. Когда доктор начал читать письмо, он еще помнил, в каком он городе и у кого в доме, но по мере чтения утрачивал это понимание. Вышла, поздоровалась и стала с ним прощаться Сима. Машинально он отвечал, как полагается, но не обратил на нее внимания. Ее уход выпал из его сознания. Постепенно он все более полно забывал, где он и что кругом него.

«Юра, — писала ему Антонина Александровна, — знаешь ли ты, что у нас есть дочь? Ее крестили Машей, в память мамы покойницы Марии Николаевны.

Теперь совсем о другом. Несколько видных общественных деятелей, профессоров из кадетской партии и правых социалистов, Мельгунова, Кизеветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая Александровича Громеко, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу.

Это — несчастие, в особенности в отсутствии тебя, но надо подчиниться и благодарить Бога за такую мягкую форму изгнания в такое страшное время, могло ведь быть гораздо хуже. Если бы ты нашелся и был тут, ты поехал бы с нами. Но где ты теперь? Я посылаю это письмо по адресу Антиповой, она передаст его тебе, если разыщет. Меня мучит неизвестность, распространят ли на тебя, как на члена нашей семьи, впоследствии, когда ты, если это суждено, найдешься, разрешение на выезд, полученное всеми нами. Мне верится, что ты жив и отыщешься. Это мне подсказывает мое любящее сердце, и я доверяюсь его голосу. Возможно, к тому времени, когда ты обнаружишься, условия жизни в России смягчатся, ты сам сможешь исхлопотать себе отдельное разрешение на заграничную поездку, и все мы опять окажемся в сборе в одном месте. Но я пишу это и сама не верю в сбыточность такого счастья.

Все горе в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь. Я стараюсь найти смысл этого осуждения, истолковать его, оправдать, роюсь, копаюсь в себе, перебираю всю нашу жизнь и все, что я о себе знаю, и не вижу начала, и не могу вспомнить, что я сделала и чем навлекла на себя это несчастье. Ты как-то превратно, недобрыми глазами смотришь на меня, ты видишь меня искаженно, как в кривом зеркале.

А я люблю тебя. Ах как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли. Мне все это дорого, и я не знаю человека лучше тебя.

Но слушай, знаешь, что я скажу тебе? Если бы даже ты не был так дорог мне, если бы ты не нравился мне до такой степени, все равно прискорбная истина моего холода не открылась бы мне, все равно я думала бы, что люблю тебя. Из одного страха перед тем, какое унизительное, уничтожающее наказание нелюбовь, я бессознательно остереглась бы понять, что не люблю тебя. Ни я ни ты никогда этого бы не узнали. Мое собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что нелюбовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара.

Хотя ничего не решено еще окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в далекие края, куда тебя возили мальчиком и где воспитывались папа и дядя. Папа

кланяется тебе. Шура вырос, не взял красотой, но стал большим крепким мальчиком и при упоминании о тебе всегда горько безутешно плачет. Не могу больше. Сердце надрывается от слез. Ну прощай. Дай перекрещу тебя на всю нескончаемую разлуку, испытания, неизвестность, на весь твой долгий, долгий, темный путь. Ни в чем не виню, ни одного упрека, сложи жизнь свою так, как тебе хочется, только бы тебе было хорошо.

Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой — полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она, чтобы осложнять ее и сбивать с дороги.

Прощай, надо кончать. Пришли за письмом, и пора укладываться. О Юра, Юра, милый, дорогой мой, муж мой, отец детей моих, да что же это такое? Ведь мы больше никогда, никогда не увидимся. Вот я написала эти слова, уясняешь ли ты себе их значение? Понимаешь ли ты, понимаешь ли ты? Торопят, и это точно знак, что пришли за мной, чтобы вести на казнь. Юра! Юра!»

Юрий Андреевич поднял от письма отсутствующие бесслезные глаза, никуда не устремленные, сухие от горя, опустошенные страданием. Он ничего не видел кругом, ничего не сознавал.

За окном пошел снег. Ветер нес его по воздуху вбок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время что-то наверстывая, и Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто это не снег шел, а продолжалось чтение письма Тони и проносились и мелькали не сухие звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими черными буковками, белые, белые, без конца, без конца.

Юрий Андреевич непроизвольно застонал и схватился за грудь. Он почувствовал, что падает в обморок, сделал несколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания.

Часть четырнадцатая ОПЯТЬ В ВАРЫКИНЕ

1

Установилась зима. Валил снег крупными хлопьями. Юрий Андреевич пришел домой из больницы.

— Комаровский приехал, — упавшим хриплым голосом сказала вышедшая навстречу ему Лара. Они стояли в передней. У нее был потерянный вид, точно у побитой.

— Куда? К кому? Он у нас?

— Нет, конечно. Он был утром и хотел прийти вечером. Он скоро заявится. Ему надо поговорить с тобой.

— Зачем он приехал?

— Я не все поняла из его слов. Говорит, будто он тут проездом на Дальний Восток, и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, чтобы повидаться. Главным образом ради тебя и Паши. Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патуля и я, в смертельной опасности и что только он может спасти нас, если мы его послушаемся.

— Я уйду. Я не желаю его видеть.

Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головою, но он помешал ей, насильно удержав ее.

— Останься ради меня, умоляю тебя. Я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним. Но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, это человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует

что-нибудь. Твое отвращение к нему естественно. Но прошу тебя, пересиль себя. Останься.

— Что с тобою, ангел мой? Успокойся. Что ты делаешь? Не бросайся на колени. Встань. Развеселись. Прогони преследую-

щее тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я с тобою. Если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его.

Через полчаса наступил вечер. Стало совершенно темно. Уже с полгода дыры в полу были везде заколочены. Юрий Андреевич следил за образованием новых и вовремя забивал их. В квартире завели большого пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы не ушли из дому, но стали осторожнее.

В ожидании Комаровского Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и поставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. Гостя собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовый обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем — переносная докторская светильня.

Комаровский пришел из декабрьской темноты весь осыпанный валившим на улице снегом. Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и калош и пластами таял, разводя на полу лужи. От налипшего снега мокрые усы и борода, которые Комаровский раньше брил, а теперь отпустил, казались шутовскими, скоморошьими. На нем была хорошо сохранившаяся пиджачная пара и полосатые брюки в складку. Перед тем, как поздороваться и что-нибудь сказать, он долго расчесывал карманною гребенкой влажные примятые волосы и утирал и приглаживал носовым платком мокрые усы и брови. Потом с выражением молчаливой многозначительности одновременно протянул обе руки, левую — Ларисе Федоровне, а правую — Юрию Андреевичу.

— Будем считать, что мы знакомы, — обратился он к Юрию Андреевичу. — Я ведь так хорош был с вашим отцом — вы, наверное, знаете. На моих руках дух испустил. Все вглядываюсь в вас, ищу сходства. Нет, видимо, вы не в батюшку. Широкой натуры был человек. Порывистый, стремительный. Судя по внешности, вы скорее в матушку. Мягкая была женщина. Мечтательница.

— Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас ко мне какое-то дело. Я уступил ее просьбе. Наш разговор поневоле вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с вами и не считаю, что мы познакомились. Поэтому ближе к делу. Что вам угодно?

— Здравствуйте, хорошие мои. Все, решительно все чувствую я насквозь, до конца все понимаю. Простите за смелость, вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара.

— Должен остановить вас. Прошу не вмешиваться в вещи, вас не касающиеся. У вас не спрашивают сочувствия. Вы забываетесь.

— А вы не вспыхивайте так сразу, молодой человек. Нет, пожалуй, вы все же скорее в отца. Такой же пистолет и порох. Да, так, с вашего позволения, поздравляю вас, дети мои. К сожалению, однако, вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ничего не ведающие, ни о чем не задумывающиеся. Я тут только два дня и узнал больше о вас, чем вы сами подозреваете. Вы, не помышляя о том, ходите по краю пропасти. Если чем-нибудь не предотвратить опасности, дни вашей свободы, а может быть, и жизни сочтены.

Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление.

Добро бы этабыло вашею тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас.

Вы мужчина, вы — вольный казак или как это там называется. Сумасбродствовать, играть своею жизнью ваше священное право. Но Лариса Федоровна человек несвободный. Она мать. На руках у нее детская жизнь, судьба ребенка. Фантазировать, витать за облаками ей не положено.

Я все утро потерял на уговоры, убеждая ее отнестись серьезнее к здешней обстановке. Она не желает меня слушать. Употребите свой авторитет, повлияйте на Ларису Федоровну. Она не вправе шутить безопасностью Катеньки, не должна пренебрегать моими соображениями.

— Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил. В особенности близких. Лариса Федоровна вольна слушать вас или нет. Это ее дело. Кроме того, ведь я совсем не знаю, о чем речь. То, что вы называете вашими соображениями, неизвестно мне.

— Нет, вы мне все больше и больше напоминаете вашего отца. Такой же несговорчивый. Итак, перейдем к главному. Но так как это довольно сложная материя, запаситесь терпением. Прошу слушать и не перебивать.

Наверху готовятся большие перемены. Нет, нет, это у меня из самого достоверного источника, можете не сомневаться. Имеется в виду переход на более демократические рельсы, уступка общей законности, и это дело самого недалекого будущего.

Но именно вследствие этого подлежащие отмене карательные учреждения будут под конец тем более свирепствовать и тем торопливее сводить свои местные счеты. Ваше уничтожение на очереди, Юрий Андреевич. Ваше имя в списке. Говорю это не шутя, я сам видел, можете мне поверить. Подумайте о вашем спасении, а то будет поздно.

Но все это было пока предисловием. Перехожу к существу дела.

В Приморье, на Тихом океане, происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому Временному правительству и распущенному Учредительному собранию. Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из былых земцев, дельцы, промышленники. Добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий.

Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики. Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам, с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам. Замысел совершенно прозрачный, и дело только в том, чтобы суметь воспользоваться остающимся временем.

Я когда-то до революции вел дела братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банкирских домов во Владивостоке. Меня там знают. Негласный эмиссар составляющегося правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром юстиции в Дальневосточное правительство. Я согласился и еду туда. Все это, как я только что сказал, происходит с ведома и молчаливого согласия советской власти, однако не так откровенно, и об этом не надо шуметь.

Я могу взять вас и Ларису Федоровну с собой. Оттуда вы легко проберетесь морем к своим. Вы, конечно, уже знаете об их высылке. Громкая история, об этом говорит вся Москва. Ларисе Федоровне я обещал отвести удар, нависающий над Павлом Павловичем. Как член самостоятельного и признанного правительства, я разыщу Стрельникова в Восточной Сибири и буду способствовать его переходу в нашу

автономную область. Если ему не удастся бежать, я предложу, чтобы его выдали в обмен на какое-нибудь лицо, задержанное союзниками и представляющее ценность для московской центральной власти.

Лариса Федоровна с трудом следила за содержанием разговора, смысл которого часто ускользал от нее. Но при последних словах Комаровского, касавшихся безопасности доктора и Стрельникова, она вышла из состояния задумчивой непричастности, насторожилась и, чуть-чуть покраснев, вставила:

— Ты понимаешь, Юрочка, как эти затеи важны в отношении тебя и Паши?

— Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся. Я не говорю, что Виктор Ипполитович сознательно нас водит за нос. Но ведь все это вилами на воде писано! А теперь, Виктор Ипполитович, несколько слов от себя. Благодарю вас за внимание к моей судьбе, но неужели вы думаете, что я дам вам устраивать ее? Что же касается вашей заботы о Стрельникове, Ларе следует об этом подумать.

— К чему клонится вопрос? Ехать ли нам с ним, как он предлагает, или нет. Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не поеду.

Комаровский часто прикладывался к разведенному спирту, который принес из амбулатории и поставил на стол Юрий Андреевич, жевал картошку и постепенно хмелел.

2

Было уже поздно. Освобождаемый временами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко освещая комнату. Потом все снова погружалось во мрак. Хозяевам хотелось спать, и надо было поговорить наедине. А Комаровский все не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном.

Он смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, уставив пьяные округлившиеся глаза в эту далекую точку, и сонным, заплетающимся языком молол и молол что-то нескончаемо скучное все про одно и то же. Его коньком был теперь Дальний Восток. Об этом он и жевал свою жвачку, развивая Ларе и доктору свои соображения о политическом значении Монголии.

Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили, в каком месте разговора он на эту Монголию напал. То, что они прозевали, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой посторонней темы.

Комаровский говорил:

— Сибирь, эта поистине Новая Америка, как ее называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущее Монголии, Внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами, а между тем это поверхность в полтора миллиона квадратных верст, неизведанные ископаемые, страна в состоянииидоисторической девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки в ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками, при любом разделе сфер влияния в этом далеком уголке земного шара.

Китай извлекает пользу из феодально-теократической отсталости Монголии, влияя на ее лам и хутухт. Япония опирается на тамошних князей-крепостников, по-монгольски — хо-шунов. Красная коммунистическая Россия находит союзника в лице хамджилса, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующею, под управлением свободно избранного хурултая. Лично нас должно занимать

следующее. Шаг через монгольскую границу, и мир у ваших ног, и вы — вольная птица.

Многословные умствования на назойливую, никакого отношения к ним не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну.

Доведенная скукой затянувшегося посещения до изнеможения, она решительно протянула Комаровскому руку для прощания и без обиняков, с нескрываемой неприязнью, сказала:

— Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать.

— Надеюсь, вы не будете так негостеприимны и не выставите меня за дверь в такой час. Я не уверен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвещенном городе.

— Надо было раньше об этом думать и не засиживаться. Никто вас не удерживал.

— О, зачем вы говорите со мною так резко? Вы даже не спросили, располагаю ли я тут каким-нибудь пристанищем?

— Решительно неинтересно. Авось себя в обиду не дадите. Если же вы напрашиваетесь на ночевку, то в общей комнате, где мы спим вместе с Катенькой, я вас не положу. А в остальных с крысами не будет сладу.

— Я не боюсь их.

— Ну, как знаете.

3

— Что с тобою, ангел мой? Которую уже ночь ты не спишь, не дотрагиваешься за столом до пищи, весь день ходишь как шальная. И все думаешь, думаешь. Что преследует тебя? Нельзя давать такой воли тревожным мыслям.

— Опять был из больницы сторож Изот. У него тут в доме шуры-муры с прачкою. Вот он мимоходом и завернул, утешил. Страшный, говорит, секрет. Не миновать твоему темной. Так и ждите, не сегодня-завтра упекут. А следом и тебя, горемычную. Откуда, говорю, Изот, ты это взял? Уж положись, будь покойна, говорит. Из полкана сказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься, надо в его парафразе понимать исполком.

Лариса Федоровна и доктор рассмеялись.

— Он совершенно прав. Опасность назрела и уже у порога. Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно. Пытаться уехать в Москву нечего думать. Это слишком сложные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел. Знаешь что, моя радость? Пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться сквозь землю. Пускай этим местом будет Варыкино. Уедем туда недели на две, на месяц.

— Спасибо, родной, спасибо. О как я рада. Я понимаю, как все в тебе должно быть против этого решения. Но речь ведь не о вашем доме. Жизнь в нем была бы для тебя действительно немыслима. Вид опустелых комнат, укоры, сравнения. Разве я не понимаю? Строить счастье на чужом страдании, топтать то, что душе дорого и свято. Я никогда не приняла бы от тебя такой жертвы. Но дело не в этом. Ваш дом в таком разрушении, что едва ли можно было бы привести комнаты в жилое состояние. Я скорее имела в виду покинутое микулицынское жилище.

— Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. Я все время хочу спросить и все забываю. Где Комаровский? Он еще тут или уже уехал? С моей ссоры с ним и после того, как я спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал.

— Я тоже ничего не знаю. А Бог с ним. На что он тебе?

— Я все больше прихожу к мысли, что нам по-разному надо было отнестись к его предложению. Мы не в одинаковом положении. На твоем попечении дочь. Даже если бы ты хотела разделить мою гибель, ты не вправе себе это позволить.

Но перейдем к Варыкину. Разумеется, забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай и безумствовать^.сердце мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось. Унизимся еще раз. Выклянчим у Анфима лошадь. Попросим у него, или даже не у него, а у состоящих под его начальством спекулянтов, муки и картошки в некий, никакою верою не оправдываемый долг. Уговорим его не сразу, не тотчас возмещать своим приездом оказанное нам благодеяние, а приехать только к концу, когда лошадь понадобится ему обратно. Побудем немного одни. Поедем, сердце мое. Сведем и спалим в неделю лесной косяк, которого хватило бы на целый год более совестливого хозяйничанья.

И еще и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса! Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении. Воспользуемся же ими по-своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть, простимся с надеждами, простимся друг с другом. Скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и тихие, как название азиатского океана. Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний, ты когда-то под мирным небом детства так же поднялась у ее начала.

Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов, в форме кофейного цвета, в полутьме за номерной перегородкой была совершенно тою же, как сейчас, и так же ошеломляюще хороша.

Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все остальное на свете благодаря тебе.

Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь.

Вот наконец я это высказал. От этого можно с ума сойти. И я весь в этом.

Лариса Федоровна лежала на краю кровати, одетая и недомогающая. Она свернулась калачиком и накрылась платком. Юрий Андреевич сидел на стуле рядом и говорил тихо, с большими перерывами. Иногда Лариса Федоровна приподнималась на локте, подпирала подбородок ладонью и, разинув рот, смотрела на Юрия Андреевича. Иногда прижималась к его плечу и, не замечая своих слез, плакала тихо и блаженно. Наконец она потянулась к нему, перевесившись за борт кровати, и радостно прошептала:

— Юрочка! Юрочка! Какой ты умный. Ты все знаешь, обо всем догадываешься. Юрочка, ты моя крепость, и прибежище, и утверждение, да простит Господь мое кощунство. О как я счастлива! Едем, едем, дорогой мой. Там на месте я скажу тебе, что меня беспокоит.

Он решил, что она намекает на свои предположения о беременности, вероятно мнимой, и сказал:

— Я знаю.

4

Они выехали из города утром серого зимнего дня. День был будничный. Люди шли по улицам по своим делам. Часто попадались знакомые. На бугристых перекрестках, у старых водоразборных будок вереницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водою. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед самдевятов-скую Савраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которою он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек. Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканной водою и обледенелой мостовой и наезжали на тротуары, стукаясь санными отводами о фонари и тумбы.

На всем скаку нагнали шедшего по ул^эде Самдевятова, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте таким же образом, не здороваясь, обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине.

Глафира Тунцева прокричала через всю улицу с противоположного тротуара:

— А говорили, вы вчера уехали. Вот и верь после этого людям. За картошкой? — и, выразив рукою, что она не слышит ответа, она помахала ею вслед напутственно.

Ради Симы попробовали задержаться на горке, в неудобном месте, где трудно было остановиться. Лошадь и без того все время приходилось осаживать, туго натягивая вожжи. Сима сверху донизу была обмотана двумя или тремя платками, придававшими окоченелость круглого полена ее фигуре. Прямыми негнущимися шагами она подошла к саням на середину мостовой и простилась, пожелав им счастливо доехать.

— Когда воротитесь, надо будет договорить, Юрий Андреевич.

Наконец выехали из города. Хотя Юрий Андреевич, бывало, ездил по этой дороге зимою, он преимущественно помнил ее в летнем виде и теперь не узнавал.

Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, под головки, и там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошевней, по-местному — кошовки, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в самдевятовских валенках наружу.

После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать Савраску. Она понеслась стрелою. Кошовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движения. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено. Иногда доктор нарочно, для смеху, наезжал одним полозом на боковой снеговой бугор, переворачивал сани набок и, без всякого вреда для них, вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов на вожжах по дороге, останавливал Савраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кати, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились.

— Я покажу вам место, где меня остановили партизаны, — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, но не мог сделать обещанного, потому что зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. — Вот! — вскоре воскликнул он, по ошибке приняв первый дорожный столб Моро и Ветчинкина, стоявший в поле, за второй, в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, остававшегося на прежнем месте, в чаще у Сакминского распутья, столба нельзя было распознать сквозь рябившую в

глазах решетку густого инея, филигранно разделавшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили.

В Варыкино влетели засветло и стали у старого живагов-ского дома, так как по дороге он был первым, ближе микули-цынского. Ворвались в дом торопливо, как грабители, — скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половины разрушений и мерзости Юрий Андреевич второпях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Варыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи, он не знал, что они взяли с собою, что оставили. Лара между тем говорила:

— Надо торопиться. Сейчас настанет ночь. Некогда раздумывать. Если располагаться тут, то — лошадь в сарай, провизию в сени, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит и мне, будет тяжело. Что тут такое, ваша спальня? Нет, детская. Кроватка твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны — окна целы, стены и потолок без щелей. Кроме того, великолепная печь, я уже восхищалась ею в прошлый приезд. И если ты настаиваешь, чтобы все-таки тут, хотя я против этого, тогда я — шубу долой и мигом за дело. И первым делом за топку. Топить, топить и топить. Первые сутки день и ночь не переставая. Но что с тобою, мой милый? Ты ничего не отвечаешь.

— Сейчас. Ничего. Прости, пожалуйста. Нет, знаешь, действительно, посмотрим лучше у Микулицыных.

И они проехали дальше.

5

Дом Микулицыных был заперт на висячий замок, навешенный в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом, вместе с оставшеюся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились второпях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли в глубь комнат.

В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например в кабинете Аверкия Степановича. Тут кто-то жил, и совсем еще недавно. Но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли не на врезанный в нее замок, а на приделанный висячий? Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило вторгшимся, что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и Лару неизвестность не беспокоила. Они не стали ломать над этим голову. Мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной движимостью? Мало укрывающихся преследуемых? «Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер, — единодушно решили они. — Придет, уживемся, столкуемся».

И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл как вкопанный на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна. И опять подумал, как располагает, наверное, и приохочивает такой строгий уют к терпеливой, плодотворной работе.

Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня. Но она была на запоре, Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отворившийся незапертый сарай. Он распряг Савраску и, когда она остыла, напоил ее принесенною из колодца водою. Юрий Андреевич хотел задать ей сена со дна саней, но оно стерлось под седоками в труху и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком, помещавшемся над сараем и конюшнею сеновале нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам.

Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ.

6

Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя две комнаты в порядок, дела было по уши.

В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями. Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям владела им.

Ему хотелось помарать, построчить что-нибудь. На первых порах он удовлетворился бы припоминаньем и записью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и, в перерыве дремлющие, способности. А там, надеялся он, ему и Ларе удастся задержаться тут подольше и времени будет вволю приняться за что-нибудь новое, значительное.

— Ты занят? Что ты делаешь?

— Топлю и топлю. А что?

— Корыто мне.

— Дров по такой топке здесь больше чем на три дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший живаговский сарай. А ну как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто. Представь, попалось где-то на глаза, а где — из головы вон, ума не приложу.

— И у меня то же самое. Где-то видела и забыла. Верно, где-нибудь не на месте, оттого и забывается. Но Бог с ним. Имей в виду, я много воды грею для уборки. Оставшеюся постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и все свое грязное. Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся.

— Сейчас соберу белье. Спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила.

— Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохани. Только очень сальная. Надо отмыть жир со стенок.

— Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находдо.в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага, письменные принадлежности. И открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не микулицынское, я ведь знаю. Это из какого-то другого источника.

— Удивительная удача! Это все он, жилец таинственный. Как из Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь в самом деле! Опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает.

Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам, с несвободными, занятыми руками, и на бегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечания. Она зябла и жаловалась на холод.

«Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие безропотные участники наших скитаний», — думал доктор, а сам говорил девочке:

— Ну, извини, милая. Нечего ежиться. Вранье и капризы. Печка раскалена докрасна.

— Печке, может быть, тепло, а мне холодно.

— Тогда потерпи, Катюша. Вечером я вытоплю ее жарко-прежарко во второй раз, а мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты слышала? А пока на вот, лови. — И он валил в кучу на пол старые Ливериевы игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные, кирпичики и кубики, вагоны, и паровозы, и разграфленные на клетки,

разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями.

— Ну, что вы, Юрий Андреевич, — как взрослая, обижалась Катенька. — Это все чужое. И для маленьких. А я большая.

А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым ее таскали.

— Какой инстинкт домовитости, неистребимое влечение к гнезду и порядку! — говорила Лариса Федоровна, из кухни наблюдая игру дочери. — Дети искренни без стеснения и не стыдятся правду $ мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному.

— Нашлось корыто, — входя с ним из темных сеней, прерывал доктор. — Действительно не на месте было. На полу под протекавшим потолком, с осени, видно, стояло.

7

На обед, изготовленный впрок на три дня из свеженачатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые — картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила, а потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване.

Лариса Федоровна, прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным ее стряпнёю, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою:

— Я бы сил не щадила и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться. Потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище, вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка, не всерьез, а «нарочно», как говорят дети, кукольная комедия, курам на смех.

— Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке. Вспомни, как я долго противился и не соглашался.

— Верно. Не спорю. Но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня все должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына, и тебе стало дурно, ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено, страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моею любовью к тебе.

— Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый Обветовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь, завтра слетаем в Юрятин. Комаровский еще там, не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице, причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его, наверное, еще застанем.

— Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум, можно было и в Юрятине. А если уже искать спасения, то надо было наверняка, с продуманным планом, как, в конце концов, предлагал этот сведущий и трезвый, хотя и противный, человек. Ведь здесь мы, я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было.

Беспредельная, вихрям открытая равнина. И мы одни как перст. Нас за ночь снегом занесет, к утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь. Меня страшит твоя беспечность, которою ты меня заражаешь. От нее у меня сумятица в мыслях.

— Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?

— Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя слепо тебя любящая, нерассуждающая раба. О, я скажу тебе. Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви как всякий другой дар. Он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, все доставляет радость, все стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, — разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг бояться и не доверять ей.

Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала:

— Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.

Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал:

— Бивуачность нашего жилья действительно фальшива и взвинченна. Ты глубоко права. Но не мы ее придумали. Угорелое метание — участь всех, это в духе времени.

Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме.

Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть, когда-нибудь снова будут издавать книги.

Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с Самдевятовым, на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах, под залог труда, который я обязался бы написать тем временем, руководства по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо, я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять меновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде.

— Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думала о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся. Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше. Но пока в нашем распоряжении эта остановка, у меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана, и я боюсь, что потом ты все забудешь и оно пропадет, как, по твоим словам, с тобой уже часто случалось.

8

К концу дня все помылись горячею водой, в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за

оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания.

Был час ночи, когда, притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженое, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить.

Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание.

Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное, «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных.

Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому.

После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер, и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, не названных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом.

Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования.

«Господи! Господи! — готов был шептать он. — И все это мне! За что мне так много? Как подпустил Ты меня к Себе, как дал забрести на эту бесценную Твою

землю, под эти Твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?»

Было три часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук.

Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ выходной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо.

Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное утробно скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутых тени размером не больше маленькой черточки.

Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна ми кул и цы некого дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись.

«Неприятная новость! — подумал он. — Только их недоставало. Неужели где-то под боком, совсем близко, их лежка? Может быть, даже в овраге. Как страшно! И на беду, еще эта Савраска самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли».

Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее, вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу.

Лампа горела ярко и приветливо, по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара.

— Аты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая! — влажным, заложенным от спанья шепотом тихо сказала она. — На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела.

И он потушил лампу.

9

Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку.

Морозило, мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно. Снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера.

Вчерашнею стиркой и купаньем Лара напустила в дом сырости. Окна затянуло рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолкадо полу покрылись черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со все время не прекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами.

Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой, поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы, и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке или о некормленой и непоеной лошади и сломя голову бросались наверстывать и исправлять упущенное и мучились угрызениями совести.

У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней и ноющая, блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе.

Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которою был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой.

Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непретворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид.

Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Варыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть, и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий.

Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Варыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон.

Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне.

Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями.

Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками.

Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала.

Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою.

Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки.

Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большой простор пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивою певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад.

Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара. Она казалась тонкой и худенькой и выше, чем на самом деле, в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная и, вытянув руку вперед, шепотом спросила:

— Слышишь? Собака воет. Даже две. Ах, как страшно, какая дурная примета! Как-нибудь дотерпим до утра, и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь.

Через час, после долгих уговоров, Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел уследить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше.

10

Наступил тринадцатый день их обитания в Варыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Так же накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна так же положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой. Так же чередовались у нее состояния равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной, непозволительной роскоши неумеренных нежностей.

Все повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало.

Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась и потирая руки от холода, ходил по нетопленой комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться.

Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно.

Она начала день, как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно.

Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним без оружия среди этой, полной своих собственных угроз, страшной зимней пустыни.

Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И, махнув на все рукой, доктор пошел запрягать.

Он запрягал неумело. Его этому учил Самдевятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец, потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться.

Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала и, часто прерывая себя восклицанием: «Не правда ли?» — на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязною скороговоркой:

— Я не виновата. Я сама не знаю, как это получилось. Но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет. Ночь застанет нас в дороге. И как раз в твоем страшном лесу. Не правда ли? Я поступлю, как ты прикажешь, но сама, собственною волей, не решусь. Что-то удерживает меня. У меня сердце не на месте. А ты как знаешь. Не правда ли? Что же ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы проротозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в семь или шесть утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах, это было бы так неповторимо, волшебно! Что же ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная!

— Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко. Еще совсем рано. Но будь по-твоему. Хорошо. Останемся. Только успокойся. Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась. Закусим. Твоя правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради Бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему живаговскому сараю, а то у меня тут больше ни полена. А ты не плачь. Я скоро вернусь.

11

На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнею таскою дров.

Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Оно очистилось. Подморозило. Варыкинский парк, на разных расстояниях окружавший эти места, близко подступал к

сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем, выше порога сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпяному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц.

Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним.

Усталость валила с ног Юрия Андреевича. Швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял на чем свет стоит бесталанную свою судьбу и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц все стоял над сараем и горел и не грел, светился и не освещал.

Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда ее привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно.

«Чего это она? — подумал доктор. — С какой это радости? Не может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут, какие глупости. Дура она, что ли, голосом волкам знак подавать, если это она их почуяла. И как весело. Это, видно, в предвкушении дома, домой захотелось. Погоди, сейчас тронем».

В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарае щепы и крупной, сапожным голенищем выгнутой, целиком с полена отвалившейся бересты для растопки, перехватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в сарай к Микулицыным.

Опять лошадь заржала, в ответ на явственное конское ржание где-то вдали, в другой стороне. «У кого бы это? — встрепенувшись, подумал доктор. — Мы считали, что Варыкино пусто. Значит, мы ошибались». Ему в голову не могло прийти, что у них гости и что ржание коня доносится со стороны микулицынского крыльца, из сада. Он вел Савраску обходом, задами, к службам заводских усадеб, и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части.

Не спеша (зачем ему было торопиться?) побросал он дрова в сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый угловой станок, где меньше продувало, и, принесши из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей.

С неспокойной душою шел он к дому. У крыльца стоял запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке.

В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате, у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то неопределимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный («слуга двух господ» — почудилось Юрию Андреевичу), что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться,

потому что, доверившись доктору, она «погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев». Юрий Андреевич вошел в дом.

В первой комнате, действительно, в шубе до полу стоял, не раздеваясь, Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю. Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась, а Катенька жаловалась: «Мамочка, тише, ты меня задушишь». Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович наперерыв бросились к нему навстречу.

— Где ты пропадал? Ты нам так нужен!

— Здравствуйте, Юрий Андреевич! Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как видите, к вам без приглашения.

— Здравствуйте, Виктор Ипполитович.

— Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорей решай за себя и меня. Времени нет. Надо торопиться.

— Что же мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь.

— Ты не поражен? Отчего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал и что мы не ухватились за его предложения, а он тут перед тобой, и ты не удивляешься. Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Ипполитович.

— Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее опрометчивому решению.

— Но дальше откладывать нельзя. Сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром, — но лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе.

— Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович. Почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь серьезный. Нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор Ипполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело Лариса

Федоровна. В тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два, с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательнее задуматься о ваших планах. Да она не переставая это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям.

— Но только при условии, если бы ты поехал.

— Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву. Потому что о моей поездке не может быть и речи.

— Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай. Завтра утром... Виктор Ипполитович!

— Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд Дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов.

Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатили бы со всем комфортом. Такой случай больше не

представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете и отказа поехать с нами не отмените. Вычеловектвердыхрешений,язнаю. Но все же. Сломите себя ради Ларисы Федоровны. Вы слышали, без вас она не поедет. Поедемте с нами, если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин. А там увидим. Но в таком случае надо торопиться. Нельзя терять ни минуты. Сз мною человек, я плохо правлю. Впятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, самдевятовская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена?

— Нет, я распряг ее.

— Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет. Впрочем, знаете... Ну их к черту, вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради Бога скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадется. Дом пусть остается как есть, незапертым. Надо спасать жизнь ребенка, а не ключи к замкам подбирать.

— Я не понимаю вас, Виктор Ипполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если

Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь и после вашего отъезда уберу и запру его.

— Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь. «Если Лариса Федоровна решила». И сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Ларисы Федоровны и в заводе нет и никаких ее решений. Тогда к чему эти фразы: «Адом я уберу и обо всем позабочусь?»

— Значит, вы неумолимы. Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова и, если можно, с глазу на глаз.

— Хорошо. Если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша?

12

Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере, и приговор приведен в исполнение.

— Какой ужас. Неужели правда?

— Так я слышал. Я в этом уверен.

— Не говорите Ларе. Она с ума сойдет.

— Еще бы. Для этого я и позвал вас в другую комнату. После этого расстрела она и дочь в близкой, непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы наотрез отказываетесь сопутствовать нам?

— Я ведь сказал вам. Конечно.

— Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать. Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах, обманно, готовность уступить, сделайте вид, будто вас можно уговорить. Я не представляю себе вашего прощания. Ни здесь, на месте, ни на вокзале, в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать. Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас, вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я предоставлю вам новую возможность, которою вы пообещаете воспользоваться. Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву. Но с моей стороны это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте ее в этом со всею силой убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадь и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы ее заложите и следом нагоните нас в дороге.

— Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами. Но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым по нашей нынешней логике жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы и, следовательно, так или иначе

все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и, поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим, и собственное спасение. Но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь, но в тумане обессиливающей меня боли единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. Итак, я для вида, ради ее блага, объявлю ей сейчас, что иду запрягать лошадь и догоню вас, а сам останусь один тут. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете, на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки, берегитесь.

— Я знаю. Со мной ружье и револьвер. Не беспокойтесь. Да кстати и спиртику малость прихватил, на случай мороза. Достаточное количество. Поделюсь, хотите?

13

«Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Броситься бегом вдогонку, догнать, вернуть. Лара! Лара!

Не слышат. Ветер в обратную сторону. И, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной. Она далась в обман и не подозревает, в каком она заблуждении.

Вот ее вероятные мысли. Она думает. Все сложилось как нельзя лучше, по ее желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец смягчился, слава Создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он покобенится и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Ипполитович пришлет за ним другой, он к ним подъедет в самом непродолжительном времени.

А сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, неслушающимися руками запрягает Савраску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле, до въезда в лес».

Вот как, наверное, она думает. А они даже и не простились толком, только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль, точно он подавился куском яблока.

Доктор в накинутой на одно плечо шубе стоял на крыльце. Свободною, не покрытой шубою рукой он под самым потолком сжимал с такой силою шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве. Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу солнца. Туда, в полосу этого освещения, должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули.

— Прощай, прощай, — предваряя эту минуту, беззвучно-беспамятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки в вечеревший морозный воздух. — Прощай, единственно любимая, навсегда утраченная!

— Едут! Едут! — стремительно сухо зашептал он побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другою, и стали сдерживать ход и, о радость, остановились у последней.

О, как забилось его сердце, о, как забилось его сердце, ноги подкосились у него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба! «О Боже, Ты,

кажется, положил вернуть ее мне? Что там случилось? Что там делается, на далекой закатной этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они? Нет. Пропало. Взяли. Понеслись. Это она, верно, попросила стать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом. Или, может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку? Уехали. Уехали.

Если успеют, если солнце не сядет раньше (в темноте он не разглядит их), они промелькнут еще раз, и на этот раз в последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлою ночью стояли волки».

И вот пришла и прошла и эта минута. Темно-пунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которою оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. «Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная». И вот они скрылись. «Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда в жизни, больше никогда не увижу тебя».

Между тем темнело. Стремительно выцветали, гасли разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу.

Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал все с удесятеренною резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли, спинами к горизонту, окружные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия.

Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам дотягивавшейся до него зари: «Спасибо. Не надо». .

Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное», — повторяло и вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить эти слова вслух все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их.

Он вошел в дом. Двойной, двух родов монолог начался и совершался в нем: сухой, мнимо деловой по отношению к себе самому и растекающийся, безбрежный в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли: «Теперь в Москву. И первым делом — выжить. Не поддаваться бессоннице. Не ложиться спать. Работать ночами до одурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что. Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности».

Но и вот еще как разговаривал он с собою. «Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю. А потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого

высокого прибоя. Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя».

Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу. Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидал разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно-рассеянным, устало-отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками.

14

С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда.

Он пил и писал вещи, посвященные ей, но Лара его стихов и записей, по мере вымарок и замены одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, от живой Ка-тенькиной мамы, вместе с Катей находившейся в путешествии.

Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они также отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели, но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как далекий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу. И он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток.

За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно.

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение Достигается движением, по стремительности превосходящим Движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя

увидать, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне.

За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики.

За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье, такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова.

Приезжал проведать его Анфим Ефимович. Он тоже привез водки и рассказал ему об отбытии Антиповой с дочкой и Комаровским. Анфим Ефимович приехал на дрезине по железной дороге. Он выбранил доктора за недостаточный уход за лошадью и увел ее, несмотря на просьбу Юрия Андреевича потерпеть еще дня три-четыре. Зато он пообещал самолично заехать за доктором через этот срок и увезти его из Варыкина окончательно.

Иногда записавшись, заработавшись, Юрий Андреевич вдруг вспоминал уехавшую женщину во всей явственности и терял голову от нежности и остроты лишения. Как когда-то в детстве среди великолепия летней природы в пересвисте птиц мерещился ему голос умершей матери, так привыкший к Ларе, сжившийся с ее голосом слух теперь иногда обманывал его. «Юрочка», — в слуховой галлюцинации иногда слышалось ему из соседней комнаты.

Бывали с ним случаи и другого обмана чувств за эту неделю. В конце ее, ночью, он вдруг проснулся после тяжкой привидевшейся ему нелепицы о драконьем логе под домом. Он открыл глаза. Вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного кем-то выстрела. Удивительно, что спустя минуту после такого необыкновенного происшествия доктор опять уснул, а утром решил, что все это ему приснилось.

15

Вот что случилось немного позднее в один из тех дней. Доктор внял наконец голосу разума. Он сказал себе, что, если поставить себе целью уморить себя во что бы то ни стало, можно изыскать способ, скорее действующий и менее мучительный. Он дал себе слово, что как только Анфим Ефимович явится за ним, он немедленно отсюда уедет.

Перед сумерками, когда было еще светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то бодрою, решительною походкой спокойно шел к дому.

Странно. Кто бы это мог быть? Анфим Ефимович приехал бы на лошади. Прохожих в пустом Варыкине не водилось. «За мной, — решил Юрий Андреевич. — Вызов или требование в город. Или чтобы арестовать. Но на чем они повезут меня? И тогда их было бы двое. Это Микулицын, Аверкий Степанович», — обрадовавшись, предположил он, узнав, как ему показалось, гостя по походке. Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, не найдя на ней ожидаемого замка, а потом двинулся дальше уверенным шагом, знающим

движением, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою.

Эти странности застали Юрия Андреевича за письменным столом, у которого он сидел спиною ко входу. Пока он поднимался со стула и поворачивался лицом к двери, чтобы встретить чужого, тот уже стоял на пороге, остановившись как вкопанный.

«Кого вам?» — вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей, и когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивился.

Вошедший был сильный, статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, с висевшей через плечо винтовкой на ремне.

Только миг появления неизвестного был неожиданностью для доктора, а не его приход. Находки в доме и другие признаки подготовили Юрия Андреевича к этой встрече. Вошедший был, очевидно, тем человеком, которому принадлежали попадавшиеся в доме запасы. Его внешность показалась доктору виденной и знакомой. Вероятно, посетитель тоже был предупрежден, что дом не пуст. Он недостаточно удивился его обитаемости. Может быть, его предварили, кого он встретит внутри. Может быть, сам он знал доктора.

«Кто это? Кто это?» — мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. «Господи Твоя воля, где я его раз уже видел? Возможно ли? Жаркое майское утро незапамятно какого года. Железнодорожная станция Развилье. Не предвещающий добра вагон комиссара. Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников!»

16

Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те устрашенные и тосковавшие и те бешеные и исступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело. Становилось темно.

Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине.

Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда? Или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнёю с доктором и его обществом?

Так или иначе Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излияниям.

Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и ее не остановишь.

Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя

переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении.

Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание.

— Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкапы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее частью из чешского военного имущества, частью японские и английские. Чудеса в решете, не правда ли? «Не правда ли» было любимое выражение моей жены, вы, наверное, заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут. И вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней и мне в первый раз назвали имя «доктор Живаго», я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией.

— И вы пожалели, что не расстреляли его? Стрельников оставил это замечание без внимания. Может

быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственною вставкою. Он продолжал рассеянно и задумчиво:

— Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную. Могло -ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки, далеко на востоке. Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец.

Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал. Зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на Сибирской магистрали.

Скитания столкнули меня с мальчишкой-бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казненных, при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере так он рассказывал. Негодяй подросток, порочный, отсталый, из реалистов-второгодников, выгнанный из училища по неспособности.

Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика.

— Имя Терентий, по фамилии Галузин? -Да.

— Ну тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал.

— Единственная хорошая черта была у мальчика — обожал мать до безумия. Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной Чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинною и предложением услуг, согласились простить ему все грехи ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и вовремя исчезнуть.

Сказочными усилиями, с тысячею приключений я прошел Сибирь и перебрался сюда, в места, где меня знают как облупленного и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читою, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте. Смеркается.

Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах.

— Свечи целы. Только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.

— Хлеб у вас есть? -Нет.

— Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю. Картошкою. Знаю.

— Да. Ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как ее засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не погнила и не померзла.

Вдруг Стрельников заговорил о революции.

17

— Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменькиных сынков, студентов-белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили!

А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они.

Однако, перед тем как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков, я на днях от них отстреливался.

— А, так это вы стреляли?

— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но, не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю.

Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединило эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли. Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.

Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога вначале, до нескольких последующих переименований. Мой отец, нынешний член юрятинскоготрибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее

осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо было иметь на это право.

— Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такою, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такою я ее видел. Такою помню. Вы это поразительно выразили.

— Видели и помните? А что вы для этого сделали?

— Это совсем другой вопрос.

— Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.

Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей Свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки.

Ради этой девочки я пошел в университет, ради нее сделался учителем и поехал служить в этот, тогда еще неведомый мне, Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после трех лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена, воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим, вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало. И они, она и дочь, были рядом, были тут! Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть! Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом.

— Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?

— Виноват. Что вы сказали?

— Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?

— Откуда вы это взяли?

— Она сама мне это говорила.

— Она? Вам? -Да.

— Простите. Я понимаю, это просьба неисполнимая, но, если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила.

— Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, который она когда-то с вами делила, она ползком, на коленях, протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света.

— Виноват. Если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное, припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала?

— Она убирала эту комнату. А потом вышла на воздух вытряхнуть ковер.

— Простите, какой? Тут два.

— Тот, который больше.

— Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали?

-Да.

— Вы держались за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась отлетевшей пыли, жмурилась и хохотала? Не правда ли? Как я знаю ее привычки! А потом вы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штучки? Не правда ли? Не правда ли?

Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью:

— Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное. Но если можно, я еще расспрошу вас. Только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки. Но мне казалось, — еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны. И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?

18

Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду.

Так например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович, по фамилии Стрельников, опять, как говорит Вакх, в Шутьме волков пужая. Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу, — удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении.

Он проснулся с головною болью оттого, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете.

Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно. Надо одеваться. Он, наверное, уже встал, а если нет, подыму его, кофе заварю, будем кофе пить».

— Павел Павлович!

Никакого ответа. «Спит еще, значит. Крепко спит, однако». Юрий Андреевич не торопясь оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет, — подумал доктор. — И без шапки. Закаляется. А надо бы сегодня крест на Варыкине поставить и в город. Да поздно. Опять проспал. И так каждое утро».

Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.

Часть пятнадцатая ОКОНЧАНИЕ

1

Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности, и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления.

Он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачею каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы.

Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане, — сыпной тиф еще свирепствовал, — и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу.

Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре.

В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одёже походил На искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник?

2

Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком.

Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета, теплою, сухою осенью, что было гораздо легче.

Половина пройденных им селений были пусты, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны, да это и в самом деле были последствия войны, войны гражданской.

Два или три дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева широко, от самой дороги до загроможденной облаками линии небес, раскидывались несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу.

В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм.

Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого, потемневшего золота. Обыкновенно, когда ее снимают в срок, она гораздо светлее.

Эти, цвета пламени без огня горевшие, эти, криком о помощи без звука вопиявшие поля холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черною серединой и белыми боками.

И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей навстречу шла дорога. По ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поля не оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним, они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим гадливость.

В невиданном, до тех пор небывалом количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пискляво шевелящуюся слякоть, когда их давили.

Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им наброситься на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и мышатиной, какою кишело поле, и, поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Странным образом, они в лес не заходили, с приближением к нему мало-помалу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали.

Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники.

Обыкновенно люди, главным образом деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали нарядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи, спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием.

Доктору казалось, что поля он видит тяжко заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка диавола.

3

Как раз в эти дни, на этой части пути доктор зашел в сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной.

В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучи угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб.

Обрывы речной стороны изрыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные.

Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней с писком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела.

Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов.

Снизу из-за обрыва высунулась светло-русая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса.

— Хошь, напою, добрый человек? Ты меня не замай, и я тебя не трону.

— Спасибо. Дай, напьюсь. Да выходи весь, не бойся. Зачем мне тебя трогать?

Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком. Он был бос, оборван и лохмат.

Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро наземь и вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороге и забормотал:

— Никак... Никак... Да нет, нельзя тому быть, привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Мне помстилось, точно вы знакомый человек будете. Нуда! Нуда! Дядень4-ка доктор?!

— А ты сам кто?

— Не признали? -Нет.

— Из Москвы в эшелоне с вами ехали, в одном вагоне. На трудовую гнали. Под конвоем.

Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал.

Погорелое место оказалось Васиной родной деревней Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревнею и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Васи, Аленка и Аришка, по неточным

сведениям, находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собою в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов.

4

— Это ведь летошней осени озимые сыплются. Только вы-сеялись, и повалили напасти. Когда тетя Поля уехала. Тетю Палашу помните?

— Нет. Да и не знал никогда. Кто такая?

— Как это не знали? Пелагею Ниловну! С нами ехала. Тягунова. Лицо открытое, полная, белая.

— Это которая все косы заплетала и расплетала?

— Косы, косы! Нуда! В самую точку. Косы!

— Ах, вспомнил. Погоди. Да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном, на улице.

— Статочное ли дело! Тетю Палашу?

—Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь как бешеный. Смотри не оторви. И вспыхнул, как красная девица.

— Ну как она там? Скорее сказывайте, скорее.

— Да была жива-здорова, когда видел. О вас рассказывала. Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может, забыл, путаю.

— Ну как же, ну как же! У нас, у нас! Мамушка ее как родную сестру полюбила. Тихая. Работница. Рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша. Сжили ее из Веретенников, не дали покоя наговорами.

Мужик Харлам Гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. Безносый ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю, сказывал. Ну, и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло.

Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую убили на лесном хуторе поближе к Буйскому. Одна около лесу жила. В мужских ботинках с ушками ходила, на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке. По кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал. Рано выпал снег. Не выкопала вдова картошки. Приходит она в Веретенники, — помогите, говорит, возьму в долю или заплачу.

Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу.

В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали, копали, картофельную ботву жгли, теплым дымом сушили кар-товь. Ну выкопали, рассчиталась она с нами по совести. Харла-ма отпустила, а мне эдак глазком, еще, мол, у меня дело до тебя, зайди потом или останься.

На другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъятие излишков отдавать, картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму, схоронить, да вишь что на дворе делается. Поздно я хватилась, — зима. Одной не управиться. Выкопай мне яму, не пожалеешь. Осушим, ссыпем.

Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, книзу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. В самую-самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок. Ни одной живой душе. Мамушке даже или там сестренкам. Ни Боже мой!

Ну так. Только проходит месяц, — ограбление на хуторе. Рассказывают которые мимо шли из Буйского, дом настежь, весь очищенный, вдовы след простыл, собака Горлан цепь оборвала, убежала.

Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель, под новый год, под Васильев вечер ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал Горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в яме. Раскопал, раскидал верх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти!

В Веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то? Мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть оставаться в Веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем, наутек куда подальше.

Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки-заводилы. Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок, острастка. Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили, — лесные разбойники, разбойники им на хуторе привиделись. Простота народ! Вы побольше их, городских, слушайтесь. Они вам еще не то покажут, голодом выморят. Желаешь, деревня, добра, за нами иди. Мы научим уму-разуму. Придут ваше кровное, потом нажитое отымать, а вы, куда, мол, излишки, своей ржи ни зернышка. И в случае чего за вилы. А кто против мира, смотри берегись. Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу, ябеднику, только того и надо. Шапку в охапку и в город. И там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется, а вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты. Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лататы и больше глаз не казал.

Все что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города. И суд выездной. И сразу за меня. Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой, и деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил. И под замок. Спасибо я догадался половицу вынуть, ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела, — не видал, надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась, — не знал. Все само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились вмертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него — соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы наустили, — расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются.

5

Доктор с Васею пришли в Москву весной двадцать второго года, в начале нэпа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем, по щелям поросшую травою площадь.

Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояния.

Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место. Делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю. Испрашивали под таковую помещение. Получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания.

Дамы-профессорши, и раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «есть такое дело» вместо «да» или «хорошо».

В Москве Юрий Андреевич сказал:

— Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться.

— Я так располагаю, учиться.

— Это само собой.

— А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать.

— Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал?

— В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался.

— Ну что же. В добрый час. Попытаемся.

Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги.

Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки, выпуском в немного экземпляров, распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми.

Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушки-ным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы.

Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились. Любители их ценили.

В то время все стало специальностью, стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода Дворцы Мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором.

Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных.

Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в который, как он узнал, его близкие, проездом через Москву, уже больше не заезжали. Их высылка все изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца.

Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в Мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенною водой и огромной русской печью во все помещение. Во всех

корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло и вода не замерзала.

В это время в отношениях доктора с Васею произошло охлаждение. Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелге в Веретенниках. Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин все более привлекала его. Не вполне понятная, образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой.

Доктор ходил по разным ведомствам. Он хлопотал по двум поводам. О политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на родину и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женою и детьми в Париж.

Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний, слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток.

Вася все чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания. Но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в Мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться с знакомыми и стал бедствовать.

6

Был серый зимний воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы Мучного городка ходили неумытыми замарашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались.

По случаю воскресенья семья Маркела Щапова была вся в сборе.

Щаповы обедали затем самым столом, на котором, во время оно, при нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало, мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили и развешивали хлеб порационно жильцам городка. Теперь все это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали.

Половину дворницкой занимала высившаяся посередине широкая русская печь со свисающим с полатей краем стеганого одеяла.

В передней стене у входа торчал над раковиной кран действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец.

Печь топилась. В дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на

минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами.

— Хлеб да соль.

— Просим вашей милости. Садись, гостем будешь.

— Спасибо, — обедал.

— Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Что брезгуешь. Картовь печеная в махотке. Пирог с кашей. Пашано.

— Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Отчистил до блеска ванну цинковую у Свентицких, всю наполню и в баки натаскаю. Еще раз пять, а то и десять загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя, не к кому.

— Лей вволю, не жалко. Сыропу нет, а воды сколько хошь. Бери задаром. Не торгуем.

За столом захохотали.

Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, тон уже несколько изменился и разговор пошел по-другому.

— Зятья спрашивают, кто такой. Говорю, — не верят. Да ты набирай воду, не сумлевайся. Только на пол не лей, ворона. Видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотней дверь затворяй, раззява, — со двора тянет. Да, сказываю зятьям, кто ты такой есть, не верят. Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а какой толк?

Когда Юрий Андреевич зашел в пятый или шестой раз, Маркел нахмурился.

— Ну еще раз изволь, а потом баста. Надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая, а то б я не поглядел, какой ты благородный каменщик, и дверь на запор. Помнишь Марину-то? Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь заалелась. Не забижайте, говорит, его, папаня. А кто тебя трогает. На главном телеграфе телеграфисткою Марина, по-иностранному понимает. Он, говорит, несчастный. За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А нешто я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели, не пошатнулись, и целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что. Твое дело. Только не взыщи, спрошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанялся под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курицыно отродье.

Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете.

— Мытья много в доме, Маркел. Надо убраться. Полы. Хочу кое-что постирать.

За столом стали удивляться.

— И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайская ты прачешная, незнамо что!

— Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька. Видишь, другим не в пример, какие они великатные. Мухи не обидят.

— Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня маралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам.

— Вам мараться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?

Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить.

С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую. Так она стала третьей не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича, при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются. «Да что ты, очумел? — возражала ему жена. — Это что же при живой Антонине получится? Двоебрачие?» — «Сама ты дура, — отвечал Маркел. — Что на Тоньку смотреть. Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится».

Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближе-ниебыло романом вдвадцати ведрах, как бывают романы вдвад-цати главах или двадцати письмах.

Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность.

Ее самопожертвование шло еще дальше. Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале нэпа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка.

«К чему эта свинья так прикована? — полюбопытствовал доктор. — Что размечает он карандашом так яростно?» Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем вхутемасовском издании.

7

Марина с доктором жила на Спиридоновке, Гордон снимал комнату рядом, на Малой Бронной. У Марины и доктора было две девочки, Капка и Клашка. Капитолине, Капельке, шел седьмой годок, недавно родившейся Клавдии было шесть месяцев.

Начало лета втысяча девятьсот двадцать девятом году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебегали через две-три улицы друг к другу в гости.

Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витриною шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение.

Теперь из помещения было выкроено три.

Путем добавочных настилов в мастерской были выгаданы междуярусные антресоли, со странным для жилой комнаты окном. Оно было в метр вышиной и

приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна. Скоро Марина с девочками ушла. Трое мужчин остались одни.

Между ними шла беседа, одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся?

У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич.

Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнение бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же («Это, брат, нечестно; вот именно, нечестно; да, да, нечестно»).

Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но, наоборот, выражает несовершенство, пробел.

Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.

Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов! Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал.

Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете.

Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями.

Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее и в особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос.

Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность.

Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на

этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или как тогда бы сказали — духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться.

Но его заинтересовало совсем другое, рассказ Дудорова о Вонифатии Орлецове, товарище Иннокентия по камере, свя-щеннике-тихоновце. У арестованного была шестилетняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобные казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала ее уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме.

— Я уйду, — говорил Юрий Андреевич. — Не сердись на меня, Миша. В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха.

— Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили. Мы вечно забываем, что не надо курить в твоем присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство. Найди мне другую комнату.

— Вот я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни.

— Рано ты себе поешь отходную. Глупости. Поживешь еще.

— В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастие. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже.

— Я вступлюсь за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя.

— Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать. Ей-богу, я не преувеличиваю.

— Погоди. Это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тонею, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности, в окружающем, поступить на службу, заняться практикой.

— Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Все идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его.

Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне «вы» в ответ на мое «ты» и величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, все сглажено, равенство установлено.

Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу, йcole primaire, Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что, несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернутся и каким-то неведомым образом все уладится.

По многим признакам тесть и Тоня знают о Марине и девочках. Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверно, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними. И вдруг мне перестали отвечать. Все прекратилось.

Теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Ото всех них, даже от детей. Теплые, ласковые. Что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, дай ей Бог. Не знаю. Я тоже иногда им пишу. Но я правда больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свиданья.

На другой день утром к Гордону ни жива ни мертва прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома, и младшую, Клашу, туго замотанную в одеяло, она несла, прижимая одной рукою к груди, а другою тянула за руку отставaвшую и упиравшуюся Капу.

— Юра у вас, Миша? — не своим голосом спросила она.

— Разве он не ночевал дома? -Нет.

— Ну тогда он у Иннокентия.

— Я была там. Иннокентий на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся.

— Тогда где же он?

Марина положила запеленутую Клашу на диван. С ней сделалась истерика.

8

Два дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить ее одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда предположительно он мог забрести, побывали в Мучном городке и Сивцевском доме, наведались во все Дворцы Мысли и Дома Идей, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса которых можно было найти. Розыски ничего им не дали.

В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке хотя и прописанном и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовом. Наводить милицию на его след решили лишь в крайнем случае.

На третий день Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые все равно ни к чему не приведут.

Он сообщал им, что в целях скорейшей и полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами, когда же хоть сколько-нибудь укрепится на новом поприще и убедится, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине и детям.

Гордона он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он просил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу. Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по ее адресу из боязни, как бы выставленная в извещении сумма не подвергла ее опасности ограбления.

Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб, и мерила его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но, привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась в конце концов и с этою выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания. Они его не находили.

9

А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков.

Когда в день своего исчезновения он засветло, до наступления сумерек вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку, он тут же, не пройдя и ста шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все его печали и неурядицы и тут же, на узких поворотах кривого переулка, в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением.

Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с Художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности, куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненною. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну.

10

Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над Охотным, стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка.

Комната была более чем рабочею для Юрия Андреевича, более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождают мастерскую художника начатые во множестве и лицом к стене повернутые работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений.

По счастью, переговоры с больничным начальством затягивались, срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее. Можно было писать, воспользовавшись подвернувшеюся отсрочкой.

Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил и что откуда-то добывал и тащил ему Евграф, частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченный свежими набросками.

Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Варыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений, начала, концы и середки, вперемежку, без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями, начальные буквы слов и сокращения его стремительной скорописи за ними не поспевали.

Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлестывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки со стоящим посередине рекламным столбом «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки».

Статьи и стихотворения были на одну тему. Их предметом был город.

11

Впоследствии среди его бумаг нашлась запись: «В двадцать втором году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшею, полуразрушенной. Такою она вышла из испытаний первых лет революции, такою осталась и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют.

Но и в таком виде она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства.

Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмена, совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры.

Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца девятнадцатого века, а потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог.

Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность—литературная подделка, неестественное манерничание, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык — язык урбанизма.

Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет,

чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство.

Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе».

В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Можетбыть, стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду?

12

Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направлялся на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное ее посещение.

Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастия. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу. То под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало.

Вагоновожатый часто с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом, углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой.

Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие и постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже Манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого все это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла, все выше к небу подымавшаяся, черно-лиловая туча. Надвигалась гроза.

Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерватория, был все время на виду у него. Волей-неволей, с притуплённым вниманием думающего о другом человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал.

Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками и сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы.

Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай и дама нагоняла его.

Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления.

Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но, окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения.

Сверкнула молния, раскатился гром. Несчастный трамвай в который уже раз застрял на спуске от Кудринской к Зоологическому. Дама в лиловом появилась немного спустя в раме окна, миновала трамвай, стала удаляться. Первые крупные капли дождя упали на тротуар и мостовую, на даму. Порыв пыльного ветра проволокся по деревьям, задевая листьями за листья, стал срывать с дамы шляпу и подворачивать ей юбки и вдруг улегся.

Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям.

Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченный какою-то тревогою, он не относил этих криков к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что все пропало. В это время вагон пришел в движение, но, проехав совсем немного по Пресне, остановился.

Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками, Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше.

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал.

Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошли вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит и сердце у него не работает. К кучке вокруг тела подходили с тротуаров, одни успокаиваемые, другие разочаровываемые тем, что это не задавленный и что его смерть не имеет никакого отношения к вагону. Толпа росла. Подошла к группе и дама в лиловом, постояла, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше. Она была иностранка, но поняла, что одни советуют внести тело в трамвай и везти дальше в больницу, а другие говорят, что надо кликнуть милицию. Она пошла дальше, не дождавшись, к какому придут решению.

Дама в лиловом была швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая. Она в течение двенадцати лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездною визою. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его.

13

Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик,

а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко, тело в гробу лежало как на поднятом кверху возвышении, горою.

Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней* как бы только что переставших качаться.

Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданскою кремацией. В соответствующие организации было заявлено. Ждали представителей.

В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд.

В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда.

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.

Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. (Она же мнящи, яко вертоградарь есть...)

14

Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой об край длинного ларя с сиденьем и спинкою, который стоял в передней и на который положили умершего, до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом голошения вырывалась у нее помимо ее воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело, и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его и положить в доставленный гроб. Все это было вчера. Сегодня неистовство ее страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности, но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила.

Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили и уводили.

Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда подходили к ней плакавшие мать и сестры.

И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариною, ее дочерьми и приятелями покойного и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал. Именно эти люди взяли на себя, по-видимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странное впечатление. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти, не как ее виновники или косвенные причины, но как лица, после свершившегося давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они, третьи, и таких было большинство, не имели о них представления.

Но когда этот человек с пытливыми и возбуждающими любопытство узкими киргизскими глазами и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю, а мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу:

— Что вы узнали, Евграф Андреевич?

— Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На четыре назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Все это пришлось улаживать. Отсюда волокита и запоздание. Перед выносом из дому, — кстати эта минута недалека, надо готовиться, — я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите. Слышите? Телефон. Минуту.

Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками, и где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутого пальто (день был холодный, и с парадного задувало), сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке. На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличие, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался.

— Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу, случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то части ваших слов я не понял и не прошу объяснений, но не пропадайте, я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть, в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить. Я знаю домуправа.

— Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения, иду по старой Москве, половины не узнаю, — забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, подымаюсь по Кузнецкому переулку, и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое, — Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал, именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье, живы старые хозяева. Что их и в помине нет и тут все по-другому, это ведь я потом узнала, на другой день и сегодня, постепенно из опросов, но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю? Я была как громом сражена, дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу, я думала, — с ума сошла, грежу, но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли, зачем я вам это рассказываю?

— Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу какое, — простите. Об Антипо-ве, по военно-революционной деятельности Стрельникове, я одно время, в начале гражданской войны, много и часто слышал, чуть не ежедневно, и раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка, — «расстрелянный Антипов». Разве вы не знаете, что он застрелился?

— Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей.

— Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юрятин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося, его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения?

— Нет. У меня были другие. Так, значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике? Быть не может! Какую важную подробность вы мне сообщили! Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились? Говорили?

— По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор.

— Неужели правда? Слава Богу. Так лучше (Антипова медленно перекрестилась). Какое поразительное, свыше ниспосланное стечение обстоятельств! Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь. А сейчас я не в состоянии. Не правда ли? Я слишком взволнована. Я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли?

— О, конечно, конечно. Пожалуйста.

— Не правда ли?

— Разумеется.

— Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо. Обещаю. Я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением! Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело, вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы, кажется, юрист или во всяком случае хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться за какою справкою. Не все в этом разбираются, не правда ли. Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после, после возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли. Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий, всесоюзный архив существующих детских домов и делалась ли, предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас. Потом, потом. О, как страшно, страшно! Какая страшная вещь жизнь, не правда ли. Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности, частью драматические, а с другой стороны, и музыкальные, она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения, но кроме того, и поет по слуху целые партии из опер, удивительный ребенок, не правда ли. Я хочу отдать ее на приготовительные, начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат, я для того и приехала, покамест без нее, чтобы все наладить, а потом уеду. Разве все расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали. И там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли. Постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно. А это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям. И кроме того, требуется обрядом. «И целуйте меня последним целованием». О, не могу, не могу. Как больно. Не правда ли.

— Сейчас я всех впущу. Но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо мучающих вас, что я затрудняюсь ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните. Никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии. Бездеятельное отчаяние — забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы. Я раздобуду и подставлю.

Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату и в нее хлынула толпа из коридора, не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими, не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливания мужчин, женских слез и вскриков.

Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них, затонула, точно временно, на несколько часов, перенеслась в какой-то будущий

возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастия. Она думала:

«Никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась, это чужое, ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось.

Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшилище пошлости, был разговор в темноте с Пашей-мальчиком в этой комнате, и Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было».

И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла.

Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи пламени, — «Свеча горела на столе, свеча горела», — пошло в его жизни его предназначение?

Ее мысли рассеялись. Она подумала: «Как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному! Погребальный обряд так величав и торжественен! Большинство покойников недостойны его. А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоил, так бы это «надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя» оправдал и окупил!

И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутывавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним, случай и право одной вволю и беспрепятственно поплакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель, и все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее наконец одну за прикрытыми дверьми, а она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука, ей удалось этого не заметить. Она замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа.

15

Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше ее сил, слезы прорывались у нее, и она обдавала ими щеки, платье, руки и фоб, к которому она прижималась.

Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобожденье. Неголовное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное.

Таким знанием была полна она и сейчас, темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт

сердца на этот счет, так что все, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впопад и кстати.

О, какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают.

Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались.

Ах, вот это, это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной.

Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начала ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны.

16

И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой, непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские непраздничные слова.

Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.

— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О, я не могу! О Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части.

Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны.

Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах? Как ты обманул меня! Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда все пошло прахом. Господи, что я испила там, что вынесла! Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала! Я такая преступница, ты понятия не имеешь! Но я не виновата. Я тогда три месяца пролежала в больнице, из них один без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормальна. Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина — это уже конец, это что-то немыслимое, не правда ли.

И она что-то говорила еще и рыдала и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол.

К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах. Начался вынос

17

Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное.

Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера.

Часть шестнадцатая ЭПИЛОГ

1

Летом тысяча девятьсот сорок третьего года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла, возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенный в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска.

На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой «зоны пустыни», стертых с лица земли отступавшим неприятелем.

Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера.

Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете часа в три задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона. Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то носильные пожитки, а потом так же косолапо стал сползать с вершины сенной горы к порогу сеновала и выходу.

— Ты куда это снарядился? Рано еще.

— На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать.

— Вот сумасшедший. Вечером будем в части, бельевщица Танька смену выдаст. Зачем нетерпячку подымать.

— Не хочу откладывать. Пропотел, заносился. Утро жаркое. Наскоро выполощу, хорошо выжму, мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь.

— Все-таки знаешь, неудобно. Согласись, офицер ты, как-никак.

— Рано. Все спят кругом. Я где-нибудь за кустиком. Никто не увидит. А ты спи, не разговаривай. Сон разгуляешь.

— Я и так больше не усну. Я с тобою пойду.

И они пошли на речку мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что взошедшем солнце каменных развалин. Посреди бывших улиц, на земле, на самом солнцепеке спали потные, храпящие, раскрасневшиеся люди. Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова, старики, женщины и дети, редко — отбившиеся и нагоняющие свои подразделения одиночки красноармейцы. Гордон и Дудоров осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими.

— Говори потише, а то разбудим город, и тогда прощай моя стирка.

И они вполголоса продолжали свой ночной разговор. 2

— Что это за река?

— Не знаю. Не спрашивал. Вероятно, Зуша.

— Нет, не Зуша. Какая-то другая.

— Ну тогда не знаю.

— На Зуше-то ведь это все и случилось. С Христиной.

— Да, но в другом месте течения. Где-то ниже. Говорят, церковь ее к лику святых причла.

— Там было каменное сооружение, получившее имя «Конюшни». Действительно, совхозная конюшня конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили ее и превратили в неприступную крепость. Из нее хорошо простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять. Христина чудом храбрости и находчивости проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живою была схвачена и повешена.

— Отчего Христина Орлецова, а не Дудорова?

— Мы ведь еще не были женаты. Летом сорок первого года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны.

После этого я кочевал вместе с остальною армией. Мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял ее из виду. Больше я ее не видел. О ее доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все. Из газет и полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения.

— Прости, что я навел тебя на разговор о ней. Для тебя это должно быть тяжело.

— Не в этом дело. Но мы заболтались. Я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую — подумаю, может быть, вздремну.

Спустя несколько минут разговор возобновился.

— Где ты так стирать научился?

— Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самый ужасный. Редкие выживали. Начиная с прибытия. Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула винтовок, собаки овчарки. Околотого же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали: на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивайтесь как знаете». Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «Гулаг 92 Я Н 90», и больше ничего.

— Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя.

— Да. Столб с цифрою «Гулаг 92 Я Н 90», и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками, — все сами. И началась лесозаготовка. Валка леса. Лес валили. Ввосьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг — предложение. Охотникам штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей

проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил? Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому.

— Да, брат, хлебнул ты горя.

— Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься.

— Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления.

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной.

— Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота.

Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения.

Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлецовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и ее конец, и жизнь каждого из нас.

Как раз когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлецова в это время поступила на истфак. Род ее научных интересов привел ее под мое руководство. Я давно уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку. Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал. Ну вот, теперь, значит, она попала в число моих слушательниц.

Тогда обычай проработки преподавателей учащимися только что вошел в моду. Орлецова с жаром на нее набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались. Орлецова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же.

У нас было чудное лето в сорок первом году, первом году войны, в самый канун ее и вскоре после ее объявления. Несколько человек молодежи, студентов и студенток, и она в том числе, поселились в дачной местности под Москвой, где потом распо-

ложилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш. Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я ее не видел.

Когда в наших делах наметился благоприятный перелом и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в седьмой отдел штаба, где требовались люди со знанием иностранных языков, куда я настоял чтобы и тебя откомандировали, после того как раздобыл тебя как со дна морского.

— Бельевщица Таня хорошо знала Орлецову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину. У этой Тани манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия, ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный.

— Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй. Я не обращал внимания.

— Какая варварская, безобразная кличка Танька Безочере-дева. Это во всяком случае не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. Как ты думаешь?

— Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чист и нетронут язык, звали ее безотчею, в том смысле, что без отца. Улица, которой было непонятно это прозвище и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение, ближе к своему злободневному площадному наречию.

3

Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки Гордона и Дудорова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами.

Стояла больше месяца не прерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба, черная, плодородная земля Брянщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколад-но-кофейным отливом.

Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья сравненных с землею фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать.

На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном.

На противоположной, незастроенной стороне белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона, оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепутавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, ин-тендантств и провиантских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из

маршевых рот пополнения, в серых пилотках и тяжелых серых скатках, с испитыми, землистыми, дизентерией обескровленными лицами.

Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали, в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону.

Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кир-пично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу.

Одну из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор.

На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также

Гордон и Дудоров дожидались с утра грузовика, высланного за Танею и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках. Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила, но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможности уехать, когда она представится.

Ожидание длилось давно, больше пяти часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню словоохотливой и видавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго:

— Как же. Вчерашний день. К генералу меня лично водили. К генерал-майору Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо ее знали. Показали ему на меня. Говорят, — подружка. Велел вызвать. Ну вызвали, привели. Совсем не страшный. Ничего особенного, как все. Косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда, отнекиваться. Чем похвалиться? Беспризорная. И вообще. Сами знаете. Ис-правдомы, бродяжество. А он ни в какую, валяй, говорит, без стеснения, какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово-два, дальше больше, кивает он, я осмелела. А мне есть что порассказать. Кабы вы услышали, не поверили, сказали бы — выдумывает. Ну, то же вот и он. Как я кончила, он встал, по избе шагает из угла в угол. Скажи, говорит, на милость, какие чудеса. Ну вот что, говорит. Теперь мне некогда. А я тебя найду, не беспокойся, найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, говорит, так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядья тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы. И в обучение отдам в вуз, в какое захочешь. Ей-богу, правда. Такие веселые насмешники.

В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Парою лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии фурлейт, солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распрягать и повезти их куда они укажут, конечно, не задаром. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне

пустую подводу. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницею, возобновились.

— Что ты рассказала генералу, — спросил Гордон. — Если можешь, повтори нам.

— Что же, можно.

И она рассказала им свою страшную историю. 4

— А мне правда есть что порассказать. Будто не из простых я, сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Бело-монголии, товарища Комарова. Не отец, не родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка неученая, без папи, без мами росла сиротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, ну только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение.

Да. Так, значит, было все это, про что я вам дальше расскажу, это было за Крушицами, на другом конце Сибири, по ту сторону казатчины, поближе к китайской границе. Когда стали мы, то есть наши красные, к ихнему главному городу белому подходить, этот самый Комаров-министр посадил маменьку со всей ихнею семьей в особенный поезд литерный и приказали увезть, ведь маменька были пуганые и без них не смели шагу ступить.

А про меня он даже не знал, Комаров. Не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужасть как того не любил, чтобы дети, и кричал и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я, кричал, этого терпеть не могу.

Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожихой Марфой на разъезд Нагорную, это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд Нагорная, потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю, откуда маменька знали сторожиху? Думается, торговала сторожиха Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да.

И вот я скажу. Видно, я тут чего-то не знаю. Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали Бог знает что, мол, на время, на два дни, пока суматоха уляжется. А не то чтобы в чужие руки навсегда. Навсегда в воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя.

Ну, дело, известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно, денег дали тете Марфуше на мое пропитание, много денег.

Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну птица там, разумеется, разная, под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли, и само собою даровая квартира, сторожка казенная при самой путе. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, насилу перемогал подъем, а от вас из Расеи шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес редел, видно было станцию Нагорную как на блюдечке.

Самого, дядю Василия, я по-крестьянскому тятенькой звала. Он был человек веселый и добрый, ну только слишком доверяющий и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, — свинья борову, а боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал.

А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался «мамка» сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла или еще почему, ну только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да. Звала я, значит, сторожиху тетей Марфушей.

Ну и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С фла-ком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошадь распречь или за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать или что-нибудь сготовить, тесто замесить, это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыла я сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был сухие ножки, трех годков, лежал, не ходил, нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги, зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки, будто сглазила, испортила я Петеньку, вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота.

Теперь слушайте, это, как говорится, еще цветочки, дальше что будет, вы просто ахнете.

Тогда нэп был, тогда тысяча рублей в копейку ходила. Продал Василий Афанасьевич внизу корову, набрал два мешка денег, — керенки назывались, виновата, нет, — лимоны, назывались лимоны, — выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить.

Помню, ветреный был день осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка странница, ветер юбку и платок треплет.

Идет странница, стонет, за живот хватается, попросилась в дом. Положили ее на лавку, — ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит: отвезите меня Христа ради в больницу, заплачу я, не пожалею денег. Запрёг тятенька Удалого, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону пятнадцать верст.

Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Чтой-то больно слишком рано. Ну. Раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок.

Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный и страшный, и говорит: «Покажи, говорит, где за корову деньги. Я, говорит, в лесу мужа твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, сама понимаешь, уж не взыщи. Лучше со мной не волынь. Некогда Мне тут с тобой проклажаться».

Ой, батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось, войдите в наше положение! Дрожим, ни живы ни мертвы, язык отнялся от ужаса, какие страсти! Первое дело Василия Афанасьевича он убил, сам говорит, топором зарубил. А вторая беда: одни мы с разбойником в сторожке, разбойник в доме у нас, ясное дело разбойник.

Тут, видно, у тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать.

Тетя Марфуша сначала ему в ноги. Помилуй, говорит, не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги, про что говоришь ты, в первый раз слышу. Нуда разве так прост он, окаянный, чтобы от него словами отделаться. И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. «Ну ин ладно, говорит, будь по-твоему. Под полом, говорит, выручка. Вот я творило подыму, лезь, говорит, под пол». А он, нечистый, ее хитрости насквозь видит. «Нет, говорит, тебе, хозяйке, ловчей. Лезь, говорит, сама. Хушь под пол лезь, хушь на крышу лезь, да только чтобы были мне деньги. Только, говорит, помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи».

А она ему: «Да Господь с тобой, что ты сумлеваешься. Я бы рада сама, да мне неспособно. Я тебе лучше, говорит, с верхней ступеньки посвечу. Ты не бойся, а для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу», это, стало быть, меня.

Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала! Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются.

А злодей опять, не будь дурак, на нас обеих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалился, шалишь, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня, стало, не родня, чужая кровь, и хвать Петеньку на руку, а другою за кольцо, открывает лаз, — свети, говорит, и ну с Петенькой по лесенке под землю.

И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала, тогда уже была в повреждении ума. Только он, злодей, с Петенькой под выступ пола ушел, она творило, то есть это крышку лаза, назад в раму хлоп, и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк и мне кивает, пособи, мол, не могу, тяжело. Надвинула, и сама на сундук. Села на сундук, сидит, дура, радуется. Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает и снизу в пол стук-стук, дескать, лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстые доски не слышно, да в словах ли толк. Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. Да, кричит, сейчас твоему Петеньке будет конец. А она ничего не понимает. Сидит, смеется, мне подмигивает. Мели, мол, Емеля, твоя неделя, а я на сундуке и ключи у меня в кулаке. Я тетю Марфушу и так и сяк. В уши ору, с сундука валю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне! Нешто я с ней слажу?

Ну стучит он в пол, стучит, время-то идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает.

По прошествии время — ой батюшки, ой батюшки, всего-то я в жизни навидалась-натерпелась, такой страсти не запомню, век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный, — закричал-застонал из-под земли Петенька, ангельская душенька, — загрыз ведь он его насмерть, окаянный.

Ну что мне, ну что мне теперь делать, думаю, что мне делать со старухой полоумною и разбойником этим, душегубом? А время-то идет. Только я это подумала, слышь, под окном Удалой заржал, нераспряженный ведь он все время стоял. Да. Заржал Удалой, словно хочет сказать, давай, Танюша, скорей к добрым людям поскачем, помощь позовем. А я гляжу, дело к рассвету. Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, — твоя правда, давай слетаем. И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу: «Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому обернем». И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел, знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул, я этот паровоз по свистку знала, он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачом назывался, товарные на подъеме подпихивать, а это смешанный шел, каждую ночь он в это время мимо проходил, — слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Нужли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говорит?

Ну да где тут думать, поезд-то уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь как развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку, стою промеж рельс, фонарем размахиваю взад и вперед.

Ну что тут говорить. Остановила я поезд, спасибо, он из-за ветра тихо-тихо, ну просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд, машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не слышно, что спрашивает, — ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим, воинский был поезд,

да, красноармейцы на полотно, говорят «в чем дело?», удивляются, что за притча, поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит.

Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба, он потоньше Петеньки тоненьким голоском пищит, смилуйтесь, говорит, люди добрые, не губите, больше не буду. Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели — самосуд.

Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно. Попросилась — возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского! Но, правда, и беды всякой много, и греха. Да ведь это все потом было, это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел, казенное имущество принять и об тете Марфуше сделать распоряжение, ее жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась.

Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал:

— Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня?

— О, конечно.

— Евграф о ней позаботится. — Потом, немного помолчав, прибавил: — Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это блоковское «Мы, дети страшных лет России», и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптич-ны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница.

5

Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу.

И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней длинной повести, к концу которой они подошли, с тетрадью в руках, в этот вечер.

Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание.

Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение.

Часть семнадцатая

СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

1

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.

2

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота, И бушует, одурев, овраг. Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем В веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем, И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи! Дробь капелей к середине дня, Кровельных сосулек худосочье, Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник, Голуби в снегу клюют овес, И всего живитель и виновник, — Пахнет свежим воздухом навоз.

3

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла. Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая, как день, светла, И если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла. Такая рань на свете,

Что площадь вечностью легла От перекрестка до угла, И до рассвета и тепла Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола, И ей ночами не в чем Раскачивать колокола И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга Вплоть до Страстной субботы Вода буравит берега И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт, И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом Пространстве, как на сходке, Деревья смотрят нагишом В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога. Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор

И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег На паперти толпе калек, Как будто вышел человек, И вынес, и открыл ковчег, И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари, И, нарыдавшись вдосталь, Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распогодь, Смерть можно будет побороть Усильем Воскресенья.

4

БЕЛАЯ НОЧЬ

Мне далекое время мерещится, Дом на Стороне Петербургской. Дочь степной небогатой помещицы, Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники. Этой белою ночью мы оба, Примостясь на твоем подоконнике, Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые, Утро тронуло первою дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам, Этой ночью весеннею белой, Соловьи славословьем грохочущим Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится. Голос маленькой птички ледащей Пробуждает восторг и сумятицу В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей Пробирается ночь вдоль забора, И за ней с подоконника тянется След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной По садам, огороженным тесом, Ветви Яблоновые и вишенные Одеваются цветом белесым.

И деревья, как призраки, белые Высыпают толпой на дорогу, Точно знаки прощальные делая Белой ночи, видавшей так много.

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

Огни заката догорали. Распутицей в бору глухом В далекий хутор на Урале Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой, И звону шлепавших подков Дорогой вторила вдогонку Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья И шагом ехал верховой, Прокатывало половодье Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то, Крошились камни о кремни, И падали в водовороты С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник Клонила, свесивши в овраг, Как древний соловей-разбойник Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе Предназначался этот пыл? В кого ружейной крупной дробью Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле Ловили этот редкий звук, Размеренные эти доли Безумья, боли, счастья, мук.

6

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же, И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене Манежа Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки, И опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки.

Разбередишь присохший струп Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током, Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства. Быть женщиной — великий шаг, Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук, Спины, и плеч, и шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к разрывам.

7

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса И с поспешностью пылкой Кверху собраны волосы Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого Смотрит женщина в шлеме, Запрокинувши голову Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая Ночь сулит непогоду,

И расходятся, шаркая, По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится, Отдающийся резко, И от ветра колышется На окне занавеска.

Наступает безмолвие, Но по-прежнему парит, И по-прежнему молнии В небе шарят и шарят.

А когда светозарное Утро знойное снова Сушит лужи бульварные После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю Своего недосыпа Вековые, пахучие, Неотцветшие липы.

8

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

9

ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом, От ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ Не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ В ширину под собою расстелем.

10

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат. В доме хохот и стекла звенят, В нем шинкуют, и квасят, и перчат, И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник, Этот шум на обрывистый склон, Где сгоревший на солнце орешник Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку, Здесь и высохших старых коряг, И лоскутницы осени жалко, Все сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще, Чем иной полагает хитрец, Что как в воду опущена роща, Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать, Когда все пред тобой сожжено, И осенняя белая копоть Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан И теряется в березняке. В доме смех и хозяйственный гомон, Тот же гомон и смех вдалеке.

11

СВАДЬБА

Пересекши край двора, Гости на гулянку В дом невесты до утра Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми В войлочной обивке Стихли с часу до семи Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон, Только спать и спать бы, Вновь запел аккордеон, Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист Снова на баяне Плеск ладоней, блеск монист, Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять Говорок частушки Прямо к спящим на кровать Ворвался с пирушки.

А одна как снег бела, В шуме, свисте, гаме Снова павой поплыла, Поводя боками.

Помавая головой

И рукою правой,

В плясовой по мостовой,

Павой, павой,павой.

Вдруг задор и шум игры, Топот хоровода, Провалясь в тартарары, Канули как в воду.

Просыпался шумный двор. Деловое эхо

Вмешивалось в разговор И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь Вихрем сизых пятен Стаей голуби неслись, Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед, Спохватясь спросонья, С пожеланьем многих лет Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.

Только свадьба, в глубь окон Рвущаяся снизу, Только песня, только сон, Только голубь сизый.

12

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним, Все близкие давно в разброде, И одиночеством всегдашним Полно все в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке, В лесу безлюдно и пустынно. Как в песне, стежки и дорожки Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью Глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем, Я с книгою, ты с вышиваньем, И на рассвете не заметим, Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней Шумите, осыпайтесь, листья, И чашу горечи вчерашней Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть! Рассеемся в сентябрьском шуме! Заройся вся в осенний шелест! Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье, Как роща сбрасывает листья, Когда ты падаешь в объятье В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты — отвага, И это тянет нас друг к другу.

13

СКАЗКА

Встарь, во время оно, В сказочном краю Пробирался конный Степью по репью.

Он спешил на сечу, А в степной пыли Темный лес навстречу Вырастал вдали.

Ныло ретивое, На сердце скребло: Бойся водопоя, Подтяни седло.

Не послушал конный И во весь опор Залетел с разгону На лесной бугор.

Повернул с кургана, Въехал в суходол, Миновал поляну, Гору перешел.

И забрел в ложбину И лесной тропой Вышел на звериный След и водопой.

И глухой к призыву, И не вняв чутью, Свел коня с обрыва Попоить к ручью.

У ручья пещера, Пред пещерой — брод. Как бы пламя серы Озаряло вход.

И в дыму багровом, Застилавшем взор, Отдаленным зовом Огласился бор.

И тогда оврагом, Вздрогнув, напрямик Тронул конный шагом На призывный крик.

И увидел конный, И приник к копью, Голову дракона, Хвост и чешую.

Пламенем из зева Рассевал он свет, В три кольца вкруг девы Обмотав хребет.

Туловище змея, Как концом бича, Поводило шеей У ее плеча.

Той страны обычай Пленницу-красу Отдавал в добычу Чудищу в лесу.

Сомкнутые веки. Выси. Облака. Воды. Броды. Реки. Годы и века.

Конный в шлеме сбитом, Сшибленный в бою. Верный конь, копытом Топчущий змею.

Конь и труп дракона Рядом на песке. В обмороке конный, Дева в столбняке.

Светел свод полдневный, Синева нежна. Кто она? Царевна? Дочь земли? Княжна?

То в избытке счастья Слезы в три ручья, То душа во власти Сна и забытья.

Края населенье Хижины свои Выкупало пеней Этой от змеи.

Змей обвил ей руку И оплел гортань, Получив на муку В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою Всадник в высь небес И копье для боя Взял наперевес.

То возврат здоровья, То недвижность жил От потери крови И упадка сил.

Но сердца их бьются. То она, то он Силятся очнуться И впадают в сон.

Сомкнутые веки. Выси. Облака. Воды. Броды. Реки. Годы и века.

14

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая, Проникло солнце утром рано Косою полосой шафрановою От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою Соседний лес, дома поселка, Мою постель, подушку мокрую И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу Слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами, Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа по-старому, Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с Фавора, И осень, ясная как знаменье, К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, Нагой, трепещущий ольшаник В имбирно-красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами Соседствовало небо важно, И голосами петушиными Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею Стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой провидческий Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь Преображенская И золото второго Спаса, Смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины! Простимся, бездне унижений Бросающая вызов женщина! Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный, Полета вольное упорство, И образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство».

15

ЗИМНЯЯ ночь

Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела.

Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме.

Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела.

На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал.

И все терялось в снежной мгле, Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела.

16

РАЗЛУКА

С порога смотрит человек, Не узнавая дома. Ее отъезд был как побег, Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос. Он меры разоренья Не замечает из-за слез И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти иль грезит? И почему ему на ум Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне Не видно света Божья, Безвыходность тоски вдвойне С пустыней моря схожа.

Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши Волненье после шторма, Ушли на дно его души Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена Немыслимого быта Она волной судьбы со дна Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа, Опасности минуя, Волна несла ее, несла И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд, Насильственный, быть может. Разлука их обоих съест, Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом: Она в момент ухода Все выворотила вверх дном Из ящиков комода.

Он бродит, и до темноты Укладывает в ящик Раскиданные лоскуты И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку.

17

СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги, Завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги: За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем, Без шляпы, без калош, Ты борешься с волненьем И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды Уходят вдаль, во мглу. Одна средь снегопада Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки По рукаву в обшлаг, И каплями росинки Сверкают в волосах.

И прядью белокурой Озарены: лицо, Косынка и фигура И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен, В твоих глазах тоска, И весь твой облик слажен Из одного куска.

Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему.

И в нем навек засело Смиренье этих черт, И оттого нет дела, Что свет жестокосерд.

И оттого двоится Вся эта ночь в снегу, И провести границы Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались пересуды, А нас на свете нет?

18

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост, Ограды, надгробья, Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой Соломы и сена Средь целой вселенной, Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней И значило что-то, И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары. И ослики в сбруе, один малорослей Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, Все будущее галерей и музеев, Все шалости фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи, Все великолепье цветной мишуры... ...Все злей и свирепей дул ветер из степи... ...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи, Но часть было видно отлично отсюда Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, — Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды Вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку, И кто-то с навьюженной снежной гряды Все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность Шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу. Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? — спросила Мария.

— Мы племя пастушье и неба послы, Пришли вознести вам обоим хвалы.

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы, Последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, Как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, Шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево От яслей рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся: с порога на деву, Как гостья, смотрела звезда Рождества.

19

РАССВЕТ

Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о Тебе Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой Завет И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу, В их утреннее оживленье. Я все готов разнесть в щепу И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют, Пьют чай, торопятся к трамваям. В теченье нескольких минут Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И, чтобы вовремя поспеть, Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех, Как будто побывал в их шкуре, Я таю сам, как тает снег, Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, И только в том моя победа.

Он шел из Вифании в Ерусалим, Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен, Над хижиной ближней не двигался дым, Был воздух горяч, и камыш неподвижен, И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, споривше й с горечью моря, Он шел с небольшою толпой облаков По пыльной дороге на чье-то подворье, Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои, Что поле в унынье запахло полынью. Все стихло. Один Он стоял посредине, А местность лежала пластом в забытьи. Все перемешалось: теплынь и пустыня, И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке, Совсем без плодов, только ветки да листья. И Он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбняке?

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет, И встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недаровита! Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла, Как молнии искра по громоотводу. Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы У листьев, ветвей, и корней, и ствола,

Успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно, врасплох.

21

ЗЕМЛЯ

В московские особняки Врывается весна нахрапом. Выпархивает моль за шкапом И ползает по летним шляпам, И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям Стоят цветочные горшки С левкоем и желтофиолем, И дышат комнаты привольем, И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата С оконницей подслеповатой, И белой ночи и закату Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре, Что происходит на просторе, О чем в случайном разговоре С капелью говорит апрель.

Он знает тысячи историй Про человеческое горе, И по заборам стынут зори, И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути На воле и в жилом уюте, И всюду воздух сам не свой,

И тех же верб сквозные прутья, И тех же белых почек вздутья И на окне, и на распутье, На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане, И горько пахнет перегной? На то ведь и мое призванье, Чтоб не скучали расстоянья, Чтобы за городскою гранью Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья, И наши вечера — прощанья, Пирушки наши — завещанья, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия.

22

ДУРНЫЕДНИ

Когда на последней неделе Входил Он в Иерусалим, Осанны навстречу гремели, Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровей, Любовью не тронуть сердец. Презрительно сдвинуты брови, И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею Легли на дворы небеса. Искали улик фарисеи, Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой, Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке Заглядывала из ворот, Толклись в ожидайьи развязки И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству, И слухи со многих сторон. И бегство в Египет и детство Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый В пустыне, и та крутизна, С которой всемирной державой Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане, И чуду дивящийся стол, И море, которым в тумане Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге, И спуск со свечою в подвал, Где вдруг она гасла в испуге, Когда воскрешенный вставал...

23

МАГДАЛИНА I

Чуть ночь, мой демон тут как тут, За прошлое моя расплата. Придут и сердце мне сосут Воспоминания разврата, Когда, раба мужских причуд,

Была я дурой бесноватой И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут, И тишь наступит гробовая. Но раньше чем они пройдут, Я жизнь свою, дойдя до края, Как алавастровый сосуд, Перед Тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была, Учитель мой и мой Спаситель, Когда б ночами у стола Меня бы вечность не ждала, Как новый, в сети ремесла Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,

И смерть, и ад, и пламень серный,

Когда я на глазах у всех

С Тобой, как с деревом побег,

Срослась в своей тоске безмерной.

Когда Твои стопы, Исус, Оперши о свои колени, Я, может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус И, чувств лишаясь, к телу рвусь, Тебя готовя к погребенью.

24

МАГДАЛИНА II

У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчеи Обмываю миром из ведерка Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий. Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла, Их слезами облила, Исус, Ниткой бус их обмотала с горла, В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно, Словно Ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме, Мыв кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами, Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя, И начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч, над головою Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья, Обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири, Столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире? Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток И столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток Я до Воскресенья дорасту.

25

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично Был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, Он им сказал: «Душа скорбит смертельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От всемогущества и чудотворства, И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем Уничтоженья и небытия. Простор вселенной был необитаем, И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы, Пустые, без начала и конца, Чтоб эта чаша смерти миновала, В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому, Он вышел за ограду. На земле Ученики, осиленные дремой, Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда Толпа рабов и скопище бродяг, Огни, мечи и впереди — Иуда С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне сюда? И, волоска тогда на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану, И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты».

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
И ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ

Часть вторая

«ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА»

ГЛАВА, ВЫЧЕРКНУТАЯ
В КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

После исчезновения на два года Иван Иванович Воскобойни-ков опять замелькал по лестницам и коридорам математического крыла московского университета. Здесь давно, еще в бытность его студентом, привыкли к его бесшумно скользящей фигуре и громкому гоготанью. Он ничуть не изменился. Все так же запоминался он не во все лицо, а преимущественно силуэт-но в профиль, все так же пробирался бочком через толпу студентов в рекреационные часы в местах их наибольшего скопления, белобрысый, ухмыляющийся и близорукий с закинутой назад головою и бородкой клинушком. По-прежнему удивлял его неестественно длинный язык, кончик которого на миг показывался и скрывался в минуты непроизвольных зевков Ивана Ивановича и

в еще более редких, единичных случаях нечаянно нападавшей на него и тут же исчезавшей картавости и заикания.

Служители и швейцары кланялись ему в пояс, когда он устремлялся мимо них в высоту верхних этажей или пересекал наискось крытый университетский дворик. То расставлял он лекционные приборы на столе у Николая Александровича Громеко, молодого профессора, читавшего в это бурное время химию взрывчатых веществ, то выдавал вместо библиотекаря книги с верхних полок просеминарской читальни, перешучиваясь с верхней ступеньки лесенки со студентами, то в помощь письмоводителю рылся в делах и папках в дни наибольшего наплыва в канцелярию, в конце старых и в начале новых семестров.

Служителям, — истопникам, швейцарам и дядькам Иван Иванович казался чем-то вроде головы Афины Паллады или бюста Ломоносова или [вроде] статуэток расовых типов в стеклянных шкапах естественного отделения, и они в нем чтили неотделимый от университета символ научной устойчивости. О как обманывались швейцары!

В ту зиму Иван Иванович был занят совсем другим делом. На его попечении были кружки двух родов. На одних группа юристов занималась с молодежью, интересовавшейся вопросами социализма в марксистском освещении, на других приятель Воскобойникова Кологривов, выезжавший для этого по воскресеньям в Серебряный бор или на Лосиный остров, обучал стрельбе членов боевых дружин.

Хотя Иван Иванович только налаживал эти курсы и следил за тем, что на них делается, он был занят больше, чем если бы вел их сам, и от этих забот [и переутомления] отходил душою только в революционной богеме близкого ему толка, у Волковичей.

Были Волковичи в узком и широком смысле, истые Волко-вичи и Волковичи в приближении. Собственно Волковичи были брат и сестра Александр и Александра Волковичи, несобственно Волковичами назывались все те, кто имел к ним отношение и у них собирался. Можно было услцшать: «Ну какие вы Волковичи. Вы помесь Гедиминовичей с Абрамовичами. Это не порода». Это означало что-то политическое, понятное только в этом круге.

Рябая и стриженая Александра мужеподобием напоминала пожарного. Свой вокальный дар, незаурядный бас, которым она обладала, она редко проявляла во всем его блеске, так как страдала неизлечимой сипотой вследствие надрыва голосовых связок.

Ее брат Александр был бесцветен в той степени, что сам отчаялся установить окончательные черты своей внешности в зеркале, сестра же и знакомые узнавали его лишь по необъяснимой случайности.

Волковичи хранили традицию студенческих Татьян. У них напивались небольшой компанией не меньше двух раз в месяц. Это были невинные бурсацко-семинарские попойки. Единственный вид разнузданности, который на них допускался, был разгул неумеренного словоизвержения.

Водки всегда было больше, чем позволяла закуска. Неопытные напивались вмиг в этой столовой с золотисто-белыми обоями, и хмель наступал четырехугольный по форме и белый с позолотою по содержанию, голову начинало ломить сразу с четырех сторон. Качество этого хмеля было единодушно отмечено у Волковичей, и напоить гостя допьяна называлось тут возвести его в куб.

Вечеринка у Волковичей подходила к концу. Большинство гостей разошлось, — Суффикс, Трясогузка и другие (тут у всех были шуточные прозвища). Оставался Лабрадор, всегда уходивший последним и через десять лет оказавшийся знаменитым провокатором Чапарухиным-Лягвой, значившимся в охранном отделении под совсем другою кличкой «Непробудный». Александра разливала чай, Лабрадор, сидевший близ

самовара, принимал из ее рук чашки и передавал их по назначению, а в углу комнаты, наклонившись друг к другу и свесив руки между колен, беседовали вполголоса Александр и Воскобойников.

Воскобойников говорил:

— Я сам не знаю, кто инициаторы.

— Раз неизвестно, значит, эс-эры.

— Я тоже думаю.

— Когда?

— В пятницу третьего, утром. Сбор у Тверской заставы. Но в общем ты прав. В основном, по-видимому, демонстрация протеста.

— А ты как думал?

— Не говори. Благодаря неясности рядом пойдутлюди разной ориентации. Ядро, само собой, с выражением недоверья. Но не забудь обывательского элемента, в особенности женщин. Они выйдут с изъявлением всеподданнейших чувств. Множество будет манифестировать благодарность за дарованные свободы.

— Что ты предлагаешь?

— Надо внести раскол в ряды колеблющихся, отсеять сознательную часть, надо неустанно, неустанно разъяснять, разоблачать, дискредитировать...

— Хорошо. Кого ты пошлешь?

— Моржова.

— Чересчур теоретичен.

— Ну так Биттерфлюса.

— Не подходит, не подходит.

— Остается Байбацкий.

—- Это совсем другой разговор.

ГЛАВЫ 5-7

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ 5

Вились первые сухие снежинки, реденькие и еле заметные на сером небе. Они припорашивали дорогу серой пушистою пылью, которая скоплялась в ямках, как весною цвет тополя.

По мостовой сверху валила демонстрация, лица, лица и лица, ватные черные пальто и барашковые шапки, учащиеся в форме, рабочие телефонной станции и трамвайного парка в сапогах и овчинных куртках.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек в поддевке и кубанке, пятившийся задом перед шествием и с удалью Лихача Кудрявича дирижировавший пением, перестал запевать и взмахивать руками. Он повернулся спиной к процессии и, наклонив голову, стал прислушиваться к тому, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение стало жидким и неуверенным. Скоро оно смолкло. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой земле.

— Немедленно войдем в первое общественное здание, какое встретится, и будем расходиться поодиночке.

— Что случилось?

— Обо всем проведала полиция. Впереди ждут казаки в засаде.

— Откуда вы знаете?

— От доброжелателей. С пути следованья звонили в аптеку. Вот товарищ.

— Очень приятно. Такой-то. Очень рад познакомиться. Ну так что же. Тут главное не зевать.

— Я предлагаю в общество купеческих приказчиков.

— Что вы? Тесными переулками с такою толпищей?

— Ну так в высшее техническое.

— Это такой же крюк.

— Тогда в училище иностранных корреспондентов.

В это время впереди открылся угол казенного здания, о котором забыли при перечислении возможных мест для спасения.

Когда процессия приблизилась к зданию, вожаки поднялись на возвышение подъезда и что-то крикнули в толпу, помахавши руками. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие как было, в шубах и шапках, ряд за рядом, ряд за рядом влилось в широкий вестибюль школы и стало подниматься по парадной лестнице.

— В актовый зал, в актовый зал, — кричали отдельные голоса в общий поток, но, повинуясь его течению, все продолжали валить дальше в глубину, растекаясь в конце по коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть назад и она расселась на стульях, руководители несколько раз пытались объявить об опасности и посоветовать собранию расходиться, но их никто не слушал, потому что слово дали оратору, которого никто не знал и который сам не знал ни о цели демонстрации, ни о ее составе и о готовящейся ей ловушке.

Он имел необычайный успех. В отличие от устроителей демонстрации, бравших чувством и воодушевлением и призывавших к свержению самодержавия, насилия и неправды, этот приглашал скорее к свержению всех мнений, кроме своего, и однообразно и озлобленно говорил о том, о чем в эти дни все говорили зажигательно и вдохновенно.

Именно на этом основывался его успех. «Не все то золото, что блестит, — думали многие. — Этот-то наверное говорит дел о, раз его резоны так скучны, как все правильное».

Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Шум не мешал его речи, потому что никто не интересовался ее содержанием. С ним торопились соглашаться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста с требованием ответа от высочайшей власти, и вдруг, совершенно позабыв о нем, поднялись как один, и ряд за рядом, ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу, увеличившись в численности. Демонстрация продолжалась беспорядочно и стихийно, без руководителей.

Пока был митинг, повалил частый снег. Улицы побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого не подозревали в другом конце шествия, так оно растянулось. Вдруг спереди прокатился гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», вопли возмущения, стоны и ругательства волною катились по рядам и в ту же минуту на волне этих звуков стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники.

Где-то сзади полувзвод перестроился и, повернув, врезался с разбега в хвост шествия. Началось избиение.

Через несколько минут улица была почти совершенно пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег уже не шел. Зимний вечер был сух, как рисунок углем. Из его хмурой бескрасочности выделялось несколько красноверхих драгунских шапок, обрывок красного флага на земле и несколько следов крови на снегу мостовой.

По ее краю полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенной головой. В конце улицы еще металось два-три конных, наскакивая на прохожих, в которых им мерещились остатки демонстрантов, а на противоположной стороне улицы с тою же целью одинокий драгун медленно въезжал на тротуар и медленно, как в цирке, пятил и подымал лошадь на дыбы, затискивая ее крупом несколько ротозеев в стенную нишу рядом с колониальной лавкой.

6

Ну вот он и в Москве. Он сбежал сюда из Петербурга, думая, что тут тише, а оно и того хуже. Надо удирать за границу. Годы уходят. А своего главного, заветного, он еще не сказал.

Но наверное это чистейшее притворство. Втайне он наверное это любит, чтобы как сейчас, не давали опомниться. То Высшие женские, то Религиозно-философское, то к врачам, то к инженерам, то согласительная комиссия, и всюду нарасхват, и везде аплодисменты, и каждый раз полиция.

Что может быть приятнее этого размениванья на мелочи! Со вздохом возводишь глаза к потолку, словно поступился невесть чем драгоценным. А что ты принес в жертву, что ты потерял? Славны бубны за горами. На эти многозначительности в жизни, в печати и с кафедры, на все это он мастер. А за душой у него ни гроша, и настоящей проверки он боится. Мы еще посмотрим, как вы уедете за границу, мы еще полюбуемся тем, что вы напишете.

Надо удирать. Это очень легко сказать. Но как это сделать? Кончается одна забастовка, начинается другая, и поди уследи за их перерывами.

Ему сказали, — поезжайте к Тиверзину. Некий Тиверзин, революционный деятель. Он должен вас знать. Какая-то важная пружина в этих железнодорожных неурядицах.

Скажите, так-то и так-то, надо до зарезу в Швейцарию, важная работа, тут не могу. У вас крупное имя. Вы несколько раз читали в пользу стачечного комитета. Он должен это знать.

Может быть, есть поезд черт его знает какой-нибудь особенный, или вдруг он проговорится, когда кончится забастовка. Нельзя же в самом деле месяцы целые погибать на чемоданах. На вас косится полиция, того и гляди арестуют. Все это он должен принять в расчет.

Но каким он будет дураком, если послушается такого совета. Хорош тогда он будет, сорокапятилетний профессор-младенец.

У своих родственников Свентицких, где он остановился в Москве, Николай Николаевич занимал угловую комнату наверху в мезонине. Это был просторный темноватый кабинет, весь в коврах и книгах, с двойной стеклянной дверью на балкон, которая теперь была наглухо заделана на зиму. Из окна кабинета переулок был виден в длину, — криво расставленные домики, кривые заборы.

Когда показались бегущие, Николай Николаевич понял, что это с демонстрации, и стал вглядываться в полутьму, не увидит ли в толпе Юру или еще кого-нибудь, но знакомых не оказалось, только раз почудилось ему, что пробежал сын Дудорова, этот отчаянный, у которого совсем недавно извлекли пулю из плеча и который опять околачивается, где не надо.

Бедный Дементий Евграфович. Вернули человека с каторги по амнистии, теперь, думает, отдамся любимому делу. Как бы не так. Бедному и во сне не снилось, какая он политическая знаменитость. Шуточка ли сказать, страдалец, потерпел за народную волю, теперь извольте расплачиваться. Выездам нет конца, каждому скажи два-три слова, чтобы на всю жизнь, половине пожми руки, со всеми снимись. Вот и его так замотают.

Когда он в ту осень приехал из Поволжья и должен был переехать в Петербург, он оставил Юру у Остромысленских. Какую он сделал тогда ошибку! Эта Мотя еще туда-сюда, но болван Федька помимо того, что идиот и пустомеля, в придачу оказался еще страшною свиньей.

Конечно, Николай Николаевич сам должен был рассчитать, как пагубен для ребенка пример ханжи и бездельника, который каждою черточкой в отдельности подражает кому-нибудь из родни, Веденяпиным, Свентицким, Громеко и Крюгерам, и

лишен своего собственного лица. Но в конце концов Бог ему судья* фильтровал бы себе мочу через промокашку и воображал себя естествоиспытателем, кому какое дело, если нашел человек способ существовать на три копейки и у него запросы церковного старосты.

Но не тут-то было. Мерзавец обрадовался случаю с нахлебником-ребенком. Остается загадкой, как он ухитрился подобраться к Юриной материнской доле, лежащей в банке. Она неприкосновенна, и до Юриного совершеннолетия Николай Николаевич ее единственный распорядитель.

Просто непонятно, как это удалось обнаружить, так тонко это было сделано. Это заслуга семьи Громеко, тогда же приютивших Юру, где он проживает и сейчас и где останется, когда Николай Николаевич уедет. Федька страшный негодяй, и его можно было засудить за подлог, — это уголовное дело, но Юра со слезами на глазах просил простить его.

Рано гадать о Юриной будущности, но по всем признакам это детство артистической натуры. Пробы его поэтического пера сногсшибательно оригинальны, но оригинальностью сейчас никого не удивишь, это самое распространенное и подражательное качество.

Все эти мальчики и девочки нахватались Достоевского, Соловьева, социализма, толстовства, ницшеанства и новейшей поэзии. Это перемешалось у них в кучу и уживается рядом. Но они совершенно правы. Все это приблизительно одно и то же и составляет нашу современность, главная особенность которой та, что она является новой, необычайно свежей фазой христианства.

Наше время заново поняло ту сторону Евангелия (она всегда казалась Николаю Николаевичу главною), которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов и потом исчезла у отцов, в церкви, морали и политике. О ней горячо и живо напомнил Франциск Ассизский, и ее некоторыми чертами отчасти повторило рыцарство. И вот ее веянье очень сильно в девятнадцатом веке.

Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

Теперь Юра живет у Громеко. Там у них такой триумвират: Юра, дочь Громеко Тоня и Юрин товарищ гимназист Гордон, тот самый, который (думал Николай Николаевич) так мило оппонировал мне на последнем заседании Общества философии и психологии. Очень способный мальчик. Он весь дышит стремлением вырваться из национальных рамок и не остаться евреем (для этого мальчик слишком хорош). Но я боюсь, что национализм одного рода сменится у него другим национализмом и он поймет свое обращение не как средство освобождения, а как способ стать чем-нибудь другим, латышом, финном, русским, шведом или какой-нибудь другой ерундой.

Когда так рассуждаешь, можно подумать, что ты интернационалист. Но интернационализм такая же ветхозаветная, сброшенная человечеством шкура. Что такое интернационализм. Интернационализм старается не забыть ни одной нации, даже несуществующей и мертвой, и искусственно возрождает их. Интернационализм помнит и различает их во имя того, чтобы не проводить между ними различий.

Когда в Евангелии говорится, что в царстве Божием нет эллина и иудея, это не значит, что их нет вообще от природы при любых условиях, но что при том определенном подъеме, которым достигается общение, называемое царством Божиим, в нем нет народов, а есть личности.

Триумвират этот начитался «Смысла любви» и «Крейцеро-вой сонаты» и теперь помешан на проповеди целомудрия. Это было бы очень хорошо и трогательно, если бы

в этом отношении у них не заходил ум за разум. Вместо того чтобы назвать это чувственностью или еще как-нибудь, они чуть ли не всю область физического охватили совсем не подходящим и ничего не говорящим именем «пошлости». Очень неудачный выбор слова.

Оно у них обозначает и инстинкт, и порнографическую литературу, и эксплоатацию женщины, и, одним словом, все неплатоническое. У них эта злополучная «пошлость» сакраментальный какой-то термин, и надо видеть, с каким трепетом они его произносят, точно это заклятие и вот-вот явится вызванная ими Астарта во всей победоносности ее обнажения.

Это единственный ущерб, который нанесло Юре мое отсутствие. Я бы никогда не допустил, чтобы эти чистые задатки довели их до такого умопомраченья.

Пол, то есть то обстоятельство, что человек существует на земле в виде мужчины и женщины, не такой пустячок, чтобы по-монашески от него отмахиваться. Тут скрещенье всех дорог, и природа не скупится на миллиарды погубленного броса, чтобы окупить две-три удачи. Все виды человеческой подлости, все извращения сбились на этом перекрестке, и сколько народу живет весь свой век полуубийцами и полумертвецами, провалившись когда-нибудь на этом испытании.

Нет, я не позволю Юре уходить от жизни, а то ну его к черту это их целомудрие и этого черненького, их главного пророка.

Николай Николаевич долго шагал по темному кабинету. Потом он зажег лампу и сел писать. Был самый разгар всеобщей забастовки. Он берег керосин.

7

Через месяц, в ноябре, он оставался на той же мели. Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. После сильного мороза деревья с таким видом заглядывали в комнату, точно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

В эти дни Николай Николаевич записал:

«Давно ли мы сходили с ума от счастья, достоверно узнав, что у государя лежит манифест о даровании свобод в готовом виде, и надо его только подписать. Через два дня вышел манифест, полилось шампанское и начались хождения, речи, резня и погромы. Странно, что все это хлынуло дополнительно вдогонку конституции, как бы для того, чтобы не казалось, что она свалилась с неба, но с трудом и оружием в руках отбита на улице.

Как борется человек со счастьем, с небом, со всем хорошим в себе, как преувеличивает свое ангел ьство, как боится быть чересчур идеальным и хорошим, интеллигенция целый год из скромности стеснялась называть эти волнения революцией, неуверенная, достаточно ли в них крови и политического шика, чтобы так называться, а теперь удовлетворилась и признала это право.

Приходил толстовец Выволочнов, а потом мистик и теософ Брюге. Первый обвинял меня в том, что моя философия могла бы быть положительнее, то есть что она недостаточно мертва и пуста, а второй в том, что она недостаточно путанна и туманна».

Николай Николаевич встал и отошел к окну. Наступил тот час, когда писать было уже темно, а зажигать лампу рано и неэкономно. В эти полчаса до полной темноты он обыкновенно размышлял, расхаживая по комнате из угла вугол. Тогдау Тиверзина он понял, что пока это одни самоублажения интеллигенции, а народная революция еще и не начиналась.

Это у Тверской заставы. Каменный дом с деревянными галереями на большом дворе. По галерее вверх зигзагами поднимается лестница, — кошки, отхожие места, кладовые с висячими замками, холодно, скользко, острый капустный квасок.

Это было в начале оттепели после сильного мороза, и лед в кадке с водой перед входною дверью не оттаял. Крышка кадки была сдвинута набок, и на обломке плоской ледяной корки стояла железная кружка.

Еще на углу Тверской он спросил дорогу у хорошо одетой красивой девушки, обогнавшей его в том же направлении. Оказалось, что ей по пути и, как потом выяснилось, даже в одно и то же место. Всю дорогу она молчала или отвечала так односложно, что ее ответы вылетели у него из головы.

Когда они подошли к двери, она сказала «вот сюда» и показала на проволочную ручку звонка. Сама она словно как бы отошла в глубину коридора к соседней двери или поднялась по лестнице в следующий ярус, — неудобно было наблюдать за ней и смотреть ей вслед. Но потом обнаружилось, что она уже у Ти-верзиных.

Это записывается не потому, что квартира была конспиративная, и значит, был потайной ход и спуск через потолок, и надо заинтересовать читателя и придать таинственности дневнику.

Ничего этого не было. Квартира была обыкновенная. Но бывают положения, когда внимание нарушено, и проворониваешь все нити и связи. Тогда случаются вещи необъяснимые и чудесные.

Девушка ли была слишком хороша и было неловко смотреть на нее, слишком ли примерз взгляд Николая Николаевича к обледенелой бочке, или слишком смущался он предстоявшим объяснением, и это было очень неприятно, потому что в жизни Николай Николаевич избегал глупостей и не имел поводов смущаться, — факт тот, что он что-то пропустил и чего-то не видел и так получилось это чародейство с девушкой.

Тяжелую дверь непонятно как открыла высокая и важная старуха в теплом платке. Прежде чем вступить в разговор, она, ежась и придерживая ладонью платок на груди, быстрым движением оторвала кружку ото льда, надвинула крышку на место и таким же быстрым движением шмыгнула назад в кухню, чтобы не застудиться.

— Вам к Тиверзину? — спросила она с таким достоинством, с каким такая же чопорная старуха в другом месте сказала бы «граф занят».

Ему пришлось немного подождать в темном проходе перед большою комнатой, разделенной надвое не доходящею до потолка перегородкой. Он видел правую половину помещения, светлую и уходящую вглубь к окну. Его оттуда не было видно. Там сидели: красивая девушка, его провожатая, девочка попроще и хуже одетая и белокурый гимназистик с пробором, как на картинке, в такой аккуратной суконной зимней рубашке, какой бывает только парусиновая летняя форма, стираная и глаженая. На столе дымился ливер с луком. Почтенная старуха, мать Тиверзина, ласково и лукаво шушукалась с детьми, чтобы не мешать мужчинам на другой половине. Старуха чувствовала себя как на отдыхе. Обыкновенно ее окружал шум, сыновья, дочери, зятья, невестки и внуки, а теперь по случайности ее ватага разлетелась кто куда. Дочь и невестка поехали навстречу мужьям, возвращавшимся с войны невредимыми, — семья была железнодорожная, легкая на подъем, в ней разъезжали по бесплатным удостоверениям, остальные переехали в другие места на заработки.

За перегородкой слышались голоса — деловые, грубые и бодрые, и только Николай Николаевич собрался занести их в сознание, через темный чулан мимо него прошли, смеясь и застегивая на ходу тулупы, несколько человек, которые не заметили его или не обратили на него внимания.

Он сидел у Тиверзина, как проситель у должностного лица,— между ними был небольшой столик, Николай Николаевич сидел лицом к окну, а Тиверзин спиной к свету.

Только широкая кость, обветренное лицо в рябинках и огромные руки обличали в нем человека физического труда, машиниста, а разговор у него был, как у человека с

высшим образованием, с тою разницей, что своим тоном недоброго и насмешливого превосходства он как бы давал понять: «Вот я с тобой разговариваю на твоем наречии, а я ни его, ни тебя ни в грош не ставлю».

— Не понимаю. Ничего не понимаю, — перебивал он Николая Николаевича. — Ах вот как? Ну, допустим. Понял, понял. — Нет, зачем же. — Знаю, чувствую и пользуюсь случаем поблагодарить. Пригодились ваши денежки. Это другой разговор. За это спасибо. Ну хорошо, теперь я все понял. Вот что. Во-первых, вы скажите этим господам хорошим, не годится мне такую свинью подкладывать, дают мой адрес. Это ведь огласка личности. Вы знаете, как это называется?

Не годится, господа, не годится. А потом что же вы собственно от меня хотите? Когда забастовка кончится? Это вы, батенька, не ко мне. Это в «Московском листке» предсказатель печатается во фраке с цилиндром и с персидским орденом. Вы тогда побольше запрашивайте, может быть, он вам ее, забастовку, ворожбой отведет, черт его знает, все может быть. А я не гадалка. И потом вы сами понимаете, было бы даже у нас, скажем, решение. Ага, вот-вот. То есть как это невинное? А все невинное вы и без меня знаете. Ехать вам надо не по Брестской, западные никогда не успокоются, у них на то свои отдельные причины. А вам надо по Николаевской на Петербург и потом через Финляндию и быть во всякое время готовым. Это вам всякий скажет. Для этого не стоило ко мне ходить. Атак что же, милости просим. Имя у вас почтенное, как не знать, и за деньги для комитета спасибо».

В комнате стало совсем темно. Николай Николаевич зажег лампу и продолжал записывать.

«Я презирал дневники и смеялся над людьми, которые их ведут. Теперь я сам в их положении. В суматохе набегает больше мыслей, чем в силах удержать память, и когда нет надежды скоро приложить их к делу и они того заслуживают, их надо записывать.

Говорить все, ни перед чем не останавливаясь, не считаться с положением. А то может получиться, что побывал на белом свете для того, чтобы весь век простесняться. В последние дни мне гадко по двум причинам. Во-первых, это осадок обидного Тиверзинского тона. Кроме того, это из-за дуры Шлезингер.

Кстати. Летом громили Дуплянку. Потом усмиряли. Теперь разбирают. Кто же подстрекатель, — мне вчера передавали. Оказывается, в издательстве был сторож Павел, удивлявший всех темнотой и мракобесием. Пришел, рассказывают, из города и взбунтовал всю кологривовскую волость. Главный коновод. Кто же его так распропагандировал? Или, может быть, он тогда скрывал, притворялся? Ничуть не бывало. Господ он жег и бесчинствовал из монархических убеждений, с тоски, что везде измена и крамола, так чтоб уж везде и все дотла. Кроме того он кологривовского барина считал вредным народным потакальщиком и смутьяном.

Этого Павла хотели было произвести в борцы и освободители по уезду, в местные красные, но как присмотрелись, так даже его защитник на суде отшатнулся.

Мне гадко от Тиверзина и Шуры Шлезингер. Да, я это уже записал. У меня тоска, словно я побывал в каком-то будущем, до которого недотяну, и вернулся.

Несколько слов о русском якобинстве. Это будет как в Конвенте, не сажать снизу, как яблони, а вбивать сверху, как колья. И как при Кромвеле, крутолобые, железные бока, поклоненье твердости и силе.

А я не люблю минеральных и металлических сравнений и в стране Льва Толстого думаю, что гений застенчив, мгновенен, милостив и непредвосхитим.

Немного о себе самом. Я всегда знал, что жизнь, которая мне предстоит, ничем не будет похожа на то, к чему я готовился, чему подражал, что любил и чему учился. Но действительность во много тысяч раз все это превзошла.

Я живу во время, которое опрокинет мир вокруг меня вверх ногами и будет громадно, противно логике, необузданно смело и страшно как в сказке.

Тем не менее я думаю по-прежнему. Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить только угрозою, палкой и наказаньем, тогда высшею эмблемой культуры был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник.

Но в этом-то и дело, что человека издавна поднимала над животным и уносила ввысь от вырождения и одичанья не палка, а нечто подобное музыке: притягательность безоружной истины, заразительность очарования».

ИЗ ГЛАВЫ 10

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

— Не дают.

— А кто слушается цензуры?

— Не дают в другом смысле. Мешают, треплют, рвут на части.

— Тогда надо в деревню или за границу.

— А вы попробуйте. Непрерывные железнодорожные забастовки.

— Да, правда. Погодите минуту. Послушайте. Есть некто Тиверзин. Запишите. Понимаете, Тиверзин, революционный деятель, член этих самых, ну этих новых советов депутатов. Он должен вас знать. Какой-то важный винтик в этой железнодорожной неразберихе. Поезжайте к нему. Я вам достану его адрес. Скажите прямо так-то и так-то, нужно до зарезу в Швейцарию, важная работа, тут не могу. У вас крупное имя. Вы несколько раз читали в пользу стачечного комитета. Он должен вас знать.

Может быть, есть поезд черт его знает какой-нибудь конспиративный или он вам проговорится, долго ли еще предполагается этот балаган. Нельзя же месяцы сидеть на чемоданах в чаянии движения воды. На вас косится полиция. Того и гляди арестуют. Вы это скажите. Они любят такие вещи. Он поймет.

— А где живет этот ваш... как вы сказали?

— Тиверзин. Где-то у Тверской заставы. Я вам достану адрес. Выволочнов с шумом встал, запыхтел и стал прощаться.

— Не провожайте, пожалуйста, не провожайте. Все найду, все найду, — сказал он. — Дом стариков Свентицких... Неужто заплутаюсь. Детские годы... О...! Расположенье комнат... Как свои пять пальцев...

Николай Николаевич пошел провожать его, [напомнив ему о шарфе и шляпе, которые тот чуть не оставил в кабинете].

— Любопытно. Любопытно, — думал он, вернувшись. Конечно, надо быть дураком, чтобы воспользоваться таким советом. Хорош он будет гусь, если пойдет к бомбисту-забастовщи-ку и скажет. Я задумал книгу и люблю спокойную жизнь. Отложите, сделайте одолжение, революцию до моей кончины.

ГЛАВА 11

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

Николаю Николаевичу и в голову не приходило пользоваться доставленным адресом. Как же удивило его самого, когда в один прекрасный день очутился он близ Триумфальных, и оказалось, что он разыскивает Тиверзина. Была гололедица. За два дня до этого, в проливной дождь, по стенам выклеили объявления Московского генерал-губернатора о введении в Москве положения об усиленной охране. Люди читали объявления, вода с крыш затекала им за шиворот.

Теперь была гололедица. Белых бумажек никто не читал, они не составляли новости. Люди шли мимо, балансируя вскинутыми руками, поскальзывались, подымались и проклинали гололедицу.

Рядом уверенно и ровно, не теряя равновесия шла хорошенькая, хорошо одетая девушка. Николай Николаевич спросил, как пройти на Брестскую. Она сказала, что ей туда же. Это было рядом за углом. Постепенно выяснилось, что ей на тот же двор и в ту же квартиру.

— Здравствуй, Ларушка, — сказала Марфа Гавриловна. — Ступай к Патуле, он дома. Сейчас я приду. А вам что угодно?

Николай Николаевич ответил.

— Нет Киприяна Савельича.

— А когда рн будет и сможет принять меня?

— Никогда не будет. Виновата, обмолвилась. Долго его не будет. Машинист он, ну и перевели его в Варшавский округ путей сообщения.

Николай Николаевич ушел.

— Лара! — кликнула Марфа Гавриловна. Лара вернулась в кухню.

— Тебе Пашка сказывал?

— Нет. А что?

Марфа Гавриловна притянула Лару к себе и прерывающимся шепотом сказала:

— За границей Куприпька, пришлось бежать. Плохо б ему было. Предупредили. Учила в епархиальном географию, все, понимаешь, перезабыла. Вроде Кавказа.

— В Швейцарию?

— Как ты говоришь? Во-во.

Лара заплакала от неожиданности. Последнее время она стала очень нервной. Марфа Гавриловна сказала.

— Что ты, дура. Радоваться надо.

К ГЛАВЕ 12

ЧЕРНИЛЬНОЙ БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

Жалость? Чувствительность? — повторял он в мыслях взволнованно и возмущенно. — Почему же не было у него жалости ни к одной из его прошлых жертв, которых так много было в его адвокатской практике». — И он вспомнил Сибирь и позапрошлую зиму. В омском особняке княгини Столбуновой-Энрици было всегда темно и начажено монашками или какими-то другими куреньями. «Венчаться, венчаться, венчаться», — бесстрастным голосом повторяла сухощавая, несмотря на молодость, княгиня, ничего не желавшая слушать, и негромко стучала по столу пальцами в кольцах, так что звенели на запястьях ее браслеты. И плакал маленький Граня, не подозревая, что весь этот переполох с завещательными записями и актами по усыновлению и оформлению незаконной связи поднят и больше года продолжается из-за него. А что мог сделать для них Комаровский, если тогда еще жива была неразведенная жена этого богача и умницы, так трагически кончившего потом на рельсах? Что мог он сделать кроме составления не имеющих силы бумаг для успокоения княгини, как чумы боявшейся слова «сожительница»? И Комаровский сочинял эти документы и с удовлетворением отмечал, как все больше и больше запутываются дела его верителя. А тот это видел, тот догадывался, что Комаровский собирается разбогатеть когда-нибудь на его разорении, но ему было уже все равно, и он даже не сердился на Комаровского и продолжал с ним знаться.

Ему стало все равно с того страшного случая с цыганкой Лушей. Она была ничему не причастна и ни в чем не повинна, между ней и этим сумасбродом никогда ничего не заводилось. Но Комаровский не спешил рассеять недоразумение. Впрочем, кто мог знать, что все кончится так ужасно и муж Луши, хорист Свиридов, окажется таким

ревнивцем? Нет, никого из них не жалел Комаровский, ни эту мечтательницу, как веригами, увешанную драгоценностями, ни беспутного этого добряка-миллионера, ни даже бедную зарезанную — (а какой бессмертный был слух и голос! Существом высшей породы звали они ее, замарашку, не умевшую даже подписаться). Нет, никого, никого не жалел он.

Часть третья

«ЕЛКА У СВЕНТИЦКИХ

ГЛАВЫ 1-2

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ 1

Прошло много лет. Время подошло к следующей разграничительной поре русской жизни, кануну первой мировой войны, весне тысяча девятьсот четырнадцатого года. К этому времени люди, бывшие мальчиками и девочками в предыдущих главах, сложились, стали на ноги, превратились в молодых отцов и матерей.

Когда новоиспеченный врач Первой Екатерининской больницы Юрий Андреевич Живаго, женатый на Антонине Александровне, урожденной Громеко, оглядывался из этого времени назад, задумываясь о происшедшей с ним и его ровесниками перемене, ему казалось, что она совершилась не мало-помалу во все истекшие годы, а без постепенности, сразу, в одни самые последние. У Юры было такое чувство, будто это превращение состоялось в декабре девятьсот десятого года на памятной елке у Свентицких, где на глаза ему снова попалась та девочка из номеров, снова не обратившая на него внимание, и когда она стреляла в адвоката Комаровского, а потом за ним и Тонею приехали из дому и вызвали к больной Анне Ивановне, которой стало хуже и которая скончалась до их приезда от припадка удушья при остром отеке легких.

2

Предрасположение клеточным заболеваниям появилось у Анны Ивановны с пресловутой сборки шкапа. С того знаменитого падения и пошатнулось ее здоровье.

Как-то зимой Александр Александрович подарил ей огромных размеров старинный гардероб черного дерева. Его привезли в разобранном виде, внесли и стали гадать, куда бы его поставить. За недостатком места во всем доме под него опростали площадку внутренней (домовой) лестницы наверху перед входом в хозяйскую спальню.

Собирать гардероб пришел Громековский дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочку Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Она зажала леденец в кулачок и, сопя носом и облизываясь, смотрела издали на отцову работу.

Некоторое время все шло хорошо. Вдруг при наложении верха Анне Ивановне вздумалось помочь Маркелу. Она влезла на высокое дно гардероба. Борта, которые Маркел кое-как стянул веревочкой, разошлись и грохнулись на пол. Эместе с ними упала Анна Ивановна и пребольно расшиблась при падении.

— Эх, матушка-барыня, — приговаривал над ней расчувствовавшийся Маркел, — вы подумайте какой грех. — Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш — это одна видимость в женском смысле слова. Да не реви ты, ирод, ступай, говорю, к мамке, — унимал он плачущую Маринку. — Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов через наши руки прошло в смысле лака или наоборот, какое дерево красное, какое орех. Бывало все в один голос, вся Москва, эх, Маркел Акимович, золотые твои руки, не питейная бы статья, не было бы тебе цены. Или например какие партии в смысле богатых невест прямо, бывало, извините за выражение, так мимо носу и плывут, так и плывут. Ну, теперь осталось дверцы и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он был похож на катафалк или на царскую усыпальницу. Она звала его своей «Аскольдовой могилой».

Под этим Анна Ивановна собственно разумела Олегова коня, вещь, приносящую несчастье. Как женщина, исторически начитанная, но беспорядочно, Анна Ивановна путала смежные понятия.

3

В одиннадцатом году она весь декабрь пролежала в постели. Это, как она считала, не в первый раз уже сказывались последствия ушиба и таинственные действия злополучного шкапа. У Анны Ивановны было воспаление легких.

Юра и Тоня к весне того года должны были кончить университет и курсы, — он — медиком, а она — юридическое отделение.

Юра долго затруднялся выбором факультета. В нем очень сильна была тяга к искусству, к наукам гуманитарного цикла. Юрина душа была как некоторые пригороды. В ней все было сдвинуто и перепутано, все резко и самобытно, — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, свежесть его восприятия была чудовищно велика. Он хорошо думал и очень хорошо писал. Но он считал, что искусство не годится в призвание в том же смысле, как не может быть профессией прирожденная доброта или склонность к меланхолии или веселью.

И не бог весть как любя медицину, он надеялся, что примирит в жизни все влечения и крайности. Пусть будет его век посложней да пореальней. Он желал не водевиля, а драмы в нем. Требующееся самоограничение давалось ему туго. Артистическое начало рассеивало и томило его. Когда на первом курсе он проходил анатомию и гистологию и спускался в подвал анатомического театра, его медицина была скорее парацель-совской, нежели университетской. Там в полутьме мертвецкой светились, как фосфор, совершенной голизной трупы неизвестных, молодые самоубийцы неустановленной личности, хорошо сохранившиеся и еще нетронувшиеся утопленницы. Их разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной какому-то головокружительному прообразу в любом отпечатке и дроблении на любые части. Весною подавленный этим зрелищем Юра сочинял им воображаемые биографии, и роман с какою-нибудь небрежно брошенной на оцинкованный стол русалкою, не ослабевал и не уменьшался, оттого что постепенно превращался в роман с ее отнятою рукой или кистью.

ГЛАВА 7

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

Этот долг не давал Ларе покоя. Никто не напоминал ей о нем. Кологривовы любили ее как родную дочь и не помышляли о расставании с ней в каком бы то ни было будущем. Но именно потому Лара ела себя поедом за просрочку никем не требуемого платежа. В ту зиму, когда она, подобно Тоне Громеко, должна была окончить Высшие женские курсы по филологическому отделению (службу у Кологривовых она успешно совмещала с завершением своего образования), досада на себя за эту проволочку стала у Лары манией, пунктом помешательства.

Липа выросла и больше в учительнице не нуждается, — думала Лара, — и она торчит у них без всякого стыда, точно у Кологривовых богадельня или дом призрения. Надо до конца года оставить их во что бы то ни стало. Но уехать от них, не отдав им деньги и ограничившись обещанием вернуть их впоследствии, равносильно молчаливому их присвоению за здорово живешь, пользуясь их безумным благородством.

И на Рождество, когда эти мысли участились, достигли навязчивой душевной болезни, Лара отважилась на шаг наиболее вынужденный для нее и немилый. После трех ночей бессонницы она решила попросить эту сумму взаймы у Комаровского и стрелять в него, если он обойдется с ней как-нибудь не так или ее унизит. Она приняла это решение в состоянии взвинченности или полувменяемости и в этом состоянии

отправилась вечером двадцать седьмого декабря в Петровские линии. В душе у нее была страшная сумятица. Она шла, ничего кругом не замечая.

Хуже всего, что своими горестями она не могла поделиться с Пашей Антиповым, своим лучшим другом, в котором она к этому времени привыкла видеть своего будущего мужа. Она не могла рассказать ему этого, во-первых, потому, что тайно от Паши тратила часть своего заработка на его сосланного отца и всегда нездоровую мать, а также путем разных хитростей и уловок и на самого Пашу. Во-вторых, Паша любил ее, а главным узлом этих домашних огорчений была ее детская эпопея с Комаровским, которой Паша никоим образом не должен был знать, потому что ее раскрытие убило бы его, как думала Лара.

Паша любил ее до самозабвения, был немного моложе ее и слушался ее беспрекословно. По окончании реального она уговорила его засесть за дополнительную латынь и греческий, чтобы быть принятым в университет филологом. У нее была мечта по сдаче государственных обвенчаться с ним и уехать учителем и учительницей в какой-нибудь губернский город Урала.

По Лариному выбору Паша снимал в Камергерском, недалеко от Художественного театра, комнату в третьем этаже у тихих квартирохозяев.

ГЛАВА 7
БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

Эти деньги не давали Ларе покоя. Родя не возвращал долга, относясь к нему легкомысленно, как к неведомо чьему, никому ничего не стоившему подарку.

Лара двадцать раз за эти два года могла отдать долг из заработанного. Другое обстоятельство мешало ей. Она тайно от Паши помогала его родным и еще более скрытым образом поддерживала его самого без его ведома. Никто у Кологривовых не помнил о долге и не напоминал ей о нем. Служба не мешала Ларе окончить гимназию и записаться на курсы. Служба не мешала ей заниматься на них. Теперь она их кончала.

Липа подросла и любила Лару как сестру. Кологривовы давно зачислили Лару в члены своего семейства. Они и в дальнейшем не мыслили жизни без Лары. Но именно их теплота и благородство превращали мысль о непогашенном долге в какую-то болезнь, в пункт Лариного помешательства. На Рождестве эта мысль достигла у нее степени мании.

«Липочка выросла, я больше не нужна ей, а я тут торчу без зазрения совести как в богадельне. Надо уйти во что бы то ни стало до конца года. Но уйти, не заикнувшись об этих деньгах, немыслимо, а заменить их немедленную отдачу обещанием, что их отдашь потом, равносильно их молчаливому присвоению. Как быть в этом случае? Что за безвыходное положение!»

В терзаниях этой неизвестности, как в бреду, отважилась она на шаг, наиболее для нее тяжелый и неприемлемый. После трех ночей бессонного обмозговывания Лара пришла к выводу, что с Кологривовыми надо расстаться на этой же неделе, расплатившись с ними полностью, а деньги эти попросить взаймы у Комаровского. Он по понятиям Лары был единственный, кто после всего случившегося должен был дать их ей без дальних слов и как бы то ни было порочащих ее осложнений. И ведь он отчасти сам был виноват в растрате Роди, потому что развращал мальчика своим примером и потакательством его шалостям.

И в нервном возбуждении, охватившем ее после прихода к этому решению, Лара на третий день Рождества отправилась в Петровские линии просить у Комаровского помощи, с намерением стрелять в него, если по старой привычке он попутно посмеется над ней или ее как-нибудь унизит. С этою целью, выходя из дому, она положила в

муфту заряженный Родин револьвер на опущенном предохранителе. Она умела обращаться с ним и, как все у Кологривовых, хорошо стреляла.

В душе у нее была страшная сумятица. Она шла по улице, ничего кругом не замечая. Хуже всего, что ей некому было открыться, чтобы отвести душу. Паша, самый близкий ей человек, был одной из главных причин ее вынужденных тайн, и ему нельзя было ничего рассказывать. <...>

Он безропотно мирился с ее заботами и слушался ее беспрекословно, потому что был моложе ее и из более простой среды. По окончании реального она сняла ему эту комнату в одном из новых домов по Камергерскому близ Художественного театра и усадила за латынь и греческий, чтобы он мог поступить в университет и кончить его филологом. Паша не мог думать о будущей жизни с Ларой здраво и просто, как нельзя думать о вечной жизни в прозаических подробностях, у Лары же по этому поводу были определенные практические пожелания. Она мечтала по сдаче государственных, которые предстояли им в этом году в одно время, обвенчаться с Пашею и не медля ни минуты уехать учителем и учительницей куда-нибудь в провинцию, лучше всего в две какие-нибудь губернские казенные гимназии, мужскую и женскую, на Урале.

Но главным образом нельзя было говорить Паше про эти деньги потому, что теперь Лара вводила в связь с этими угнетающими частностями Комаровского. Паша слышал о нем и даже знал его издали, питая к нему непреодолимое отвращение. Лара надеялась когда-нибудь в будущем, в ходе супружеской жизни с Пашею и безболезненной постепенности, открыть ему всю горькую подноготную своей детской эпопеи с этим человеком. Но Паша слишком любил ее, чтобы можно было сейчас делать ему такое сообщение. Лара опасалась, что оно убило бы его.

И хотя ее путь в Петровские линии лежал по Камергерскому и соблазн подняться в знакомую комнату и молча выплакаться без объяснений (Паша не стал бы приставать с расспросами) был неотразимо велик, она победила искушение и почти плача и не глядя в ту сторону прошла вниз к Кузнецкому.

К ГЛАВЕ 15

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был еще совсем маленьким. Тогда все было по-другому.

Юра до сих пор помнил свой безутешный рев, свой ужас, трепет и ослепление. Кругом был [еще] густой дремучий мир, до невозможности настоящий, и в Юре были еще свежи остатки его прежней младенческой веры. По этой полузвериной вере черно-синее холодное небо с ночными звездами, боженькой и святыми как бы нагнули низко-низко макушкой к нему и нянюшке в детскую, словно в таз с позолотой. Оно окунулось в огонь и золото, и звезды стали лампадками, боженька батюшкой, а холодная ночная синь горячею октавой дракона.

Тогда главное было в том, что окружало Юру снаружи, в облаках, извозчиках и вывесках, а теперь в самом Юре. Главное было теперь в нем. Он был центром всего, во все вдумывался, требуя смысла от всего, что притязало на существование, и, если не находил его, во всем сомневался. На панихидах, на которых по слову службы стояло «надгробное рыдание творяще песнь алилуйа», Юра резко и упоенно сознавал свое настоящее совершеннолетие. Совершеннолетие это он ощущал в виде сверстничества со всем, что делалось на свете, со всей остальною жизнью. Он чувствовал себя на равной ноге и как бы в одном возрасте с ней. Вот он вырос и призван на извечный спор богов и божественных истин и сил, вращающих огромный ворот вселенной... В этом, наверное, и заключается та «нестареемая» и «бесконечная» жизнь, о которой поет и молит панихида, — думал он.

[Шура Шлезингер не сводила глаз с Юриного лица. Читая на нем борьбу сменяющихся в нем мыслей, она ложно истолковывала его мимику. Каждый раз она опасалась, что он заметил какую-нибудь неправильность в службе, приеме соболезнующих или церемониале, критическим оком все проверяла и, не найдя недочетов, пожимала плечами и глазами вопрошала Юру, чем он не доволен].

ГЛАВА 16

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Что это? Где он?

Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился не раздеваясь на диван в углу библиотеки. Наверное у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадывается, что он спит не проспится в глухом закоулке между двумя рядами книжных полок.

«Юра, Юра», — кричат где-то рядом. Это ищет его дворник Маркел. Все эти дни он пьян и все время плачет, а теперь подымает шум и кутерьму по другому поводу. Начался вынос, надо тащить вниз венки из спальни, где складывали часть их, и притом самые крупные, а ему по несчастной случайности закрыт из нее выход. В дверь спальни снаружи уперлась приотворившаяся дверца Аскольдовой могилы, проклятого гардероба, с которого начались все горести, и не дает двери открыться.

— Маркел, Маркел! — Юра! — зовут их снизу.

Маркел колотит дверью комнаты в дверцу шкапа, пока не проваливает ее внутрь, и бегом в несколько приемов сносит венки вниз по лестнице.

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный», — тихим веянием протягивается у подъезда по переулку и все качается: венки и встречные, головы лошадей в попонах, зимняя белая земля под ногами.

— Юра! Боже, наконец-то. Проснись, — трясет его за плечи Шура Шлезингер. — Что с тобой. Выносят. Ты с нами?

— Ну конечно.

ГЛАВА 17

КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

Отпевание кончилось. Нищие встрепенулись и теснее сдвинулись двумя рядами на тротуаре. Колыхнулись и переместились похоронные дроги, одноколка с венками, карета Крюге-ров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер, окинула цепь саней испытующим взором, кивком подозвала служителя и возницу с катафалка и скрылась с ними. Стало выходить все больше и больше народу.

— Вот и Анна Ивановна, бедная — кто б мог подумать. А я еще собиралась завтра их поздравить. То есть как это с чем? Завтра Новый год. Забыли? Помилуйте! Вы на своих или на извозчике?

В этот день отдало после сильных морозов. Был темный, серебряный с чернью, неподвижный день, как бы самой природой предназначенный для погребения. [Двигались медленно, говорили медленно, день начался Бог знает когда и ему не было окончания].

Это было на том кладбище, где покоился прах Юриной мамы. Юра давно не был на ее могиле. «Мама»,— прошептал он издали почти детскими губами того времени, не своими нынешними, и решил на обратном пути пройти на могилу.

Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным снежным дорожкам, следуя их извивам и поворотам. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними шли Крюгеры. Тоне очень шел траур.

Юра заглянул на монастырские задворки, на которых он тогда наблюдал вьюгу. Он тут ничего не узнал. От стены к стене были протянуты веревки и на них синело развешенное стираное белье, кривые покоробленные простыни, скатерть персикового цвета, набрякшие рубашки с оттопыренными рукавами.

Как вода заливает впадину, так Юре в ответ [на горе, в ответ на слезы, в ответ] на образовавшуюся щель в семье хотелось обратиться к чему-нибудь зиждительному, лепить, производить красоту, делать жизнь. Он шел один в стороне и ему было ясно как простая гамма, что искусство всегда занято двумя вещами. Оно неотступно думает о смерти и неотступно творит жизнь. [Но какое искусство!] Большое, истинное, то искусство, которое называется откровением Иоанна и то, которое его дописывает.

Юре с настойчивостью вожделения хотелось запереться дня на два, на три, никого не пускать к себе и думать, думать, и в заупокойные строки по Анне Ивановне вместить все, что подвернется [под руку], свое собственное сердце [из груди] и пушистый иней на монастырских крестах, и белье, развешенное на том месте, где он плакал маленьким.

Часть четвертая

«НАЗРЕВШИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ»

НАЧАЛО ГЛАВЫ 1 ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ГОДЫ В ПРОМЕЖУТКЕ», ПО КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

Вечер в городе был как уличное происшествие. Закат зажигал наудачу то крыло катящегося экипажа, то чье-нибудь окно, то какого-нибудь прохожего.

Все смотрели в ту сторону, как глазеют на какой-нибудь скандал или на поливку улицы. Было довольно душно. Окна в городе были открыты.

Три окончивших курсистки, в их числе Лара, возвращались домой с последнего экзамена, зашли в кондитерскую, накупили всякой всячины и теперь шли, уплетая ее на ходу. Они перекидывались шутками и громко хохотали и, давясь смехом и пирожками, чувствовали себя самыми счастливыми и усталыми людьми на свете. У Арбатских ворот они разошлись. Лара бульварами пошла домой на Рождественку.

И так вот он наконец, тот долгожданный, долгожданный день. Она кончила и теперь сама себе голова и вольная птица. И все позади. И этот страшный год, самый страшный из всех.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВЫХ ГЛАВ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ГОДЫ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ И ВСТРЕЧИ НА ВОЙНЕ», ПО БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

1

Лару из зала перенесли в спальню на широкую кровать Фе-лицаты Семеновны. Вокруг нее хлопотали хозяева, Жорж, возвращенный сюда доктор Дроков (он был на елке, но рано уехал)

и Виктор Ипполитович. Только в этом конце квартиры продолжалось движение, не тушили света и не ложились спать, остальная часть дома тонула в тишине и мраке.

Анфилада этих комнат, видная из конца в конец через удаляющийся ряд растворенных дверей, только в одном месте была освещена тусклою стенною лампой, горевшею как раз в середине этого ряда над двумя желтыми креслами в маленькой проходной гостиной. В столовой стоял стол с нетронутым угощением и зеленые бокалы вздрагивали с благозвучным звоном, когда по улице проезжала карета или когда мимо них по скатерти прошмыгивал мышонок. В зале елка посверкивала серебряными цепями и бусами и роняла дождь осыпающихся игл. Во всех комнатах ковры были усеяны обрывками хлопушек и апельсинной) коркой. Их уборку отложили до завтрашнего дня.

Несмотря на ночное время, весть о Ларином выстреле быстро облетела всех, кто ее видел сегодня нервничающею и взволнованной, Кологривовых, Пашу. Каждую минуту в спальню сообщали о ком-нибудь от них или из них. О Ларе справлялись, требовали доступа к ней, предлагали свою помощь. Так как она часто теряла сознание и ввиду других веских соображений всем отвечали отказом. Два раза являлись из полиции, в первый раз для составления протокола, во второй, чтобы задержать Лару. Объясняться выходил Комаровский на кухню. Все улаживалось.

Замечательно, именно эти сведения, сообщаемые горнич-ною вполголоса и прямо касавшиеся Лары, выводили ее из беспамятства и оцепенения, которых не пронимали колющие волны нашатыря. Лара открывала глаза, и из ее торопливого полубредового шепота уяснялись ее страхи и желания.

— Меня? За мной? — спрашивала она, встрепенувшись и ловя кого-нибудь, кто стоял всего ближе к постели, за руки. — Очень кстати. Сейчас поедем. Шубу и калоши, пожалуйста. Из передней. Я не помню, где я раздевалась. Только не сразу в предварительное, а сначала, если можно, в тюремную больницу. Видите, — жар. Что это со мной? Я, кажется, больна.

Лара и Комаровский не сказали в эти тревожные часы друг другу ничего лишнего. Он не взывал к ней с ложной торжественностью, не восклицал «За что?», имея в виду ее неудавшееся желание убить его. Она не просила у него по этому поводу прощения. Не существо их отношений, а их теснота, все равно, его ли влечения или ее отталкивания, их принадлежность к одной судьбе опять на время выступили наружу, молчаливо заставляя расступаться других и втягивая их самих в свой немногословный и нешуточный круг.

Комаровский обещал на другой день выхлопотать Амалии Карловне разрешение взять дочь на поруки. Лара не желала об этом слышать. Не было людей более далеких ей, чем мать и брат. Возвращаться к Кологривовым или поселяться у Паши Антипова Лара не хотела, потому что чересчур любила их и высоко ставила и не желала марать их и впутывать в свою хлопотливую и скандальную, как она думала, участь.

Рассвело. День пробился узкими, перемещающимися лучами из-под тяжелых спущенных до полу гардин. И еще горела тусклая лампа над двумя креслами с желтой шелковой обивкой. Утро расхаживало по этой части дома как аукционный оценщик перед торгами, заглядывало под диваны, перебирало бахрому ковров, трогало спинки кресел, рассматривало товар с лица и изнанки.

Утром Комаровский съездил на Арбат к знакомой, Руфине Онисимовне Войт-Войтковской. Муж ее, известный социал-демократ, скрывался за границей. Руфина Онисимовна, юристка по образованию, секретарствовала в ученом журнале, переводила с иностранных языков и сдавала внаймы одну комнату в своей слишком для нее теперь поместительной квартире. Виктор Ипполитович знал, что комната недавно освободилась, и уговорил Руфину Онисимовну сдать ее для Лары.

По переезде на новое место у Лары, как определил накануне доктор Дроков, открылась нервная горячка. Лара пролежала в ней весь январь. С середины февраля она стала быстро поправляться.

2

И вот прошло четыре месяца, в продолжение которых Лара болела и выздоравливала, порывала и мирилась с Пашей Антипо-вым, готовилась к выпускным экзаменам на курсах и их сдавала. Тем временем Руфина Онисимовна, невзлюбившая ее, выражала ей свое презрение повышенным оживлением, хлопала дверьми, громко напевала, вихрем носясь по своей половине, целыми днями проветривала комнаты и, стараясь задеть Лару своей пренебрежительной жизнерадостностью, искала способа, как бы ее выжить. Между тем Корнаков возбуждал против Лары судебное

преследование, а Комаровский предоставлял суду показания свидетелей, что Лариной мишенью был совсем не Корнаков, а он сам, и с помощью заключений психиатрической экспертизы о невменяемости обвиняемой в момент покушения добивался прекращения дела.

В то же самое время, начиная с солнцеворота вплоть до равноденствия, во всех окнах квартиры, как это всегда бывает в верхних этажах, располагалось широкое, как вскрывшаяся река, светом и далью наводненное небо, полное первых признаков приближающейся весны, знаменательной весны будущих Лариных радостей и удач, ее выздоровления и блестяще сданных ею государственных экзаменов, ее свадьбы и ее отъезда с Пашею Антиповым на Урал в Юрятин.

Но теперь, пока приходили эти неведомые предвестия (кто мог знать, что за ними последует?), они заставали Лару в постели, в спячке сонного транса или в состоянии бредового психоза самобичевания, в котором она взводила на себя небылицы, подсказанные галлюцинациями.

Теплый ветер с юга заносил в растворенные форточки сонный говорок дворов. Пели петухи, голосили коты на крышах, и то в одном месте, то в другом на краю города ревели белугой паровозы.

Эта музыка земли и улицы переносила Лару к первому далекому вечеру их приезда в Москву, когда Виктор Ипполитович вез их на ночлег куда-то в неизвестность по незнакомым улицам незнакомого города. Лара мелочь за мелочью восстанавливала в памяти эти далекие впечатления, и слезы издерганной чувствительности неощутимыми ручьями текли у нее по щекам. Она не сознавала их и не утирала.

Они ехали в пролетке с вокзала полутемными переулками через всю Москву. Тень горбящегося извозчика, отбрасываемая приближающимися и удаляющимися фонарями, постепенно росла, росла, наезжала на стены домов и накрывала крыши и потом, достигнув гигантских размеров, бесследно исчезала. И все начиналось с теми же чередованиями сначала.

А когда они пересекали людные, освещенные улицы, Ларе казалось, что наверху и внизу все сплошь одни приведенные в движение колокола и все гудит и издает певучий звон. Отчасти это относилось к действительному трезвону всех, благовестивших в этот час московских сорока сороков и к неистовому вызваниванию конок с империалами и медными колокольцами, катившимися в ту и другую сторону по улицам. Но непонятным образом это относилось также к огням на улице и попадавшим в их освещенный круг прохожим, к рожкам газовых фонарей и плошкам с колеблющимся пламенем огарков, к изображениям бокалов и словам «колониальная торговля» на вывесках и стеклянным банкам с цветными кристаллами лимонной и черносмородинной карамели на их выставках. Это зрелище тоже производило на Лару впечатление колокольного гула, и Лара ехала со звоном в ушах от увиденного, со слухом, оглушенным праздничной иллюминацией.

А потом в номере, куда их привез Виктор Ипполитович, почему-то в память ей врезался диковинных размеров и очень дорогой астраханский арбуз. Он был куплен как раз в одной из таких освещенных лавок, мимо которых они проезжали. Арбуз пугал Лару, потому что в нем ей чудилась эмблема властности Виктора Ипполитовича и его богатства. И действительно, он в высшей степени искусно вспорол арбуз, развалив надвое его сахаристо хряснувшую, ледяную и душистую сердцевину. От волнения куски арбуза становились у Лары поперек горла, но из того же страха она не осмеливалась отказаться и глотала их, давясь слезами и улыбаясь.

Но теперь Виктор Ипполитович был неузнаваем. Теперь он именно с тем рыцарским бескорыстием относился к ней, на которое она рассчитывала, когда шла повидать его по делу на эту злосчастную елку.

Он всегда, конечно, понимал, что он сделал с этой девушкой, но его стыд и жалость тех дней оставались без последствий, потому что принадлежали к разряду тех старозаветных чувств, которые самым томлением своим приятно бередят душу. А теперь он увидел, что представления и чувства, сосредоточивавшиеся когда-то вокруг убежищ святой Магдалины и их кающихся призреваемых, стали давным-давно ничего не значащей чепухой и что дело совсем не в этом. Но дело в том, — понял он, — что начало той жизни, которую Лара получила при рождении в свое полное распоряжение, она по его вине прожила по-чужому, не по-своему. Между тем начало жизни настолько важная пора, что теперь Ларе должно казаться, будто она потеряла без смысла не часть своей жизни, а всю ее.

Комаровскому стало ясно, что годы Лариных трудов у Кологривовых, ее метания, академическая твердыня курсов, которую она неутомимо штурмует, и ее выстрел и ее душевная болезнь — это одно нечеловеческое усилие родить себя снова на свет, вторично взять жизнь в свои руки и на этот раз уберечь ее и ею не швыряться.

И, добровольно устранившись от каких-либо притязаний на ее счет, он решил всеми силами поддержать ее в этих шагах к задуманному обновлению. Не сознание своей виновности согнуло его перед ней, но он склонился перед Лариной нравственной новизной, попутно открывши, что за истекшее десятилетие переменилось все вокруг, — не те теперь слова, не тот воздух, не те грехи и добродетели, не те дела и люди.

3

Паша Антипов, или «студент Антипов», как значился он в университете, был на виду у товарищей и на хорошем счету у профессоров. Вдруг ни с того ни с сего он с середины выпускного года забросил занятия. Не вдаваясь в причины этой перемены, товарищи, среди которых он слыл до сих пор «красной девицей», научили пить его.

Антипов с понятным потрясением переносил все случившееся. Лара по неизвестной ему причине навела оружие на человека, который по всем Пашиным понятиям должен был бы быть безразличным ей, а потом та же неведомая причина бросила ее в руки того, в кого она целилась. Теперь ее здоровье было в опасности. Чужие окружали ее. Пашу не пускали к ней. Все в нем страдало, все было задето, его доверие и привязанность к ней, его глубоко запрятанное, им самим несознаваемое самолюбие.

Когда Лара начала выздоравливать, она его вызвала. Пошли бурные и тяжелые объяснения. Лара убеждала его порвать с ней. Она говорила:

— Я плохая. Ты не знаешь, я когда-нибудь расскажу тебе. Хотя сейчас я ни в чем не виновата и моя совесть чиста перед тобой, но дело не в этом. Мои осложнения в жизни никогда не кончатся и всегда будут обостряться. А они не вяжутся с твоей цельностью и нравственной чистотой. Я должна снять с тебя это унизительное бремя. Оставь и забудь меня.

Паша уходил от Лары заплаканный. Когда он в таком виде попадался на глаза Войтковской (она его и Комаровского именовала «жиличкиными поклонниками»), Войтковская презрительно поджимала губы и, быстро пройдя к себе, принималась громко разговаривать с собой и хохотать.

Паша не верил ни одному из Лариных самооговоров, но каждый из ее обиняков наводил его на еще худшие подозрения. Он ревновал Лару ко всему на свете: не только к ее прошлому и ее снам и мыслям, но к ее самостоятельному существованию и к ее болезни, сидящей в самой Ларе, более близко связанной с ней, чем он, и потому как бы его сопернице.

Лара видела, что ее уговоры не помогают, и, чтобы добиться цели, солгала Паше, что она по собственной воле против брака с ним, что она его не любит. Паша был раздавлен, ушел ничего не сказавши ей и больше не показывался. Прошло несколько

дней. Посыпались письма от него, одно другого безумнее. Хотя в них ни одной строчкой не говорилось о самоубийстве, все они дышали этою близкою угрозой. Лара написала ему, чтобы он выкинул из головы эти глупости и ради нее сохранил себя до более хороших дней. Она просила его потерпеть до лета и, назначая ему свидание на Петра и Павла, обещала, что в день его именин они вновь все обсудят и, может быть, еще все наладится. Но для этого она ставила условием, чтобы он взялся за ум, хорошо подготовился к государственным и успешно сдал их, потому что в противном случае все расстроится, она не пойдет за неуча.

Письмо Лары подействовало окрыляюще на Антипова. Он с головой ушел в работу.

Ларе тоже хотелось отгородиться ото всего на свете и, обложившись книгами, приняться за предэкзаменационное повторение перезабытого и прохождение пропущенного. Но у Войтковской это не удавалось. Недоброжелательство квартирной хозяйки проникало сквозь стены и лишало Лару необходимого покоя. У нее стала мелькать мысль о перемене комнаты. В разгар ее занятий Виктор Ипполитович подыскал ей по газетной публикации своеобразное пристанище недалеко от ее нынешнего, в районе Смоленского рынка.

Это был род однокомнатной квартиры, мастерская художника, удобно им оборудованная наверху двухэтажного каменного дома старой стройки. За выездом в далекое путешествие художник сдавал помещение вместе с прилегающею к нему кухнею, спаленкой, прочими подсобными закоулками и всею обстановкой.

Лара ничего не переставляла у художника и даже не имела времени толком приглядеться к меблировке, так поглощена она была подготовкой к испытаниям. Едва разложив вещи, она тотчас же засела за зубрежку, и недолгие месяцы, которые она тут провела, пролетели еще того незаметнее вследствие ее учебной горячки.

Ее широкое окно выходило на обширный, мощенный булыжником двор с конюшнями и амбарами торговых складов. В доме жили ломовые извощики и конский барышник. Двор был постоянно покрыт рассыпанным овсом и сеном. По двору рассудительною воркующею стаей похаживали голуби и также дружно взлетали на крышу, когда из-под порога запертого сарая табунком пробегали к лужам под конской водопойною колодой крысы.

Неудобством помещения был избыток солнца в мастерской, отчего весною и летом, несмотря на затеняющий потолочный тент, бывало жарко. В комнате было светло, как в стеклянной теплице цветочной лавки. По случайности излишек света не прекращался и ночью. На дворе как раз против Лариного окна стоял фонарь на столбе и пялил свои резкие лучи сквозь узкий просвет между расходящимися занавесками.

4

Был конец жаркого летнего дня и, наверное, канун какого-то большого праздника, потому что звонили в церквах и было многолюдно в лавках. Малые из мясных и булочных поливали тротуары перед своими порогами кружками из ведер, зеленщики кропили мокрыми веничками сомлевшую ботву, разложенную на лотках у спуска в их овощные погребки. В дальнем конце улицы, перед тем как зайти, низко висело кирпичного цвета апоплексическое солнце, осматриваясь и как бы обдумывая, где бы ему сесть поудобнее, как роет лапками ямку несущаяся наседка, перед тем как опуститься на теплую разрыхленную землю. А в противоположном конце в столбах оранжевой пыли бронзовый закат зажигал наудачу то кожаное крыло катящейся коляски, то чьи-нибудь глаза или смуглое лицо, то внутренность чьей-нибудь комнаты с бордовыми или кофейными обоями где-нибудь высоко под крышей.

Три окончившие курсистки, Лара, Ира Лагодина и Туся Чепурко, шли по улице, возвращаясь из канцелярии курсов, куда они ходили за своими письменными работами и бумагами. В их школьных сумках лежали выпускные свидетельства. Они были по-

мальчишески веселы, зашли в кондитерскую, накупили кренделей, слоеных пирожков и всякой всячины, и теперь шагали по улице, чавкая на ходу и громко переговариваясь, и хохотали до слез и друг от друга отмахивались, поперхнувшись жирными крошками сухого хвороста.

Опять, как давно когда-то, зрительный калейдоскоп жизни, двигавшейся под предпраздничный трезвон, оглушал, а не ослеплял Лару. Но какая это была разница! Тогда эта музыка города зачаровывала ее тем, что пугала и порабощала. А теперь Лара шла победительницей, выигравшей житейское состязание со страшной и таинственной столицей. В звонком гуле уличного движения Ларе слышался тот же мальчишеский задор, который ликовал сейчас в ее душе. И хрустя витым и пригорелым дном плюшки с тающей облупливающей глазурью, она, как таким же лакомством, упивалась бешеным потоком звуков и красок, который несся по улице, словно вместе с садящимся солнцем и звоном к вечерне этот дождь жизни сыпали с крыш и колоколен, как из рога изобилия.

— Ну так только на минуту, — сказала она подругам на углу, где их пути расходились. — Переоденетесь, и сейчас же ко мне.

Когда Лара осталась одна, она мгновенно сообразила, зачем звонят и по какому случаю такое оживление в магазинах. «Ну как же! Ведь завтра Петров день и, чуть не забыла, Паша именинник». И в следующую же минуту она вспомнила, как зимою она уславливалась поговорить с ним именно в этот день об их общей будущей участи.

Теперь все это было лишнее. Разрывы, трагедии, гадания насчет будущего, — все это было позади. И за плечами были бессонные ночи разучивания бесконечной программы, волнения перед столом комиссии, билеты, всегда предательски лежащие не так, как их хотелось бы вынуть, каверзные вопросы экзаменаторов, не предусмотренные курсом.

Оба они кончили с дипломом первой степени, оба теперь вольные птицы, и Лара — жена Паши и носит его фамилию. Сегодня дома она прощается с друзьями, школьными товарками, московскими воспоминаниями и со всей Москвой. Сегодня у нее на Смоленском друзья устраивают ей проводы, а завтра с Казанского вокзала (хотя знакомые установили наверняка, что с Казанского, но надо бы еще проверить, не с Рязанского ли) — а завтра с Казанского они с Пашей уезжают на два месяца отдыха и потом на службу, уже обеспеченную им, в Ларин родной город на Урале.

Но чего все это Ларе стоило, их совместное окончание учения в дни как раз разыгравшихся Пашиных страстей!

Паша подобно Иванову Павлу в оперетте, как раз тогда дававшейся, не хотел учиться, а хотел жениться, и все торопил Лару со свадьбою. У них даже одно время было в проекте венчаться на Красную горку, но согласие на это Лара дала, только чтобы отвязаться, и с приближением срока свадьбу отложили до конца экзаменационной сессии, когда остаются последние экзамены, самые легкие, все решающее уже определилось, и профессора, торопящиеся на дачу, спрашивают спустя рукава.

Они венчались в Духов день, на второй день Троицы. Под жарким солнцем почти до золотого блеска горел свежий песок на бульварах и везде, где им было посыпано для пущей торжественности и ради праздника, и в глазах рябило от его летней предобеденной желтизны. Кроме их свадьбы в этот день совершались и другие, но все же не в таком множестве, как думалось Ларе, которой все раскрасневшиеся девушки в светлом казались невестами в подвенечном и все напомаженные молодые люди и приказчики с каплями пота на лице представлялись шаферами и женихами и у которой от духоты, волнения и от тройного хмеля — влюбленного, взволнованно-благочестивого и водочного немного кружилась голова и стиралась грань между флер-

доранжем на кушаках и в прическах венчающихся и живыми цветами и наколками в волосах гуляющих и искусственными цветами и ветками березы по бокам папертей и на церковных оградах с вянущею и свернувшеюся со вчерашнего дня листвой.

5

Пройдя в ворота своего дома, Лара по дороге зашла в дворницкую за веревками для увязки отправляемых вещей и багажною корзиной, которую она утром отдала дворнику в починку. Дворничиха сказала, что муж ушел, а корзина и веревки давно у Лары на квартире. Лара расплатилась с дворничихой и, подымаясь к себе наверх, через открытые окна слышала гудение, смех и говор собравшихся.

Как она рассчитывала и как было уговорено, у нее уже было много народу. Кроме подруг, с которыми она недавно рассталась, и двух-трех опоздавших все были в сборе. Стол был накрыт общими усилиями Лариной матери и свекрови, Дарьи Парфениевны.

Лара обошла всех гостей. С одними она поздоровалась, с большинством перецеловалась и ушла за перегородку умыться и переодеться, сказав, что это займет не больше минуты, и попросив всех садиться за стол и приниматься за еду.

За перегородкой по углам и куточкам, служившим для разных житейских надобностей, стояли большой ящик с наваленной в беспорядке и тонущей в сене кухонной утварью, чемодан с разогнутыми надвое отделениями и две открытые корзины с неокончательно и не доверху уложенным бельем.

Хотя половина пожитков была упакована, а главное, Ларе не приходилось задумываться о судьбе остающегося имущества, перемешанного с собственностью художника, потому что в очищаемом ею помещении, за которое было уплачено за полгода вперед, она поселила Тусю Чепурко, а о дальнейшем должен был позаботиться Комаровский, Лара поглощена была заботами о завтрашней поездке и так далеко заехала в мыслях, что в душе давно наверное прибыла на конечную станцию назначения. И утирая лицо и руки, она в задумчивости останавливалась над корзинами и, присев перед ними на корточки, быстро перекладывала что-нибудь из одной в другую.

Когда она вышла к гостям в надетом на завтра дорожном платье с ременной сумкою через плечо, все зааплодировали, закричали «ура» и стали поздравлять ее со всеми ее победами, — замужеством, окончанием учения и предстоящим путешествием. Некоторые даже крикнули «горько», как кричали это тут на свадьбе ровно месяц тому назад.

Лара медленно поцеловала Пашу, посмотрела глубоко и серьезно ему в глаза и заняла место рядом с ним в начале стола.

— Мне хорошо. Я счастлива. А ты доволен? — негромко спросила она его.

-Да.

— Ты не можешь себе представить, как я устала. Пирушка началась. К блюдам с кушаньями и закусками

потянулись вооруженные вилками руки. Все старались перекричать друг друга, поднимали рюмки, крякали после их осушения и наперебой острили.

Понемногу гости пьянели. В комнате стоял содом. Лара была тоже возбуждена. Она много пила и говорила. Но в апогее какого-нибудь спора она вдруг вспоминала про что-то, поднималась из-за стола и, достав в углу комнаты с полки какую-нибудь хозяйственную мелочь, зеркальце или какую-нибудь бьющуюся безделушку, уходила за перегородку запихивать ее в корзину между двумя рядами высоко наложенного белья.

Сквозь полуоткрытую дверь она слышала колкости, которые, не выпуская до конца когтей и в безобиднейшей форме говорили друг другу далекая ей мать и еще более неприятная Дарья Парфениевна. Из-за стены пьянство в соседней комнате, несмотря на

собственное опьянение Лары, получало налет выпукло-нелепого зрелища. Казалось, выпившие намеренно балаганят, разыгрывая шутов и изображая пьяных. Все эти взаимные уверенья в дружбе, упрашивания выпить еще по одной или наоборот, просьбы больше не пить во имя супружеского единения казались сценами из водевиля, исполняемыми плохими любителями.

Лара слушала это и совала тяжелую неразвинченную мясорубку в ящик с посудою. Она пробовала поместить ее в один из углов ящика и чуть не занозила себе при этом руку. У Лары шумело в голове и путались представления о времени. Было наверное уже очень поздно, потому что наруже совершенно рассвело. Отведя занавеску, Лара выглянула за окно. Кругом не было ни души. Город в этот час казался вымершим, безлюдным. По двору с громким припаданием на связанные передние ноги переступала стреноженная лошадь. Она неведомо откуда взялась, как видно, забредя во двор по ошибке. Лара закрыла глаза. Это хромоногое неритмичное пристукиванье переносило куда-то в провинцию или деревню.

Вдруг с лестницы позвонили и несколько человек пошли отпирать. В дверь вошла свежая, трезвая, красивая Надя Коло-гривова. Она была прямо с вокзала и только что приехала из Дуплянки с поздравлениями, поклонами и подарками. Лара с криком бросилась ей на шею. Обе минут десять стояли, целуя и обнимая друг друга, и только ревели и не могли сказать ни слова.

Надя привезла Ларе в подарок от своих драгоценное ожерелье удивительной красоты. Оно, как говорила Надя, было из желтых сапфиров, но какой-то знаток из гостей утверждал, что это розовый гиацинт. Лара не могла на него налюбоваться. Она пересыпала камни колье из ладони в ладонь, а потом положила его вольно скользнувшею горсточкой на фиолетовый бархат раскрытого футляра. Футляр стоял перед ее прибором, и, угощая Надю и слушая ее рассказы о родителях, Дуплянке и о раннем браке Липочки, Лара смотрела не отрываясь на дивные камни, похожие на мелкий виноград, когда он от сладости и солнечного загара впадает из желтизны в золотую бурость.

Лара быстро напоила Надю. Гомон в столовой был на спаде и все больше шел на убыль. Большинство гостей ушло. Кое-кому предложили остаться ночевать. Впрочем, многие, не спросивши разрешения, уже храпели по углам вповалку. В конце концов все кое-как устроились. Через некоторое время дом представлял собою сонное царство.

Лара не могла знать, сколько она перед этим спала, может, миг, может, час или больше, но вдруг она встрепенулась и открыла глаза. Наверное ее разбудили голоса людей, пришедших во двор за лошадью. Они с кем-то ругались и так громко, словно за окном была буря с сильным ветром и заглушала их.

У Лары в комнате стоял разноголосый храп, и только какой-то гость-непоседа все не мог успокоиться, верстой торчал посреди комнаты и зачем-то нагибался и все что-то складывал. Лара готова была закрыть глаза и снова заснуть, как вдруг этот человек повернулся в ее сторону. Лара увидала его шрам через все лицо и, совершенно очнувшись, поняла, что это не гость, а забравшийся к ней злоумышленник, который копается в ее уложенных вещах и расстраивает ей всю сделанную ею работу.

И в следующую минуту она с еще большею ясностью установила, что этот вор тащит у нее какую-то глупую ерунду и еще не заметил валяющейся на столе среди крошек и объедков драгоценности. Лара хотела вскрикнуть, но увидала, что не может, — онемела. Тогда она с силою толкнула спавшую рядом с ней на диване Иру Лагодину коленом в живот, так что та заорала сквозь сон от испуга и боли. Тут и Лара закричала что было мочи. Подхватив готовый узелок, вор кинулся к двери. Лара закричала еще сильнее и стала будить мужчин. Кое-кто повскакал. Начался переполох. В ловле вора приняли участие и люди за окном, пришедшие за лошадью. Но он либо успел улизнуть,

либо где-нибудь засел, притаившись до более удобной минуты. Пошли на чердак и обыскали лестницу и подвал, но розыски ничего не дали.

Хотя все разгулялись, ранний час позволял поспать еще немного, и, снова чуть-чуть выпив и подкрепившись, завалились досыпать недосланное.

Когда после этого Лара проснулась во второй раз, она в первые минуты ничего не помнила и не понимала. Где-то тикали ее часы. Ларе захотелось посмотреть время, но она не нашла их на обычном месте. Она стала поворачивать голову в направлении тиканья, чтобы отыскать будильник, но заметила, что это ворочанье головы вызывает у нее головокружение. Тогда она поняла, что она пила, вспомнила, что им сегодня ехать и пора вставать и приниматься за сборы, и лишь только это сообразила, как хмель ее точно рукой сняло.

Она мгновенно встала, разбудила спящих, наскоро напоила их кофе и, разогнав по домам, с ясною головой, свежею энергией и лихорадочной торопливостью стала укладываться вместе с Пашею.

Они не опоздали. За час до отъезда на вокзал все было у них готово. С половиною ночевавших у них они потом встретились на вокзале.

6

Первый год войны прошел. Стояла и отходила вторая военная осень. Миновали и стали преданием дни и месяцы, в течение которых брали Галицию и оставляли ее.

Восьмая армия Брусилова, укрепившаяся в Карпатах, готова была ринуться в глубину Венгрии, но бросала свои места, оттягиваемая назад общим отступлением. Ее командующий был единственным на этой войне человеком, который вел ее обдуманно, с сознанием намеченной цели и желаемого исхода. Но долг субординации заставлял его жертвовать достигнутыми успехами и собственными идеями дальнейшей борьбы и ее выигрыша соображениям высочайшего командования, трагический конец которых он предвидел.

Летом выяснилось, что истрачены без остатка все военные запасы: вооружение, продовольствие, перевязочные средства и средства перевозки, живые силы и огнестрельные снаряды. Наступило вынужденное затишье. Спешно занялись восстановлением израсходованного и комплектованием армий.

Госпитали в Москве были забиты ранеными. После Луц-кой операции их наплыв еще больше увеличился. Переполнение городских больниц отзывалось даже на состоянии женских отделений. Несмотря на это, когда настал Тонин срок, Юра, доктор Юрий Андреевич Живаго, как его звали сейчас, поместил жену в акушерский корпус гинекологической клиники, так как считал частные родильные дома дилетантскими учреждениями и не доверял им. Антонину Александровну положили в лучшую отдельную палату с сенями в виде тамбура и окружили заботами. У нее были долгие и тяжелые роды.

Мужа не допускали к ней. Юрий Андреевич, как врач, сам понимал, насколько пагубно отзывается на мышечной механике родов рассеивающее присутствие лишних и посторонних, хоть бы то были и родные. Он и не покушался на проникновение куда-нибудь дальше длинного коридора, который тянулся вдоль дверей с номерами палат, куда его впустили в уважение к его врачебному званию и в отличие от прочих посетителей, которых задерживали в приемной.

К последним выходил главный врач отделения, известный знаток гинеколог, чудаковатый и неразговорчивый добряк и мастодонт. Он выходил покурить и размяться и от осаждавших его мужей и родственников отмахивался лаконичным и многоговорящим движением толстых ладошек с растопыренными короткими пальцами, что в соединении с возведенными к потолку глазами означало бессилие науки перед тайнами природы и что во всех случаях жизни надо надеяться на лучшее.

Полною противоположностью ему была его ассистентка, старшая акушерка. Хотя ее требовали в другие палаты, большую часть времени она проводила у Тони. Когда она от нее выходила, то с излишней терминологической обстоятельностью, показывавшей ее ученость, посвящала Юрия Андреевича в подробности того, что делалось с его женою.

— На вашем месте я бы уехала, — говорила она. — Что вам даром томиться? К роженице я вас все равно не пущу. Роды будут продолжительные и, хочется верить, физиологические, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, узость таза... И затем плод лежит во втором затылочном положении, что менее обычно... Наконец, и это главное, некоторое малокровие рожающей, отсутствие болей и незначительность сокращений... Впрочем, будем надеяться. Говорить окончательно еще рано. Все дело в том, как она поведет себя при схватках, какие она — (техническое наше выражение) — будет вырабатывать потуги.

— Я и в самом деле посижу еще полчаса и потом уеду. Я заеду к нескольким больным, а потом домой, обедать. А после этого ночью снова наведаюсь к вам.

И он продолжал глазеть из окна на клинические задворки, которые вторые сутки поливал холодный косой дождь и по которым через некоторые промежутки гулял прерывистый и стремительный ветер.

В одном из палисадников Девичьего поля, видневшихся невдалеке, зияла опустошенная непогодою беседка с кучами мокрых листьев на полу, похожими на яркие шелковые лоскутки или на вороха рваных квитанций на цветной бумаге. В другом белел одноэтажный флигель с синею стеклянною террасой, увитой сизо-багровыми побегами дикого винограда. Ветер старался оторвать и унесть его зелень всем куском, как она висела на стене, но, подержав на весу, как дырявое рубище, брезгливо отбрасывал назад, на стекло и проволоку, за которую она так цепко держалась.

В это время по рельсовой ветке трамвая, подводившей к клиникам из города, подошел моторный вагон с двумя прицепами, и санитары на носилках стали выносить раненых.

Юрию Андреевичу зрелище это было привычно. Кроме больницы, в которой он служил (она находилась в ведении Крес-товоздвиженской общины, и ее сокращенно звали второй Крес-товоздвиженской), он теперь работал еще в двух лазаретах.

Юрий Андреевич смотрел, как переносят раненых. Страх за жену ни на минуту не оставлял его. В его голове роились невеселые думы о горькой бессмыслице войны и бесчисленных страданиях, которые она приносит. Но так как он мог теперь предаваться этим соображениям часами без помех для заполнения вынужденного безделья в этом длинном коридоре, крашенном свинцовыми белилами и пахнувшем слабым раствором карболки, то ему казалось, что его беспокойство неискренне, а его размышления — холодное праздномыслие от нечего делать, что он недостаточно любит жену и не умеет жалеть по-настоящему ближних.

И тогда он вспомнил, что вообще говоря всеми за последнее время овладело удивительное равнодушие, которого прежде в России не знали. Эта бесчувственность развилась незадолго до войны и за ее время усилилась. Ничего подобного радикализму Герцена, спорам Толстого с жизнью и Гаршинским «Четырем дням» уже нельзя было встретить. Не имея сил победить свою нравственную вялость, тысячи мыслящих и образованных людей молча сносили, как изо дня в день извращали их собственные чувства и мнения именем народа, ничего этого не подозревающего и к этому непричастного, и все сваливали на него и все им оправдывали.

На другой день Юрий Андреевич из города с одного из своих частных визитов справился по телефону, каково положение в клинике. Ему сказали, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки.

Он сломя голову помчался в клинику, и когда шел из приемной по коридору, слышал издали пронзительные стоны и вскрикивания жены, как кричат задавленные, извлеченные из-под колес вагона. Как врач, он знал, что эти раздирающие душу крики — хороший признак, свидетельствующий о правильности и успешности родовых потуг.

Но эти то обессиленно замирающие, то наполняющиеся новою силой жалобные вопли и охания сводили его с ума, и, чтобы не упасть в обморок и не ворваться к ней в палату, он в слезах отвернулся к окну, закусив до крови согнутый в суставе указательный палец.

В это время из палаты вышла больничная служительница и не веря своим ушам он услышал писк новорожденного.

— Как роженица? — спросил Юрий Андреевич.

— Родильница, — поправила она его, разумея этим, что роды счастливо завершились.

— С сынком вас и благополучным разрешением благоверной. Намучились они, нечего греха таить. На зубок с вашей милости.

Ничего подобного так называемым чувствам отцовства не коснулось души Юрия Андреевича. Слова нянюшки о сыне как бы не дошли до его слуха. С безумною радостью он сознавал только одно, что по выполнении известной формальности, которая грозила опасностью ее жизни (формальностью этою было произведение на свет ребенка), Тоня осталась жива и теперь спасена окончательно.

«Какое счастье! Слава Богу, слава Богу!» — без конца повторял он про себя и, когда акушерская помощница не притворила за собою двери в тамбур, незаметно проскользнул вслед за нею. На радостях он сунулся бы и дальше, но на пороге палаты ему преградил дорогу гигант-гинеколог.

— Куда, куда? — изменив своей молчаливости, тихонько забасил он, так что бы Тоня не слыхала. — Да вы с ума сошли? До вас ли ей после такого потрясения? А раны, кровь, антисептика? А еще врач! Ну хорошо, хорошо, не плачьте. Во-первых, поздравляю. Мальчик, вам говорили? И хороший вес. А затем, если хотите, на секунду, одним глазком из-за двери. Но только так, чтобы она и не догадалась. А то я вас... Смотрите!

Превратившийся в Юру доктор Живаго, став на цыпочки и вытянув шею, безмолвно смотрел из тамбура в палату через головы гинеколога и акушерки. В руках у нянюшки жилился и темнел от натуг маленький писклявый комочек голого мяса. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы перерезать ее посередине и отделить ребенка от последа. Но все это было вне Юриного внимания. Глаза его были прикованы к Тоне, лежавшей среди палаты на возвышении, более приподнятом чем обыкновенная постель, и высоком как конторка, за которою пишут стоя.

В эти минуты Юра не был ни врачом, ни отцом, ни мужем. Медицинские его познания изгладились. Эти стороны его существования прекратились. В его груди с гулкой полнотою билось его большое сердце ребенка и художника. Волнение возвращало ему его былую зоркость неведения.

И он видел Тоню не в чертах привычности, в которых наблюдал ее ежедневно, и не так, как смотрел на нее гинеколог со своим повивальным штабом. Он видел Тоню во всем ее существе, в свете вспомогательных сравнений, которые ему подсказывала его проницательность.

Тоня терялась в парах, которые выделяла ее испарина, она дымилась изнеможением. В своей бледности она казалась прозрачной и легко и призрачно лежала на больничном белье, как лежал бы в бухте недавно причаленный и только что разгруженный корабль, совершающий переходы через море смерти к материку жизни с

душами, переселяющимися на нем сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души на берег и теперь отдыхала всей своей угасшей памятью, всем забвением своим о ночном плавании, всем надломленным своим рангоутом и натруженной обшивкой. И так как Юра не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, он не представлял себе, какие слова сказать ему, на каком языке обратиться после всего совершившегося к жене, такою безысходною пошлостью казались ему, по сравнению с трансцендентальной важностью ее лежания, его недавние размышления у окна о войне и прочем, его «российская публицистика».

Это смущение перед Тоней, как существом исключительным, имевшим случай побывать в некоторой запредельности и счастливо оттуда вернуться, осталось у него и на четвертый день, когда его пустили к Тоне, запретив долго с нею разговаривать, чтобы не утомлять ее. Но разговор у них все равно не клеился. Тоня до сих пор была оглушена новизной испытанного и хотя расспрашивала Юрия Андреевича о том, что делается в больнице и у них в доме, откуда она отсутствовала уже неделю и что пишут о войне в газетах, но едва выслушивала ответы, как в светских разговорах о погоде.

Юрий Андреевич предложил назвать сына в честь деда Александром, и Тоня согласилась, взглянув на мужа безразлично и невыразительно, и тогда он понял, что сама Тоня еще витает за тридевять земель от этих разговоров и еще не привыкла к мысли, что сын, которого она произвела и кормит со всею негою саморастворения, есть нечто отдельное и самостоятельное, а не телесное продолжение ее самой, не завершительное выражение ее страсти существования.

В этот день он спокойнее, чем за последнее время, поднимался по лестнице своей больницы. В ординаторской, куда все входили перед началом обхода, у окна стоял обрюзгший прозектор, отечный алкоголик с мешками под глазами, и, сдвинув очки на лоб и подняв руки, рассматривал на свет какую-то мутную жидкость в склянке.

А за окном больничный двор был снова, как всю эту неделю, затянут косой штриховкой унылого дождя, и ветер, налетавший резкими порывами, захватывал концы дождевых струй в какие-то серебристо прыщущие, светящиеся водяные снопы и отрывал последние листья осин, редкие, маленькие и заостренно-лимонные, и нес их вперемежку с водою вкось в том же безысходно-унылом направлении.

— Поздравляю вас, — нелюбезно буркнул ему прозектор, и, как в двух уже случаях сегодняшних поздравлений со стороны товарищей, Юрий Андреевич вправе был предположить, что его поздравляют с рождением сына. Но прозектор продолжал: — И однако нечего меня благодарить. Это не я ее вскрывал. Но сегодня разговор тут только о вас, и все как в один голос: молодец Живаго. Эхинококк печени. А спорили, — рак. Посмертное исследование больной показало... А впрочем, материалы у вас на столе.

В это время в ординаторскую вошел главный врач больницы и, здороваясь по очереди со всеми бывшими в комнате, стал ворчать в пространство, ни к кому в отдельности не обращаясь:

—- Безобразие. Обращают комнату в проходной двор. Заносят препараты из рецептурной и белье из кладовой, а чтобы унести обратно на место, на это ни у кого нет соображения. —-А, Живаго! Браво! Поздравляю. Вы отличный диагност и сбить вас не так-то просто. Помните умершую из шестой? Вы оказались правы, — эхинококк. А мы-то, и я в том числе, спорили. И затем неприятность. — Вашу категорию мобилизуют, и на этот раз не удастся отстоять вас.

Другие редакции и черновые наброски 7

Со дня приезда в Юрятин Лара не покладая рук была занята устройством своего гнезда. Многие помнили ее тут еще маленькою с того времени, когда еще был жив ее отец и все они жили в том большом доме против городского сада, который по сию

пору стоял на своем старом месте и который Лара узнала с первого взгляда. По старой памяти все были рады помочь ей обосноваться.

Лара была в постоянных трудах. Она не знала, что такое нервы и переживание. Ее окружали факты и сроки, члены ее семьи, поставленные и достигнутые задачи. У нее было место учительницы в женской гимназии. Домик, служивший Анти-повым квартирой, требовал много забот. По провинциальному обычаю Антиповы арендовали его с прилегавшим к нему двором и всеми служебными пристройками. Кроме этого обширного хозяйства на руках у Лары была дочь Катенька, родившаяся у нее в первый год ее замужества. Удивительно, как Лара все это совмещала.

Если бы даже Юрятин не был ее родным городом, Лару тянуло к земле и провинциалам. Ее трогали захолустные нравы, и в здешнем выговоре, тягучем оканье севера ей слышались нотки доверчивой наивности.

Сам выходец из простого народа, Павел Павлович представлял ей в этом отношении полную противоположность. В этом сыне железнодорожного служащего все более сказывался уроженец столицы. Юрятин казался ему глухой дырой, прибежищем невежества. За свои университетские годы Антипов вырос неузнаваемо. По развитию и способностям он был выше товарищей и начальства. Даже по адресу Лары у него стал появляться тон холодной отчетливости, как бывает у людей, уверенных в своем умственном превосходстве и всегда правых.

Павел Павлович, кончивший классиком, преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем воспитаннике реального училища, всегда живо было влечение к физике, математике и вопросам техники. Он всегда много читал в этой области, так что в любое время мог сдать университетские испытания по этим предметам. И у него была мечта, как только представится случай, переопределиться в своей деятельности в этом направлении и постараться перевестись педагогом-математиком в Петербург. Усиленные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. Ночными работами он нажил себе бессонницу.

Павел Павлович, русский по крови и душою, не узнавал ни одного из своих естественных, с молоком матери всосанных инстинктов в неумелой пародии на них, ходившей тогда в форме искусственного квасного патриотизма. Подделка была так тупа и фальшива, что бросала людей со смыслом в противоположную крайность. Подобно остальному Уралу и Сибири, Юрятин полон был ссыльными, отбывшими свою ссылку за девятьсот пятый год, свободными, но оставшимися тут на обжитом месте. С двумя такими, бухгалтером Кулябцевым и химиком Горшенею; Павел Павлович водил знакомство.

Приближение зимы в Юрятине, стоявшем на большой судоходной реке Рыньве, ознаменовывалось тем, что владельцы лодок втаскивали их с реки на телегах по крутому склону в город, где расставляли до будущей весны под открытым небом по своим задворкам. Эти лодки в глубине дворов, которые лежали вверх дном и занимали на земле несообразно больше места, чем при погружении в воду, действовали на глаз юрятинца так же, как вид свежевыпавшего снега или как переход с колес на полозья.

Такая лодка белелась уже внутри Антиповского двора своим ребристо-выпуклым перевернутым дном, и везти ее с берега было всего дальше, потому что домик, в котором жили Антипо-вы, находился в конце, противоположном к пристани. Их улица была крайнею в городе и выходила на железнодорожный переезд Рыньвенско-Горнозаводской линии и в поле.

Был уже не первый год войны, и зрелище тянущихся без конца сорокавагонных эшелонов с маршевыми ротами и мобилизованными, орущими песни в настежь открытых теплушках, было привычно. Четырехлетняя Катенька в шубке распевала эти песни, играя с дворовыми однолетками под перевернутою лодкой.

Был холодный день без снега. Мороз сковал землю на дворах и улицах черными комками затвердевшей грязи, лишь кое-где разметив ее крестиками хрупкого инея, как мелом.

Павел Павлович наговорил резкостей директору и коллегам на педагогическом совете. Он еле сдерживался, так презирал их.

Он возвращался домой, заранее предвкушая удовольствие, с каким он погрузится вечером, когда Лара ляжет спать и все в доме утихнет, в книжку по вариационному исчислению, которую он выписал из Москвы и сегодня получил по почте. Вдруг он вспомнил, что сегодня Кузьминки, начало зимы, и у них гости, смешанное общество, частью состоящее из товарищей, которых он только что ругал, а частью из людей, подобных Кулябцеву и Горшене, которых он тоже не любил в таком соединении.

После гостей Лара долго проветривала и помогала Марфутке на кухне, где на столе горой была наставлена грязная посуда. Ее Паша спал уже, как предполагала Лара. Управившись с уборкой и посмотрев, хорошо ли укрыта Катенька, Лара разделась и, оглушенная усталостью, мгновенно уснула. Она легла рядом с Антиповым с естественностью ребенка, взятого в постель к матери, или с доверчивостью статуи, поручающей себя рукам ваятеля.

Но ее муж не спал. Он лежал с закрытыми глазами и притворялся спящим, когда ложилась Лара. У него был обычный приступ бессонницы. Он знал, что проворочается еще так часа три-четыре без сна. Тихонечко, чтобы не разбудить жены, он натянул на себя нижнее белье и, сунув ноги в валенки, в шапке и шубе внакидку вышел во двор освежиться и чистым морозным воздухом нагнать на себя сонливость. Вместе с тем ему надо было подумать. Он был беспокоен, душа болела у него.

Сегодня вечером не случилось ничего особенного, ничего такого, что могло бы ему показаться новым. Лару все любили, она была душой юрятинского общества, по соседству с нею он всегда оказывался несколько в тени. Но неужели она не видит низменности и ничтожества этой публики или ради популярности кривит душою, делая вид, что их убожества не замечает? И потом, эта супружеская участливость ее к нему при всех, когда он молчалив и хмурится? Он даже в глазах Кулябцева прочел сегодня какую-то насмешливую жалость. Итак, он то, что называется муж своей жены, — великолепно.

Но ведь это началось бог знает когда, он поздно хватился. Все это можно было предвидеть. Зачем позволяла она ему ребенком заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Как не нашлось у него ума и воли вовремя отказаться от нее, когда она сама так благородно на этом настаивала? Разве он не понимал, что она любит не его, а свою благородную миссию по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг?

Хуже всего, что при этом ему не в чем упрекнуть ее. Она верна ему и не щадит своих сил для него и дома. И однако кому это нужно? Что общего между этой головной, гуманною выдумкой и настоящею семейною жизнью?

Что же в таком случае делать? И так ли все это? Не блажит ли он? Ах, и при всем этом он с прежнею силой любит ее. Она ведь умопомрачительно хороша, просто теряешь голову, в глазах темнеет! А может быть, он запуган и раздавлен ее красотой, и его хваленая, незаподозренная любовь к ней не больше чем простая растерянность перед ее внешним и внутренним превосходством?

Фу ты, что за положение, тут сам черт ногу сломит.

И однако надо положить этому конец. Не столько даже для него самого, сколько ради Лары и девочки. У каждого должна быть своя подлинная жизнь, никто не вправе ее заслонять и препятствовать ей. Надо поскорее освободить их от себя. Да, но как? Предложить Ларе развестись? Покончить с собой? — Его покоробило от того, что он хотя бы в мыслях допустил такие неправдоподобно пошлые, жестокие возможности.

Он провел рукой по дну лодки, чтобы посмотреть, не запачкается ли он, и сел в шубе на выгнутый, оттопыренный край борта. Синее мерцание морозной ночи бросало голубой движущийся отсвет, как легкое пламя спирта, на спящий город. Антипов смотрел на звезды в вышине, словно мог в них прочесть ответ на то, как ему быть с его тягостями. Вдруг звездную синеву ночи стало озарять со стороны переезда прерывающимися вспышками дымно-желтого жара. Это, разбрасывая снопы искр огнедышащею топкой паровоза, шел мимо товарный поезд. «Наверное, воинский, — подумал Антипов и стал считать вагоны. — Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три... Попрошусь на войну, — продолжал он думать. — Устрою дела, оставлю Ларе половинное жалованье и уеду. Вот и выход».

Он с минуту еще посидел, а потом вздрогнул, зевнул и поежился. Его клонило ко сну. Он встал с лодки и поднялся к себе в квартиру.

8

Лара узнала о Пашиных планах последнею. Когда его бумаги находились уже в воинском присутствии, а сам он прошел формальность освидетельствования, пустую для добровольцев, когда в гимназии было все улажено и там ему нашелся заместитель и когда из Омского военного училища пришел благоприятный ответ на его прошение о приеме и наступил срок его отъезда и явки, он сказал Ларе о своем решении.

Она обомлела и сначала не поверила своим ушам. «Глупости, — подумала она. — Очередная Пашина причуда. Рассердился на нее за что-нибудь и дуется. Не надо обращать внимания. Обойдется!»

Когда же она уверилась, что Антипов не шутит, с ней сделалось что-то страшное.

— Пашенька, Пашенька, на кого ты нас покидаешь, — завыла она, хватая его за руки и валяясь у него в ногах. — Не делай этого, не делай! Учителей не берут на военную службу, я ведь знаю. Возьми назад прошение, над тобой никто не будет смеяться. Я скажу, что ты болен и попросился в добровольцы в помрачении рассудка.

— Как тебе не стыдно, — урезонивала она его в более спокойные минуты. — Ты всегда презирал Родьку за офицерский форс и молодечество, а сам в тысячу раз хуже. Я реву, у меня сердце сжимается, а у тебя ничего нет в оправдание, кроме этого трескучего вздора о «долге перед родиной» и «године испытаний», как в театре или на публичном обеде.

Был даже устроен семейный совет с участием Кулябцева и учителя русской словесности Унжина. У востроносого, худенького и подвижного Кулябцева был тик, подрагивало одно веко и дергались крючьями сведенные руки, точно он пожимал плечами или поражался и негодовал. Природа как бы создала его для живой эмблемы недоумения. Друзья апеллировали к уму и сердцу Антипова, истощали доводы, терялись по его поводу в догадках. Ничего не помогло, Павел Павлович остался непоколебим.

Вдруг все это стало Ларе противно. Она махнула на дело рукой и перестала спорить с Пашей. И тогда ее словно осенило. С разинутым от неожиданности ртом и вытаращенным, остановившимся взором она поняла, что муж не оценил возведенного ею здания, что он осудил их жизнь и что его военно-патриотическая фантазия есть замаскированное бегство от нее, причин которого она не знает.

Тогда, оскорбленная в лучших своих чувствах, она вся съежилась, как побитая, и нечеловеческими усилиями сдерживая слезы, стала безмолвно собирать мужа в дорогу.

Он уехал в такое время, когда безостановочное отступление и частые неудачи понизили тон газетных сводок и отодвинули войну на второй план. Обыватели говорили о дороговизне. Бытовою новостью было введение карточек в торговле продовольственными товарами.

По отъезде Антипова стало тихо и пусто в доме и на улице. Ларе вправду казалось, что реже попадаются прохожие и не такими большими стаями летают вороны <...>.

Часть пятая

«ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМ

ГЛАВЫ 1-3

ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ

Мелюзеев стоит на плодоноснейшем черноземе. Основные цвета его в летние месяцы это угольная чернота его пыли и волнисто-кофейный отлив уличной слякоти в дождливое время.

Большинство домишек одноэтажные деревянные, с очень красивою резьбою: розетками на воротах и ставнях и петушками по углам оконных и кровельных фестончатых подзоров.

Несколько каменных домов было в середине города, на плацу, как называли городскую площадь, где прежде происходили учения солдат, а теперь уличные митинги, — казенные здания городских присутствий, торговые ряды и военные казармы, а также постройки уездных богачей, в их числе каменный двухэтажный особняк графини Жабринской, занятый госпиталем.

Не считая мелких проселков, отростками разбегавшихся во все стороны от города, две большие дороги выводили из Ме-люзеева, одна, ухабистая, лесом, в местечко Зыбушино, разбогатевшее на торговле хлебом и всем опередившее свой уездный центр, другая по каменной насыпи, по болотистому лугу к станции Грабари проходившей в шести верстах от Мелюзеева железной дороги.

Власть временного правительства в Мелюзееве представляли исполнительный комитет городского совета, военный комиссариат и все установленные в то время учреждения, в которых, по примеру столиц, перевес принадлежал эсерам. Популярность и премьерство Керенского придавали этой партии авторитетность. Она считалась рекомендованной вниманию обывателя, где-то кому-то угодной.

Но главной силой, соперничавшей со всеми политическими, было в Мелюзееве владычество лета. Его присутствие чувствовалось в тот год с чудовищной, небывалой осязательностью. Уродилась кукуруза в кулак толщиной, сверхъестественная, как наваждение, и тянулась русыми головками в раскрытые окна. Светлыми ночами мальвы в цветниках казались вышедшими из духоты на воздух хуторянками или вставшими из-под земли мелюзеевскими покойницами в состоянии сонного остолбененья.

Отделявшие Мелюзеев от Грабарей болота высохли. За Грабарями, стоявшими на лесных вырубках, горели леса. Недалеко от города на пол человеческого роста поднималась огромная луна кир<пичного цвета>.

Часть восьмая «ПРИЕЗД»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК

Они знали, что направляются в имение, заброшенное задолго до революции, с заваленными старыми рудниками и неразрабатываемыми залежами медной руды и угля, с лесами, часть которых шла перед войной на выгонку древесных спиртов и ацетона, а потом была оставлена без эксплоатации, и которые вместе со всей территорией обобществлены каким-нибудь местным земельным отделом или взяты на учет областным советом народного хозяйства.

Около двух месяцев они передвигались водой, на лошадях и по железной дороге с трудностями, описание которых само могло бы составить отдельную книгу. Невозможные неожиданности и переделки встречали их по дороге. Пока они ехали, по пути их следования два раза переменились власти. На одном из паровозных кладбищ, в которые уже превращались большие узловые станции, Юрий Андреевич только чудом

избег опасности быть задержанным и расстрелянным по подозренью в дезертирстве. Его приняли за кого-то другого и повели к стоявшему на путях поезду окружного военкома. Областной военкомат помещался в одном из вагонов поезда. Юрия Андреевича спасло то, что военкомом оказался его старый товарищ по гимназии, который узнал его и на несколько перегонов облегчил ему дальнейшее передвижение.

Едущие добрались до Юрятина только после чешского переворота, когда в Юрятине еще сохранялась власть советов, а вокруг него на восток и на север в уездных городах принимали по телеграфу распоряжения уполномоченных сибирского временного правительства через головы вооруженных деревень, которые партизанили и то под рукой хороших вожаков тянули к большевикам, то, разложившись, бесчинствовали и впадали в анархию.

В одном отношении их ожидания странным образом сбылись. В лице последнего варыкинского управляющего Глуздее-ва (Микулицына. — Е. Я.) они встретили то, чего искали, того сочувствующего советника и ту практическую поддержку, потребность в которой подняла их в такое далекое и опасное странствие без твердо поставленной цели с одним только смутным сознанием того, что из центральной России надо бежать куда-нибудь подальше, в какую-нибудь суровую, никого не привлекающую глушь.

Ссыльный поселенец из политических, человек еще не старый, [Петр Трофимович Глуздеев] Дмитрий Иванович Митяев (Микулицын. — Е. Я.) жил с женою и сыном в директорском доме на краю Варыкинского поселка, теперь почти безлюдного и выросшего когда-то близ завода сухой перегонки, в дни его основания. Завод ныне бездействовал.

Хотя Петр Трофимович был приглашен на место управляющего еще в дни работы завода, но уже и тогда Крюгеры задумывали прекращение некоторых неокупающихся разработок на своей земле и продажу своих лесных богатств казне и только были в нерешительности, как им будет выгоднее: ликвидировать ли завод, чтобы новый покупщик не видел его в действии и не мог судить о невыгодности его эксплоатации, или во избежание еще больших подозрений продавать его, не таясь, на ходу. Для решения всех этих дел, подведения балансов, оценки владений и распоряжения остающимся имуществом и был привлечен Петр Трофимович, скорее как коммерческий эксперт, нежели как технолог-практик, каковым в действительности был этот, в прошлом, до ареста и ссылки, петербургский судостроитель.

Таким образом сама судьба как бы думала за наших скитальцев. И когда, потеряв под ногами почву, они с самыми неопределенными намерениями высадились в Варыкине, они не могли лучше придумать и адресоваться: их встретил человек, задолго до нынешних событий приобретший опыт в заведыва-нии неизвестностями и неопределенными положениями, ничему не удивляющийся и ко всему подготовленный. Он никогда особенно не интересовался семейною историей своих бывших хозяев и плохо знал ее. Приехавшие были люди для него новые, едва ему известные по далекой наслышке.

Он одобрил их сельскохозяйственные планы, нашел, что они приехали вовремя, не упустив весенних посадочных сроков и лишь несколько к ним запоздав, поселил в пустовавшей и заколоченной Крюгеровской даче, которую для них открыл и велел убрать и вымыть, посоветовал избрать для огорода площадь былого, когда-то разбитого перед домом цветника, как место, открытое солнцу, с хорошо в свое время удобренною и вдоволь вылежавшейся и отдохнувшей землей. Кроме разных садоводческих наставлений он снабдил их нужными инструментами, семенною картошкой и рассадой, и с первого же дня, пока дачу проветривали, и как добрые соседи, а отнюдь не в старом чине прислуги, появлялись и исчезали какие-то

неведомые лица и фигуры, помогая протопить застуженные помещения и показывая, как за это взяться, переселившиеся сразу же принялись за круглодневный впредь с этого времени труд на открытом воздухе, включавший самые всевозможные работы, начиная с огороднических и кончая валкой леса на зимнее топливо.

Так в первый день их прибытия сразу же открылось это новое в течение года длившееся и полное блаженства существование, описанное на первых страницах Библии, с яблоками и змеями, и сельским, и семейным обиходом, отрастающими прямо из левого ребра, належанного во время сна, с естественностью сновиденья. Целый год, вернув себе былую чистоту юношества и превратив в роман свои внутрисемейные взаимоотношения, дышали они миром Руссо, Кнута Гамсуна и Льва Толстого, и только зимою, которая прошла как пышно-белая, широко белым почерну написанная сказка, они стали вспоминать о городе, горожанах и книгах, и Юрию Андреевичу захотелось скорее даже писать, нежели читать их, и здесь, в краю, до которого в позапрошлом столетье докатились волны пугачевского восстания и в дальних углах которого продолжали

[совершать переезды в триста и больше верст в возках, как в Капитанской дочке (сам Юрий Андреевич ехал так однажды ночь напролет по узкой озаренной звездами санной лесной тропе в запряженной тройкою гусем кибитке, которую, как гребец лодку, ямщик все время старался удержать в равновесье изгибами собственного тела, а когда это не помогало, соскакивал и подпирая плечом валящуюся на бок кибитку, на бегу выправлял ее]

по сей день ездить в возках на полозьях, запряженных тройкою гусем, как в Капитанской дочке, Юрия Андреевича потянуло на нечто историческое и, среди всяких прочих надобностей, он стал отлучаться в город в библиотеку бывшей Юрятинской гимназии за материалами по Пугачевщине.

Летом или точнее осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года целогодняя поэма их здешнего существования зашаталась и должна была кончиться. Они не были ни Робинзонами, ни сибирскими переселенцами-новоселами на Амуре, ни духоборами в Америке. Их благополучие зиждилось на искусственном основании, каким было их расходование уже не им принадлежавших и государством еще не охранявшихся хозяйственных запасов, их пользование землею и жилыми постройками и меновыми возможностями, которые предоставляла им часть уцелевшего инвентаря, а главное необозримые лесные богатства, которые они расхищали.

Но дело было не только в этом. Особенно искусственна была их жизнь с точки зрения исторической обстановки, не допускавшей ее дальнейшего продолжения. Прежде чем перейти к этому, скажем однако несколько слов о самом управляющем.

Каждому из приехавших, Антонине Александровне, ее отцу и ее мужу Дмитрий Иванович с первого взгляда кого-нибудь напомнил. Действительно, он должен был походить на целую группу лиц манерой бриться, стричь низко волосы и причесывать их гладко на пробор, разговаривать сквозь зубы, держа трубку с табаком в углу стиснутых челюстей и другими манерами сознательно вырабатывавшими общий для всех них тип сильного волей и выдержкой и умеющего хорошо держаться худощавого и мускулистого северного человека. Только по случайности не прошел он в члены Учредительного собрания от эсеров округа, сняв в решительную минуту свою кандидатуру и из необъяснимого предвидения отказавшись по счастью баллотироваться. То-то бы натерпелся.

Его сын девятнадцати лет вернулся с войны убежденным большевиком. Когда по поводу объявленной Временным правительством Сибири мобилизации Дмитрий Иванович обратился на призывном пункте к новобранцам с напутственной речью, слово получил затем его родной сын Ваня, не оставивший живого места в отцовском

выступлении. Мобилизация была сорвана. С частью призванных Ваня ушел в тайгу, где теперь возглавлял целую восставшую волость, объединив в большой партизанский округ отдельные разбросанные очаги этого взбаламученного моря. Разрыв между отцом и сыном не достигал того кровавого трагизма, как во множестве сходных случаев того времени. Напротив. Смертельная вражда, существовавшая между учредиловцами и партизанами, территории которых тут именно граничили, смягчалась в этом захолустном углу неспокойной нашей земли-матушки не только тем, что эта сторона терялась за пределами досягаемости, но также и семейственной связью между старшим и младшим Митяевыми (Микулицыными. — Е. Я).

К ГЛАВЕ 4

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РУКОПИСИ

Поезд без конца маневрировал по окрестностям Юрятина. Он то удалялся от них, то приближался к ним, словно набираясь сил, чтобы их покинуть. Город все время оставался слева на горизонте. Над ним во всю его длину расплетенной конской гривою мотался дым горевшего на его другом конце предместья.

Местность пересекали ветки железных дорог и тянувшиеся к городу фунтовые дороги, еще не просохшие от весенней грязи, со светлыми лужами и озерами, в которых купалось жаркое весеннее солнце.

Через все пространство шагали телеграфные столбы и красные нефтяные баки нефтехранилищ, и высились щиты огромных реклам, трехаршинными буквами вещавшие: «Все у Ага-фурова», «Моро и Щетинкин. Веялки и Молотилки» и прочая и прочая.

На горизонте маячили трубы Юрятинских фабрик и купола и колокольни его церквей. Горевшее предместье, состоявшее из деревянных домов со стеклянными балконами, выдавалось вперед и было хорошо заметно с маневрировавшего поезда. Оно горело с той сонной и зловещей неторопливостью, которая отличает рядовое пламя дневных пожаров от величественного зарева ночных, с высоты озаренного неба как бы обращающихся ко всему свету за сочувствием.

Поезд маневрировал, и под его стук Юрий Андреевич вполголоса рассказывал жене о своем приключении. Он прерывал рассказ, когда поезд останавливался или с переднего хода переходил на задний. И доктор выжидал, пока паровоз снова даст полный ход вперед, и возобновлял описание. Хотя не было надобности шептаться, потому что стукотня осей и болтов заглушала в вагоне голос любой силы, Юрий Андреевич говорил тихо по трем причинам: от усталости, из безотчетного уважения к спящим, а также оттого, что случившееся обладало для него большим значением и доктор дорожил им. Он говорил: «Это человек незаурядный. Разговор наш был знаменателен с обеих сторон. Но мы были в неравном положении. Он говорил мне что хотел с полной свободой, а я не мог себе позволить ничего в ответ.

Но вот на что я хотел обра<тить внимание>...».

РАЗРОЗНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ 8 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РУКОПИСИ

Путешественники давно уже ехали по сменяющимся холмам и долинам, и Вакх, не уставая, все время что-то рассказывал и напевал. Расстояние до Варыкина как будто не уменьшалось и казалось бесконечным. Вдруг на дорогу одна за другой высыпало несколько голых, высокоствольных сосен одного роста и открылся целый лес их, простершийся далеко в глубину. < >

Вскоре вдали за соснами потянулись и стали мелькать, обрываться и начинаться снова остатки старого крашеного в зеленую краску и разрушенного забора, который теперь не был сведен в ограду, ничего больше не замыкал и который, если бы не лень и его протяженность, следовало бы, начав разбирать, снять до конца.

— Варыкинско. Варыкинский лес, — сказал Вакх.

В лесу в стороне от дороги показалась избушка с прогнившей и провалившейся крышей. В дыру между стропилами вошло и не поместилось в них, заняв часть следующей клетки, садящееся солнце < > между почерневшими балками. Следы разрушений стали чаще, дорога пошла в лощину под гору и через некоторое время по другому склону оврага расположились одновременно - завод, поселок, усадьба дирекции, контора и прочие постройки и службы, в равной мере способные удивить тем, как много всего можно завести и построить и уничтожить и разрушить.

— Вон он Григов, дедушка твой.

...как усердный физический труд на земле наполнит их жизнь сытостью и красотой, и как когда-нибудь впоследствии, в часы досуга напишет он две работы. Одну он напишет о здешних местах, о Пугачеве Пушкина, вообще о Пушкине. О том, что Пушкин более чем верное соответствие русской жизни, это она сама, горячая ее проба, зачерпнутая наугад, как берут пробу щей из общего котла. Что это сама русская действительность, ее размер и номер, ее мерка, ее рост.

Пятистопник и шестистопный стих уже тогда были не впору истинной жизни, велики ей. Если это чувствовалось везде, в Германии и Англии, то в России в особенности, всегда такой чувствительной ко всему деланному, ненастоящему. Когда в Лицейских стихах Пушкин нападает на эти мешковатые, маскарадные размеры (кажется, что они с плеча дядюшки Василия <Львовича>), реальное содержание покидает их. Оссиан, славянизмы, Жуковщина наполняют эти формы, болтающиеся, как платье на вешалке. Но стоит размеру сократиться до четырехстопного или в три стопы, картина меняется. Предметы, предметы, предметы вламываются в короткие строки, глаголы и прилагательные уступают место рифмующимся существительным, как в стихотворениях порядка «Городка» и «К моей чернильнице». Перед нами бог наблюдательности и меткости Пушкин, Пушкин будущий и Пушкин вечный в лицеисте-подростке Пушкине, перед нами это чудо стремительности, налетавшей на суть и вещественность как на добычу.

А «Домик в Коломне»? А «четырехстопный ямб мне надоел»? Юрий Андреевич отмахнулся от этой мысли и продолжал думать в прежнем направлении. Но какие чудесные места они проезжали! — Шиханы?

— Шиханы. На Урале такие горы называются шиханами.

Чудной дед тем временем кричал:

«Эй, кобыла, бога забыла! Шевелись, падаль! Барабир, биш-бармак тебе, ведьма, мазепа! Анделы в Китаях, шайтански короли!»

Он напевал:

Прощай, главная контора, Прощай, щегерь-щеголек. Мне хозяйский хлеб приелся. Прилилась в пруду вода.

[Другая работа будет посвящена Гетевскому Фаусту, образчику новейшей европейской поэзии девятнадцатого и двадцатого столетий, поэзии, творчески раздвигающей границы привычного сознания, строящей новые представления, которым суждено будущее и в этом смысле совершающей силою лирики и в ее ходе осуществленные < >]

ГЛАВА 9
КАРАНДАШНОЙ РУКОПИСИ

В доме под лиственницей долго не проходили бестолочь и нескладица. Когда к дому подкатила телега, жена Микулицына, [Елена Прокловна], только что сама вернувшаяся из лесу, собиралась затворить окна в доме, с утра стоящие настежь по случаю теплого дня. Прибытие странных незнакомцев отвлекло ее от ее намерений. Она обо всем забыла. [Незнакомцев на телеге она в первую минуту приняла за какую-

то комиссию и первым чувством ее по этому поводу был испуг. Но присутствие женщин и Шурочки рассеяло ее опасения].

Сдвинув соломенную шляпу назад, так что она повисла на резинке за плечами, позвала мужа: «Микулицын! Василий Нео-фитович!»

Эта резинка на шляпе, растянувшаяся и ослабнувшая, и укороченная и укрепленная несколькими узелками, странным образом выражала коренную суть самой Елены Прокловны. Ее розоватые веки и узловатые сосудики и жилки просвечивавшие под ее бескровной кожей. Некоторую ее скрытую искусным покроем платьев кривобокость. Прирожденную бестолковость, которую она намеренно поддерживала как залог ее предполагаемого очарования, видимость маленькой девочки, которую она сохранила и по замужестве. Мечущуюся неровность ее характера.

Следующие несколько минут в доме происходило замешательство.

— Не кляните нас. Мы понимаем, — говорил Александр Александрович, — что значит в наше время...

— Простите. Да кто вы такие и откуда взялись? — прерывал Микулицын.

...что значит в наше время свалиться таким образом как снег на голову. Виноват, минуту. Я сейчас кончу. Дайте договорить. Эта вот дочь моя — внучка известного вам Ивана Эрнестовича Крюгера. Я...

— Ну так что же? Вы проспали войну и революцию. Хотя бы и тысяча Крюгеров. Я вас знать не желаю.

...я его зять. Вы меня не поняли.

— С тех пор все переменилось. И не по моему желанию. ...Вы меня не поняли. Никаких покушений. Какие могут

быть разговоры. Речь о чем?

— Ничего не понимаю. Нет, я видно с ума сошел. На каком мы свете. Знакомы ли вы с нашими декретами? Знаете ли наш порядок?

...Вы продолжаете настаивать на своей ошибке. Я этого не говорил. Речь о чем. Дать нам переночевать до утра, а завтра разрешите приняться за долгий неустанный труд, позвольте попользоваться малыми крохами этого беспредельного лесного хозяйства, с помощью строительных остатков привести какую-нибудь из развалин в жилой вид, обработать своими руками [какой-нибудь] лишний, ненужный клочок этой необозримой земли.

— Точно мне жалко. Но на каком основании? Вы угадали: я отвечаю за положение на заводской земле. Что я скажу, если меня спросят, кто такие и почему поселились? Я головой рискую.

Часть одиннадцатая «ЛЕСНОЕ ВОИНСТВО»

К ГЛАВЕ 2

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

В разгаре поднявшихся расспросов доктор уклонился от прямых рассказов о своем житье-бытье. Ему не хотелось признаваться Тягуновой, что он сейчас в том же положении, в каком она была до побега, но, будучи насильно разлучен с семьей, не может последовать ее примеру и не решается попробовать бежать в четвертый раз. Сеть повстанческой крестьянской агентуры широко разветвлена. На дорогах посты либо одной, либо другой воюющей стороны, опрашивают идущих и едущих. В случае самовольного исчезновения доктора задержат и расстреляют на первой заставе. Ничего этого он не сказал былой сотоварке по путешествию и вагонной соседке в ответ на ее вопросы о его ближних. Ни о чем этом распространяться не рекомендовалось.

Зато он много узнал от Тягуновой. Она напомнила ему незаконно забранного в партию трудобязанных иконописного неиспорченного мальчика Васю, ехавшего вместе с ними в одной теплушке. Рассказала о своей жизни в деревне Веретенниках у

Васиной мамы. Но деревня попрекала ее чужестранностью, тем, что она в веретенниковском обществе не своя, пришлая. Ей кололи глаза сочиненной близостью с Васею. Пришлось ей уехать из деревни от обносов и злоречия, чтобы окончательно ее не заклевали. <...>

На этом разговоры с Тягуновой не кончились. Скоро она опять появилась и в течение всего дня оставалась на глазах у доктора. По случайности она оказалась судомойкой и уборщицей пажинской аптеки, запасы которой доктор забирал для партизанского лазарета и которая до лучшего будущего подлежала временному закрытию. Вместе с несколькими служащими и кем-то из семьи аптекаря Тягунова присутствовала при операции передачи товара. Задний двор аптеки составлял одно целое с хозяйским или соседским скотным двором. Телегу Юрия Андреевича подали задком к дверям склада. Из помещения выносили и грузили на телегу тюки, высокие бутыли в плохо прилегающих к ним до половины ивовых корзинах, ящики.

Сквозь решетку стойла и из растворенной конюшни на эту процедуру с осуждением и отчаянием в глазах через весь двор смотрела скотина: унылая больная корова и разрывавшая сердце своим видом и взывавшая о жалости к камням двора давно не чищенная и не кормленная лошадь, тощая, запаршивевшая, одер одром, кожа да кости.

Люди тоже, и среди них Тягунова, с грустью следили за отобранием имущества. Некоторые, набравшись храбрости, осмеивались робко просить не отнимать последнего и не закрывать аптеки, единственного источника их существования. Точно это было во власти доктора и от него зависело. Плакавшей провизорше, уверявшей, что теперь они умрут с голоду, он говорил, что будь его воля, он ничего бы не трогал, и что он и так реквизирует меньше половины предписанного.

В это время в грязь скотного двора посмотрело тучное, сдавленное сгрудившимися тучами и как бы налившееся кровью солнце. Его поздние бронзовые лучи брызнули в неподвижные от тяжести лужи жидкого дворового навоза и зловеще зазолотились в них. Поддуваемая легким ветром чистая вода на шоссе зарябила киноварью.

Часть тринадцатая

«ПРОТИВ ДОМА С ФИГУРАМИ»

РАННИЕ НАБРОСКИ К ГЛАВЕ 2

В «окончании» (работе 1953 г., осени и дальше) самым выпуклым «ударным» должны быть: (А) образ разрухи после победы красных и возвращения доктора из партизанского плена в Юрятине. Настроение, пейзаж осенний, неосвещенные темные вечера и ночи, и по Л<енину> противоречие слов: борьба с разрухой (потому что разруха создана большевиками и метод их, революционная тактика, их призвание, специальность это только именно заводить разруху, где ее не было, анархической, насильнической расправой со всем имеющимся налицо, точно жизнь — сырье для их исторической обработки). Но органическая действительность не минерал, с нею надо договариваться, а не ломать и дробить ее. Л<енин> хочет ввести новые формы плавания на смену прежним, и для того чтобы разбить противников, выпускает воду из бассейна, называет этот акт победой над старой теорией водоплавания, пробует плавать по-новому, удивляется, что это у него не выходит, и рвет и мечет против всех по поводу того, что в бассейне нет воды, как будто воду выпустили они, а не он. Сформулировать это противоречие как-нибудь короче.

(Б) Безумие, тоска и прельстительность страсти.

(В) («В» не по времени, не по месту в романе, а по степени важности). В главах о партизанах может быть о зверствах. Сюда все из выписок по сказочному фольклору из Ист<ории> Лит<ературы>. Завывания по поводу Егоровского узла.

Относительно того, что революция и марксизм не тождества. Большевики взяли верх над остальными благодаря бесчестности своих принципов, приспособляющихся к меняющимся обстоятельствам.

Они начали как левейшие из социалистов, чтобы быть допущенными к законному соревнованию с другими подвидами Социал. демократии и ценой демагогии вышли вперед к крайнему солдатскому и матросскому крылу тогдашней столичной массы.

Затем они стали пугачевцами, чтобы взбунтовать страну ничего с марксизмом общего не имеющим кличем «Грабь награбленное» и проч. лозунгами, еще предсказанными в «Бесах». Преуспев в насаждении анархии во всей России, они решили приостановить все процессы на этой точке, и чтобы застраховать себя вовремя от каких-либо перемен, вспомнили, что они марксисты и стали силой внедрять марксизм в мозгах как лучшее средство для усыпления их и приведения в состояние застоя.

Записать после наброска главы о зверствах (партизан) — формулировки Л<енин>ских противоречий (наряду с подлостями), как подковырнуть (разложить) Учр<едительное> со-бр<ание>, право отзыва к крестьянам (тон!!! каким в трагедиях подряжают платных убийц) сваливанье с больной головы на здоровую в вопросах продовольственного затруднения, противоречия в том, кто виновники разрухи. Романтик, «народное творчество, все сами, снизу», когда ему кажется, что под ним твердая почва, и вдруг крайняя циническая трезвость в минуту опасности (не для страны, а для власти) как при обсуждении мира в минуту возобновившегося немецкого наступления. Все разобрать по книге и примечаниям (в примечаниях выражения противников), декреты и некоторые характерные выражения выписать.

К ГЛАВЕ 7

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе и одиноко среди этих увеличенных фотографических портретов топорных мужчин и женщин в рамах на стенах. Духом личной враждебности пахнуло на него от безвкусной, аляповатой меблировки, и близкая к слезам тоска стянула его горло. Он почувствовал себя таким чужим и лишним в этой спальне. А он-то, дурень, входил в нее, точно это не помещение, не комната, а кусок его души, изображение его нежности, часть Лариной сущности, образ его счастья. И все эти сравнения и отожествления, которые ему подсказывает его соскучившееся чувство, как они шатки и несостоятельны и как, наверное, смешны со стороны! Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде Самдевятова, красавцы мужчины? И почему Лара должна предпочитать им его бесхарактерность и туманный язык его мечтательного обожания? Нуждается ли она в этих уподоблениях? Желает ли она сама быть тем, что она составляет для него? Может быть, она не находит в этом никакой радости, тяготится его чувствительностью, считает ее неестественной и странной.

А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него, это он знает, как Отче наш, как дважды два четыре.

Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь как бы размечен звуками разной дальности. Голоса играющих детей разбросаны в разных местах. Знак того, что эта даль вся сплошь живая и чем-то будет и куда-то стремится. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями гремящая, знаменитая его мать, его родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, не-предвосхитимая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предугадать, его гордость и его слава. О как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо! Но как это сделать, чтобы они услышали и ответили?

Вот это и есть Лара. Она их вочеловечение и олицетворение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началам существования, голос дали и будущего, возможность обращения к целой вселенной и беседы и общения с небом, землей и судьбою.

И неправда, тысячу раз неправда все, что он нагородил тут о ней в минуту сомнений. Как именно совершенно и безупречно их родство в самом главном и беспредельном, в их некомнатной, нечеловеческой, многоохватывающей проницательности, в их понимании мира, в их безумной, полной и необъятной, как ветреный день, свободе!

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК К ГЛАВЕ 8

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДРОВАХ И АФИШКЕ ПЕРЕД РЕВНОСТЬЮ

После страшного сна о Шурочке и Тереке просыпается, ночь, зажигает лампадку, при ее свете бросает взгляд на дрова, оставшиеся из охапки (и раньше удивился, откуда у Лары столько дров), смотрит, хватит ли на послезавтрашнюю топку и вдруг замечает на поперечном отрезе полена, до распилки и расколки бывшем в торцовом конце бревна, почернелом и обветренном, тамгу КБ, Кулабышевский бор. Так метили еще при Крюгере строевой лес, которым в периоды избытка топлива приторговывал Крюгер. Значит Афишка, о невредимости которого Ю. А. уже заключил из Лариной записки, не только жив, но продолжает заниматься своими плутнями, перекупает, мошенничает, барышничает, и все это безнаказанно. Какая звезда хранит его? В чем его заручка? В том, что он всегда якшался с самыми левыми? В его широте, в том, что с кем надо он ни на что не скупится? Вероятно, он тайный осведомитель Юрятинской чрезвычайки. Его надо остерегаться. Подрядчик, ростовщик и комиссионер. Вероятно, теперь возит наш лес еще свободнее, за счет и по доверенности ревкома. Такой никогда не пропадет. Так это он, стало быть, снабжает Лару дровами, а может быть и продовольствием. Едва ли ради одних ее прекрасных глаз. Каковы их отношения?

Он всегда поглядывал на нее плотоядно, с вожделением. Ю. А. давно хотелось побить его. А теперь она пишет о лошади. Ну конечно. Ну конечно. О какая боль и омерзение! О, конечно, конечно! Аж в пот бросило.

Дальше все записано о ревности (лошадь, носы, Отелло) и впадает в долгую многосуточную спячку, прерываемую короткими пробуждениями, когда слышит оглушающую возню крыс в кухне за стеной. Тут снится ему сон о длинной узкой десяти-оконной квартире. Чем он заболел, спрашивает он сам себя в одно из таких пробуждений и сам себе отвечает. Это невозможное, смертельное мое утомление выходит наружу нервным потом. И когда приезжает Лара, он принимает звуки шагов за кры

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК К ГЛАВЕ 9

ЧЕТВЕРТЫЙ ТИФ

После взрывов ревности (Отелло, носы, уши, губы). И перед сном о Баскакине.

Надо успокоиться. Тьфу, какая гадость. Ревность — это кровоизлияние души, повернувшейся в ложном направлении. Это такая же мерзость, как праздная образованность, как бесплодная начитанность.

Он стал впадать в сладкую дрему, продолжая рассуждать в полубреду. Так все устроено. Так надо. Вот образцовый вид брака. Молодая вдова, пышная, вся из мягкости и доброты, груда прелестей, сдобное тесто жизни. А ему нет семнадцати, худощавый горячий мальчик весь из сухожилий и мускулов, струна, тетива, наставить стрелу, оттянуть далеко-далеко назад и спустить, как из лука, далеко, далеко, через простреленную вдову и дальше, дальше вперед ради вековой сладости, ради вековой прелести, жизни [как делают весною] в булочной жаворонкам глаза и клювы из воткнутых кусочков жареного миндаля и изюма. Так уж устроено. Так надо. Нощь несветла неверным, Христе, верным же просвещение в сладости словес твоих, — вдруг

ни к селу ни к городу вспыхнуло в каком-то участке его мозга. Затем где-то по соседству зажглись другие слова, не

синую кухонную кутерьму или наоборот отчетливо слышит шаги по лестнице и в передней, но считает, что воображение обманывает его, а что на самом деле это все те же крысы.

А это Лара. Врывается и дальше, как в записях.

Лара, Лара, ревность, счастье не думать, не сочинять, не озабочиваться, а самому становиться мыслью, воплощенным произведением в чужом любовании под чужими обнимающими руками, устами, глазами, чтобы не выдержав, расплакаться, разрыдаться, разорваться всем существом и замереть во мгновении минутно достигнутой цели. В мимолетной смерти, как в Макбете, о сне: смерти каждого дня.

После боль<ного> сна. Еженощная смерть.

ведомые, нигде не слышанные. Так, закоулок за закоулком возникали, светились и потухали какие-то непривычные мысли, короткие, как изречения, фосфорические, нежные. И все слова эти плакали.

Я заболеваю, я болен, — подумал он. Это все же какой-то тиф. Не сыпной, не брюшной, не возвратный, а какой-то чет-вертый. Я заболел четвертым тифом. Он уснул. И опять ему приснился сон. Не такой страшный, как первый, но тоже томящий, мучительный.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК К ГЛАВЕ 9

ПАРОВОЗЫ

В перерывах между бредом (четвертого тифа) вспоминает (контраст голод) званые ужины (чего бы теперь съесть) у Громеко (Егорий свет, чего мне съесть) в годы около первой революции. Приглашали человек двадцать-тридцать, а заготавливали на сто. Потом неделю доедали, не могли доесть. Юрий Андреевич вспоминал. Всегда производило впечатление, что оставалось больше, чем было запасено, потому что развезенные по блюдам соуса, развороченные поросята и индейки и раскромсанные арбузы действительно в разнятом виде занимали больше места, чем в непочатом. Юрий Андреевич вспоминал. Александр Александрович в таких случаях мягко язвил насчет отсутствия чувства меры у Анны Ивановны, а та выходила по этому поводу из себя более страстно, чем требовал предмет, точно это задевало ее женскую честь, и дело обыкновенно кончалось ссорою. Юрий Андреевич живо вспомнил эти пикировки супругов после званых пиршеств, единственный вид супружеских разногласий в Сивцевском доме, и ему стало жалко своих, Тони и всей загубленной жизни их и их круга. С такого ведь вечера они однажды попали в те гадкие номера (теперь он знает, чем они были гадки), где он видел Лару девочкой. Он знает также, и нечего размышлять по этому поводу, кто был тот таинственный пожилой человек, который с лампою в руке удалился с Ларою в другую комнату, но почему он в несколько встреч до пленения у партизан ни разу не расспросил ее о Комаровском? Не приходило в голову, как и большое множествр вещей, о которых он хотел бы от нее услышать. Слишком разительно было главное, всегда оглушавшее сознание и не оставлявшее места ничему несущественному, — то превращение, которое производили встречи с ней во всем его существе и во всем вокруг него, во всем составе существования. Например (это было еще в Мелюзееве и еще усилилось в первую побывку в Юрятине, пока были в действии железные дороги). Например, слышимые из центра рыдания паровозов на путях за городской окраиной разрывали сердце Юрия Андреевича почти до слез тоской за себя и за все Юрятинское население, как бы обменивавшееся в этих свистках жалобами и заплачками о людском злополучии. Но стоило ему столкнуться с Ларисой Федоровной на улице, повидать ее или побывать у ней, как те же самые звуки

становились выражениями торжества, точно паровозы перехохатывались друг с другом и в их смехе вырывалось наружу ликование счастливого города и счастливого дня.

К ГЛАВЕ 12
БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

— Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобой всерьез, а ты с комплиментами, как в гостиной. Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны в ложном бульварном толковании важничавших дореволюционных тунеядцев, которые всем пользовались и сами ничего не производили.

— Я догадываюсь, о чем ты. Прости, я прерываю тебя. Я что-то знал или подозревал. Но погоди. Легко представить себе твои страдания тех дней, недетскую боль, и стыд, и страх потрясенной, запуганной неопытности, непосильную трудность сохранения тайны, горькую обиду дорогой ценою отданного и наверное дешево оцененного девичества. Но послушай. Для тебя ведь это дело прошлого. То есть прости, я хочу сказать, что для тебя теперь, после стольких прошедших лет это только тяжелое воспоминание. Болеть душой об этом сызнова, со свежею силою надо теперь не тебе, а людям, любящим тебя, например, мне. Это я должен рвать на себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания, от того, что меня не было уже тогда с тобой, чтобы предотвратить случившееся, если оно правда стало для тебя горем. Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью и уважением человек полюбил ту же самую женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним в одинаковости нашего поклонения. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступился в его пользу от своей любимой с чувством совсем другого страдания, чем ревность, более высоким и чистым, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с ученым или художником, которые покорили бы и завоевали меня превосходством своих сил в сходных со многою областях работы. Я, наверное, должен был бы отказаться от своих попыток и пожертвовал бы своей ученою или творческою страстью, чтобы не позориться в глазах тех, кого бы я любил и ценил и не оскорблять их силы соседством моей слабости.

Но прости. Это в сторону. Возвращаясь к нашему разговору, скажу тебе вот что. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни никогда не открывалась им.

— А я именно об этой красоте. Мне кажется, она для меня утрачена. Под этой красотой ты, вероятно, подразумеваешь желание жить, очарование, замысловатость, притягательность существования. Но ведь эта красота не безусловна, она есть не везде и не всегда. Надо ее почувствовать, чтобы она появилась, она существует, пока ее видишь. А чтобы ее увидеть, требуется нетронутость воображения, первоначальность восприятия. Надо увидеть мир по-новому, своими глазами. А это как раз у меня и отнято. Этого своеобразия меня лишили с первых шагов, на заре моего пробудившегося сознания. Может быть, у меня сложился бы свой взгляд на жизнь, свое представление о ней, а вместо этого я ее увидела в чужом безнравственном освещении, в грязном опошляющем отпечатке хвастливой самоутверждающейся заурядности.

— О как ты ошибаешься на свой счет! Как мало ты себя знаешь! Оригинальность и цельность твои главные качества. И непосредственность, черты непосредственности

прежде всего. Все внутренние и внешние твои особенности составляют что-то одно. Все отлито в тебе как бы из одного куска.

— Спасибо. Но опять ты не о том. К чему мудрствовать и так и сяк. Скажу проще. Как мне не тужить, как не горевать. Вмешательство в мою раннюю жизнь одного пожилого, возрастом в отцы годившегося мне человека испортило мою дальнейшую судьбу. Из-за этого не сладился мой последующий брак с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня и которому я отвечала тем же.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН ГЛАВ 15-16

Ю. А. В ЮР<ЯТИНСКОЙ> БОЛЬНИЦЕ. РАБОТЫ

Когда Юр. Андр. отойдет и станет оправляться, его опять, как в первое время приезда в Юрятин, потянет к работе. (А как же возвращение в Москву? Отложит, чтобы окрепнуть.)

Он пойдет служить врачом в Юрятинскую больницу. Врачебная практика тотчас же столкнется в нем с его неотмершей исследовательской жилкой и пробудит в нем ученый зуд мыслителя. Он станет набрасывать свои мысли о строении глаза и теории света и другие соображения о физиологии зрения и органической жизни в самых общих тезисах и положениях. Эти записи возродят его творческую, писательскую тягу. Его и в этом отношении потянет к бумаге и кое-что он запишет и спрячет.

С учеными своими записями он будет знакомить товарищей по службе и кого-нибудь из оставшегося образованного общества. Постепенно всех чем-нибудь интересных, видных и полюбившихся ему и всех понимающих и симпатизирующих ему сослуживцев в больнице перезаберут и половину перестреляют. Он останется один. Это будет его каждый раз несказанно взрывать и печалить. На него самого начнутся нападки. Про него донесут, что он чуждый революции элемент, сын миллионера, распространяет в науке взгляды, противоречащие Павлову, не знает рефлексологии, мистик, пишет стихи и верующий.

Он уйдет из больницы, и тогда что-нибудь случится, вследствие чего, вместо того чтобы ехать в Москву, он увезет Лару в Варыкино. Восстание? Или к этому времени придет письмо об отъезде семьи за границу. Вышлют тоже по чуждости пролетарской идеологии.

НАБРОСОК ПЛАНА К ГЛАВАМ 11-18 И НАЧАЛУ ЧАСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ

ПЛАН ЧАСТЕЙ

ПОСЛЕ ДНЕЙ БОЛЕЗНИ ВЕСНОЙ В ЮРЯТ<ИНСКОЙ> КВАРТИРЕ ЛАРЫ И ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ С НЕЙ

Отходит, выздоравливает, работает в учреждениях. Все время говорит о возвращении в Москву к своим и откладывает отъезд (трудности передвижения, оттого и задерживается). Лариса Федоровна соглашается, что ему надо ехать. У нее ведь знакомство и может быть договоренность с Тоней. Юрий Андреевич несколько раз пишет письма родным. Но ходит ли почта? Из ящиков писем может быть не вынимают. Справляется на почте. Говорят, — периодами, полосами. Впоследствии из письма своих узнает, что письма к ним не доходили.

Наступает лето. Разочарование на службе, доносы. Уходит со службы. Отъезд в Москву решен. В это время письмо. Подкапываются под Лару. Стрельников смещен и тайное его покровительство прекращается. Побег в Варыкино. Поселяются в пустующей квартире Микулицыных. В предвидении этого очень подробно описать домик их вначале. Может быть, скопировать с директорского дома во Вс<еволодо>-Вильве или в Тих<их> Гор<ах>. Но с обрывом и широким видом, целою местностью, областью, наклонно положенной у ног, целым многоверстным ковром, сотканным из вершин деревьев в овраге. Мечтает про себя: что за вид! Вот бы пописать перед таким окном. И не знает, как близок к осуществлению этой мечты, как безумно и вдох-

новенно будет он писать именно в этом месте и как горек ему будет этот вид, как он будет плакать и рваться к милым.

(Когда Лара уедете Комаровским, в особенности описание расположения дома и ландшафта обязательно согласовать с выпадением снега в главе о появлении Комаровского и отъезде Лары. Вдруг вся эта ширь побелела. Увидеть и точно захватывающее описать: тожество состояния самой приближенной и самой удаленной точки: дерева перед окном, бессильного сбросить с себя белую обнову, и леса на горизонте в том же положении, ровной белой пелены там и тут и темного неподвижного неба, одинаково свинцового над домом и далью.)

В день этой белой внезапности чувствует, что снегом неожиданность не ограничится, что случится еще что-нибудь ошеломляющее, какая-нибудь неожиданная радость или горе. Комаровский приедет с действительными страхами за Лару вследствие достигших до центра слухов с опалой и опасностями, угрожающими Стрельникову, разоблаченному Антипову, что он подозревается в связях с монархистами и ему не избежать гибели, которая распространится и на нее. Кроме того (только в разговоре Комаровского с Ларою) — у нее девочка, она не одинока, ей нельзя фантазировать. Если она хочет гибнуть одна или с кем-нибудь, пусть передаст ему Катеньку, он ее усыновит. И о последней белой попытке организовать новое правительство на Дальнем Востоке (Рейхберг).

Потом после их отъезда встреча Живаго со Стрельниковым. (Все очень короткие сроки: долго на иждивении Афишки он находиться не может.) Потом самоубийство Стрельникова, и Живаго исчезает со сцены и в конце зимы, новою весной появляется в Москве.

Исключение в этом пробеле: попадает в избу к Васе.

В тоске безумных дней одиночества взять образ из фольклора спутавшихся березовых ветвей (кольцо гнездо) и так же было у партизан.

НАЧАЛО ГЛАВЫ 15 БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии предполагаемого возвращения к своим в Москву, он поступил в три места на службу. Быстро развивающееся обесценение денег опережало любой высоты оклады. Чтобы пропитать себя и близких и свести концы с концами, приходилось ловчиться и нести три обязанности одновременно. ,

Юрий Андреевич всегда любил работу и не считал безделья отдыхом. Практически полезные, приносящие утомление занятия развлекали его. Ему не только нравилось служить, хождение на службу, посещение должностей доставляло ему удовольствие.

Ежедневная должностная ходьба пешком носила его по разным районам города. Юрий Андреевич любил этот приятнейший вид прогулки.

Он все еще не мог привыкнуть к разнообразию и обширности этого без порядка по холмам раскинувшегося города, старого губернского центра, средоточия горной промышленности на севере и хлебной торговли на юге. Многое из жизни жены и некоторые собственные его воспоминания связывали его с этим местом. Доктор не мог быть равнодушен к Юрятину, родине и резиденции своей сердечной зазнобы. Он смотрел на его улицы лицеприятными глазами любящего.

В середине города, на горе белели и желтели ампирные фасады прежних дворянских особняков и казенные здания с колоннами. Часть города между центром и окраиной занимали сады и склады, амбары и жилые строения купечества. Поклонники старины возводили постройки в допетровском вкусе. Любители новшеств гнались за последним криком моды и строились в новейшем иностранном манерном стиле.

Часть четырнадцатая «ОПЯТЬ В ВАРЫКИНЕ»

К ГЛАВЕ 3

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

— Сейчас я тебе отвечу. Прости, я прерву наш разговор на минуту. Я давно хочу спросить и все забываю. Со времени моей ссоры с Комаровским, на другое утро после его ночных рассуждений о Внешней Монголии и его ночевки у нас, — скажем прямее, — с тех пор как я накричал на него, выгнал и спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал. Я даже не знаю, в Юрятине ли он или уже уехал?

— Я тоже ничего не знаю. А бог с ним совсем. На что он тебе?

— Ну хорошо. Это так, в сторону. Продолжим начатый разговор. Спасибо тебе за все то, что ты сказала о Варыкинском доме, о душах, населяющих его, о семейных воспоминаниях, которые остались для меня живы и неприкосновенны.

Но ты напрасно думаешь, что этим шагом, уходом из города, я добиваюсь спокойствия, ищу счастья, надежности. Как можно мечтать об этом в наши годы? Спастись от нависшей угрозы и некоторое время еще остаться в целости на свободе, вот все, на что позволительно рассчитывать.

Я не зря вставил в разговор свой вопрос о Комаровском. Я все больше утверждаюсь в мысли, что мы по-разному должны отнестись к его предложению. Мне невозможно его принять, тебе нельзя от него отказываться. Он прав. Мы не в одинаковом положении. На твоем попечении дочь. Ты должна цепляться за жизнь, хвататься за последнюю соломинку, стараться ради нее удержаться твердо на ногах. Даже если бы тебе было нужно или ты хотела бы разделить со мною мою гибель, ты из-за нее не вправе себе это позволить.

— Говори, говори. Я слушаю тебя.

— «Гибель», «разделить мою гибель», — о как мне противны эти выражения! Как я презирал всегда высокопарность театрального словаря, как ненавидел трагические ноты, фанфаронство, угарную трактирную неуемность широких натур! И вот я дожил до дней, когда я сам опускаюсь до этих громких восклицаний, потому что жизнь вся до основания вывернута наизнанку, и все против воли говорят напыщенно, и каждое положение действительно трагично.

В том же самом Варыкине сколько сил я потратил на противоположное, на свою мечту о честном непритязательном трудовом существовании, единственно согретом волшебным светом семейного одухотворения. Что с тобою? Тебе неудобно лежать? Ты хочешь что-то возразить? Тебе скучно, неприятно?

— Нет, нет. О что ты. Говори, говори. Я слушаю внимательно.

— Год жизни положил я на это стремление и, казалось, приближался к цели. Но что делать, когда самое обыкновенное и естественное в наше время наиболее несбыточно и недостижимо. Какие из ряду вон обстоятельства мне помешали! Мой захват партизанами более чем на год, высылка семьи навсегда за границу, ведь все это из романа приключений, что может быть баснословнее и неправдоподобней!

А потом позднее, когда я так недавно и совсем еще на днях, на твоих глазах, не покладая рук работал в трех здешних учреждениях. Опять как в Варыкине, я с чувством удовлетворения приблизился к той черте ремесленной добросовестности и усердия, за которой начинается область научных открытий и пробуждаются жаждущие применения художественные задатки. И опять все точно соединилось против меня и все пошло прахом.

Я уже сказал и не перестану повторять. Каково мне, врачу, здраво рассуждающему, дельному, неизбалованному, говорить с тобою приподнятым языком отчаяния! Но ведь оно не вымышлено, не наиграно, не беспричинно.

К ГЛАВЕ 7

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

— Твои слова о фальшивой живости и взвинченности наших похождений глубоко правильны. Эта неосновательность, бивуачность наших кратковременных привалов, — кто станет

с этим спорить? Но ведь это свойство всей современной жизни, а не только лично наша участь. Так это у всех, это в духе времени.

Помнишь в детстве, когда старшие затевали игры с приглашенными мальчиками и девочками на детских праздниках, двигались и шумели, побуждая к веселью? Помнишь, как до слез угнетала искусственная преднамеренность и тяжеловесность этих развлечений? А потом, в зрелости, помнишь такую же наигранную крикливость и безудержность сборных пикников за городом, на лоне природы?

Тот же ложный тон отравляет нынешнее существование. Жизнь совсем не должна идти под сопровождение философского комментария, обсуждений, проповедей. Она не дело экспромтов, экспериментов, импровизаций. Ее не надо строить, устраивать, переделывать. Никого не надо осчастливливать. В свое время очень справедливо смеялись над богачами-благотворителями. Революция от их филантропии отличается только тем, что она благотворительство насильственное и кровавое.

Человек сам должен пройти путь гигантский, что-нибудь, скажем, от пастушка до императора, а жизнь обязательно должна содержать нечто унаследованное, неизбежное, некоторый, нужный для осадки роковой балласт, без которого она кажется выдуманной мизансценой, пустой и праздной театральной постановкой.

К ГЛАВЕ 17

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ

В последнем разговоре Стрельн<икова> с Живаго: когда зайдет разговор о рев<олюции>, Стр<ельников>скажет, что он из рабочих. О Ленине — гениальный человек внутри своей схемы: точность и постоянство всех парадоксов о свободе, демократии, государстве, насилии. (Для этой подробности выносить из Л<енина> с отметкой для Стрельникова самое восхитительное: лаконизм и проницательность в отыскивании движущих пружин.) В этих строках (в устах Стрельникова) воздать должное Л <енину> и революции. Даже в его словах о Ларе — был реалистом, мальчиком, ее вид наполнял его счастьем. Счастьем безраздельным, не смешанным с болью, было это только тогда, в ребячестве. Потом несколько случаев или полос небывалого, немыслимого упоения, за которое платил целыми годами душевной тоски и тревоги. Эта жизнь была дорогой справедливою платой за них. Какая необыкновенная женщина; с какой большой душой, с какой-то образцовостью во всем существе. И как необъяснимо, что ее детством овладел и этим наложил печать на все ее существование Комаровский. Как необъяснимо, как непонятно. Как это характерно для всего свергнутого строя, для эксплуататоров, для (капитализма ?). Его война и революция были местью за Лару. Может быть, опять что-нибудь из Л <ени-на>. Тут каждый раз Ж<иваго> будет возражать, что анализ места труда в экономической системе капитализма, пусть и правильный и по остроте гениальный, есть разбор одной только малой частности современной истории. Она не только не универсальна, но наоборот, имеет тенденцию к измельчанию, на которое обречена всякая односторонность, а представление об этой теории, как о всеобъемлющей, уничтожает частичную полезность этого учения, потому что опасность роковой путаницы, которую влечет на практике за собой это смешение, перевешивает все теоретические достоинства этого взгляда.

СТРЕЛЬНИКОВ

О Л<ЕНИНЕ> И КАПИТАЛИЗМЕ

В разговоре Стрельникова с Ю<рием> А<ндреевичем> Стр<ель-ников> напоминает Ю. А. самое резкое, смелое и меткое из Ленинских определений социализма, советской власти и пр.

Стр<ельников>: Я не только восхищаюсь блеском этой мысли. Но это таков ведь действительно мир, [явившийся в ответ на] которым он создан во искупление томления духа.

Разве ваше сердце никогда не обливалось кровью при виде поругания.

Я томился всем этим. Черная тень...

А Ю. А. подобным же образом отвечавший раньше Мику-лицыну, но тут со Стр<ельниковым> острее, тут спор между равными.

Исторически, в момент действия, равного противодействию, когда искры из глаз летят, это все блистательно, величественно и неопровержимо. Но в дальнейшем оно грешит своей узостью, выдаваемой за универсальность. Самое положение, что корень всего в экономике, а остальное приложится, [то есть] что было бы основание, а надстройка неизбежно сама появится, обусловленная особым строением основы, спорно.

Допустим, что искусственно созданная или того еще меньше: словесно провозглашенная, новая система заменяет настоящую действительность. Допустим. Вы говорите: предоставьте дело новым условиям. Они сами будут жить и думать по-новому, как прежде думали Толстой и Достоевский. Откуда вы это знаете. Где это проверено. Кто это доказал? А вдруг не будут. Что тогда. И вы террористически продержите миллионы людей десять, двадцать, пятьдесят лет без мысли. Все ваши положения аффективны, мятежны, кажутся истиной только в момент страстности.

Часть пятнадцатая «ОКОНЧАНИЕ»

ПЛАН ГЛАВ 5-6

Как-то раз с Мари шей В утро Рождества Я у нувориша < > пилил дрова.

Часть, следующая за Юрятинской. Такое изложение: Доктор Юрий Живаго уже не первый год живет в Москве. Хотя ему только за тридцать, он немолод и опустился. С ним живет, заботится о нем, молится на него и перед ним трепещет дочь Маркела Марина, та самая, которая когда-то с палочкой ячменного сахара во рту смотрела, как ее отец собирал роковой гардероб Анны Ивановны в старом доме в Сивцевом Вражке. Вскоре после отъезда Громеков в Варыкино, Маркел с Сивцева перебрался в Мучной городок чем-то вроде коменданта.

Когда Юрий Андреевич в начале нэпа голодный и завшивевший добрался до Москвы, ему некуда было деться и Маркел из милости подыскал ему угол в одной из квартир Мучного городка, в той комнате на бывшей квартире Свентицких, где когда-то останавливался дядя Коля.

О сближении своем с Мариной сам Юрий Андреевич рассказывал так: «У меня был с ней роман так сказать в двадцати ведрах, как говорят роман в двадцати письмах. Этот роман заключался в следующем.

Хотя и комендант Мучного городка Маркел с женой и многочисленными дочерьми занял обширную дворницкую дома, это полуподвальное помещение имело то преимущество перед квартирами в верхних этажах, что когда там замерзала вода в водопроводных трубах и они лопались, она неиссякаемо текла из крана внизу у Маркела, куда целыми месяцами ходили за водою те из жильцов, которых он к себе благоволил по тем или иным мотивам пускать.

Вдоль длинного стола сидели за щами все девять дочерей Маркела и сам он с женой и перебрасывался замечаниями с водоносами, пока те стояли у крана, набирая воду.

Однажды зимой Юрий Андреевич задумал постирать и помыться (он тогда хозяйничал один) и для этой цели решил напасти воды в старой цинковой ванне Свентицких, и во всех лоханях и баках, какие у него имелись.

В те десять или пятнадцать приемов, что он спустился к Маркелу за водой, это и началось. От ведра к ведру доктор разговаривал с девушками, защищавшими Юрия Андреевича от Маркеловых презрительных нападок. Марина вызвалась помочь доктору. Они подружились и скоро Маркел стал звать дочку докторшей.

К ГЛАВЕ 5

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

— Удивляюсь я вам, Юрий Андреевич, — говорил Вася. — Извините меня и лучше не отвечайте, выругайте. Не смею я так говорить. Ну только не пойму я. То ли охота у вас такая большая к своим съездить, или смерть не хочется свидеться? Ежели правда это ваше желание, разве так добиваются чего хотят всей душою, воистину? А ежели вам лень или неохота потерю ворочать, кто вас неволит по наркоматам таскаться и самого себя обманывать? Вы на меня не серчайте, Юрий Андреевич. Я Антонину Александровну по вагону тому помню, да и как ее забыть, душеньку и святую женщину. И тестя вашего помню, и Нюшу, и Шурочку. На вашем бы месте, — кабы я был им отец и муж, — я бы ни в жизнь, — эх, да и что там говорить, — вы меня простите, Юрий Андреевич.

— Верно, верно, Вася. Спасибо тебе, что ты за них горой вступился и меня стыдишь. Всегда оставайся такой. Всегда требуй от себя в жизни прямоты и ясности. А мне ответить нечего.

— И эта другая, вы проговаривались. Опять вы скажете, молокосос, и он туда же. И правильно. Зачем соваться. А мое мнение такое. Нехорошо это. Надо всеми силами противиться. Возьмите заповеди. «Не убий», и сейчас же рядом «не прелюбы сотвори». Видите, как близко эти вещи страшные стоят, как одна идет за другой следом. А уж коли на то пошло, как в себе не разобраться, что сильнее? Горят две свечки в комнате. От какой тень, та, значит, и светлее и ближе.

К ГЛАВЕ 6

БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ

— Сама ты дура, — отвечал Маркел. — Что на Тоньку смотреть, Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится. Высланная она. Опальная. Белая негритянка. (Маркел часто слышал слово белоэмигрантка и мог бы повторить и выговорить его. Но он был убежден, что все это слово перевирают по непониманию, и только он один исправляет их ошибки и употребляет его правильно.)

Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати письмах. Марине было жаль доктора по той самой причине, по которой его оставил Вася, поругивали опять вернувшиеся в его жизнь друзья Гордон и Дудоров и многие презирали. Она держалась своего мнения о Юрии Андреевиче. Ее взгляд на него отличался от того, что думали другие. Однажды, гораздо позднее, может быть, даже после его смерти, когда Живаго не стало, а Марина сделалась женою Гордона, она так выразила эту точку зрения:

«Доброе у него было сердце. Робкое. Пуганое. Его дядя сбил знаменитый, а потом эта, вольнопомешанная. И пошел он путать. Я его речей никогда не понимала, точно на него какую-то порчу умственную навели. Да и понимал ли он сам, что говорит, когда философствовал. Не думаю. И стихи у него были чужое, наносное. Не под силу они были ему. Он ими душу надорвал. Кабы его не испортили, хороший был бы человек, нынешнего склада, честный, с ясною головой. И долго бы еще прожил. Бывало, найдет прояснение, бросит пить, одумается, опять займется практикой и не нахвалятся люди, как он лечит, как болезни распознает».

Марина прощала ему его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь, которую он заводил в доме, не позволяя ей убирать на столе у себя, в надежде, что скапливающийся в комнате хаос когда-нибудь в одну из полночей преисполнится вдохновения, и сам, без его участия силою одной пыли и беспорядка, родит что-нибудь и переродит его. Марина терпела его брюзжание, резкости, раздражительность.

ВЫПИСКИ

ИЗ СТАТЕЙ Ф. М.ДОСТОЕВСКОГО

К странице о Достоевском. Соображения, выписки из Днев-н<ика> пис<ателя> и заметки к нему.

Мысли о Достоевском, о народном поэте в разговоры Ю. А. с Ливерием?

Досто<оевский> о народности.

По романам, влож<ить^ в уста Юры о Дост<оевском>: Русская жизнь стала явлением, русская сила в действии -сознанием. Время? Время написания его романов, время его фантазии, время его теперь осуществившихся предвосхищений.

Потребность красоты особенно велика в борьбе, дисгармонии, когда человек наиболее живет, когда чего-нибудь ищет и добивается.

В наше время наибольшей жизни. Сильное любит силу. Кто верует, тот силен, а мы веруем и, главное, хотим веровать.

<перенумерованные страницы 1—5>

У нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек.

Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь.....— это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании.

Кончила с европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. Обращается к народному началу и хочет слиться с ним, несет ему в подарок науку, то, что с благоговением получила от Европы, не цивилизацию, а науку.

Но позвольте (спросят европейцы), что же такое вы сами, русские?

Русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества.

Способность самоосуждения лучшая сторона русской природы.

Нужно было быть слишком оригинальным, чтобы, быв Московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию.

В лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, до какой степени он свободен духом, до какой степени сильна его воля.

Но богиня (Диана в стихах) не воскресает и ей не надо воскресать, ей надо жить, она уже дошла до высочайшего момента жизни, она уже в вечности, для нее время остановилось. Это высший момент жизни.

Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать... И это искание и называется жизнью.

И знаете еще что: (Добролюбову в споре об «антологическом» и утилитарном искусстве по поводу Добролюбовской статьи о Марке Вовчке) в русском обществе этот позыв к общече-ловечности, а следовательно и отклик его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое нормален и вековечно в нем останется.

Ср<а>в<нить> Блок об интеллигенции.

Из ст<атьи> (Достоевского) Книжность и грамотность. Стоять за грамотность, потому что в распространении ее единственное возможное соединение (связь) наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения: мы чувствуем, что утратили все наши силы в отдельной с народом жизни, задыхаемся от недостатка воздуха и пр.

Ненародность Пимена (Отечественные записки).

Онегин тип исторический. Черты русского человека в известный момент его жизни, именно когда цивилизация ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок и все странные, неразрешимые вопросы стали осаждать русское общество и проситься в его сознание.

Онегин принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом.

К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый заговорил самостоятельным и сознательным русским языком.

(Он<егин>) Это первый страдалец русской сознательной жизни (Первый «лишний» человек Дост<оевский> — Чехов). В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать.

Он европеец: что ж принесет он в Европу и нуждается ли она еще в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее?

Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Мы (образованные) не весь народ, а только часть его. Но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. 1де вы видели такого народного поэта, как вам представляется? И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием, чем высший класс народа?

Английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это не верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может, сословия у нас, напротив, сливаются. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности. Настоящее высшее сословие теперь у нас — со-словие образованное.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГАМЛЕТ

Вот я весь. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске То, что будет на моем веку.

Это шум вдали идущих действий. Я играю в них во всех пяти. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.

Февраль 1946

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

В пожаре вечера окрестность Прозрачная, как кисея. Зеленым лесом в неизвестность Бежит сырая колея.

А на пожарище закатном В дыму, над угольями пней, Под стать колоколам набатным Неистовствует соловей.

Засев в глушняк и мелкий хвойник, Он держит в трепете овраг, Как древний соловей-разбойник, Сидевший на семи дубах.

Река, и лес, и луг, и поле Оглушены, изумлены, Ловя отмеренные доли Восторга, боли и вины.

Июль 1953 ОСЕНЬ

На дереве свистит синица, Посматривая с нелюбовью На комнату и наши лица, На наше скромное зимовье.

Мы здесь одни с тобой на даче, Все разбежались врассыпную, Я рано в стол работу прячу И в мыслях нашу ночь рисую.

Я до весны с тобой останусь Глядеть в бревенчатые стены, Мы никого не водим за нос, Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем, Я с книгою, а ты с вязаньем, И на рассвете не заметим, Как целоваться перестанем.

Мы будем толковать и спорить, И, несмотря на разногласья, Все явственнее будет прорезь Багровых листьев на террасе.

Еще пышней и бесшабашней Шумите, осыпайтесь, листья, И чашу горечи вчерашней Сегодняшней тоской превысьте.

Осеннее стихотворенье, Ты с ними заодно в их шуме. Пожалуйста, без повторений, Замри или ополоумей.

Закат, вечерняя картина С тенями, длинными, как лыжи. На этой просеке пустынной Тебя я в каждой ветке вижу.

Твое распахнутое платье, Как рощей сброшенные листья, Когда ты падаешь в объятья В халате с шелковою кистью.

Ты в жизни не боишься рока, Зимы и туч на небосклоне, И вся видна и одинока Пред Господом, как на ладони.

Ты не пугаешься оврага И входишь в рощу без испуга, А корень красоты — отвага, И это тянет нас друг к другу.

Ноябрь 1949

СКАЗКА

Старая, седая, Пережив свой род, Правнучку качая, По ночам поет:

«Встарь, во время оно, Баюшки-баю, Пробирался конный Степью по репью.

Ныло ретивое, Баюшки-баю, Бойся водопоя, Покорись чутью.

Он не внял призыву, Баюшки-баю, И коня с обрыва Свел поить к ручью.

У речного склона, Баюшки-баю, Повстречал дракона, Увидал змею.

Я на помощь кличу, Баюшки-баю, Онемев, добычей Чудища стою.

Змей оплел мне руку, Баюшки-баю, Получив на муку Молодость мою.

Злой моей недолей, Баюшки-баю, Выкупили волю Люди в том краю.

Конный уничтожил Чудище в бою, Но недолго прожил, На беду мою».

И старуха гладит Правнучку свою: «Конный был твой прадед. Баюшки-баю».

Октябрь 1953

КОММЕНТАРИИ

Работа над романом «Доктор Живаго» была начата в декабре 1945 г., последние изменения в текст внесены в декабре 1955 — январе 1956 г. Черновые наброски, рукописи частей I—IX находятся в семейном собрании, части X—XVI — в РГАЛИ, ф. 379, те и другие машин, копии, обильно правленные автором; машин, копии с небольшой правкой 1956 г. — в собр. М. К. Баранович, Л. В. Стефанович (РГАЛИ, ф. 2893) и подаренная А. С. Эфрон машин, с окончательной правкой — в собр. Вяч. Вс. Иванова.

О большой прозе Пастернак мечтал в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им в разное время, оставались неоконченными. Пробудившиеся после победы в Отечественной войне надежды на либерализацию общества укрепили его замысел и дали силы приступить к работе, которую он считал делом своей жизни. Несмотря на то что ожидания перемен оказались напрасными, намерение писать роман стало внутренней необходимостью, чему способствовало нарастающее недовольство собой, «благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец <...> было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу», — писал Пастернак Вяч. Вс. Иванову 1 июля 1958 г. Решение было вызвано желанием «договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях».

Исходный план романа был с самого начала совершенно ясен, и Пастернак рассчитывал закончить его в полгода. «Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня "сыр-бор" в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твое мул етнему приезду и тогда прочесть», — писал он О. М. Фрейденберг 1 февр. 1946 г. Но планы и реальные возможности резко разошлись. Работу приходилось часто прерывать, необходимость заработка заставляла заниматься переводами, замысел романа по мере писания разрастался и видоизменялся. Пастернак читал друзьям отдельные главы, выслушивал замечания, сохранились его записи с претензиями читателей и отмеченными им самим «недостатками романа». Неоднократные переделки текста отразились в рукописях и черновых набросках.

Первая глава «Пятичасовой скорый» читалась 3 авг. 1946 г. в Переделкине. Приглашенный на чтение К. А. Федин записал: «Роман "Мальчики и девочки" с эпиграфом из Блока; 1-я глава относится к 1903 году: Приволжско-центральная Россия» (собр. Н. К. Фединой). Эта запись дает основание считать, что первоначальная редакция главы сильно отличалась от сохранившейся в карандашной рукописи, близкой к окончательному тексту, но содержащей множество наклеек и зачеркиваний. В рукописи нет эпиграфа из стихотворения Блока «Вербочки», первая строка которого с заменой союза «да» на «и» была взята Пастернаком для названия романа и соотносила его атмосферу с Вербной субботой, открывающей семидневный цикл Страстной недели.

Сохранились три обложки с записанными карандашом и последовательно вычеркнутыми названиями романа; одна озаглавлена «Мальчики и девочки», другая — «Смерти не будет» с эпиграфом: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение Св. И. Бог. гл. 21 ст. 4». На третьей — зачеркнутое название «Рыньва» (по реке, на которой стоит Юрятин) заменено яркой метафорой человеческой души: «Свеча горела. Роман» с эпиграфом: «Aime tes croix et tes plaies / Il est saint que tu les aies» («Люби свой крест и свои язвы, иметь их — святость») из стихотворения Верлена 1891 г. «O, j'ai froid d'un froid de glace...» («Я мерзну от ледяного холода...») из книги «Bonheur» («Счастье»). На полях обложки наброски рабочих вариантов названий: «Нормы нового благородства», «Путями несчастий», «Несчастными путями», «Земнородные», «Земной воздух». Появление названия «Свеча горела» можно датировать зимой 1946-1947 г., временем, когда было написано стихотворение «Зимняя ночь», из которого взяты эти слова.

Вложенный в эти обложки карандашный автограф I—III глав (частей) и начала IV содержит 177 больших, сшитых в тетрадь страниц авторской нумерации. Вторая часть «Девочка из другого круга» была окончена через месяц после первой и 9 сент. 1946 г. читалась в кругу друзей в Переделкине, затем обе вместе — в Москве 27 дек. у М. К. Баранович и 6 февр. у М. В. Юдиной. Приглашенными на чтения в Москве были друзья хозяек, и Пастернака особенно интересовало их понимание «атмосферы вещи», то есть, как он признавался О. М. Фрейденберг, — «моего христианства, в своей широте немного иного, чем квакерское и толстовское, идущего от других сторон Евангелия в придачу к нравственным» (13 окт. 1946).

Начавшаяся работа над следующей, третьей частью была остановлена; по советам слушателей автор решил «усилить и детализовать революционный фон изложения, стоявший на заднем плане» (письмо к С. Чиковани. Декабрь 1946). В первоначальной рукописи главы, посвященные разгону демонстрации, были вычеркнуты (см. «Другие редакции и черновые наброски». С. 553) и вместо них вклеены страницы с текстом, близким окончательному. В это же время 23 янв. 1947 г. Пастернак заключил договор с

«Новым миром» на написание романа в 10 авт. листов под названием «Иннокентий Дудоров. (Мальчики и девочки)». Срок сдачи по договору — август 1947 г.

Третья часть «Елка у Свентицких» (в первоначальной редакции) была написана к апрелю 1947 г. Три части читались в нескольких домах: у П. А. Кузько 5 апр., у Н. М. Любимова 20 апр., у П. П. Кончаловского и у Серовых 11,18 мая 1947 г. Последнее чтение проходило в память недавно скончавшейся дочери художника, О. В. Серовой, сверстницы и подруги детства Пастернака, в том самом доме на углу Серебряного и Большой Молчановки, где с Юрием Живаго происходили неожиданные события, в частности застигшее его именно здесь известие об установлении советской власти и встреча со своим братом Евграфом, определившая судьбу героя и изменившая первоначальный план романа. Дом и встреча описаны в шестой части «Московское становище».

К весне 1947 г. было написано шесть стихотворений в тетрадь Юрия Живаго, которые Пастернак читал друзьям, рассылал в письмах, они были перепечатаны на машинке и сшиты в небольшие тетрадки. Посылая стихиМ.П. Громовубапр. 1948 г., Пастернак так описывал план работы: «...вложу в это письмо последние мои стихи, входящие главою в мой роман в прозе, который я пишу сейчас. Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимает время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так году в 1929-м должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А. П. Чехова. Когда его сводный брат, о котором он знает только понаслышке и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок, имеющих философский интерес, и целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку Юрию Живаго».

Стихи к роману отразили новую стихотворную манеру Пастернака. Написанные от лица его героя, они по большей части лишены той откровенно личной, биографической основы, какая характеризовала его прежнюю лирику, но прозаические главы, посвященные юности героя, насыщены реминисценциями душевных переживаний автора времени окончания университета, выбора пути и первых литературных опытов.

После весенних чтений работу над романом пришлось прервать, Пастернак срочно взялся за переводы, дававшие ему возможность окупить писание прозы. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи были переведены в месяц с неделей, «Король Лир» — за полтора месяца. «Это лето (в смысле работы) — это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно, и это первая вещь, которою бы я стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя», — писал он 8 сент. 1947 г. О. М. Фрейденберг.

Продолжение романа задерживалось чтением книг о войне 1914 г., которые раздражали Пастернака своей ложью. «Мой роман представляется мне, — говорил он Л. К. Чуковской, — одной из форм протеста против них» (Воспоминания. С. 415). В новую сшитую большую тетрадь объемом в 170 страниц старой хорошей бумаги (подарок Н. Табидзе) были набело переписаны чернилами все четыре части, переработанная «Елка у Свентицких» и восемь глав четвертой части — в этой редакции названной «Годы совершеннолетия и встречи на войне». (Этоттекст, как и текст начала первой редакции под названием «Годы в промежутке», см. в разделе «Другие редакции и черновые наброски». С. 577.) На обложку тетради было

перенесено название «Свеча горела», написанное на наклейке, под которой имеются три последовательно отвергнутые заглавия, говорящие о продолжавшихся колебаниях автора: «Живые и мертвые, воскресающие», «Из архивов семьи Живаго», «Опыт русского Фауста (Из неопубликованных бумаг семьи Живаго)».

В конце мая 1948 г. Пастернак читал написанное А. А. Ахматовой в квартире Ардовых, где она останавливалась. «Я так ее уморил, — рассказывал он А. К. Гладкову, иронизируя над своей увлеченностью, — что у нее чуть не начался приступ грудной жабы...» (Встречи с Пастернаком. М., 2002. С. 197). Через две недели он отдал рукопись в перепечатку, последняя часть приобрела окончательную редакцию и название «Назревшие неизбежности». Она была переписана вновь карандашом в отдельную тетрадь, внизу последнего листа которой значится «Конец первой книги». Тогда же установилось название романа «Доктор Живаго» с подзаголовком «Картины полувекового обихода».

Последовавший вслед за тем перевод первой части «Фауста» надолго оторвал Пастернака от продолжения работы над прозой. С августа 1948 по февраль 1949 г. было переведено 4700 стихотворных рифмованных строк Гете. С окончанием перевода торопили следовавшие из «Нового мира» одно за другим требования о взыскании аванса за не предоставленный в срок роман «Иннокентий Дудоров»; одновременно с передачей дела в суд рукопись «Фауста» была сдана в издательство, и гонорар за него пошел на уплату истраченного аванса.

Написанные в ноябре-декабре 1949 г. семь стихотворений в тетрадь Юрия Живаго отразили тоску и боль неотвратимого конца, вызванные возобновившейся с новой силой волной арестов, и в первую очередь близкого друга Пастернака последи их двух лет О. В. Ивинской («Осень», «Дурные дни», «Магдалина», «Свиданье», «Гефсиманский сад»).

Части, посвященные революции 1917 г., пятая и шестая, «Прощание со старым» и «Московское становище» были дописаны только в августе — октябре 1950 г., после перевода трагедии Шекспира «Макбет». В пятой части отразились впечатления от поездок Пастернака летом 1917 г. в Тамбовскую и Саратовскую губернии. В процессе переписки набело первоначальная карандашная рукопись, писавшаяся на оборотной стороне машинописи военных стихов, была уничтожена, остались отдельные страницы (см. «Другие редакции и черновые наброски». С. 603). Соглашаясь с упреками друзей, увидевших в последних частях «упадок» и «уход в ординарность» нелегко давшейся ему «простоты», Пастернак писал: «Что же, не горе и это. Если есть где-то страдание, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, а может быть, и не правы. Может и очень может быть, я прошел только немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к человеческому страданию и готовности разделить его» (письмо к Р. К. Микадзе 18 нояб. 1950).

Много душевных сил и времени было отдано на перевод второй части «Фауста», который был сдан в издательство в середине августа 1951 г. В письмах этого времени сквозит утомление, звучат жалобы на плохое самочувствие.

Черновые подготовительные заметки к седьмой части «В дороге» были переписаны в апреле-мае 1952 г., и 2 июня состоялось чтение новой части в кругу друзей, собравшихся у Пастернака в Лаврушинском переулке. Среди слушателей были Ахматова, Д. Н. Журавлев с женой, Е. А. Скрябина. Характер дальнейшей работы ярко передает сохранившаяся записка, относящаяся к этому времени: «19 июля начать с переписывания набело куска "В дороге", постепенно перейти к писанию нового. Чередовать с чтением Ленина, статьи об оптике в Энциклопедии и Уральского фольклора. Когда я 18-го возвращался с встречи Зины с Леней на поезде, в Очакове мне пришла в голову мысль, что у Юрия Андреевича, несмотря на семейный и

исторический трагизм этих лет, перед смертью должен быть большой запас новых мыслей, желание жить и жажда деятельности (своей, новой). Смерть должна быть неожиданной случайностью».

Расчеты на окончание романа в этом году, о которых он писал 14 июня А. Эфрон, не оправдались и не пошли дальше окончательной отделки главы седьмой, которая в 10-х числах октября была сдана в перепечатку.

Сделанные в это время наброски начальных глав следующей части «Приезд» с еще не уточненными именами действующих лиц постепенно выстраивались в планы распределения по главам фабулы второй книги:

«В восьмую (часть?) войдут? глава п как жили Микулицыны ничего не чая, глава л+/ как вечером сидели и рассуждали о сыне (Ливерий?).

Девятая — перечень трудов и достижений за истекший год + все главы до партизанского плена.

Десятая — плен.

Одиннадцатая — побег, приход в Юрятин, все с Ларою и расставание.

Двенадцатая — возвращение, нэповская Москва, Марина, смерть.

Книги распадутся поровну по 6 частей в каждой».

Дальнейшая работа была прервана тяжелым инфарктом миокарда, случившимся в октябре 1952 г., и продолжена только в феврале 1953 г. «...больше чем когда-либо я хочу дописать роман, — делился Пастернак с Н. А. Табидзе своими мыслями, — перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов или дней, или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год тому назад. И свободное время я трачу на работу над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много» (4 апр. 1953).

Лето и осень 1953 г. после вдохновенной правки корректур «Фауста», при которой Пастернак «не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях» (письмо кО. М. Фрейденберг 12 июля 1953), стали «непрекращающимся блаженством» плодотворной работы над романом. Были написаны одиннадцать стихотворений, набросаны планы и отрывки к следующим семи частям (VIII-XIV):

«Приезд в Варыкино. Микулицыны. Посмотреть и сличить со сделанными набросками и записями в Москве осенью 1953 г. После выяснившихся линий структуры: (I). Афишка в вагоне знакомится, рассказывает. (II). Должно быть сходство Микул<ицына> старшего, его жены, Л ивушки. (III). Политическое: обозначения, цитаты из Л<енина> за и против. (IV). Пейзажное и обстановочное. Интерьер Микул<ицына> и виды из окна понадобятся в отдаленной трагической главе с Ларой в Варыкине и после ее отъезда».

В описаниях Варыкина с самых первых набросков проявляются воспоминания Пастернака о его жизни на Урале в 1916 г. Дом Микулицыных он хочет «скопировать с директорского дома во Всеволодо-Вил ь-ве или в Тихих Горах. Но с обрывом и широким видом». К ноябрю 1953 г. были подготовлены черновые редакции большей части второй книги.

«В романе, в прозе главное вчерне уже написано, — делился своими планами Пастернак. — Герой с главною героинею уже расстался и более никогда ее не увидит. Мне осталось (в первой черновой записи) описать пребывание доктора в Москве с 1922 года по 1929, как он опускался и все забывал и потом как умер, и затем написать эпилог, относящийся к концу Отечественной войны» (письмо к Н. А. Табидзе 16 нояб. 1953).

В работе над юрятинскими и партизанскими главами широко использовались исторические источники гражданской войны на Урале и в Сибири: П. Д. Криволуцкий «Шитинские партизаны» (М.—Иркутск, 1934), А. И. Гуковский «Ликвидация пермской катастрофы. И. В. Сталин и Ф.Э.Дзержинский на Восточном фронте 1918-1919 гг. (М., 1939)», сб. «Допрос Колчака» под ред. К. А. Попова (Л., 1925), Г. Рейхс-берг «Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке» (М., 1940), В. Г. Яковенко «Записки партизана» и его же «Партизаны» (М., 1925), сб. материалов «Колчаковщина на Урале. 1918-1919» (Свердловск, 1929), «Омск в дни Октября и установление советской власти. 1917—1919», сост. О. Кадышева и др. (Омск, 1947), «Архив русской революции», изд. И. В. Гессена. Берлин, 1920—1930. 22 т., и др. Сохранились выписки из этих книг, в черновых набросках имеются ссылки на их использование. Пастернак изучал фольклорные сборники и исследования народной культуры, такие, как: «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева, «Онежские былины» А. Ф. Гкпьфердинга, «Дореволюционный фольклор на Урале» (Свердловск, 1936), «Урал в его живом слове» В. П. Бирюкова (Свердловск, 1953), «Уральский фольклор» под ред. М. Г. Китайника (Свердловск, 1949), «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажова, «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Проппа, первый том «Истории русской литературы» под ред. Е. В. Аничкова,

А. К. Бороздина и Д. Н. Овсянико-Куликовского (1908). (Установлено

В. Г. Смолицким по сохранившейся абонементной карточке Пастернака 1951—1952 гг. из библиотеки Дома литераторов.) К тому же во время эвакуации в Чистополе Пастернак сам записывал особенности местного говора и поговорки. Страницы с этими записями есть в подготовительных материалах к роману.

Сохранившиеся рукописные материалы этого периода позволяют последовательно восстановить характер работы Пастернака.

Чтение и просмотр большого количества сборников исторических материалов и сборников фольклора сопровождалось выписками из них. Во многих заметках имеются ссылки на ленинские статьи времени гражданской войны, при этом выписывались также возражения его оппонентов. Остались следы работы над «Дневником писателя» Достоевского («Другие редакции и черновые наброски». С. 636), ссылки на страницы романа «Братья Карамазовы». Представляя круг интересов своего героя, Пастернак отмечал нужные места в томе Пушкина и делал выписки, набрасывал свои мысли о нем.

Намечались первые планы важнейших сюжетов, но имена персонажей долго еще варьировались от одной записи к другой. Зарисовки с натуры и живые наблюдения подсказывали композиционные мотивы будущих картин.

Пастернак записывал на небольших листках отдельные сюжетные моменты: болезнь Живаго после возвращения из плена, тяжелые переживания ревности, наметки разговоров, попутные мысли и наблюдения, фольклорные соответствия. Из писавшихся в 1942 г. сцен пьесы «Этот свет» выписывал имена персонажей:

«Фамилии, может быть понадобятся, из Чистопольского драма-тич<еского> предположения. Наташа Энгельгардт. Латрыгин. Советская шишка. Мухоморов. Лева Мышеловский (незначительные личности). Мадам Мальчик акушерка. Характеризовать московское нэповское общество по этим, приложенным к списку действующих лиц замечаниям. Юрий Андреевич и Вася в Москве. Нэп<овское> общество по чис-топ<ольским> листкам».

Пометки цветными карандашами помогали соотносить эти записи с сюжетом, отчеркивания на полях говорили о направлении желательных исправлений. Листки раскладывались по пачкам, на обложках которых обозначались темы: «Сюда все о нежности для переноса на стр. 77 (розовым карандашом обведено)». Или: «В нежность

из фольклора». На конверте, в котором лежали наброски, Пастернак записал: «Отдельные, накапливающиеся соображения и эпизоды к роману на отдельных полулисточках. Разобрать и расклассифицировав, растасовать по соответствующим страницам черновика, когда дело изучения материалов и чернового набрасывания подвинется достаточно далеко».

Попутно записывались наблюдения природы, отделывались зарисовки, посвященные началу осени, которая выделяет в хвойном лесу обособленный мир лиственного.

Следующий этап работы характеризуется заметкой, озаглавленной «Техническое. При перебелении последней книги перебирать все записи, относящиеся к отделанной главе, просматривать, включать важное или яркое или отвергать и по использовании уничтожать послужившие данными черновые заметки».

Последнее замечание помогает понять, что сохранившиеся листки по большей части относятся к сюжетам, оставшимся не включенными в основное повествование, — это и сохранило их от уничтожения. К сожалению, от «Чистопольского драматического предположения», бывшего в то время, по-видимому, в сохранности, остались только две сцены, последняя из которых использована в эпилоге романа как рассказ бельевщицы Тани.

Характер работы передает запись, датированная 7 сентября 1952:

«К 8-й части и дальше». «Сочинять крупными захватами фабулы с оглядывающейся назад детализацией пропущенных звеньев, а не прямолинейным движением вперед, что скучно. Например. Всю эту пору можно было бы назвать Микулицынской (а затем, как приехали, Чечевицы, Антипов, Дима и пр.)

Отобрать (и вынести на сокращенный реестрик) из записанных раньше материалов и Ленине двумя рядами: а) синим карандашом типическое вообще для времени, в) красным — имеющее отношение кот-дельным лицам и положениям фабулы».

По заголовку на одном листке, относящемся «к третьей беловой редакции написанного», можно судить, что рукописей с последовательно изложенным повествованием было больше трех. Потом шел разбор недостатков. Сохранился большой реестр с перечислением страниц и мест, нуждающихся в обдумывании и возможной переделке.

Продолжая биографическую последовательность событий, связанных с писанием романа, надо сказать, что по отношению к Пастернаку первым знаком общественных перемен, происшедших со времени смерти Сталина, явилась публикация в апрельском номере «Знамени» десяти его стихотворений под названием «Стихи из романа». В коротком авторском предисловии в нескольких словах давалась характеристика героя Юрия Живаго и излагался план романа. «Главное, конечно, не в них (стихах. — Е. #.), а в прозе, — писал Пастернак О. М. Фрейденберг, — в "системе" которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова "доктор Живаго" оттиснуты на современной странице» (16 апр. 1954).

Вторая редакция партизанских частей романа писалась зимой 1954-1955 г., сильно разрастаясь в процессе работы; переписка набело, начатая в марте 1955 г., продвигалась медленно, — «переписываю не механически, — объяснял Пастернак Н. А. Табидзе, — а попутно все переделываю, порчу, восстанавливаю, мучусь» (24 марта 1955). Начиная перебеливание, автор записал для себя отчетливо осознаваемую им тенденцию общей переделки ранее написанного, отмечая: «Два недостатка.

1) Общее распухание заключительной части. Присутствие ненужных, сюжетно незначительных эпизодов. Многословие и ординарность неотделанных частей.

2) Политически непривычные резкости не только ставят рукопись под угрозу. Мелки счеты такого рода с установками времени. Они не заслуживают упоминания

даже полемического. Роман противопоставлен им всем своим тоном и кругом интересов. Так было в предшествующих тетрадях, так должно оставаться и дальше. Не надо в разговорах действующих лиц вдаваться в отрицательный открытый разбор современных догматов, а игнорировать их, пренебрегать ими».

Беловая рукопись второй книги была окончена к началу августа и отдана в перепечатку с предупреждением, что это «неокончательный» вид рукописи, «однако, несмотря на шероховатость и невыгодную внешность произведения, это очень важное происшествие и очень важное выражение моей душевной сущности и жизни, гораздо более важное, чем первая книга» (письмо к М. К. Баранович 5 авг. 1955).

Осенние месяцы были посвящены работе над перепечаткой, причем исправления и сокращения текста вносились также и в беловую рукопись. Только 10 декабря Пастернак закончил эту работу. «Не могу сказать Вам, — писал он в тот день Н. А. Табидзе, — сколько труда я положил на постепенную медленную отделку второй книги романа. <...> Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз, освежен-но, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти».

Строгость последней отделки, отраженная на страницах машинописи и беловой рукописи, характеризуется многочисленными сокращениями и отредактированными заново отрывками, предыдущие варианты которых приведены в комментариях и разделе «Другие редакции и черновые наброски». После вторичной перепечатки роман был передан в два ведущих журнала «Знамя» и «Новый мир»; экземпляры машинописи, остававшиеся у автора, еще раз прошли небольшую стилистическую правку.

Первые отзывы на роман Пастернак получил еще в процессе работы над ним и широкого ознакомления с нею круга друзей и знакомых.

«...Вдруг особенно ясно стало — кто Вы и что Вы. Иной плод дозревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг словно сбросила с себя все второстепенные значимости <...> Это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатленного за ясностью формы чувства», — писала 7 февр. 1947 г. М. В. Юдина («Новый мир», 1990, № 2. С. 173).

«Я слышала Россию, глазами, ушами, носом чувствовала эпоху <...> Скольким людям этот роман будет сопутствовать, сколько новых мыслей и чувств он породит, сколько будет последователей, продолжателей», — отозвалась в письме Э. Г. Герштейн (8 апр. 1947).

«Кто из Ваших недругов мог подумать, что Вы реалист. Что Ваше "слово плоть бысть", что оно светится, что оно пластично и маслянисто, что оно просто и точно — по-пушкински», — оценивал роман Н. Н. Замошкин, слышавший чтение первых глав у П. А. Кузько.

Взволнованным письмом откликнулся на чтение рукописи С. Д. Спасский в августе 1948 г.: «Прежде всего, это твоя очень большая удача <...> получилось настоящее повествование, настоящая книга. Этой внешней, столь важной для прозы объективности не мешает то, что перед нами чередование отрывков, смена самых разнообразных сведений о многих человеческих судьбах и обстоятельствах. Все эти отрывки пронизаны одной энергией, они как бы распределяются на неком силовом поле и, подчиняясь воздействию этой силы, сращиваются друг с другом, образуют согласный узор. Этого качества не было в тех прежних твоих прозаических пробах <...> В тебе самом словно вскрылся родник явной неприкровенной энергии, стало ясно,

о чем наиглавнейшем необходимо сейчас говорить, и тут отпал вопрос о правомерности тех или иных стилистических приемов, а попросту пригодился весь твой поэтический арсенал».

«Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной <...> Это особый вариант книги Бытия <...> Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке — и боишься этого до смерти, так как она должна жить вечной загадкой», — писала в ноябре 1948 г. О. М. Фрейденберг.

Восторженные отзывы перемежались сожалениями о неотделанности манеры, разностильности глав. Резко осудили роман А. Ахматова, Б. Ливанов; А. С. Эфрон отмечала «страшную тесноту судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей», недостаток простора она советовала исправить «заполнением антрактов» между эпизодами и мотивированностью поступков героев. Посылая рукопись разным людям, Пастернак предупреждал их, что роман, возможно, разочарует их: «Почти все близкие, ценившие былые мои особенности, ищут их и тут и не находят <...> Я сам думаю, что вещь "собранной в кулак" осязательности не представляет, да у меня и не было на этот раз такого намерения: я не был художником "в соку", когда это задумывал и писал, а чем-то другим, чем мне естественнее быть (о, только не по возрасту), а по всем слагаемым моего рождения, времени, в какое я живу, наполовину без моих усилий сложившейся судьбы и так далее и так далее. Теперь все это больше меня и сильнее моей воли» (письмо В. Д. Авдееву 25 мая 1950).

Внешняя простота изложения обманывала читателей, которых восхищали отдельные места и описания природы, но далеко не все могли воспринять дух этой новой прозы, понятный людям, много пережившим, взволнованным самой «атмосферой вещи», неожиданным, очищенным от привычных точек зрения взглядом на происходившее. «Я давным-давно не читал ничего, что так волновало и радовало бы, как эта книга, — писал в ответ на присылку рукописи С. Н. Дурылин. — В ней прежде всего чувствуется свободное дыхание во всю грудь, свободный вздох и выдох сердца, что чрезвычайно редко бывает у писателей, пишущих только потому, что они писатели. <...> В романе этом нет "литературы", той самой, которую так ненавидел Верлен. Дух времени, воздух эпохи в нем правдиво верен былой действительности <...> Жизнь не распределена по клеточкам, и корявое поле истории не превращено в шахматную доску, по которой фигуры двигаются, подчиняясь рациональным замыслам игроков. От романа пахнет дикой волей жизни, а не сгущенным воздухом, добытым в лаборатории». Оценка Дурылина близка восприятию Варлама Шаламова: «Обратили ли Вы внимание (конечно, Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет думающих героев! Мне кажется, это потому, что нет думающих авторов. Это в лучшем случае. К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью» (январь 1954; Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 543).

Посланные в журналы экземпляры романа лежали там мертвым грузом, предложенный в альманах «Литературная Москва» вернулся к автору с отказом. В конце мая 1956 г. по просьбе коммунистического издателя в Милане Дж. Фельтринелли машинопись, не прошедшая окончательной правки, была передана для перевода на итальянский язык и издания. «Если публикация романа, обещанная здесь несколькими журналами, задержится и Ваше издание ее опередит, — писал Пастернак издателю, — ситуация станет для меня трагически сложной. Но это Вас не касается. <...> Мысли рождаются не для того, чтобы их таили про себя или заглушали, но чтобы быть высказанными другим» (30 июня 1956).

Известие о передаче романа за границу, пришедшее в ЦК КПСС от министра Госбезопасности в конце августа 1956 г., вызвало требование отказаться от его публикации в «Новом мире», обосновав это редакционным письмом. Но ни попытки ЦК заставить Фельтринелли отказаться от издания, ни полученные под давлением подписи Пастернака под телеграммами с просьбой вернуть рукопись романа «для доработки» не возымели действия. В ноябре 1957 г. «Доктор Живаго» вышел по-итальянски в Милане, что юридически сделало Фельтринелли владельцем мировых прав. Русское издание по не правленной автором машинописи появилось в 1958 и затем в 1959 гг.

Инспирированный ЦК отказ «Нового мира», а затем и Гослитиздата от публикации романа, обоснованный идеологическими причинами недооценки исторической роли Октябрьской революции, послужил причиной политической кампании и травли Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии в октябре 1958 г. и задержал его издание в России более чем на тридцать лет.

Машинопись из «Нового мира» с небольшой авторской правкой была отдана в феврале 1957 г. французской славистке Жаклин де Пру-айяр, машинопись из «Звезды» поступила в РГАЛИ.

Окончательный текст с учетом последней авторской воли был впервые опубликован в «Новом мире», 1988, № 1—4, с предисловием Д. С. Лихачева, которое стало первой серьезной работой о «Докторе Живаго» в отечественной критике. Текстологическая работа по выявлению авторской воли и исправлению многочисленных опечаток, ошибок чтения и пропусков в русских изданиях на Западе (общим счетом до 700) была проведена нами совместно с В. М. Борисовым, составившим с некоторой нашей помощью историю написания романа и комментарии к нему, которые мы частично используем в настоящем издании, давая кое-где ссылки на страницы III тома Собрания сочинений в пяти томах (М., 1990), где они впервые напечатаны.

В настоящем издании мы постарались отразить многолетнюю работу над рукописями романа, но она не может претендовать на академическую полноту и представляет собой л ишь доступную на сегодняшний день часть более обширного текстологического изучения. Автор систематически уничтожал черновики по мере писания романа, в комментарии и раздел «Другие редакции и черновые наброски» включены случайно сохранившиеся отрывки и записи, относящиеся главным образом к 1952—1954 гг. В рукописях огромное количество заклеек, до десяти слоев сменяющих друг друга редакций, которые мы не раскрывали. Эта работа будущих исследователей. Мелкие зачеркивания, дающие подробности и разъясняющие текст при лаконизме авторского изложения, внесены в комментарии. Несомненный интерес представляют вычеркнутые при перебеливании детали биографического и лично психологического плана. Таким образом прослеживается тенденция авторских сокращений, создающая стиль изложения, позволяющая увидеть, что именно убирается из текста и что достигается этим. Крупные отрывки и главы, вычеркнутые и переписанные заново, включены в раздел «Другие редакции и черновые наброски», расширенный в сравнении с аналогичным в Собрании сочинений 1989—1992 гг. Элементарная перепи-ска и стилистическая правка текста оставлены без внимания.

В основном тексте и в других редакциях романа сохраняется авторское написание, например: холостецкая, большевицкий, масляница, на-пречь, на рояли и др.

Для сокращения количества ссылок материалы семейного собрания, как и во всех томах, приводятся без указания.

Приносим благодарность за помощь в работе над томом А. В. Ви-гилянской, М. А. Рашковской и В. С. Смолицкому.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Воспоминания — Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/ Slovo», 1993.

ГНБ — Отдел рукописей Государственной национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Гос. Музей грузинской литературы — Государственный Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (Тбилиси).

Избр.—1948 — Борис Пастернак. Избранное. М., «Советский писатель», 1948 (тираж книги уничтожен).

Избр.—1985 — Борис Пастернак. Избранное в двух томах. Стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1985.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

Собр. соч. — Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., «Художественная литература», 1989-1992. Том 3.

ПЕРВАЯ КНИГА

С. 6. ...пели «Вечнуюпамять»... — заключительные слова церковного отпевания; перед выносом тела усопшего, по дороге на кладбище поют «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», нередко чередуя эту молитву с пением «Вечной памяти» (см. также похороны А. И. Громеко. С. 89).

«Господня земля... вси живущие на ней». — 1-й стих 23-го псалма, со словами которого священник крестообразно посыпает покойного освященной землей.

«Со духи праведных». — Один из тропарей чина погребения, после пения которого закрывают гроб и опускают в могилу: «Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче».

С. 7. Был канун Покрова. — Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 1(14) октября. Здесь и далее автор пользуется русским обычаем отмечать датировку событий не числами и месяцами, а церковными праздниками.

...в один из губернских городов Поволжья... — после слушания этой главы романа у Пастернака 3 авг. 1946 г. К. А. Федин записал ее общее содержание: «1-я глава относится к 1903 году: Приволжско-централь-ная Россия» (собр. Н. К. Фединой). Судя по записи, можно предположить о наличии в первоначальной редакции рассказа о пребывании Юры с дядей в Поволжье.

Темная келья была сверхъестественно озарена <... > С неба... падала на землю белая ткань... — сцена в келье уподоблена чудесному видению Богоматери, распростершей свое покрывало (покров) над молящимся народом, представшей Блаженному Андрею юродивому (X в.), в память чего установлен праздник Покрова. В народном сознании праздник связывался с первым снегопадом, «покрывавшим» землю погребальными пеленами.

С. 8. ...чаще всего на Ирбитской. — Ирбитская ярмарка проходила в небольшом городе на Урале Ирбите и была одним из важнейших торговых центров России.

С. 9. ...к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. — Этот персонаж появлялся затем в карандашной рукописи, во второй части «Девочка из другого круга», выпущенной при переписке («Другие редакции и черновые наброски». С. 550).

Была Казанская... — праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани отмечается 8 (21) июля.

Павлау чернорабочего и сторожа из книгоиздательства... — см. о нем во второй части карандашной рукописи, в первонач. редакции записок Н. Н. Веденяпина («Другие редакции и черновые наброски». С. 563).

С. 10. ...кроме терминологии, не было с ними ничего общего. — Л. К. Чуковская записала слова Пастернака о Веденяпине: «Такого течения, как то, которое

представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли» (Воспоминания. С. 409).

С. 11. ...проблемы пауперизма... —то есть обнищания (отлат. pauper — бедный) — одна из ведущих тем европейской экономики со второй половины XIX в.

Иван Иванович на правах приятельства... — в карандашной рукописи два стилистически близких варианта текста, один на наклейке, другой под нею — более ранний: «Иван Иванович занимал в летние месяцы у Кологривова на правах приятельства две комнаты в домике управляющего. Сам Кологривов, владелец шелкопрядильных фабрик, собиратель картин и друг и покровитель ученых, редко наезжал в имение. Сейчас в нем жили его дочери, Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги, а сам Кологривов с женою был за границей.

Домик управляющего находился в черной, запущенной части имения. Тут были следы старой загибавшейся по кругу аллеи въезда. Она заросла травою. По ней не было движения и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Остальная часть парка с его лужайками, цветниками, прудами и барским домом лежала в стороне.

От этой части парка домик и палисадники управляющего были отделены плотной живою изгородью из густой и высокой черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич шли вдоль наружной стороны этой изгороди, и по мере того, как они подвигались вперед, перед ними на равных промежутках равными стаями вылетали воробьи, которыми кишела калина».

С. 12. ...надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. — Ср. слова Христа: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10,10).

...похожим на американца времен Линкольна... — Авраам Линкольн (1809—1865) — возглавил борьбу против рабства, президент США, его имя стало символом американской революции. Сопоставление намекает на революционные симпатии Воскобойникова, раскрытые в выпущенной главе («Другие редакции и черновые наброски». С. 550).

Анафеме вас предавали?<...> Нет, сейчас не проклинают. — Анафема — отлучение от церкви как исключительная мера наказания со второй половины XVIII в. исчезает из русской судебной практики.

С. 13. ...работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. — Мысль, близкая проекту всеобщего воскрешения умерших и преодоления смерти средствами науки, изложенному в книге русского религиозного философа Н. Ф. Федорова (1828—1903) «Философия общего дела».

...оспою изрытых Калигул... — Калигула — ставшее нарицательным имя римского императора Гая Цезаря Августа Германика (12—41), проелавившегося жестокостью, развратом и самодурством. Упоминание оспы прямо соотносит это имя со Сталиным и его «рябым» лицом.

С. 14. Что-то случилось. Пойдемте чай пить. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «— Юра-у! — сложив руки рупором, три раза прокричал Николай Николаевич над обрывом и в третий раз Юра откликнулся. — Пойдемте.

— В Кологривовке у него минутная остановка по требованию. А тут чистое поле. Странно.

А поезд все стоял».

Антибы и Бордигера — средиземноморские курорты Французской Ривьеры и Северной Италии, куда Юра ездил с больной матерью.

Ангеле Божий... во истиннем пути... — из Канона Ангелу Хранителю.

Господи, учини мамочку в рай, идежелицы святых и праведницы сияют яко светила. — Из текста панихиды («Упокой, Боже, раба Твоего и учини его в рай идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила...»).

С. 15. Присяжный поверенный — в дореволюционной России адвокат, состоящий на государственной службе при окружном суде или судебной палате.

С. 23. Кадетский корпус — среднее военно-учебное заведение закрытого типа.

Триумфальные ворота — имеется в виду Триумфальная площадь, рядом с которой в доме на углу второй Тверской-Ямской и Оружейного переулка родился Пастернак. Площадь получила название от деревянных Триумфальных ворот, воздвигнутых в честь возвращения русских войск из Парижа после победы над Наполеоном (1814) и вскоре разрушившихся; в 1827—1834 гг. по проекту О. И. Бовебыли построены новые на площади Тверской заставы. Разобраны в 1936 г., теперь перенесены в конец Кутузовского проспекта.

С. 24. Брестская железная дорога — теперь Белорусская.

С. 26. ...набьет... пестерь... — пестерь — большая корзина; здесь: живот, брюхо.

С. 27. ...солнечную сторону Каретного ряда... сараи экипажных заведений... медвежьи чучела... — образы «медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда» в очерке «Люди и положения» (1956) Пастернак называет источниками «испуга и восторга», из которых складывались его «ощущения младенчества». Чучело «медведя с оскаленной мордой, красными деснами и могучим языком», стоящего на задних лапах «символом охраны всех карет и каретного снаряжения» описывает А. Л. Пастернак (Воспоминания. М., 2002. С. 45).

...учение драгун во дворе Знаменских казарм... — Знаменские (Петровские) казармы московского жандармского дивизиона располагались на углу Петровки и 2-го Знаменского (Колобовского) переулка. Теперь там построено здание уголовного розыска (Петровка, 38). Среди своих ранних воспоминаний в очерке «Люди и положения» (1956) Пастернак называет учения «конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм».

...Ольга... именинница. — Память Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, празднуется 11 (24) июля.

С. 28. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «Какая благодать была при отце в Юрятине! Дичь и рыба к столу, уральские леса, беспечная жизнь. В провинции чисто на душе, как в детской. Когда у Лары будет своя семья, она увезет мужа из этого Вавилона. Говорят, в Петербурге еще хуже.

И кто-нибудь будет безумно любить ее, как этот Фауст в опере, весь полный музыки и муки, седеющий и весь в черном. Он всю ее начиная с ног будет покрывать поцелуями, и она как в море будет медленно входить в это обожание. Леденящий уровень будет подниматься медленно до замирания. Вот этот холод под самым сердцем. Вот он двинулся выше, надо поднять голову и вытянуть руки. Отчего говорят "тело". Ведь целуют не руки, а положение рук. Целуют повороты, изгибы. Целуют движения, целуют жизнь, а не мясо.

Нет, какая она глупая, любовь совсем не то. А вот кто-то отдаст жизнь за нее, а она не ответит, и эта разбитая жизнь ее прославит. Любовь должна возвеличить и обессмертить, а то какая это любовь.

Ах, какая она глупая, разве можно прославиться злом, увековечивает только добро. "Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее и о том, что сделала она для меня"».

(Неточные слова из Евангелия от Матфея, 26,13.) Далее идут главы 5—7 в ранней редакции («Другие редакции и черновые наброски». С. 553).

Московско-Казанская железная дорога 6 октября 1905 г. дала начало всероссийской забастовке железнодорожников. Московско-Брестская забастовала 8 октября.

С. 30. Через часа три или четыре... — сохранившиеся две страницы первоначального варианта записаны на оборотных сторонах правленой машинописи стих. «Одесса» (1944), вырванных из уничтоженной черновой рукописи. Зачеркнуто красным карандашом:

«Стороной Павлу Ферапонтовичу намекали, что если он себе [желает добра], надо ладить со старшими. Но он не поддавался убеждению. Начальство терпело, терпело причудника да и выгнало за непонятливость.

Хотя он должен был оставить место и очистить квартиру (околоток уже обходил новый десятник), он по многим причинам еще не мог выехать из домика, видневшегося на пригорке за путями, где он жил с женою и сыном-реалистом.

Во-первых, он не подыскал еще себе новой службы и ему некуда было деться. Во-вторых, жена его заболела брюшным тифом и он собирался отвезти ее в больницу. Наконец, в-третьих, помимо дома другая причина привязывала его к этим местам. Внутри землянки, вырытой в глубине заброшенного песчаного карьера, в поле за блокировочным постом тайно собирался комитет дороги, членом которого он состоял.

Согнувшись в три погибели из землянки вышел Антипов и следом за ним Тиверзин, и, не дожидаясь остальных, выбрались со дна карьера и стали счищать с одежды песок и глину.

— Отойдем от них подальше, — сказал Тиверзин. — Видеть их не могу. Опять ничего не решили. И ты тоже хорош, поддерживать этого волынщика с Николаевской.

— Мне бы только Дашу в больницу. А там хоть трава не расти.

— Ты к нему в Тверь товарную?

— Говорит, устроит.

— Жалко расставаться. Надо бы в Москве поискать. Что же завтра опять заседать. Нет сил судить, надоела канитель. Людей предупредили, народ ждет только знака, [выдыхается задор]. Ты думаешь, они нанялись бушевать».

...размазню с Николаевской... — Николаевская (Петербургская) железная дорога подключилась к забастовке только 10 октября 1905 г.

С. 31. ...выпускница-епархиалка... — ученица последнего, шестого курса епархиального училища, среднего учебного заведения для девочек, главным образом для дочерей духовенства, приравнивавшегося по программе к женским гимназиям.

С. 32. ...касимовская невеста... — в качестве прозвища обыгрывает-ся название одноименного исторического романа Вс. В. Крестовского (1873). Касимов в XV в. был столицей Касимовского татарского царства.

С. 34. Дом был каменный с деревянными галереями. — Дом на Брестской ул., 28, упоминается далее в части 4 («Назревшие неизбежности»), воспоминаниях Лары о знакомстве с Юсупом Галиуллиным. Такой же дом, типичный для рабочих кварталов Москвы, описан в «Записках Патрика» (1936): «Скользкая лестница с сильным капустным кваском пролегала крытою холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными завертками на гвоздиках».

С. 35. Брат Тиверзина был... ранен под Вафангоу. — Место сражения в русско-японской войне, где в июне 1904 г. был разбит корпус генерала А. Ф. Штакельберга, в результате чего Порт-Артур оказался отрезан от сил русской армии.

С. 36. Провушка сказывал, да я вот запамятовала. — В карандашной рукописи далее идет вычеркнутая глава, начинающаяся со слов: «После исчезновения на два года Иван Иванович Воскобойников опять замелькал по лестницам и коридорам

математического крыла московского университета...» («Другие редакции и черновые наброски». С. 550).

(Воскобойников — «популяризатор полезных знаний», к которому Н. Н. Веденяпин с Юрой в 1-й части романа ездили в Дуплянку. С. П.) За этой главой следует вторая редакция описания демонстрации, повторяющая первую по композиции и в заключительной части близкая окончательному тексту.

...послеманифеста семнадцатого октября 1905 г., даровавшего «незыблемые основы гражданской свободы». В ответ на мирные рабочие манифестации по стране прокатилась волна организованных правыми силами погромов. ...демонстрация от Тверской заставы к Калужской не зафиксирована в хрониках революционных событий этого времени.

...наскоро послали к манифестантам своих представителей. — После этих слов в третьей редакции главы в карандашной рукописи вычеркнуто: «Среди участников демонстрации насчет ее цели были разные мнения. Одни считали ее изъявлением благодарности за возвещенные свободы, — другие демонстрацией протеста против их недостаточности. Двойственность мнений удваивала численность демонстрирующих. Демонстрация была очень многолюдна». .

С. 37. Общество купеческих приказчиков (здание ИсторическоЙбиб-лиотеки в Старосадском пер., 9), Высшее техническое училище (ныне им. Баумана на 2-й Бауманской ул.) и Училище иностранных корреспондентов (на Б. Никитской) расположены в самых разных частях города, что говорит о непродуманности маршрута демонстрации.

С. 40. Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «— Ну а этот выдумщик твой, твой мудрильщик? — Кактыего, Пашенька. Нахохочешься ты, Куприньку. Молодец, Патуля, чисто как в театре. — И тоже не причем я, — посмеявшись и с первого слова узнав Пашино изображение, оправдывался Тиверзин. — Это не моего поля ягода, это Воскобой-никовский товар. Я тоже не люблю этой выделки. Вся правота только у них, умничанье, навязывание себя всем в пример — нудная шатия».

Владение Долгоруких с тремя дворами... выходило в три переулка... — князьям Долгоруковым принадлежала большая усадьба, находившаяся между Большим и Малым Знаменскими и Антипьевским переулками. Во флигеле главного здания в 1890-х гг. жила семья художника В. А. Серова, и Пастернаки часто бывали у них в гостях.

С. 41.... прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте... — речь идет о шествии 9 января 1905 г. рабочих с петицией к Зимнему дворцу, возглавленном отцом Георгием Гапоном (1870—1906), которое было расстреляно правительственными войсками. Накануне Кровавого воскресенья группа модных современных писателей, куда входил и М. Горький, предупредила С. Ю. Витте (1849-1915), бывшего председателем кабинета министров, о мирном характере демонстрации.

Высшие женские курсы основаны в 1872 г. по инициативе историка В. И. Герье; слушательницы курсов участвовали в студенческих волнениях 1905 г. Религиозно-философское общество памяти В. С. Соловьева с 1904 г. собиралось в доме М. К. Морозовой в Мертвом пер. Фонд стачечного комитета создан в октябре 1905 г. как координационный центр забастовочной борьбы.

Юру водворили к... Остромысленскому... — этот сюжет описан в «Записках Патрика» (1936), в главе «Надменный нищий».

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «У них, — думал Николай Николаевич, — теперь такой триумвират, Юра, дочь Громеко Тоня и потом этот черненький, Юрин

одноклассник, гимназист Гордон, тот самый, который так мило оппонировал на последнем заседании Общества философии и психологии, и всех так удивил. Положительно чудо-ребенок и, видно, дышащий стремлением вырваться из национальных рамок и не остаться евреем (для этого мальчик слишком хорош). Но все большое тянулось и вырывалось во всенародность, которая есть христианство, и только мальчику будет трудно, потому что еврейство мыслит всегда националистически, как в верности, так и в измене себе, и любое обращение понимают как переход из народности в народность, а не как освобождение от всякой.

Николай Николаевич попал на излюбленного конька и, забыв о детях, продолжал».

...начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты»... — имеются в виду трактат В. С. Соловьева, обосновавший понятие «вечной женственности», и повесть Л. Н. Толстого, направленная против чувственного отношения к женщине.

...называют «пошлостью»... — реальное олицетворение «пошлости» Юрий Живаго увидел в сцене в номерах «Черногории», когда «эта сила находилась теперь перед Юриными глазами, досконально-вещественная и смутная и снящаяся...». И. Д. Высоцкая в разговоре с Жаклин де Пруайяр признавалась, что «в начале романа она увидела атмосферу их юности, по ее словам "вдохновлявшейся и загоравшейся от всего на свете". Их поколение, считала она, больше интересовалось искусством и философией, чем революцией, которой занимались старшие. Разговоры Юры и Тони о пошлости — отголоски их собственных разговоров с Борисом Леонидовичем. Это их обычное любимое выражение, обозначавшее все, что им не нравилось вокруг (и не только физическая сторона любви)» (Boris Pasternak. Colloque de Cerisy-La-Salle. Paris, 1979. P. 518). Понятие «пошлости» встречается в письме Пастернака 2 июля 1910 г. А. Л. Штиху. См. также: М. Окутюрье. Пол и «пошлость». Тема пола у Пастернака // Пастернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998.

С. 43. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». — Выволочнов перечисляет понятия, ставшие эмблемами и служившие декоративным орнаментом изданий символистов: изображения козлоногих сатиров, водяных лилий, афинских юношей, и стихотворную книгу

К. Бальмонта «Будем как солнце» (1903), пользовавшуюся широкой известностью.

С. 43—44. ...поднимала над животным и уносила ввысь... музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «В этом я с Толстым с небольшою поправкой. Что я понимаю под музыкой?»

С. 44. Вы бы об этом книгу написали. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «— Не дают. — А кто слушается цензуры?..» («Другие редакции и черновые наброски». С. 564).

С. 45. «...по всем картинным галереям мира». — После этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «И не стало тупых, как заворот кишок, мировых владычеств и космогонии». Далее идет незавершенный вариант следующей главы («Другие редакции и черновые наброски». С. 565).

Петровские линии построены в 1870-х гг. архитекторами К. Шес-таковым и Б. Фрейденбергом и представляют собой расположенные по обеим сторонам улицы два больших здания, нижние этажи которых сдавались под магазины, верхние — под квартиры и гостиницу.

С. 48. ...этот ребенок, станет предметом его помешательства. — После этих слов в беловой рукописи вычеркнутый текст («Другие редакции и черновые наброски». С. 566).

Проходили дни и недели. — После этих слов в карандашной рукописи вычеркн>тая глава:

«Был еще один способ доводить себя до исступления, — ее имя. Стоило в дни, когда не было надежды увидеть ее, одному в комнате назвать негромко ее по имени, и он замирал с головы до ног, словно кровь сворачивалась у него в жилах. Мысленно в руках у него появлялась ее голова с закрытыми во сне глазами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Как почва выделяет испарения, так голова спящей как бы дымилась красотой, которую она непрерывно источала, и этот дым красоты ел ему до слез глаза, сердце и душу».

С. 49. В беловой рукописи вычеркнут вариант начала главы 16:

«Она говорила себе. Нет, это больше чем в моих силах. Таскать это все на плечах у себя и прятать, глотать слезы, готовить уроки и улыбаться в классе. Так ведь можно с ума сойти от одного утомления. И все время хочется спать от подавленного плача и притворства. Довольно. Либо конец, распрощаться как-нибудь и баста, либо надо покориться и перестать думать, привыкнуть. А если бы она была замужем за ним? Почему тогда все было бы гладко? Чем это отличается. Она вступила на путь софизмов. Но домыслы и натяжки не помогали Ларе. Она не могла победить презрения к себе. Иногда тоска без исхода охватывала ее. Как ему ни стыдно...»

С. 50. Раз в начале декабря, когда... — после этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «в совершенном разладе с календарем стоял отупело-теплый, не к месту сырой и словно по ошибке не туда забредший день».

...на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы»... — имеется в виду монолог Катерины из «Грозы» А. Н. Островского: «Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно» (действие 5, явление 4).

Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа...» — начальные стихи 102-го псалма «изобразительного», который поется в начале Божественной литургии.

«...и вся внутренняя моя имя святое Его». — После этих слов в карандашной рукописи следует: «Господь творит правду и суд всем обиженным. Ибо он знает состав наш, знает, что мы персть». — Русский перевод 6-го и 14-го стихов 102-го псалма («Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым <...> Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы»).

С. 51. ...успел отбарабанить девять блаженств... — то есть слова Христа из Нагорной проповеди (Мф. 5, 3-11), называемые в богослужении «блаженствами». Они поются или читаются на Божественной литургии. Далее приводятся три из них: Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и жаждущие правды...

Были дни Пресни. — Дни декабрьского вооруженного восстания, центр которого находился в фабрично-заводском районе Пресни. Баррикады на углу Тверской и Триумфальной площади были построены 9 дек. 1905 г.

С. 52. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. — После этих слов в карандашной рукописи: «[Везде в нем были мальчики, и они стреляли]. Но она бы не поверила, если бы ей сказали, что среди начатых подпором и постепенно накапливающихся материалов по делу Тиверзина в Московской окружной прокуратуре будут когда-нибудь и этот гимназист и реалист, и этот синий двор и вечер, и каменный дом с галереями, и даже сама она, Лара с ее безобидными посещениями Олиной бабушки и ее дружеским покровительством славному наивному Патуле».

С. 53. Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. — После этих слов в карандашной рукописи: «То, что происходит, это за вас и за меня, в нашу защиту. — Она закусила губу, чтобы не выдать волнения, и про себя продолжала: "Блаженны опутанные, блаженны оплетенные. Так он думал. Это Христово мнение"».

С. 54. «Женщина или ваза» — картина Г. И. Семирадского (1843-1902), другое название «Выбор между невольницей и дорогой вазой». На ней изображен

невольничий рынок в Древнем Риме и стоящий в раздумье покупатель. В карандашной рукописи после этих слов вычеркнут вариант: «Да, "Женщина или ваза". Чудовище! Картина висела как раз против ее места, и Лара была еще застенчивой девушкой, доверчивой и неискушенной. "Женщина или ваза". О я напомню вам когда-нибудь лестность этого сопоставления! О как палят кругом и постреливают. "Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!" Они подходили к "Черногории". Лара взглянула на стеклянную дверь с золотою подписью и сердце у нее упало. Она вспомнила, как всесильна низость и поняла, что все останется по-прежнему и ее мечты неисполнимы. И она себе представила, как вероятно беспредельна мстительность этого человека, если раздразнить его неповиновением».

С. 55. Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переулка. — Здесь описывается реальный дом на углу двух переулков, Сивцева Вражка и Никольского (Плотникова), принадлежавший Угри-мовым, друзьям Пастернака и его родителей. А. И. Угримов (1874—1974) был председателем Московского сельскохозяйственного общества, профессором Петровской академии (теперь им. К. А. Тимирязева), в их доме устраивались музыкальные вечера Брамсовского общества. После участия в Помголе (комитет помощи голодающим Поволжья 1921 г.) Угри-мовы были высланы указом Ленина за границу в 1922 г., вернулись из Франции в 1947 г. Дом Угримовых был разрушен в 1999 г., теперь на этом месте выстроено кафе «Дежа вю». Образ А. А. Громеко, вобравший в себя некоторые черты биографии А. И. Угримова, появился еще в «Записках Патрика» (1936). Дочь Угримова В. А. Рещикова вспоминала, как Пастернак Говорил ей, что в фамилии Громеко он хотел передать «звуковой образ» фамилий ее отца Угримова и матери Гаркави.

...сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского. — К школе композитора и педагога С. И. Танеева (1856-1915) принадлежали известный композитор и теоретик музыки Ю. Д. Энгель и молодой и подающий надежды композитор Р. М. Глиэр, занимавшиеся с Пастернаком музыкальной композицией с 1903 по 1908 г. Знаменитое а-то1РноетриоП. И. Чайковского посвящено Н. Г. Рубинштейну и называется «Памяти великого артиста». Его исполнение 23 нояб.1894 г. в квартире родителей Пастернак считал самым ранним впечатлением детства и пробуждением сознания и памяти («Люди и положения», 1956).

С. 56. Шура Шлезингер была теософка... — то есть последовательница религиозно-мистического учения Е. П. Блаватской как «универсальной религии». Деятельность Теософского общества, основанного в 1875 г., охватила многие страны Европы и Америки. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим» — слова молитв утрени и часов.

С. 56—57. «Племянник Кюи»... — имеется в виду вымышленный персонаж, названный племянником известного русского композитора Ц. А. Кюи (1835-1918), принадлежавшего к «Могучей кучке».

С. 63. ...куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?— После этих слов в карандашной рукописи следует: «Необъяснимым образом Юра ощутил, что будущее свяжет его с этой девочкой и этим господином, и что уже с этого вечера будущее это бесповоротно началось».

С. 64. Раннюю редакцию глав 1—2 «Елки у Свентицких», сохранившуюся в карандашной рукописи, см.: «Другие редакции и черновые наброски». С. 568.

С. 65. «Аскольдова могила» — название оперы А. Н. Верстовского (1835), написанной по роману М. Н. Загоскина. Киевский князь Аскольд был убит князем Олегом в 882 г. и, по преданию, похоронен на берегу Днепра.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям. — Биографической основой эпизода стала, вероятно, похожая ситуация с матерью первой жены Пастернака А. Н. Лурье, которая в 1924 г. упала, доставая что-то со шкафа, что стало причиной ее многолетней болезни и смерти в 1928 г.

...филологом по философскому отделению. — Философское отделение Московского университета до революции входило в состав историко-филологического факультета. В 1909 г. Пастернак поступил именно на это отделение и окончил его кандидатом философии в 1913-м.

С. 66. ...гонялись за крысами... — после этих слов в карандашной рукописи вычеркнуто: «за крысой, вышнырившей из-под соломы, которой были там и сям покрыты старинные плиты каменного пола». Подробные описания анатомического театра говорят о реальных воспоминаниях Пастернака, вероятно бывавшего там вместе со своим другом Л. Е. Ригом, студентом-медиком.

С. 67. ...хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни. — После этих слов в беловой рукописи вычеркнуто: «—- Прости, —- говорил он. —- Я знаю, что скажу страшную пошлость. Но как мне не сожалеть. Ты так одарен, а наша жизнь так до безумия коротка!! Ну хорошо, будешь ты батюшкой, священником. В твоем случае, конечно, это будет до резкости горячо и жизненно выразительно. Но разве дядин пример ничему тебя не учит? Всякий служитель истины расстается с ее созидательным, движущимся смыслом и становится знаком в ее формуле. А таких знаков только два, положительный и отрицательный, знак следования и знак отклонения. Вот все, к чему ты сведешься. Ах, прости, прости. Я сам знаю, какая это дичь. Я знаю, что выполнение устава это такой же рост, как выполнение живой тканью впадин и полостей органической формы. Но ты не слушай меня. Я ведь предупреждал тебя, какая это будет дичь и дешевка».

С. 68. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям?— Имеется в виду церковный догмат о всеобщем воскресении во плоти и его трактовка в «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Пастернаку были известны также рисунки В. Чекрыгина, изображавшего толпы воскрешенных.

С. 69. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни. — После этих слов в беловой рукописи: «и вот хоть убейте меня, Евангелие и дело Христа со всей трагедией Голгофы и распятия я всегда понимал как благовестив этого дара и таланта, как его исповедание».

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов... — слова из Откровения Иоанна Богослова, которые Пастернак предполагал сделать названием своего романа (см. вступительную заметку к коммент. С. 645). В эпиграфе давался полный текст: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр., 21,4).

Смерти не будет, потому что прежнее прошло <...>а теперь требуется новое, а новое есть... — после этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «исповедание таланта, дар жизни, жизнь вечная. Он встал, подошел к изголовью и уверенным движением положил ей руки на голову.

— Усните, — сказал он, не отнимая рук. Немного погодя Анна Ивановна стала засыпать. Юра тихо вышел из комнаты. — Просто Бог знает что, — подумал он. — Я становлюсь каким-то шарлатаном. Усыпляю, лечу возложением рук. — Он прошел на кухню и послал сиделку обратно в спальню. На другой день в состоянии здоровья Анны Ивановны наступило улучшение».

С. 70. ...и высокими кручами по крюгеровскому берегу. — После этих слов в беловой рукописи отрывок вычеркнутого варианта: «...Крюгеров-ский берег, неожиданно выкатываясь из-за противоположного мыса и через короткий промежуток

расставаясь с Крюгерами за следующим выступом. Быстрое появление и исчезновение этой географической знаменитости всегда сохраняло шумную свежесть негаданного и недолгого человеческого посещения».

С. 72. Уже весной тысяча девятьсот шестого года... — вместо этих слов в карандашной рукописи: «Были перемены в Лариной жизни. Она была еще гимназистка предпоследнего класса, когда шесть месяцев ее связи с Комаровским стали невыносимы ей. Для того, чтобы вернее держать ее в подчинении, он тысячею тонких приемов не давал ей забыть своего поругания. Самая вежливость его была оскорбительна. Это была бережность владельца с дорого стоящею вещью. Напоминания о Лари-ном положении приводили ее в то именно смятение, которое требуется сластолюбивому эгоисту от женщины». Дальнейший текст этой редакции глав 5—6 достаточно близок окончательному.

С. 73. ...о Египетской экспедиции Наполеона. — Имеется в виду поход генерала Наполеона Бонапарта в Египет в 1798 г. Осенью 1799 г. он неожиданно вернулся во Францию и высадился недалеко от города Фрежюса, через месяц провозгласив себя первым консулом республики (переворот 18 брюмера).

С. 74. Он ненавидел отживающий строй... — вместо этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «Он ненавидел отживающие порядки двойной ненавистью образованного миллионера, предприимчивости которого они мешали, и выходца из народа, под который монархический уклад подделывался так робко и неумело».

С. 75. Служба у Кологривовых не помешала Ларе... — первоначальная редакция главы 7 карандашной рукописи дана в «Других редакциях и черновых набросках». С. 570. Там же приведена вторая редакция по беловой рукописи (С. 572).

С. 80. В этом интересе к физиологии зрения... — вместо этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «В Юрином интересе к физиологии зрения сыграли роль его художественные склонности. Это было связано с его занятиями по эстетике, с его теорией образа и мыслями о происхождении идеи. Когда Юра чувствовал в себе будущего врача, это ощущение остепеняло его, чуть-чуть старило и делало рассеянным, потому что уносило его в тьму неведомого, в то, чего еще нет, в годы предстоящей дея<тельности>».

С. 81. Все рассмеялись, так одновременно... — вместо этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «Все рассмеялись, так это напоминало венчание. Как это в конце концов глупо! То есть глупо не венчание, а то, что они поддались на уговоры больной и согласились поехать. С другой стороны, эти пневмонии... Нуда что делать, заставили. Не переспорить. Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Когда ветер относил в сторону дым костров, он видел над собой звездное небо морозной ночи, все в меловых беловатых пятнах и синих поперечных бороздах наискось через всю вселенную».

С. 82. ...Блок — это явление Рождества... — ср.: «Праздник Рождества был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане было большое зеленое дерево и веселые дети; даже взрослые, не умудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И все плясало — и дети, и догорающие огоньки свечек <...> Что светлее этой сияющей залы, тонких девических рук и музыки сквозь стекло?» (А. Блок. «Безвременье», 1906). Аналогично сказанному о Юрии Живаго, замысел стих. Пастернака «Рождественская звезда» (1947), входящего в цикл стихов из «Юриной тетради», возник из его потребности написать статью о Блоке. См. запись слов Пастернака, сделанную Л. К. Чуковской перед чтением глав из романа 5 апр. 1947 г.: «Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке» (Воспоминания. С. 410).

...русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом. — После этих слов в карандашной рукописи: «Потом он перенесся мыслью к задуманному ученому сочинению. Он собирался писать его на тему о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Юра имел в виду кончать по общей терапии, ни по чему ближе не специализируясь, но глаз он изучил и знал с доскональностью будущего окулиста. Интерес к физиологии зрения был у него связан с артистическими предрасположениями, тягой к прекрасному, увлечением эстетикой, его собственной философией образа и его мыслями о происхождении идеи».

«Свеча горела на столе. Свеча горела...» — см. стих. «Зимняя ночь» в части 17 «Стихотворения Юрия Живаго» (С. 533) и коммент. к нему. Далее вместо слов: ...шептал Юра про себя... — в беловой рукописи вычеркнут вариант: «нашептывал про себя, словно подбирая мелодию на рояле, Юра, в предвкушении того, что ритм сам подхватит и повлечет его дальше. Ничего не выходило».

...сын товарища прокурора лицеист Кока Корна ков. — По словам И. Д. Высоцкой, описание елки у Свентицких в «Докторе Живаго» напомнило ей «атмосферу и многие подробности вечера, на котором она была вместе с Борисом Леонидовичем. Она узнала Коку Корнакова, одноклассника Бориса по гимназии, известного Курлова, истинного "светского болвана", по ее словам, ставшего потом адвокатом, как и его отец. Этот Курлов не имел себе равного в мазурке и ведении бала» (Boris Pasternak:. Colloque de Cerisy-La-Salle. Paris, 1979. P. 518). Жорж Курлов в небольшой заметке вспоминал о своем знакомстве с Пастернаком, особо отмечая, что тот «не был уверен в своих движениях, что было особенно заметно в физкультурном зале» (Г. Курлов. О Пастернаке: из гимназических воспоминаний // «Русская мысль» 18 нояб. 1958).

С. 83. Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры. — После этих слов в карандашной рукописи вариант главы 13: «В эти первые часы вечера Юра не заметил Лары, находившейся в зале. Она временами, как во сне, давала кружить себя Коке Корнакову или, как в воду опущенная, без мысли слонялась вокруг зала.

Лара один раз уже минут пять или десять стояла и мялась на пороге гостиной в надежде, что сидевший против входа Комаровский обратит внимание на нее. Но он сделал вид, что не замечает ее. Лара не ждала ничего подобного. У ней захватило дух от обиды. Она вернулась в зал, решив через час-полтора повторить попытку.

Комаровский играл за одним столом с отцом этого белоподкладочника. Сидевшая в гостиной рядом с мужем мать Коки несколько раз переходила в зал насладиться лицезрением своего первенца и подходила утереть Коке потный лоб или посоветовать ему передохнуть минуту. А что Кокина фамилия Корнаков, Лара знала. Корнаков, Корнаков, повторяла она про себя и вспоминала. Вдруг она вспомнила, что это товарищ прокурора московской судебной палаты, представлявший обвинение на процессе группы железнодорожников, вместе с которыми судился Киприян Савельевич Тиверзин. Лаврентий Михайлович Кологривов по ее, Лариной, просьбе дважды ездил уламывать его и умасливать, чтобы он несколько ослабил громы, обрушиваемые на Тиверзинскую голову. Но ничего не добились. Тиверзина упекли-таки в Усть-Каменогорск. — Корнаков. Корнаков».

Ах ты Параскева-путаница... — характерная игра с именем святой Параскевы (перевод с греч. — пятница), распространенном в России как Параскева-Пятница.

С. 85. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял. — Вместо этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «Свечи на елке давно догорели. Их больше не сменяли. Темная елка, озаренная чужим светом люстры, высилась символом общей усталости, но была нарядна, как выставка игрушечной лавки. Раз или два разбредшихся по углам собирал и повергал вспышками магния в мгновенное

оцепенение снимавший елку фотограф». Там же в беловой рукописи невычеркнутый вариант: «Темная елка, озаренная сверху холодным светом люстры, сверкала седой и серебряной эмблемой усталости».

...утоляла жажду мандаринами... очищала от пахучей, легко отделявшейся кожуры. — См. подобную зарисовку в стих. «Заместительница» (1917): «Чтобы, комкая корку рукой, мандарина / Холодящие дольки глотать, торопясь / В опоясанный люстрой, позади, за гардиной, / Зал, испариной вальса запахший опять».

С. 86. Он прижал его к губам и закрыл глаза. — После этих слов в карандашной рукописи: «Ничего подобного он еще никогда в жизни не испытывал. Платок издавал тонкий запах одинаково чарующей испарины, растительной мандаринной и Тониной девической. Это был единственный в своем роде одухотворенно невинный и еле внятный аромат, как слово, произнесенное в темноте шепотом». Этот эпизод впервые был записан в 1910-1912 гг. См. «Первые опыты»: «Мышь» и «Однажды жил один человек...»: «Он дышал батистовым платком в эти минуты <...> Его страшно раздвинуло над этой крошечной вещицей».

...обличитель всех этих преступников!'— После этих слов в беловой рукописи вычеркнуто: «искупительная жертва, отданная им на заклание, десница Божия отвела». Она стреляла в вас?— В карандашной рукописи после этих слов вариант: «Нет, вы меня уморите. Ангел Бобочка, ты слышишь, оказывается эта [подлая] стреляла не в тебя, свою живую улику, а в их заступника и потакателя».

С. 88. Десять лет тому назад... Юра был совсем еще маленький. — После этих слов в карандашной рукописи вариант («Другие редакции и черновые наброски». С. 574).

...шары на пожарных каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью служки... — перечисляются приметы времени, ушедшие из жизни за десять лет со времени смерти матери. Дозорные на пожарных каланчах вывешивали на мачте черный шар при обнаружении пожара, второй или третий шары обозначали необходимость дополнительной помощи от других пожарных частей города. При перевозе иконы все сопровождавшие ее лица, форейтор, священник и служки были без шапок, но во избежание отмораживания ушей они надевали наушники (см.: А. Л. Пастернак. Воспоминания. М., 2002. С. 84, 92).

С. 89. В карандашной рукописи — вариант глав 16—17. Далее идет отрывок 1-й главы первонач. редакции части IV под назв. «Годы в промежутке» («Другие редакции и черновые наброски». С. 577).

«Святый Боже...» — см. коммент. к с. 6.

С. 91. ...которое называется Откровением Иоанна... — Откровение Святого Иоанна Богослова (Апокалипсис) — последняя книга Нового Завета, оказала сильное влияние на европейское искусство и его символику.

...где давно когда-то ночью завывала вьюга и он плакал маленьким. — После этих слов в беловой рукописи вычеркнуто: «и все то, что еще подскажет ему его гордое дерзновенное сердце».

С. 92. В беловой рукописи — вторая редакция части IV под назв. «Годы совершеннолетия и встречи на войне», сменившим предыдущее: «В преддверии войны». Вычеркнутый текст см.: «Другие редакции и черновые наброски». С. 577.

С. 93. ...экземпляр Эрфуртской программы с надписью составителя. — Программа социал-демократической партии Германии, принятая в 1891 г. в Эрфурте. Ее составителем и главным автором был Карл Каутский.

С. 94. ...помешанную Маргариту в темнице. — Героиня «Фауста» Гете Маргарита (Гретхен) была заключена в тюрьму за убийство матери и своего ребенка.

С. 96. Смоленский рынок занимал теперешнюю Смоленскую площадь до Проточного переулка: лавки, палатки, трактиры и постоялые дворы располагались и

прямо на площади и по обеим сторонам Садового кольца. В одном из таких «меблированных номеров» Смоленского рынка в 1910-х гг. снимал комнату университетский друг Пастернака К. Г. Локс.

...табунком пробегали крысы. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «На Комарове кого дом производил впечатление воровского притона, но Лара настояла на своем, квартира была снята и Лара перевезла в нее свои вещи».

С. 97. ЕрусланЛазаревич — герой известной лубочной повести XVII в.

...венчаться на Красную горку. — Первое воскресенье после Пасхи (Фомина неделя), то есть первый день после Великого поста, когда разрешалось играть свадьбы.

Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили. — После этих слов в рукописи четвертой части вычеркнут вариант: «Патуля знал, когда на Лару находила эта мальчишеская шутливость. Это предел ее нежности. Восторженное усердие овладело им. Но каждым сданным экзаменом он как бы делал одолжение ей и требовал награду за них, чтобы они немедленно поженились. В горячке занятий и споров свадьба была даже однажды назначена на Красную горку. Но Лара все откладывала. Наконец ей пришлось уступить».

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы... — день Святого Духа празднуется в понедельник после праздника Святой Троицы или Пятидесятницы, приходящегося на восьмое воскресенье после Пасхи. ...когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. — После этих слов в рукописи четвертой части вычеркнут вариант: «Все произошло в страшной спешке, как во сне. В этом тумане быстро забылось, были ли на свадьбе Амалия Карловна и Дарья Тимофеевна, Пашина мать. Но они несомненно присутствовали, потому что одна благословила Лару, а другая все время всех учила и пикировалась с первою. Свадьба была скромная без пышных обрядностей, а то в посаженные Лара попросила бы себе мать Туси Чепурко, своей однокурсницы».

...цыганским панинским басом... — Варя Панина (В. В. Васильева; 1872—1911) — знаменитая певица, исполнявшая цыганские песни.

С. 98. Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Сложность сборов была облегчена для Лары тем, что она укладывала только вещи, идущие в дорогу. О судьбе остальных ей не приходилось думать. Квартира была оплачена за год вперед, Лара поселяла в ней Тусю Чепурко и все на нее оставляла».

С. 100.... пьяные всегда любят изображать пьяных... чем они пьянее. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «И улыбнувшись этому наблюдению, Лара отошла от ящика, просунула голову под занавеску и выглянула в открытое окно. Было совершенно светло. Но солнце еще не всходило. Кругом не было видно ни души. Безлюдный и словно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе предрассветного часа. И этого-то города она маленькой девочкой так боялась! И этого-то Комаровского! Какая она была глупая! Как все изменилось! Она победила все препятствия, стала на ноги, у нее все впереди. И оказывается, она всех сильнее!»

Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «мыслимо переносили эти тяжкие конские шаги со сбивающимся с такта припаданьем».

С. 101. Надю быстро напоили. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «В отличие от брачного пира, когда полагалось честь знать и молодожены должны были остаться одни, никто не подавал признаков, что собирается <уходить>».

...голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшею лошадью. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «У ней с похмелья ломило голову, но она ничего не помнила. Она слышала знакомое тиканье своих часов, и не найдя их на стене

на гвоздике, куда она их вешала, стала искать их глазами, ворочая голову из стороны в сторону. От этих движений у ней чуть не сделалось головокружение. Она его остановила страшным усилием воли. Тут она вспомнила, что часы уложены, лежат сверху в открытой корзине, там и тикают. Отсюда вспомнилось ей все, что она — Антипова, учительница, что у нее в последнее время сплошное счастье, одни торжества и удачи, кончила, поженились, что у них спят гости, и хмель еще не прошел у ней...».

С. 102. Это была вторая осень войны. — Начавшееся весной 1915 г. наступление немецких войск на Юго-Западном фронте было продолжено осенью, в течение которой русская армия оставила Галицию, Польшу и Литву. Генерал А. А. Брусилов (1853—1926), занявший в 1914 г. Галицию, в 1916 г. был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. См. о нем в ранней редакции этой главы («Другие редакции и черновые наброски». С. 591).

...клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле... — со второй половины XIX в. прежде обширное Девичье поле стало застраиваться клиническими корпусами медицинского факультета Университета вдоль Малой Царицынской ул. (Б. Пироговской) и особняками загородного типа в глубине парка.

С. 103. Луцкая операция — так называемый «Луцкий прорыв» Юго-Западного фронта был совершен летом 1916 г. и сопровождался огромными потерями.

...есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует. — Ироническая отсылка к словам Гамлета: «Гораций, много в мире есть того / Что вашей философии не снилось» (акт I, сцена 5, перевод Б. Пастернака).

С. 105. ...науровне конторок, за которыми пишут стоя. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «При виде Тони, которая не знала, что он тут и ее наблюдает, у Юрия Андреевича в душе и голове все пошло кругом. Его качества взрослого человека, врача и мужа упразднились, отступив перед натиском более могучих чувств. Опрокинув неполное трезвое знание ученого на Тоню, разинув рот, смотрело откровенное неведение ребенка или художника, ошеломленная непостижимость, с которой мальчик Юра удивлялся когда-то явлению смерти и всю жизнь что-то записывал, не зная настоящей цены этим наброскам».

С. 106. ...было неизвестно, на каком языке обратиться к ней. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Это чувство надолго осталось у Юрия Андреевича. Даже когда через неделю он пришел к жене с официально дозволенными поздравлениями и предложением наречь младенца в честь дедушки Александром. Все слова казались плоскими, ничего не выражающими. Мог ли он сказать Тоне, что она ему напомнила перевозочное судно на приколе! И много ли было бы Тоне радости от такого признания. Юрий Андреевич не любил вносить бездн и транс-цендентностей, которые позволял себе на бумаге, в обиход, и в семейном быту был неинтересный собеседник. Разговор не клеился еще в особенности оттого, что к тому времени у Юрия Андреевича была небольшая неприятность, которую он скрывал от кормящей жены, чтобы не огорчать ее. Но это было позже, а теперь врач и акушерка прогнали Юрия Андреевича, который так забылся от нахлынувших мыслей и чувств, что долго стоял на углу какой-то улицы, пока осознал, где он служит и куда ему надо по <делу>. Он отправился к себе в больницу.

- Поздравляю, коллега, — бросил на бегу элегантный, как парикмахер, накожник и венеролог, обгоняя его по главной лестнице. — Как быстро они узнали! — удивился Юрий Андреевич и не успел ничего ответить».

С. 108. У него появилась бессонница. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Он и Лара были на виду в городе и чуть ли не главными его фигурами. Их всюду приглашали, все искали случая с ними познакомиться. Но Павла Павловича считали

заносчивым, выскочкой, и его отношения с товарищами, и до этого не Бог весть какие, особенно ухудшились после одного третейского суда, ставшего городской притчей во языцех. Он согласился выступить примирителем в одной идиотской ссоре юрятинского Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем и когда рассудил их к их обоюдному удовольствию, оказалось, что его решение затрагивает имущественные интересы третьего лица, какой-то тетки или свояченицы их гимназического географа, — и пошли сплетни и дрязги. Как всегда, права была Лара, советовавшая ему не впутываться в эту историю».

С. 111. ...прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского... — прорыв войск Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова был совершен 22 мая 1916 г. и положил начало наступлению.

...город Лиски в Мезо-Лаборч... — железнодорожные станции в Карпатах (Lisko и Mezo-Laborczh), до начала войны находившиеся на территории Австро-Венгрии.

...оборудованный... Татьянинским комитетом помощи раненым. — Благотворительный кружок, организованный в начале войны под почетным председательством великой княжны Татианы Константиновны Романовой, для помощи находящимся на фронте и семьям раненых или погибших.

С. 116. ...на севере немцы перешли Свенту... — приток реки Вилии в Литве.

С. 119. ...которые шли... на перевязку, и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «— Фельдшера сюда скорее, фельдшера! — позабыв о горячившемся офицере и поздоровавшись с подошедшим к нему Юрием Андреевичем, крикнул главный врач летучки людям на крыльце лесничества. Он бросил взгляд на толпу раненых и что-то среди них заметил. Из палатки на шум перебранки выглянула сестра милосердия. Ей неприятно было, что офицер ругает Красный Крест, и приятно удивляло, что он не пересыпает своего чертыханья матерной бранью, как делали тут все решительно. И придерживая полы палатки руками до половины и просовывая голову в верхний прорез входа, она смотрела, добродушно хмурясь на все происходящее, на бедных раненых солдатиков, которых переносили с дороги в лесничество, на высокий гулкий осенний лес, на отдыхающих солдат и на сердитого офицерика, который подошел к привязанной к дереву лошади, отвязал ее и, вскочив в седло, ускакал в глубину леса, туда, к огню и гулу, металлическому, перекатывающемуся. Это была не ее смена, сестра была свободна».

С. 122. Ведь в России немыслима эта театральщина. — Из речи Николая II перед армией: «К вам, к самым доблестным представителям нашей армии Я обращаюсь с сердечнейшею и глубокою благодарностью за вашу доблестную, беззаветно храбрую службу в эту кампанию. <...> Я не забуду этого смотра и рад, что Мне удалось увидеть доблестные части армии и в вашем лице прошу передать Мою благодарность всем войскам за их преданную службу, радующую Мое сердце. Храни вас Господь Бог» («Искры» 25 мая 1916).

...чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Живаго перевернулся на лавке на другую сторону и продолжал. — Уже в девятнадцатом столетии после французской революции это стало чепухой и фальшью, но еще в руках специалистов по этой части, в руках знатоков. Карбонарии там всякие, народники, народовольцы. А дальше пошел чистой воды дилетантизм, захлебывающийся, повальный. Впрочем, это ведь в порядке вещей. Все истинное, гигантское тянется кверху и уносит за собою народ на следующую, высшую ступень всечеловечности. Только среднее, недостаточное остается в теме разговоров о народе, о нем непрошеным образом печется и за него распинается».

С. 123. Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы... — см. Послание к Галатам святого Апостола Павла: «Ибо все вы — сыны Божий по вере во Христа Иисуса» (3,26). ...в Царстве Божием нет эллина и иудея... — см. там же: «Нет Иудея, ни Эллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и женщины; ибо все вы — одно во Христе Иисусе» (3,28 — перевод епископа Кассиана, более близкий к славянскому). Та же мысль выражена в Послании к Римлянам: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех...» (10,12).

С 124. ...чтобы он страдал, чтобы можно было... наживаться на жалости. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Такая беда может постигнуть любую народность, но вред этих движений обезоруживает веянье идеи личности, исходящее от христианства».

С 126. ...просматривал... «Речь» и «Русское слово»... — ежедневные газеты; первая выходила в Петербурге и была органом партии кадетов, вторая — либерального толка, беспартийная газета выходила в Москве. Обе были закрыты в октябре 1917 г.

С. 130. Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. — Сохранились страницы первонач. карандашной рукописи глав 1—3 пятой части «Прощанье со старым» на оборотах машин, военных стихов («Другие редакции и черновые наброски». С. 603).

С. 133. Притчей во языцех были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. — Вместо этих слов на отдельной странице беловой рукописи вариант: «...и сказочное, будто бы, плодородие его почвы. Преимущественно из Зыбушина шли словечки и выражения и некоторые обряды и особенности, отличавшие всю эту, более обширную и прилегавшую к нему часть Западного края и прифронтовой области».

С. 135. Распу! Распу! Сарск брийан! Зыбуш! Глюконемой! Измен!— Чтобы восстановить смысл слов мадемуазель Флери, которыми она передавала основные темы выступлений Устиньи, надо понять, что она, как раньше было сказано автором, проглатывала «окончанья русских слов на французский лад». Соответственно, это: «Распутин! Царские брильянты! Зыбушино! Глухонемой! Измена!».

С. 136. ...проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. — Чтобы противостоять разлагающему армию влиянию большевиков, Временное правительство 15(28) июля 1917 г. приняло постановление об учреждении должностей военных комиссаров при главнокомандующих армий. ...Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная. — Отмена смертной казни была одним из первых постановлений Временного правительства; при продолжающейся войне это привело к повальному бегству из армии. Решение восстановить военные суды и смертную казнь за дезертирство было принято 12 (25) июля 1917 г.

С. 141. ...словно то были закинутые в пруд верши, или затонувшие корзины, которыми ловят раков. — Ср. стих. «Мучкап» (1917): «Душа — душна, и даль табачного / Какого-то, как мысли, цвета. / У мельниц — вид села рыбачьего: / Седые сети и корветы». После этих слов — в рукописи: «Одна из таких улочек открывалась с левой стороны площади. В глубине ее, между черными нависшими деревьями виднелось несколько просветов, в которых было светло как днем. Лунный свет на этих прогалинах неистовствовал, словно он двигался и кипел. Посреди дороги блистала большая лужа. Ночная картина в этой точке достигала сказочной силы. Доктор не мог оторваться от ее [обманчивой] шевелящейся яркости. Было похоже, будто поминутно озираясь по сторонам, луна по-воровски пила из лужи, и с ее губ текло и капало, как с усов пьющего змея-горыныча».

С. 142. Ослица эта, например, известная. — Имеется в виду библейский рассказ о Валааме и его ослице, остановившейся перед Ангелом, который преградил Валааму путь, оставаясь невидимым. «И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» (Чис. 22, 28). Небось сами знаете, чем кончилось. — «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое» (22, 31). В соляной столб обратился. — Устинья смешала рассказ о Валааме с историей Лота и его жены, которая, нарушив запрет Бога, обернулась, чтобы посмотреть на обреченный гибели родной город Содом, и превратилась в соляной столп (Быт. 19,1—26).

С. 145. Сошлись и собеседуют звезды и деревья... — в дополнительной главе к очерку «Люди и положения» (1956) Пастернак писал: «Заразительная всеобщность <...> подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды».

«Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования». — См. «Первое Послание к Коринфянам»: «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали <...> говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования» (14, 5,13).

С. 147. ...с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «За движущеюся пеленою дождя она производила впечатление реки, через которую строили мост, которую снизу озаряли электрическими лампами расхаживающие по дну водолазы».

С. 149. По-видимому, это ветер, — сказал доктор. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Это совсем не то, сказал доктор. Нигде наверное нет никого, мадемуазель, а просто какой-то обломок сука или деревяшка, или железка с дома барабанят об стену. Вряд ли кто-нибудь перебегает с угла на угол».

С. 151. ...на вырубки, и попросить, чтобы он подождал его... — вместо этих слов в рукописи вычеркнуто: «выезжает сейчас к нему [на станцию и пробовать еще раз отговорить его от выступления перед дезертирами на вырубках или по крайней мере убедить его не предпринимать ничего самому до прибытия Галиуллина в Бирючи. Коля, которому по каким-то причинам не хотелось поддерживать ни в каких направлениях задуманную меру], отказал Галиуллину...»

С. 153. Но опять поколениями воспитанное... — после этих слов в рукописи: «[помрачение гордости нашло на него и светлое] чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он [привел в состояние покоя свое бьющееся сердце и подгибающиеся колени]».

С. 154. ...Гинц стал на край крышки <...> остальные бросились штыками докалывать мертвого. — Под именем Гинца Пастернак вывел известную фигуру комиссара Юго-Западного фронта Ф. Ф. Линде, погибшего от рук солдат 3-й пехотной дивизии 25 августа 1917 г.

(П. Н. Краснов. На внутреннем фронте. Л., 1927. С. 25). Этому событию, взволновавшему широкие круги интеллигенции, посвятил проникновенные строки О. Э. Мандельштам: «Благословить тебя в далекий ад сойдет / Стопами легкими Россия» («Когда октябрьский нам готовил временщик...», 1917).

...испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Из густых хуторских садов томно и изнеможенно пахло цветущей липой. Она все еще цвела, доцветала, все не отцвела еще».

С. 155. ...в Сухиничах вам будет пересадка. — Сухиничи — город Калужской губ., железнодорожный узел.

С. 159. Верность революции и восхищение ею...— начиная с этих слов написано на наклейке поверх предыдущего варианта, от которого остался вычеркнутый отрывок: «Это их предки, шестидесятники шарахнули публицистику тем открытием, что грядущий переворот будет не государственным, а общественным, что революция будет не политической, а социальной. Сто лет этот парадокс наращивал критическую щелочь и непримиримую насмешливость по адресу непонимающих, одни были потомками Верховенского отца, другие последователями Верхо-венского сына. Теперь эта накипевшая злость, иногда сопровождающая долго не признаваемое новаторство, сочеталась с действительным исступлением низов, доведенных нищетою и обидами до беспамятства. Ах, но как все еще осложнилось, когда этот сложный сплав хлынул в литейную форму действительной истории! Такой род нового составлял узел мыслей второго круга». {Верховенств отец и сын — герои романа Достоевского «Бесы»; старший — придерживается либеральных взглядов, младший — радикальных.)

С. 160. Таким новым была война... — далее в рукописи вычеркнут вариант: «и ее сход с облаков на землю, но на такую изуродованную и оклеветанную, что, подлинно, на землю ли? Может быть, и не на землю? О Господи, как сложно, как сложно!»

С. 161. ...благодаря... основательности, в столицах устаревшей и вышедшей из моды. — После этих слов вычеркнут вариант: «Так например, в годы перед войною, умственность, начало бессознательно передовое, могла еще встречаться в каких-нибудь медвежьих углах, тогда как давно бездумье стало повсеместно признаком хорошего тона. Но молодой человек платил дань всему, это был провинциал современный».

С. 169. — Что это у тебя из свертка высовывается ? Птичий клюв... — вместо этих слов на отдельной странице беловой рукописи вариант: «— Что в этом свертке? Бумага прорвана, какой-то клюв высовывается. По-моему, утиный. Дикий селезень? Глазам своим не верю! Откуда? — В вагоне подарили. Целая история. Потом расскажу. Давай дичь развернем и положим на кухне. У вас жив еще холодильник? — Сейчас пошлю Нюшу вниз ощипать и выпотрошить».

Сейчас смотрел я в окно вагона и думал. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Жизнь это дом и свои. Ах как хочется мира и покоя! Как работать хочется! На ученом поприще и на всех. А писать как тянет. Целые дни безостановочно мысли и мысли, живые, новые!

— Чего же лучше. И дай Бог тебе. Смотри, ты меня до слез обрадовал.

— Да, но покоя не будет. Близится действительно кровавая революция. Об этом все говорят. Мужчина, взрослый, волей-неволей должен разделить судьбу родного края. Это чувство неискоренимое. Но как бы мне хотелось отправить тебя с ребенком и папой куда-нибудь пона-дежнее, в Финляндию, что ли, чтобы быть за вас спокойным».

С. 175. Маяковский <...> какое-то продолжение Достоевского <...> лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей... — о сходстве молодого Маяковского со «сводным образом молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей» Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956).

С. 177. ...политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан. — Имеется в виду салон у Жанн-Мари Ролан, жены министра внутренних дел в период Великой французской революции, где собирались деятели Жиронды. Ж.-М. Ролан вместе с мужем была казнена якобинцами в 1793 г.

...щеголял... отреченными книгами и текстами орфиков. — Речь идет об апокрифах, то есть иудейских или раннехристианских произведениях, не вошедших в канонический текст Библии, и сохранившихся отрывках последователей религиозно-

мистического течения, связанного с культом Диониса и мифического певца Орфея (VI в. до н. э.).

С. 181. ...составные части существования, вода и воздух, желание радости, земля и небо. — После этих слов в рукописи: «Что-то такое было уже однажды, смутно подумал Юрий Андреевич».

С. 182. ...у аптеки Русского общества врачей, на углу Староконюшенного. — Имеется в виду дом по ул. Арбат, 25, построенный в 1871 г. архитектором Р. А. Гедике для Общества русских врачей. В нем помещалась больница, аптека и медицинская библиотека.

С. 183. ...дни после Успения... — праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается 15 (28) августа.

С. 185. ...беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче <...> Доктор философии Гейдельбергского университета. — Г.-В.-Ф. Гегель (1770—1831) — немецкий философ-идеалист. Б. Кроче (1866-1952) — итальянский философ и историк. Гейдельбергский университет — знаменитый немецкий университет, основан в 1386 г.

С. 186. Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой... — на углу Серебряного пер. и Б. Молчановки находится «высокий пятиэтажный дом со стеклянным входом», где жила семья художника В. А. Серова. Пастернак часто бывал в этом доме, с детства дружил с детьми художника, более всего со своей сверстницей О. В. Серовой, и 18 мая 1947 г. читал там первые главы романа. Здесь с Юрием Живаго происходили «всевозможные случайности», определявшие его судьбу: он подобрал тут ограбленного, который стал его заступником в трудные годы революции, а вскоре в подъезде этого дома читал первые декреты советской власти и впервые столкнулся со своим сводным братом Евграфом.

С. 187. Потерпевший оказался видным политическим деятелем. — В рукописи более распространенный вариант: «Потерпевший [отделался легким сотрясением мозга. Он] оказался видным политическим [лицом. Этот человек, имя которого стало попадаться на разных правительственных постах, близко узнал доктора] и в его лице [Юрий Андреевич, при его не совсем обычной манере мыслить, выражаться и вести себя] приобрел на долгие годы покровителя...». В одном из первонач. планов к «Доктору Живаго» сохранилась заметка, из которой следует, что «дядя Клинц<ова>-Погорельск<их>, которого Ю. А. подобрал в Серебряном», был этим самым политическим деятелем. См. также: «Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера...» (С. 161).

С. 199. Я бы советовал поместить ее в больницу. — После этих слов в рукописи: «Можете ли вы раздобыть где-нибудь извозчика, в крайнем случае ломовые дровни?»

С. 205. По за истекшие месяцы того и след простыл... — в рукописи далее давалось объяснение его исчезновению: «Упразднен вообще был разряд заготовщиков, этой социальной рубрики больше не существовало. Половина населения дома сменилась, хотя это еще не был дом Советов. Демина была брошена на юг на борьбу с какими-то бандитами по организационной или пропагандистской части». (Заготовщиками назывались оптовые торговцы, закупавшие у крестьянства сельскохозяйственные продукты.)

Виндавский вокзал — теперь Рижский.

С. 206. ...поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. — См. стих. «На Страстной»: «И со Страстного четверга / Вплоть до Страстной субботы / Вода буравит берега / И вьет водовороты».

Идее рифмованные строчки преследовали его... — в рукописи вариант: «И двумя гребнями рифм сшибались борющиеся силы поэмы, две строчки, как гул бури, носились над ее бушеванием».

Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть. — См.: «Смерть можно будет побороть / Усильем воскресенья» (из стих. «На Страстной»).

С. 207. ...у него какой-то роман с властями. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «По-моему, он большевик или на них работает в белых областях, искренне, тайно и с опасностью».

С. 213. ...за баснословную, копейки не стоившую сумму... — имеются в виду обесцененные инфляцией деньги.

С. 215. ...привлеченные к трудовой повинности... — декрет о трудовой повинности, введенный в действие в декабре 1918г., устанавливал принудительное привлечение работоспособных граждан РСФСР к общественным работам.

С. 222. ...пишут царских рынд... — имеются в виду лубочные изображения оруженосцев.

С. 224. ...якзозуля... — как кукушка (юж.-русск.).

С. 226. ...машинисту, который еще не совсем пришел в себя... — после этих слов в рукописи: «не пробовал выбраться из снега и продолжал материть про себя, тихо и потерянно. Матрос сказал...».

С. 233. ...сбивалась в клубы обсыхающая бело-бурая пена... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «сбивалась обсыхающими клубами пышная бело-бурая пена, как пивная пена на усах забулдыг».

С. 238. ...елеуловимое движение из стороны в сторону... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «точно верх водопада был туловищем, а две нижние струи ногами...». ...все время оставался на ногах. — Далее в рукописи: «Роща дышала росою брызг, которыми он обдавал ее».

С. 241. Мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими... — в рукописи вычеркнут вариант: «со множеством современных русских людей составляем один мир, отличаясь друг от друга только глубиной проникновения в него и разной степенью его постижения. Я не об этом. Это азбука. Я о линии поведения».

...даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Этот лесной разговор наш такая же Россия, как эта революция. Только хвастать тут нечем. Это и наша гордость и горе».

Нет, история собственности в России кончилась. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Владельцев чего бы то ни было ни из кого у нас больше не сделать».

С. 242. ...между ним и далеким вокзальным зданием... — после этих слов в рукописи вариант: «протянулась такая сеть путей, что если бы там разверзлась земля и поглотила здание, в эшелоне ничего бы об этом не узнали».

С. 243. По-настоящему стукнуть бы тебя, да рано... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «посмотрю, что еще ты выкинешь. Все равно теперь — наш, не уйдешь. Ну, дуй назад, да смотри под вагонами не лазить, по путям не шнырять».

С. 244. ...знаменитая судоходная река Рыньва... — большинство упоминаемых в романе уральских географических наименований вымышлено, хотя за названием Рыньва узнается река Кама. Это название появилось еще в «Записках Патрика» (1936): «Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознанье своего речного имени». Название составлено по типу реальных уральских рек (Вильва, Иньва и пр.). В. М. Борисов переводит с пермского языка (финно-угорской группы) «речное имя» Рыньвы как «реки, распахнутой настежь» и отмечает, что именно на берегах этой реки «начинаются тяжкие испытания героя <...> в художественную ткань романа все чаще вплетаются символические, мифологизированные мотивы, ставящие "действительность почти на грань сказки"» (письмо кТ. М. Некрасовой 9 нояб. 1954; коммент. В. М. Борисова см.: Собр. соч. С. 698,699).

С. 247. ...большой город <... >ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон... — название Юрятина, также как и Рыньвы, придумано автором и появляется еще в «Записках Патрика». Его описание, по мнению В. М. Борисова, носит «сакральные черты» и своей «внутренней формой» связано с именем героя романа (Собр. соч. С. 699).

С. 249. Простите, товарищ. — После этих слов в рукописи отрывок заклеенного варианта: «...решили, что под видом парламентеров он зашлет к нам подрывников и опасных пропагандистов. Были приняты меры предосторожности. Часовые решили, что вы — такой парламентер. Произошло недоразумение. Вы свободны. Где трудовая книжка задержанного товарища? Ах вот ваши документы. Вижу. Вот они на столе».

ВТОРАЯ КНИГА

Первоначальный черновой набросок части восьмой «Приезд» («Другие редакции и черновые наброски». С. 605). На полях авт. заметка: «Очень важно: политические взаимоотношения между Микулицыным отцом и сыном». Кроме того, сохранился более поздний по времени план сюжетного распределения частей второй книги романа: С. 649.

С. 255. ...доктор возвращался к своему поезду. — На странице из пер-вонач. рукописи седьмой части, написанной на обратной стороне машин. «Макбета», переданы мысли Живаго во время его возвращения после встречи «со Стрельниковым, из этой новой своей очной ставки в вагоне со своей вечной пожизненной противоположностью. Как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии, как поклонялся им! Каким стыдом покрывался, каким немужественным и ничтожным казался себе всегда перед лицом их. И как никогда, никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над собой.

Голой правоты, голой истины, голой святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей все вытесняющею глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники древних учителей, — художники. Вот перед кем по совести благоговел он, а не перед героями и почитал совершенство творения, вышедшего из несовершенных рук, выше бесплодного самосовершенствования человека».

В раннем наброске сохранилось намерение автора «поднять содержательный уровень Микулицына и Стрельникова. Стрельников — равный Живаго, но целеустремленный, революционный, с самостоятельным языком и миром мыслей на эти темы. Микулицыны более рядовой и доступный вид того же самого, и сходство отца и сына именно в этой не сатирической простоватости и серединности. Самое трудное будет показать, как тождественны они (сходством повторений одних фраз, прекраснодушием и некоторыми словами: недурственно, дружище) в основном».

Гречиху у нас на Акулину сеют. —Деньсв. мученицы Акул ины (Аки-лины) отмечается 7 (20) апреля.

Наконец-то. Ну слава, слава Богу... — сохранились два ранних варианта, текстологически близкие друг другу, на отдельном листе из пер-вонач. рукописи, написанной на оборотных сторонах машин, перевода «Макбета»; один из них вычеркнут, приводим более поздний:

«— Наконец-то! Ну слава Богу, слава Богу. Можешь себе представить, что мы пережили, пока не узнали, где ты. Часовые разболтали. Мы с папой чуть с ума не сошли. Вот, свалился от волнения и спит как убитый. Разбудить или не стоит? Папа, папа, нашелся [пропавший] наш! Хоть из пушки стреляй, не просыпается. Вот что значит наволноваться. Ну, рассказывай по порядку. Но погоди, кажется, сейчас тронемся. Видишь, народ бежит, садятся в поезд. Говорят, к городу еще нельзя при-

ближаться, — пожары, и, кажется, мост поврежден. Кругом повезут. А нам еще лучше. Без пересадки передадут на Горнозаводскую, на которой находится Торфяная. И не надо через весь город тащиться с вокзала на вокзал. Но я не буду спокойна, пока не увижу нас в безопасности на Торфяной. Он мог, понимаешь, отдать распоряжение по телеграфу, чтобы нас задержали там по прибытии».

С. 257Предсказания Антонины Александровны сбылись. — Сохранились три ранних варианта на отдельных страницах из первонач. рукописи; два вычеркнуты, приводим более распространенный из них: «Поезд без конца маневрировал, колеся взад и вперед вдоль юрятинских окрестностей. Город все время оставался слева на горизонте. Туда с разных сторон тянулись в одну точку несколько грунтовых дорог, черных, непросохших от весенней грязи, со светлыми лужами и озерами посередине, в которых купалось жаркое весеннее солнце. Подгородная местность представляла обычное зрелище. Ее в разных направлениях пересекали рельсы железных дорог. На огороженных колючею проволокой участках колючками нестаявшего снега белели гуси. На неогороженных пустырях высились красные баки нефтехранилищ и — новость последнего десятилетия — щиты саженных промышленных реклам на столбах. Одна из них, часто попадавшаяся, возвещала трехаршинными буквами: Моро и Ветчинкин. Молотилки и веялки. На переднем плане виднелись опушки редких сильно вырубленных лесов. На заднем — в промежутках между ними маячили кирпичные корпуса и трубы фабрик, церковные купола и колокольни и деревянные дома окраины. Конец одной из них горел с той сонной зловещей неторопливостью, которая отличает грубое, неприкрашенное пламя дневных пожаров от величественности ночных, озаряющих полнеба факельной тревожностью большого, всех кругом касающегося несчастия».

Третий вариант см. в разделе «Другие редакции и черновые наброски». С. 609. На оборотной стороне одного из вариантов записана цитата из «Слова о полку Игореве»: «О русская земля, уже за шеломе-нем еси».

Доктор и Самдевятов сидели на полу теплушки с краю... — характер эпизода был окончательно оформлен на конечных стадиях работы над рукописью. Сохранилась заметка: «К третьей беловой редакции написанного. Когда сидят на полу теплушки и болтают ногами, шум раскатывающегося поезда заглушает слова Самдевятова. Начала сложных теоретических фраз с придаточными предложениями, которые доктор прерывает словами: громче, не слышу. И потом вторичное дословное повторение этих начал.

Обязательно оживлять все изображениями на слух и на глаз. Короткие, полные окончательно продуманных положений или формулировок предложения. Спокойное, естественное изложение, соответствующее впечатлению при перечитываемом Malte Brigge. Пробегать глазами карандашную 2-ю редакцию с цветным карандашом в руке. Отчеркивать в тексте важнейшее и самое живое, а слева на полях делать пометки о направлении желаемых исправлений, добавлениях, изменениях и пр.». (Malte Brigge — Р.-М. Рильке. «Записки Мальте Лауридса Бригге», 1910.)

...Самдевятовы — это видоизмененное Сан-Донато. Будто из Демидовых мы. — Демидовы — знаменитый род промышленников, возведенный Петром I в дворянство и получивший от него земли на Урале. Представитель этого рода А. Н.Демидов (1812-1870) приобрел княжество Сан-Донато в Италии, его племянник П. П. Демидов получил титул князя Сан-Донато. Слова Антонины Александровны о Самдевятове: «Человек этот послан нам судьбой» выявляют, по мнению В. М. Борисова, «говорящий» смысл его фамилии (donare, donatus — давать, дарить. — лат.). — См.: Собр. соч. С. 700.

С. 258. Тракт наш знаменитый. — Большой сибирский тракт проходил через Пермь, Екатеринбург, Тюмень и далее, — по нему шло все сообщение с Сибирью.

С. 260. Блажен муж, иже не иде, возьму куш, ничего не видя. — Поговорка обыгрывает начальные слова 1-го псалма: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Среди черновых набросков к роману сохранилась заметка: «Про Афишку, — человек, про которого говорится: на языке — блажен муж, иже не иде, а на уме — пожирней куш вижу, не видя». (Афишка — уменьшительное от имени Анфим.)

С. 261. ...студентом Технологического института... — знаменитого, основанного в Петербурге в 1828 г. учебного заведения, готовившего инженеров химического производства.

С. 262. Что такое партизаны?— В ранней заметке, составленной по книгам П. Д. Криволуцкого «Шитинские партизаны» и В. Г. Яковен-ко «Записки партизана», дается ответ на этот вопрос: «В главу о партизанах. Обязательно начать со спокойного объяснения, кто они, отчего партизаны, как началось, ближе к фактической стороне дела по обеим брошюрам: сперва, почему не Советская власть (Шитин<ские партизаны^ потом отказ новобранцев (Яков<енко>), — а куда приткнуться, надо бежать из деревни, а уже там и сям «по градам и весям» земли Русь-ской курились дымки выстрелов, ухали орудия и горели деревни, вместе с расслоением интересов и склонностей составлялись заговоры, подымались восстания, завязывалась гражданская война, открывались ее военные действия...».

С. 263. ...эсер, выбран от края в Учредительное собрание. — В выборах в Учредительное собрание, проходивших в нояб.-дек. 1917 г., большинство получили эсеры. Собравшееся бянв. 1918 г. Учредительное собрание было распущено на следующий день по требованию Ленина.

С. 264. Жизнь по захолустному отставала <...> Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания. — Сохранился отдельный листок из первонач. рукописи, написанной на оборотных сторонах машин. «Генриха IV»: «Забвение того, чем бывает и была жизнь во всей ее пестроте и трагичности, зашло в столицах гораздо дальше, чем в провинции и наступило раньше. Хотя законы предписывали деревне и маленьким городам жить и думать по-московски, в захолустье в самые тяжелые годы не доходили до того, чтобы удивляться существованью лошадей или тому, что природа по-прежнему жива, как до войны, и что декреты ее не отменили. Но в таком именно положении были высадившиеся на станции Торфяная путешественники. Издерганные нервы Антонины Александровны не выдержали. Когда она убедилась, что Юрия Андреевича не задержало управление транспортной чека (уточка), хотя она боялась, что Стрельников телеграммой укажет станционной...».

С. 266. Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий... — см. варианты этого эпизода в первонач. рукописи («Другие редакции и черновые наброски». С. 610).

С. 268. ...во пещи авраамстии отроим персидстей!— Слова из ирмоса 7-й песни воскресного канона 4-го гласа.

...частушек, в былые времена сложенных на здешних заводах. — Пастернак слышал эти частушки в свою бытность на уральских заводах в 1916 г., записывал характерные выражения и особенности народного языка во время эвакуации в Чистополе на Каме, во время работы над романом пользовался сб. В. П. Бирюкова «Дореволюционный фольклор на Урале», но пользовался этими текстами, изменяя их так, как ему запомнилось. Щегерь — штейгер, мастер горнорудных работ, маркштей-гер. Селяба город — Челябинск. Сентетюриха — один их персонажей уральского фольклора.

С. 269. Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь... — сохранились два варианта на страницах из первонач. рукописи, написанной на оборотных листах машин. «Макбета» (см. «Другие редакции и черновые наброски». С. 610, 611).

Их путь лежал по широкому пустому простору. — В беловой рукописи вариант: «Они ехали по широкой пустой равнине. Посреди ее, увенчанные кистями цветений, торчком стояли волокнистые жесткие стебли сорных трав, лебеды, чертополоха, полыни. Озаряемые снизу, с земли, лучами заката, они вырастали в очертаниях и, отбрасывая свои черные и отчетливые тени, высились над полем значительно, осанисто и почти зловеще, как расставленные по равнине для дозора недвижные верховые.

Далеко впереди, в конце, равнина уперлась в поперечную, грядой поднявшуюся возвышенность. Она стеною стала над дорогой, по виду преграждая едущим путь и закрывая собою край неба. Точно дорога подводила там вдали к царству заката и останавливалась перед его закрытыми воротами».

С. 270. К началу 9-й главы относится небольшая заметка из раннего плана: «Главу о приезде Живаго к Микулицыным начать не показом живой сцены, а отвлеченным рассказом и рассуждением, как жили люди, сами не зная, и вдруг ворвались и что они могли подумать и т. д.». Сохранились страницы начала этой главы из первонач. рукописи (на оборотных сторонах «Макбета»), соотносящиеся с мыслями этой заметки:

«Спустя некоторое время в доме директора под могучими ветвями лиственницы и кедра происходили следующие сцены и разговоры.

Микулицын, красивый мужчина с красиво вдающейся ото лба к темени проплешиной в каштановых волосах, с густыми нависающими бровями, пушистыми усами и прямой, хорошо выхоленной до воздушности и расчесанной бородой, доводя свой сочный баритон и все особенности своей речи до высоты рокотания истинной музыки, поражался, становился в тупик, отказывался понимать и, постепенно пятясь перед ввалившимся и совершенно неизвестным ему потомством своего бывшего хозяина, как бы преграждал им путь и в то же время как бы приглашал их за собой, и углубляясь с ними все дальше в дом, ходил по комнатам, что-то везде переставляя, и отворял и затворял окна, чтобы в движении утопить его самого тяготившую волну нелюбезности, поднятую неожиданным и непрошенным вторжением».

См. также «Другие редакции и черновые наброски». С. 612.

С. 271. ...признаваться в таких вещах в наше время?— После этих слов в беловой рукописи вариант: « — Интересно, понимаете л и вы, что как раз вследствие этого родства вам не следовало отваживаться сюда пускаться.

—Леночка, не вмешивайся. Жена безусловно права. Именно вследствие этого родства и по этой причине.

У Юрия Андреевича не было времени сравнивать очерк Самдевя-това с оригиналом. В неловкости переполоха описания Самдевятова вылетели у доктора из головы. Но потом, по общем успокоении, он поразился сходством и соответственностью изображения. Однако характеристика, данная Анфимом Ефимовичем управляющему, была неполная. Юрий Андреевич ее впоследствии дополнил.

Аверкий Степанович произносил звук "л" по-светски плавно, на польский манер. Он говорил: суава Богу. Или: этот чеовек меуко пуава-ет. Он действительно не расставался с трубкой, которая представляла неотделимую черту его облика и участвовала в формировании его слога, потому что свои слова и мысли он составлял в промежутках между разжиганием ее, когда она потухала, и затяжками и попыхиванием из нее, когда она разгоралась».

Ушкуйник — речной разбойник.

С. 272. ...но сие есть темна вода во облацех, сеннописаный мрак гаданий. — Выражение, ставшее поговоркой, образно ориентированное на 12-й стих 17-го псалма.

«И положи тьму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных» («И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных»).

С. 273. Л сзади из-за угла дома падал свет лампы... — вместо этих слов в беловой рукописи вычеркнут вариант: «Свет лампы падал с задней стороны дома из окна в овраг. Его затуманенный холодной сыростью сноп, в котором виднелись тени кустов, деревьев и еще каких-то других, неясных предметов, как всегда бывает в новом, незнакомом месте, яркой полосой вырывался из-за заднего угла дома, был виден с крыльца и до черноты сгущал темноту остального, неосвещенного пространства».

С. 274. ...отметил... поместительность хорошо обставленной комнаты... — после этих слов в беловой рукописи: «так манившей и располагавшей к умственной сосредоточенной работе. Он обратил внимание тестя на эти преимущества».

...отвоевывает... область за областью у Комуча. — Комуч — Комитет Учредительного собрания был образован в Самаре в июне 1918 г. на съезде, собравшем некоторое количество депутатов разогнанного Учредительного собрания.

С. 275. ...заключен Нимвегенский мир?' — Завершение Голландской войны 1672—1678 гг., в которой с одной стороны участвовали Франция, Англия и Швеция, с другой — антифранцузская коалиция во главе с Голландией при поддержке Священной Римской империи, Испании и

Дании. Среди записей разговорной лексики у Пастернака сохранилась речевая и психологическая характеристика Елены Прокловны Мику-лицыной: «Она (Микулицына) изрекала неоспоримости вроде: Прибавляет в начале всякого вопроса:* Интересно, вот яблоки портятся от мороза? Это то и то-то и то-то. Летом, я посмотрю, жарко, а зимою, оказывается, холодно. С праздником вас. Аналогично (вместо: и вас также). Осень, но еще должно наступить наше лето (и надо догадаться, что, как женщина, она разумеет бабье лето). <...> М<икулицына> (она) была, скажем для простоты, дура отроду, чистая беспримесная дура. Она говорила бесцветным, как высохший цветок, шелестящим голосом, вдруг срывавшимся в девические взвизги, как у маленьких девочек. Последовательность, в которой она поддерживала разговор, занимая гостей, неизобразим а».

С. 276. ...Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. — Среди черновых набросков есть такая запись: «В отрывки, повествующие о годе мирного трудолюбия в Варыкине, вставить большой, состоящий из 5—6-ти записей, отрывок из дневника или собрания мыслей Ю. А. Составить из мировоззрительных кусков черновой рукописи, не вошедших и не имеющих войти в ткань разговоров и описаний в беловой, как-то, о революционерах, о Х<ристе> и народе, о жизни и пр. Вообще записи, — как работал. Что в произведении искусства самое главное, что оно, искусство и это скрытое утверждение, потому что краски сами говорят тысячелетиями и пр. Отмечать на полях розовым карандашом по параграфам.

Сюда же: решение собрать книгу стихов под заглавием — в столовой, увешанной картинами».

Какое лето, что за лето!.. — из стих. Ф. И. Тютчева «Лето 1854», цитируется по памяти; у Тютчева: «Ведь это, право, колдовство!»

С. 280. Женщина сама производит на свет свое потомство... — ср. запись, где Пастернак сопоставляет отношение Живаго к Тоне с аналогичными мыслями о своей жене: «О семье и матери. Тоня = З<ина>, все сделала она. Надо будет в какой-нибудь форме (Ю. А. или я сам?) о Тоне в параллели с моей мыслью о З<ине> и независимости ее жизни от "вертопраха" Г<аррика>. Сама завела сыновей, сама воспитала, грустно и скромно, "в глубине сцены", на втором плане, где тишина и можно поставить колыбель. Это Ю. А. будет думать о Тоне в Москве, когда он будет

жить с Маринкою. На все его просьбы о разрешении отвечали отказом. Однажды пришла ему мысль перейти границу, бежать, но понял, что попадет в бессрочную чрезвычайку. Пусть в случае Ю. А. это будет сознание того, что ей и ее отцу он обязан всем своим детством». (Гар-рик— знаменитый музыкант Г. Г. Нейгауз, первый муж З. Н. Пастернак.)

...«Молися прилежно Сыну и Богу Твоему»... — см. молитву «Преслав-ная Приснодево...», читаемую на полунощнице: «...принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему...». «И возрадовася дух Мой... — слова из так называемой «Песни Пресвятой Богородицы» (Лк. 1,46-55), традиционно сопоставляемые со словами пророчицы Анны о своем сыне Самуиле (1 Цар. 2,1-10). Поется на каждой утрене. Пастернак цитирует по памяти; в рукописи: «Яко воззри на смирение рабы своея...»; в машин, ошибка исправлена неизвестной рукой.

С. 281. Искусство первобытное... одно и то же... — после этих слов в рукописи вариант: «одно, а не многое, в единственном числе существующее и остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, о самой живости жизни, насквозь просветленное словом, по всеохватывающей своей все целостности на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной творческой смеси, — романа, драмы, портрета, симфонии, эта крупица перевешивает значение всех остальных слагаемых и оказывается хозяином, душой, основой изображенного, подлинником портретируемого, музыкой музыки, существом сказанного».

С. 282. ...сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «пока снятся, до пробуждения. Сон весь вылетел из головы, когда я проснулся, но проснулся-то я потому, что меня разбудил отголосок, отзвук женского голоса, которым был полон сон, которым он весь был оглашен. Сон забылся, а голос продолжал звучать так ясно в памяти, что я был в состоянии удержать в воображении его звук, перебирая мысленно всех знакомых женщин и доискиваясь, какая из них приснилась мне и могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести влажного голоса».

Земля, воздух, месяц, звезды... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «скованы, склепаны морозом на одну цепь друг с другом. Все стоят вместе, одного от другого не отделить. В парке точные ясные тени деревьев лежат поперек дорожки, точно люди в черном все время без конца переходят через нее. Крупные звезды синими слюдяными фонарями спущены в лесу с ветвей. Мелкими, словно россыпью искр, с треском разлетевшихся от месяца, усеяно небо».

Как много зависело от выбора стихотворного размера!— Первонач. редакция мыслей о Пушкине сохранилась на отдельных страницах ранней рукописи и отнесена к поездке в Варыкино с Вакхом («Другие редакции и черновые наброски». С. 611). Отказавшись от намерения поместить эти размышления на первые страницы части «Приезд», Пастернак отложил написанное, надписав: «Выпущенное о лицейских стихах. Дальше — в разговоры в Варыкине. (С Л<иверием>? и м<ожет> б<ыть> с Маринкой?)».

С. 284. «Первые предвестия весны...» — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «как теплыми днями зимы, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь сплошная игра слов. Все кругом каламбурит и блестит и лоснится, как маслом писанная картина. Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно, ресницами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи проталин, маслянисто блещут обмерзшие следы вечером в гололедицу, природа зевает, потягивается, масляно улыбается».

С. 285. В седьмой главе «Евгения Онегина»... — стихи Пушкина процитированы с ошибками, по памяти; среди черновых набросков и заготовок к роману есть страница с выписками из Пушкина («Сочинения» под ред. П. А. Ефремова. Изд. Суворина. 1903-1906). Там цитата приведена точно:

«Из Евг<ения> Он<егина> VII. стр. 172.

Там соловей весны любовник Всю ночь поет; цветет шиповник

из VIII гл. Евг<ения> Он<егина> строфа 6

Написать стихотворение об этом. Найти в звуке выражение

Как окна распахнувшихся пространств

Тождество деревянного дома и леса. Соловей все время напоминает, открылось, началось, совершается. Не спит человек, не спят звезды. Поет, чтобы через весь лес его было слышно в доме. Во всеуслышанье. Раскатный. Заросль. Зорька.

Из Евг<ения> Он<егина> VIII. стр. 212. О тоне, принятом у замужней Татьяны на приемах

Хозяйкой светской и свободной Был принят слог простонародный

Здесь всего ближе Евг<ений> Он<егин> подходит к Толстому: Нина Воронская. Это уже Вронский. Здесь Татьяна незаметно переходит в Наташу Ростову».

(VI строфа восьмой главы «Евгения Онегина»: «И ныне музу я впервые / На светский раут привожу...» повествует о посещении автора и его музы «светского раута» у замужней Татьяны. Написать стихотворение... — ранний замысел стих. «Весенняя распутица» (см. коммент. к нему. С. 740). Нина Воронская. — См.: «С блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы...» — строфа XVI главы восьмой.)

Но звуковым образом не сказался ли также былинный «соловей-разбойник»?— В рукописи вариант: «Но не повлияло ли также соседство былинного сросшегося сочетания "соловей-разбойник"?». См. стих. «Весенняя распутица»: «Как древний соловей-разбойник, / Свистал он на семи дубах».

От него ли то от посвисту соловьего... — цитата из былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник» — см.: А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины. Т. I. М.— Л., 1949, № 74, ст. 43-47.

У Тургенева описаны где-то эти высвисты... — имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Соловьи».

С. 290. ...встать и подойти к Ларисе Федоровне. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Но затем чуждые его непосредственному характеру и установившиеся у него только по отношению к ней принужденность и отсутствие простоты взяли верх над его первоначальным побуждением. Он решил не мешать ей, а также не прерывать собственной работы. Чтобы защитить себя от искушения глядеть в ее сторону и чтобы она не могла заметить его, он поставил стул боком к столу, почти задом к занимающимся и углубился в свои книги, держа одну в руке перед собою, а другую развернутою на коленях. Однако мысли его витали за тридевять земель отсюда и единственное, что ему удалось почерпнуть из беглого просмотра печатных материалов, было чувство достоверности, что голос, который...».

С. 294. И наоборот, воду она носит... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «точно плывет — проходится в танце каком-то или делает на балу реверансы с приседанием. Эта плавность у нее во всем. Это ее основа».

С. 296. ...побегами чеховских школьников в Америку?— Речь идет о рассказе А. П. Чехова «Мальчики». После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Разве наше робинзонство и ваше скитание со своей отобранной на чужую заброшенную квартиру способ осмысленного существования? И что тут нового, спрошу я вас».

С. 297. Галиуллин мне во многом помог... — среди черновых набросков имеется запись, отмеченная «NB обязательно» и относящаяся к этому месту. На поля вынесены слова Ларисы Федоровны: «ведь я, Стрельников, Галиуллин с одного двора». «Вставить в одно из первых упоминаний Лар. Фед. о Галиуллине, что он знает, кто такой Стрельников, но был с ней по-человечески благороден, несмотря на то, что она жена Стрельникова, по теперешним временам смертельного его врага. Он говорил с Лар. Фед. о своем бывшем товарище, не понимает его политического направления и не может говорить о нем спокойно.

Может быть отдельно сцену, как во время владычества белых к Га-лиуллину является хлопотать о ком-нибудь Антипова. Он принимает ее, дает ей понять, что ему известно, кто такой Стрельников, рвет и мечет, говоря о его расправах, не понимает его выбора и намекает ей, как она должна ценить то, что он (Галиуллин) не выдает ее. Последние критические дни белых, уход, приход красной армии (Яблочко)». На полях примеч.: «Дать по Рейхсбергу и "Омскому владычеству белых" в Юрятине». (Имеется в виду книга Г. Рейхсберга «Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке». Упоминаемая в контексте ухода белых и прихода красных песня «Яблочко» — «Эх, яблочко, куда ты котишься...» — была популярна в это время в обеих армиях и пелась у одних и у других с заменой нескольких слов.)

...занимать одно лишь место в обществе, значить всего только... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «что-то одно и ничего больше!

Годы совместно разделяемой истории это как годы детства в огромной семье, полной детворы, где неизвестно, кто чем вырастет и не знаешь, с кем шалишь и ползаешь под столом и чем это кончится».

С. 300. ...будничной бедности понятий, несмелого воображения. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «как всякий предрассудок, как подчеркнутое, напрасно поддерживаемая условность».

С. 301. ...стоял третий в окрестностях столб... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «расхваливавший надоевшие доктору сеялки и молотилки. На возвратном пути из города на этом месте заставал обыкновенно закат».

С. 302. Изменил ли он Тоне, кого-нибудь предпочтя ей?— Сказавшаяся в этом монологе душевная раздвоенность отразила момент собственной биографии Пастернака в период его увлечения З. Н. Нейгауз. Записка, сохранившаяся в его бумагах и озаглавленная «К роману», подтверждает это сопоставление: «Восстановить шатание, растерянность, до замирания противоречивые, борющиеся друг с другом чувства и все осиливающие, несчастность всех и наибольшую свою собственную и глушение страстью. Восстановить Трубниковско-Пильняковское время, ужас». (Нейгаузы жили в Трубниковском переулке, Пастернак, уйдя от семьи, — у Пильняка на Ямском поле.)

Он изнемогал под тяжестью нечистой совести. — После этих слов в рукописи отрывок: «Он устоял бы против красоты и подкупающего обаяния Ларисы Федоровны, против чувства обоюдного душевного родства, неудержимо влекшего к ней.

Но вдруг, помимо ее ведома и участия, какой-то сигнал, зов о помощи послышался Юрию Андреевичу за всем ее существом, за ее фигурой, обликом, за всем ее явлением: "Очнись! Откликнись! Свидетельствуй об увиденном!" И в голосе ее бездомности он услышал голос собственной незадавшейся доли, своих лучших порываний, разбивающихся, как о стену, о проклятие вечных препятствий. Остаться безучастным к этому голосу было немыслимо, а отозваться значило махнуть на все рукой, броситься очертя голову, наудалую, что будет то будет, — и потеряться, захлебнуться в слезах и сладости взаимоутоленной боли и восхищенья. И вот он жил этим».

Сохранилась ранняя заметка, озаглавленная «О любви и новом», передающая общий замысел девятой части и настроение Живаго по пути в Варыкино перед его захватом в плен партизанами. «(Когда Ю. А. едет верхом из Юрятина перед захватом в плен партизанами). С соблаз-ненности, завороженности любовью начинается новая жизнь. Новая жизнь в значении рождающегося ребенка. Это во всяком случае. Но и в других значениях. С проповеди любви начинается новое время в истории. Любовь всегда порог нового: нового существа, нового мира, нового периода, зазванность, завербованность в новое.

Когда Лара казалась ему заслуженною, заработанною? Ни сила чувства к ней и преданности, ни достижения реальной работы не оправдывали ее в его душе как завоеванной цели и добытой награды. Но когда пробуждение творческой жилки, новая мысль, наполняли его радостью и подымали в собственных глазах, у него являлось восхищенное торжествующее чувство общности породы с ее красотой, он вдруг открывал в себе товарища ее женственной прелести, товарища, брата, загорающегося недозволенной страстью к сестре своей».

С. 303. Он едва пересилил себя и продолжал путь. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Расчесанный лесом, точно зубьями гребня, летний вечер золотился в глубине чащи далеко в стороне от дороги. Он застрял там, запутавшись в заросли и зацепившись за ветки, и не имея сил рвануться и пробиться на дорогу, догорал в отдалении. Хотя лето уже клонилось к осени, на подошвах стволов еще оставалась присохшая к ним тина и грязь, нанесенная в вешнее половодье».

«Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!» — начальные слова кондака (глас 6-й) Великого покаянного Канона Андрея Критского, читаемого на 1-й неделе и утрене четверга 5-й недели Великого поста.

Он все снова пережил в предвосхищении. — Вместо этих слов в рукописи вариант: «Его охватило нетерпеливое, предупреждающее событие, ускоряющее бег крови волнение. Он сразу все увидел».

Под белым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. — Сохранился ранний набросок этого эпизода: «Удвоенное число фонарей в дождливую ночь на мокрой мостовой. Пересекающиеся со стенами дома стены торчащих поперек крыш мезонинов с одинокими непарными окошками. Юрятинские домишки, похожие на перекрещивающиеся в четырех направлениях плоскости карточных домиков. Ее город. Казалось, что в лице Лары (он. — Е. П.) изменял жене со всем городком, со всею бедной, бедственной русской жизнью, заблудившейся в лесных дебрях, как в какой-то страшной сказке.

Застава партизан. Не пугайтесь. Мы знаем кто ты, товарищ доктор. Аверкий Степанов не раз тебе говорил: не время сейчас гулять, гражданин Живаго, страна дела требует. Кабы ты пошел в красную армию, доктор, военврачом по учету, мы бы тебя не тронули. У нас фельдшер был. Умер, понимаешь ли от ран. И нам теперь ни в какую, зарез. Мы тебя силой мобилизуем, как военнопленного. Давайте лучше добром. Видишь наган. Нам не до шуток.

— Вы сын Аверкия Степановича Ливерий, товарищ Лесных?

— Нет, я начальник его связи Ангелярский».

С. 306. ...власть Сибирского временного правительства... сменена... властью Верховного правителя Колчака. — Адмирал А. В. Колчак 18 нояб. 1918 г. под титулом «Верховного правителя России» установил свою власть над Сибирью, Уралом и Дальним Востоком.

«Радуйся живоносный кресте, благочестия непобедимая победа». — Начальные слова 1-й стихиры (5-го гласа «на стиховне») из праздничной службы на Воздвижение

Креста Господня. Название городка дано по находящемуся в нем Крестовоздвиженскому монастырю.

С. 307. Перебранка их тоже была слышна во всем городе. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Оглашаемая этими редкими звуками ночь была вся тишина и настороженность. И она казалась мокрой и разгоряченной не от теплого дождя, но от вешнего вслушивания в голоса жизни и от волнения».

В ночь на Великий четверг церковь вспоминает последнюю трапезу Христа с учениками, Тайную вечерю, Его молитву в Гефсиманском саду и предание в руки римских воинов. Читаются соответствующие места Евангелия (Двенадцать Евангелий).

С. 308. Светлый праздник на носу... — Пасха.

...на пороге Святой... — Святой недели, то есть следующей за Пасхой.

...не пожалели, выперли. — После этих слов в рукописи дополнительный отрывок: «На маслянице сестра Поля нагрянула, пожила месяц [с неделею] и дала тягу. Ну чтобы ей, [кажется], сестру уважить, Пасху вместе [отпраздновать] провести? [Так] нет, куда там, не усидела и эта. Поскакала в Пажинск, ирод ее ненаглядный, Притульев, говорят сыскался; набрели на след [его, невидали этой и] ее сокровища. Вот пойми их баб, разве влезешь в душу женскую?

Это после всего, что сестра про Питер рассказывала, про принудиловку, про побег [с подневольной дороги, про отрока Васюту непорочного Золотые волосы] из арестантского поезда. Про деревню Веретенники, про житье ее райское у Брыкиных, у Васютиной матушки. Вместе, говорит, жили, вместе работали. Как в родной семье. А чтобы что-нибудь такое, — ни-ни! [И в помине! Во святой чистоте. Соблюдали себя и помыслы свои]. Христом Богом сестра божилась. А люди чернили, зазрили, дрянь люди везде, где ни возьми. Такую распустили славу, — пришлось [сердце скрепя, без оглядки уйти. Брыкины плакали.] убраться, пока не проводила деревня каменьями. И теперь она опять назад к Притульеву. Любвеобильная сестра, что и говорить, любвеобильная».

С. 309. ...в прилегавшие к монастырю закоулки. — После этих слов в рукописи: «носившие названия в честь Святого равноапостольного царя Константина и матери его Елены».

...за чтением «Газеты-копейки»... — ежедневной газеты, выходившей в Петербурге с 1908 по 1918 г.

С. 310. Любимый ее цвет был лиловый <... > фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет. — О своей любви к лиловому цвету, «цвету пармских фиалок» Пастернак писал Жаклин де Пруайяр 2 авг. 1959 г.: «...в далеком прошлом у меня было любимое сочетание, такое устойчивое, что могло бы меня охарактеризовать. Это был темно-лиловый (почти черный) цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремовым)». Ср. также: «...революция <...> была одним из проявлений помрачнения золота и торжества лилового сумрака, то есть тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах» (А. Блок. «О современном состоянии русского символизма», 1910).

С. 311. «Лейбочкины штучки» — то есть революция и гражданская война, в организации которых видную роль и фал Верховный главнокомандующий Лев (Лейба) Давыдович Троцкий.

...Памфил Палых, братья Нестор и Панкрат Модых? Своя рука владыка... — к этому месту относится конец фразы, записанный на отдельной странице, вынутой из беловой рукописи: «каждый сам себе был голова, чтобы своим умом да двором крестьянствовать, чтобы никого не знать и никому не кланяться».

С войны пришли в «георгиях»... — то есть награжденные солдатскими георгиевскими крестами.

...в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «множество предметов. Она дополнила разбор знакомой среды и ее общественного состава еще одной характеристикой».

С. 312. Сентетюриха телегу продала... — из сб. В. П. Бирюкова «Дореволюционный фольклор на Урале» (Свердловск, 1936. С. 85). В сб. отсутствуют непристойные куплеты о дуре Сентетюрихе, которые Пастернак запомнил во время своего пребывания на Урале в 1916 г.

С. 313. «Великое заступление печальным, Богородице чистая, скорая помощница, миру покров»... — слова из стихиры 1-го гласа 1-го антифона на Великой вечерне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

С. 314. ...ащеулы нагрянут... — зубоскалы, насмешники. Здесь имеется в виду контрразведка полковника Штрезе, занявшего город.

Существующая в Сибири буржуазно-военная власть... — установочная речь бывшего кооператора, теперь докладчика из центра Костоеда-Амурского, объезжавшего Сибирь под партийной кличкой «Лидочка», воспроизводит военную инструкцию Центрального комитета «По организации деревенских комитетов, крестьянских штабов и отрядов» из сб. документов «Колчаковщина на Урале» (Свердловск, 1929. С. 182).

С. 315. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «недремлющим оком потемки. Дежурные приросли к месту и не уйдут, не сказавшись и не позаботившись о смене».

С. 316. ...к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «и на службу которому, чтобы разгадать его священную загадку, приставила мысль и искусство, они сидели молчаливыми, строгими судьями, сухими, все осуждающими скопцами и святошами, из которых политическая спесь вытеснила все живое, не оставив ничего человеческого».

...из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны... — войны 1877-1879 гг.

С. 317. ...бывший трудовик-кооператор... — член депутатской фракции в Думе «Трудовая группа», основой своей программы ставившей идею трудовой кооперации.

...настроения крестьянских масс... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «в охваченных восстаниями хлебородящих районах Западной Сибири во всех оттенках, начиная с батрацких низов и кончая кулацкой верхушкою. А в данном случае руководства партизанским движением это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний».

С. 321. Что твой думский Милюков... — П. Н. Милюков (1859— 1943) — историк, публицист, лидер конституционно-демократической партии, думский оратор, министр иностранных дел Временного правительства.

Не попасть, чего доброго, в вольноперы. — Разговорное сокращение слова «вольноопределяющийся», то есть добровольно поступивший в армию.

На всю жизнь. Сухоткой кончит. Сам виноват. Предупреждали, не ходи. — Заболевание нервной системы на почве сифилиса. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «На портомойню в подъярье повадился, с бабенкой-болдыркой спутался. И схватил».

С. 322. Пол, говорит, и характер... — отсылка к книге немецкого психолога О. Вейнингера (1880—1903) «Пол и характер» (1903), которая получила широкую известность в России в 1910-х гг.

С. 323....это была подызбица потребиловки. — Подпол под зданием потребительского кооператива. Сочетание старого диалектного слова и неологизма характеризует лексику времени.

С. 325. «Караул, кричит, разбирай одежу!— После этих слов в рукописи: «товарищи. Зарез нам тут, каюк, за буржуев свою кровь проливать. Айда в лес, брательники. Я мимокодом за одежей».

В старых требниках спотыкаются из пятого в десятое. — Богослужебные книги молитв, совершаемых по требам (просьбам) прихожан: крещение, венчание, отпевание и пр., в крестьянском обиходе часто служили пособием для обучения грамоте.

С. 328. ...каппелевским формированием. — Отряды колчаковских войск, уцелевшие после разгрома войск 1-го Волжского корпуса в мае-июне 1919 г., возглавлявшиеся ген.-лейт. В. О. Каппелем (1883—1920).

Улицу переходили в нескольких... местах, к которым... приходилось делать большие обходы. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Жители перекрикивались через улицу, как население по городским каналам, переговаривающееся между собой с набережной на набережную».

...кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «с того берега двойственные взгляды, то полные радостной решимости поздороваться и заговорить с ним, если это действительно он и если бы он узнал ее, то выражающие робкую и смущенную готовность отказаться от своих предположений и повиниться в ошибке».

С. 329. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Несмотря на сладко щемящую боль, с которой он разбередил и с которою вскрылась эта вечная незаживающая рана, он рад был частице ожившего прошлого и рад случайно встреченной старинной попутчице, оживившей эти воспоминания».

..хам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней. — Далее в рукописи вычеркнут отрывок («Другие редакции и черновые наброски». С. 614).

...военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. — Декрет о продразверстке, принятый в янв. 1919 г., предписывал насильственное изъятие у крестьян так называемых излишков сельскохозяйственных продуктов фактически без всякой компенсации. Это часто вызывало крестьянские волнения, жестоко подавляемые военной силой.

С. 330. ...венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош... и фельдшер хорват Ангеляр... — сохранился черновой набросок, озаглавленный «В главу о партизанах»: «...в старом мире рядом с революционною Россией продолжалась война Антанты с австро-германца-ми. Имелись пленные германской армии разных народностей, славянской, венгерской, немецкой. Им всем одинаково хотелось домой из плена, и наряду с этим имелась только та необщность, что родина у них была в разных местах, у одних в Чехии, у других в Венгрии, а у третьих в Австрии и Германии. С обеих воюющих сторон им была обещана возможность пробиться через войну на свободу, то есть получить освобождение из плена ценой участия в гражданской войне. Единственное свое различие, разность географических тяготений они искусственно подгоняли под противоположность политических установок. Едва ли можно было предположить, что чехи рождаются с готовым предрасположением к буржуазной демократии, а немцам и венгерцам вместе со звуками родного языка природа с детства внушает страсть к коммунизму и диктатуре пролетариата. Но пленными славянской группы, в большинстве чехами, занялись на западе в странах Согласия, а остальным пленным из австро-германских армий обещали свободу большевики».

С. 333. ...«Живый в помощи Вышнего». — 1-й стих 90-го псалма, — по-русски: «Живущий под кровом Всевышнего в крове Бога Небесного водворится...».

«Неубоишися... от стрелылетящия во дни...», «Яко познаимя Мое...» (потому что он познал имя Мое), «Сним есмь в скорби...» — стихи 5,14,15 из того же 90-го псалма.

Среди ранних черновиков перевода «Макбета» (1951) сохранилась первонач. запись выдержек из псалма в народном чтении под названием «Живые помощи»: «Живые помощи вышнего в крови бога небесного водворится. Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящей войны. Не придет к тебе злой (Не приидет к тебе зло). На господа и заиска наступишь. Яко поздно имя мое (яко позна имя мое, изму его) в скорби и зиму его».

(В этой записи, кроме названных выше, имеются в виду ст. 10,13 — «На аспида и василиска наступиши» и ст. 15 — см. выше.)

С. 334. Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим... — подобные грамотки со священными текстами, называемые «оберегом», использовались на Руси еще в XIII в., что было подтверждено недавними раскопками в Новгороде. 90-й псалом сохранился также среди листков с переписанными Пастернаком богослужебными текстами, стершимися на сгибах от частого употребления.

...твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Жертвы концлагерей справедливо считали места своего заточения передовыми позициями новой, самой грозной войны, полями новых сражений».

С. 335. Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. — Не вошедший в окончательный текст отрывок из разговоров Ли верия в присутствии Живаго сохранился на листке из первонач. рукописи: «"Гале-евские казачьи разъезды". — Разъезды генерала Галиуллина, — недовольно поправлял Ливерий, ты нарочно перевираешь, Гошка, для форсу, чтобы вышло понароднее. Ну, и дальше что? — Опять зашептал что-то Кле-вяной, из чего доктор не уловил ни слова. — Я и это знаю, — с прежним раздражением продолжал товарищ Лесных, — за меня не бойся. Я-то знал, удивительно, что ты об этом проведал. Все известно, все предусмотрено. Сколько раз говорено было, что днем я ваш, ваш и ночью, когда требуется, а когда я сам знаю, что не нужен, и отдав приказания, ухожу к себе, я перестаю существовать для вас и тогда прошу меня не беспо<коить>».

...сходка на буйвище. — На открытом возвышенном месте.

С. 336. Опять вы не были на вчерашних занятиях. — Этот вопрос Л и-верия к Живаго появился в одном их ранних набросков 1953 г., в котором зафиксированы основные композиционные моменты и общая тенденция партизанских глав: «§ 1. Ужасы. Зверства, семьи двинулись, еще не было случаев неповиновения, но уже началось митинговое обсуждение и критика решений и приказов. § 2. Микулицын не был единственным командующим всех чрезвычайно размножившихся партизанских объединений, действовавших совместно на огромном протяжении. Требовали подчинения всех одному. Конференция руководителей отрядов. § 3. Доктор: Все это важно, все это я понимаю. Я бы не хотел, чтобы вы попали в беду. Я желал бы, чтобы вы вышли сухим из воды и расхлебали кашу, которую заварили. Но все остальное вздор — я не люблю... § 4. Отчего вы не были на вчерашнем собрании. Жизнь народа, творчество государственных форм: Что повестку... § 5. Егоров — семья его едет к нему. Я его ненавижу...» (Егоров — фамилия взята из «Записок партизана» В. Г. Яковенко, реальный прототип Панфила Палых).

...это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину... — религиозную секту, возникшую в конце XVIII в. и распространившуюся, главным образом, среди крестьян. Духоборы отвергали обряды и таинства, руководствуясь словами Христа о служении Богу «в духе и истине». В конце XIX в. за неподчинение властям и отказ служить в армии духоборы подвергались жестоким гонениям. Чтобы помочь им эмигрировать в Канаду, Л. Толстой и его последователи собрали необходимые для этого деньги.

Она сама... непрерывно себя обновляющее... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «в форму все более захватывающей гениальности переходящее начало, куда выше наших с вами тупоумных теорий, вечно перерабатывающая, вечно переделывающая себя сила, стихия и источник всех перемен и превращений». Среди заготовительных материалов к роману имеется набросок диалога Живаго с партизанским вождем: «Юр. Андр. — Ливерию Микулицыну (?).

Погодите, погодите. Борьба классов. Я в этом не судья, но у меня такое впечатление, что под этою борьбой первоначально разумелась форма сосуществования различных составных частей общества в историческом процессе. Ответ на этот вопрос излагался в том смысле, что форма их совместности есть взаимосопротивление, как в составных частях какого-нибудь механизма. Разве сразу исторический материализм стал призывом к резне и избиениям и теорией разбоя?

Уши вянут слушать вас, батенька. Ни бе ни ме, ни вынтараты. Ничего вы в марксизме не смыслите. Стыдно в наш век быть таким невеждой в общественных науках.

Милый человек. Занятия прошли недурственно. Что же вы не пришли».

С. 337. Юпитер, ты сердишься <... > «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело. Мор может уйти»... — латинская и немецкие пословицы; последняя — цитата из пьесы Ф. Шиллера «Заговор Фиес-ко в Генуе» (Моог — мавр, нем.). О неприемлемости для Живаго подобной «мудрости» записано в наброске, относящемся к замыслу одиннадцатой части и озаглавленном: «План "партизанской" части»:

«а) яркое, внешнее, пестро импрессионистическое изображение, как репинское письмо турецкому султану.

б) разбор пружин в разговоре доктора с Ливерием. Не любит "кто сказал а, должен сказать б" ил и " Мор сделал свое дело. Мор может уйти", все эти вещи давно отмечены народною мудростью в поговорках "чужими руками жар загребать" и т. д. Так же как с интеллигенцией, боль-шевицкая головка путем обмана воспользуется силами крестьянства в партизанском движении. А потом разоружит и будет преследовать и даже, как стали выражаться, "ликвидировать".

в) С самого начала характеристику убийцы семьи. И его лицо знакомо Юр. Анд., но не может вспомнить. Дети и жена любят его и боятся. Он мстительный и тупой. Ливерий спорит с ним, считается и тоже боится.

г) Какие-нибудь "занятия"Ливерия с партизанами. Все высокое и чистое по книжкам. Юр. Андр. ничуть не спорит, но "давай вам Бог, а я-то при чем, мне надо домой".

д) Зимой Ливерий узнает, что родители его исчезли, семьи доктора тоже нет в Варыкине, но ничего этого не скажет Юр. Анд., а только что у стариков что-то неладно и что он его отпустит. А когда?

О поражении Колчака узнает во время бегства и пешего скитания».

С. 339. Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. — В рукописи дан вариант этого отрывка: «Осень уже резко обособила хвойные породы заречного бора от лиственных. Первые сумрачною, почти черною стеною щетинились в глубине, вторые вин-ноогненными пятнами светились между ними точно златоверхие терема какого-то древнего, из этого леса и в середине его срубленного посада с княжеским детинцем».

В черновых набросках к роману имеются два первонач. варианта этого осеннего этюда: «Осень — красноносая пьяная шлюха, горькая пьяница плачет пьяными слезами, бац, как бряцанье литавр. Винноог-ненная светозарная меднобряцающая. Огромный тихий безмолвный простор, чуть начавшая желтеть зелень. Только в редких местах вдруг лисьешкурная огненная оранжевость (бурой лисицы). Среди нежной

побурелости резкость, как появление зверя среди растений. Сырой и горьковатый горелый запах осени, запах водой залитого пожарища. Коричнево-кожистый, коричне-зелено-кожий, оливковый, как бы настриженный лист ивы, забивающий сухую и затвердевшую грязь дорог того же коричнево-кожистого цвета.

У Павленки в саду огненные клены, темно-оливковые груши, темно-бордовые деревья того же оттенка темноты, как груши. Цвет выделанной кожи». (Имеется в виду сад на даче П. А. Павленко в Переделкине, через одну от пастернаковской.)

Другой вариант предваряется словами, написанными на верхнем поле страницы: «Голод, холод терпим / под молотосерпьем». Далее: «В партизанской главе обязательно старое наблюдение. Пожар огнен-нолистных берез, осин и ясеней среди темно-зеленого мрака седого мокрого и игольчатого сырого хвойного леса с сизым лоском от слоистой сырости смолистых игл. Высятся крытые золотом терема с вышками какого-то сказочного городка». Набросок содержит дополнительные, выписанные отдельно, цветовые оттенки осенней листвы: «имбирные, огненновинные, огненнолимонные, винноогненные и киноварные». Ссылка на старое наблюдение объясняется ранней попыткой записать это яркое впечатление в «Записках Патрика» (1936): «Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые. Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегала черная, дымом ввысь уходившая хвоя».

С. 340. И всегда меня отталкивал. Ладно. Я займусь им. — Среди черновых набросков и планов романа сохранилась записка, озаглавленная «В будущую отделку, для памяти». В ней дается характеристика Памфила Палых, еще не получившего своего имени: «Зарезавший семью, чтобы избавить ее от мести белых, в прошлом легко, играючи шлепал и прикалывал офицеров. Один из убийц Гинца. Приобрел навык преступника и обладал бы в другое время соответствующим сознанием, но клич поверни штык и грабь награбленное превращал эти задатки в заслугу. Доблесть отупелости и толстокожести».

Видно, что Пастернак с самого начала четко обозначал характер и роль Памфила Палых как убийцы Гинца, а затем и своей собственной семьи, что придает фигуре этого персонажа символический смысл олицетворения жестокой и самоубийственной тупости большевистской политики. Если Гинц предстает в романе типическим лицом, воплотившим романтические идеалы и реальные слабости Временного правительства, то его убийство солдатами, распропагандированными большевиками, стало проявлением «из войны родившейся, кровавой, ни с чем не считающейся солдатской революции», задушившей чаяния и надежды Февральской революции и уничтожившей и самих участников октябрьского переворота, и их детей, и их семьи.

С. 344. Очень скоро излишняя сила... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Очень скоро именно обостренная жажда сна и повышенная потребность в нем, — особенности крайнего переутомления, как бы ударили в виски и разбудили его».

...путь выработки и рождения сознания. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Бабочка не сознательно подделывается под сосну и солнце, но суммы этой умышленности достигает успешная эволюция вида». Описанное здесь явление мимикрии, то есть «внешнего приспособления организмов к окраске окружающей среды», — как объясняет это Юрий Живаго позже, — которое часто спасает животное от гибели, была для Пастернака одним из существенных аспектов его художественного понимания жизни. Спящий Живаго, скрытый «пестротой солнечных пятен», стал невидимым для заговорщиков, что спасло ему жизнь. «Я помешан на вопросе о мимикрии, — рассказывал Живаго Ларе о темах своих лекций в Юрятине. — <...>Тут,

в этом цветовом подлаживании скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее». См. Су-сана Витт. Мимикрия в романе «Доктор Живаго» // В кругу Живаго. «Пастернаковский сборник». Stanford, 2000. С. 114.

С. 346. Я его выманю на елань. — На лесную прогалину.

С. 349. То прежде, а то теперь, большая разница. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Нешто я маленький, не понимаю, чем дело пахнет? Беда нам, партизанам, неминучий конец».

Я не все тебе сказал. Не сказал главного. — После этих слов в руко.-писи вычеркнуто: «Боюсь, на родименьких моих, на болезных, на бедненьких моих отольются мне слезы ваших вдов и мамаш офицерских. Ну, ладно, слушай мою правду горькую, не взыщи...»

С. 351. Возвышенность эта, род шихана... —см. описание уральского шихана из письма родителям 20 июня 1916 г.: «В стороне от дороги на Ивакинский завод... или не так начать нужно: — берешь в сторону от дороги дремучейшим лесом, делаешь примерно полверсты и, житель равнин, бессознательно думаешь, что все будет в порядке — лес, лес или луг, в крайнем случае. Делаешь еще шагов десять, лес не редея — обрывается — ночь становится сразу тяжело облачным днем, перед тобой вырастает каменная гряда, похожая на цепь бойниц с каменной площадкой вдоль брустверов. Влезаешь, ничего еще не зная — на площадку и заглядываешь через край — гладкая каменная стена спускается отвесно, вышиной с 20-ти этажный дом, — на дне — речка и долина, видная верст на тридцать кругом, поросшая лесом — никому не ведомая, как кажется, доступ к которой отсюда отрезан. Целый мир со своими лугами и борами, и горами по горизонту, и со своим небом, и все это в глубокой зеленой чашке, черт знает, какой глубины. Такие каменные срывы называются здесь шиханы».

...плоские отесанные плиты доисторических дольменов. — Древних погребальных сооружений из вертикально поставленных глыб, накрытых плоской каменной плитой.

С. 357. ..место на кулиге... — на расчищенном от леса под пашню или луг участке.

...возвращение... из набега было отрезано. — После этих слов в рукописи: «О собственной судьбе ударной части тужить не приходилось. Можно было быть уверенными, что эта горсть иррегулярных войск разыщет путь к регулярным силам Красной армии и с ними соединится. Но отсутствие большой отборной части болезненно отражалось на оставшихся в лагере, ослабляя их оборонную и боевую способность».

С. 358. ...его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «в большинстве так же, как и он, завербованных хитрыми уговорами. И он волей-неволей примирился с неизбежностью, показав большую изобретательность в придумывании благовидных доводов для служения чужому противному делу и нелюбимым людям. При всей его первобытности, его простодушия хватило на высшие тонкости интеллигентской диалектики, на то самое кривление душой перед самим собою и на то мудрствование лукаво, на которых зиждились дальнейшие тридцать лет с лишним всеобщей коллективизации и поголовного взаимоистребления. Он честно остановил вождя, предупреждая его о возникших для него и лагеря опасностях».

С. 359. ...женкам чалдонским... — чалдон (сиб.) — выходец из России, пришлый бродяга, беглый каторжник.

Дейманка — чертовка.

...маткой-беспоповкой, столоверкой, оборотилась... — членом староверского согласия беспоповцев, не имеющих священства.

С. 360. Русская песня как вода в запруде. Кажется, она... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «остановлена и не движется. А она безостановочно

вытекает из вешняков и пребывает в постоянном, скрытом от постороннего взора спокойною поверхностью движении. Высшая ценность русской песни скорее поэтическая, чем музыкальная, скорее в словах, чем в напеве. Поющий наперед знает конец песни и всеми мерами, параллелизмами и повторами до немыслимости, как только можно, задерживает его. Разлившаяся широта песни почти становится видением. Сдерживающая себя, властвующая над собою тоскующая сила говорит в ней. Это безумная попытка словами остановить время. В этом главная ее прелесть».

Что бежал заюшка по белу свету... — авторство песни целиком принадлежит Пастернаку.

С. 362. ...на соске у ней болячка антракс. — Чирей, фурункул, сибирская язва.

С. 363. ...как завороженный слушал эту бредовую вязь... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «это сказочное плетение из народных поверий, летописной и церковной старины и собственного творчества мечтательницы-гадалки, как когда-то при переезде внутренне-европейской границы России и вступлении в еще более необъяснимую сибирскую ширь, он прислушивался к цветистой болтовне возницы Вакха».

Солдатка говорила... — основой слов Кубарихи послужили тексты, собранные в книге: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1-3. М., 1865-1869.

Все надоть знать, Агафьюшка... — сохранился первый набросок разговора Кубарихи с Авдотьей: «Баба у партизан: вон помнишь полем шли, видала, я-то показывала во ржи закручены колосья, их нечистая сила узлом спутала.

Корове: стой горой, дой рекой, не лягайся, ключ и замок словам моим. Островник (леший) ходит по оврагам и буеракам.

Женщина в партизанском лесу говорит: «надо знать оберег, надо оберег сказать. Это баба-моровуха наслала. А доктор вспоминает: О любви, нож окровавленный ветром».

С. 364. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залук-ну... — среди набросков и планов к роману есть заметка, озаглавленная «В "нежность"»:

«Из фольклора нож, ранящий воздух, обагренный кровью падающий в снег. Ветер поветрия, размахивая рукавами, девушка насылает любовь. В этом ветре крутится и т. д. окровавленный нож. Чары и заклятия любви. Приворотное присушливое. Задумавши на погибель Врага, ставят в церкви свечу пламенем вниз. "Оболокуся я облаком, обтычусь частыми звездами". Питие забыдущее. Вынимание следов. Знахарь втыкает нож по рукоятку под порог входной двери дома, зачарованный носится по воздуху».

...какие кудечники в старину открывали... — рассказ Кубарихи ориентирован на эпизод из «Повести временных лет», относящийся к неурожаю в Ростовской области в 1071 г. Кудечники — кудесники, колдуны, в «Повести...» — волхвы (Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века. М., 1978. С. 188-189).

...начальные места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской... —тот же сюжет есть и в Лаврентьевской летописи и других.

С. 365. ...к бессмыслице небылицы отнесся он так, точно это были... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «действительные факты неза-пямятной древности. И он уже принимал так близко к сердцу судьбу бедных мифических героинь, что минуты не прошло, как самое его дорогое, самое неприкосновенное стало на место мучениц и страдалиц».

...потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент, вываливающимися свертками лент наружу. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «но наваждение

выдумки длилось недолго. Первенство принадлежало жизни. Его собственные воспоминания вытеснили все и были всего сильнее».

...как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Как поразительно они встречались! Как все благоприятствовало им, и все удавалось. Как соединялись в их пользу обстоятельства, точно случайности сговаривались между собою. Точно действительность знала их мысли и была их сестрой. Точно существование было их братом.

Обрывки этого счастья превосходили его представление о себе, были выше прав его, были ему не по чину. Часы их встреч всегда казались ему неведомо как доставшимися ему происшествиями из жизни кого-то другого, кто был головою выше его, сильнее, богаче и гениальнее и кому он не годился в подметки.

А их разговоры! Два сознания объяснялись друг с другом при помощи мгновенных искр и озарений, как ведут далекие шифрованные переговоры по телеграфу, два сознания перепутывались, перемешивались друг с другом, как спутываются и смешиваются волосы на двух сближенных, прижатых друг к другу головах».

Се бо света чертог и книга слова животного. — Слова из службы на Рождество Пресвятой Богородицы (стихиры на «Господи воззвах» на

Великой вечерне). Кубариха обыгрывает значение «слова животного» в применении к скотине. В церк.-слав. языке стихиры Божья Матерь уподобляется «книге живого слова».

С. 366. Отрубленная рука и нога... были привязаны к его спине... — В сборнике «Допрос Колчака» (Л., 1925) этот эпизод записан со слов «красного», пойманного колчаковцами. Он есть в выписках у Пастернака: «Когда я (красный) в одну деревню пришел с повстанцами, я нашел несколько человек, у которых были отрезаны носы и уши вашими войсками. Я на это реагировал так, что одному из пленных я отрубил ногу, привязал ее к нему веревкой и пустил его к вам в виде "око за око и зуб за зуб"» (С. 213).

С. 367. В клетке человек больша сорока в одном нижнем. И то и знай отпирают клетку, и лапища в вагон. — Рассказ искалеченного взят из книги Г. Рейхсберга «Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке» (М., 1940); среди выписок Пастернака есть следующее «описание очевидца (одного из немногих спасшихся)»: «Прижатые друг к другу в ужасающей тесноте, босые, в одном нижнем белье, сидели еще живые товарищи... Не проходило часа, чтобы кого-нибудь не выводили из клеток и не подвергали на глазах у всех пыткам. Пороли бычачьими плетями без счета и избитые места поливали кипятком и сыпали солью. Протыкали шомполом мягкие части тела и заставляли съедать человеческие испражнения» (С. 70).

...новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь. — Среди ранних набросков с еще не устоявшимися именами персонажей сохранилась натурная зарисовка, подготавливавшая настроение и ритмическую композицию этого эпизода, озаглавленная «После пятничной поездки в город»: «Еще безотрадное, задрызганое черными обрывками как грязью небо, со светлыми влажными пробелами, оловянными, блещущими как лужи. Навевающая отчаяние и ужас близость зимы. Почернело, как траур, опять дождь, и вдруг мокрый с хлопьями пошел снег, конец, конец.

Прибегают. —- Слышали новость. Нестор Модых семью перерезал и сам повесился...

По Яковенко в его выражениях.

Дальше только нежные причитания по фольклору, домой, к своим!»

(Ссылка на книгу В. Г. Яковенко «Записки партизана», М., 1925, из которой взят этот сюжет: «Кузьма Егоров, боясь, что семья его погибнет в тяжелом переходе и в то же время отлично понимая, что в случае, если она с ним не пойдет в тайгу, то будет

замучена и убита белыми, сам вырезал своих троих детей (в возрасте от году до 7 лет) и жену. Действительно, все оставшиеся семьи были замучены и убиты белыми». С. 35—36.)

С. 373. По кривой горке к Малой Спасской... — вместо этих слов в рукописи вариант: «По кривой горке на пересечение с Малой Спасской и Новосвалочным переулком спускалась вниз Большая Купеческая. Изза ближайших крыш на этот конец ее заглядывали сверху дома и церкви более возвышенных частей города». В набросках и планах к роману сохранилась заметка, относящаяся к началу этой главы: «Ю. А. попадает (после плена и побега и после пребывания в нем белых) в Юрятин. Усеченные кубики домов, квадраты перекрестков, квадраты телеграфных установок, кресты оконных рам, квадраты наклеенных на углах улиц декретов и мобилизационных приказов. У него такое чувство кровной, ранящей близости, будто он расстегнул ворот рубашки и прижал эти прямоугольники улиц к груди, так что все эти рамы и решетки оттиснулись на теле, будто он обнял город и не выпускает его из рук.

Декреты и приказы (несорванные) выписать по белым и красным материалам...»

Недавно ушла зима. — Вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Непривычность весеннего освещения волновала и настораживала до замирания. Недавно ушла зима. Освобожденное ее уходом место тревожило образовавшиеся просторы, влекло вдаль, пугало».

Кончились обстрелы, кровопролитие, военные тревоги. Это тоже... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «было облегчением, как приход весны, и тоже озадачивало и заставало неподготовленным, как вид вышедшей из-под стаявшего снега земли и пустота воздуха вечерами вследствие прироста удлинившегося дня. Еще не начались, но предвиделись дознания, аресты, разборы того, кто где был и что делал в промежутке во время хозяйничания белых».

С. 375. Человеку снились доисторические сны пещерного века. — В ранних набросках сохранились записи, рисующие характер и причины разрухи послереволюционных лет («Другие редакции и черновые наброски». С. 616).

С. 376. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «между пышными белыми сугробами с черными утопленными в воде, напитанными водою нижними краями».

С. 377. Доктор был уверен, что Лары и Катеньки нет в доме... — сохранился первонач. набросок появления Живаго в Юрятине: «Никого не застает в Ларином доме. Сует руку под плинтус, где иногда Л<ара> прежде оставляла ключ для Катеньки, когда уходила. Находит записку [(нет огня и спичек, чтобы прочесть (?), дожидается первого проблеска рассвета, записка карандашом, полумрака мало, чтобы разобрать, а тем временем ночью)]: Ищу тебя везде, слыхала ты жив, тебя видели, ты должен быть здесь. Уезжаю или ухожу, если Ф. не даст лошади к вам на завод. О ваших ты знаешь, они в Москве. Т<оня> родила дочку. Не знаю, кого рожу тебе я. На том месяце, сколько ты пробыл в лесах. Когда прочтешь записку, не бросайся вслед, останься ждать, я вернусь».

С. 378. ...расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме... — после этих слов в рукописи: «этой навеки вечные затверженной шаманской кабалистики, этого бесплодного топтания на месте и...». Вычеркнуто только при последней правке машин, в 1956 г.

С. 379. ...заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «в ней, сколько бы времени это ни потребовало и каких бы трудов ни стоило».

С. 380. И радости свидания с Ларою он ждал... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «не как счастливейшего события своей жизни, но как счастия самого существования, как волшебного корня и источника всего».

С. 384. ...расследований, доносов, расстрелов и теперь хоть отбавляй. — Среди черновых набросков есть запись, добавляющая лично пережитые подробности к описанию времени возвращения красных: «Во второй период пребывания в Юрятине, после белых, насильственное заселение квартир бывших купцов, состоятельных людей и т. п. простым народом. Описать по чистоп<ольским> наблюдениям. Хоромы и в валенках и шапках живут как в лесу, въезжая с фанерными чемоданчиками, в которых туфли с засунутыми в них заношенными чулками и парой окаменелых мятных пряников».

Их сын, мой племянник... — вместо этих слов в рукописи вариант: «Сын покойной, мой племянник, совсем еще молодой парнишка, на мой взгляд, не вполне еще взрослый, — главарь деревенских повстанческих отрядов, известная личность, можно сказать, знаменитость».

С. 385. Варыкино ведь это какая-то глушь богоспасаемая... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «спокойное место, которого, кажется, общие треволнения не касаются и куда не доходят политические перемены?

— Ну, как сказать, богоспасаемая. Однако, если мы опять начнем с вами судачить, что у нас получится? Я в третий раз воду греть не пойду. В этом тихом месте похуже нашего беда приключилась. Через Вырыки-но каких-то неведомых людей дорога лежала. Чужие шайки проходили, не известно чьи».

— Нет, зачем, Бог милостив... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Нет, по счастью. Ему со второй женой удалось оттуда вовремя выбраться. Что они спасены, это известно достоверно, а куда они бежали, до сих пор не выяснили. Будет время, объявятся. Там не так давно у них новые люди поселились, из Москвы семья, приезжие. Доктор один, профессор по сельскому хозяйству, женщины, дети. Будто сошлись обе семьи, подружились. Те еще раньше уехали. Доктор у них, глава семейства, без вести пропал. Ну что значит в наше время без вести! Это только так говорится, чтобы не огорчать. Стало быть убит. Искали, искали его, — горевали, не нашли. Этим временем профессора вытребовали в Москву. По сельскому хозяйству. Вызов, говорили, получил от правительства из Москвы. Тут они через Юрятин и проехали. Еще до вторых белых. Опять вы за свое, товарищ дорогой? Кто ж это так под бритвой ерзает? Ежели клиент пойдет у нас так головой мотать и все дерг-дерг и все время рывками, недолго его и зарезать. Слишком много вы хотите от парикмахера».

С. 387. ...ревнивое ослепление Юрия Андреевича... достигло полной уверенности. — Среди первонач. набросков есть отрывок на эту тему: «Начинает думать о лошади, которую должна выпросить Лара у Ф. Он приударял за ней и вообще развратник. Бог знает, что он потребует у нее за помощь.

О широкотазое, как лошадиный круп, до краев полное кровавой ревности, тяжелодышащее слово "отдалась"! Как в "Отелло": носы, уши, губы. Не думать, не думать. Нет, это невозможно, ничего этого не было. Такая чистая, такая гордая и верная. Какая я грязная сволочь, что допускаю такие мысли. Как смею я так думать и о ком! О немыслимое, чавкающее, как насос, слово изнасилование. О не думать, не думать. Но о чем я, о чем я, что со мной! Тоня, Тонечка моя, Тоня с папой, со своим защитником Александром Александровичем, Тоня с Шурочкой, Тоня, Александр Александрович, Шура, где вы. Вы полосою света ушли в сторону, как солнце на другую сторону земного шара, вас несет и относит прочь, как удаляющийся поезд. Но ведь мы увидимся, я проберусь к вам, все пойдет по-прежнему. Ах наверное они познакомились, и Тоня все знает. Где вы и как вы. Что нашли вы дома? Да существует

ли он, дом? Дома ли вы. Господи, Господи. О как больно и трудно. Господи, заступи, спаси, помилуй и сохрани меня Твоею благодатью. Векую отринул мя еси от лица Твоего, Свете незаходимый и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!» (начальные слова ирмоса 5-й песни Воскресного канона 8-го гласа). Ссылка на «Отелло» относится к его реплике на подробное описание Яго измены Дездемоны: «Я весь дрожу. Не поддаваться этой помрачающей боли без проверенных сведений! Боже, как я подумаю!.. Носы, уши, губы. Тьфу! Я падаю. Заставить сознаться. О, дьявол!» (акт IV, сцена 1, перевод Б. Пастернака).

С. 388. Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе... — в рукописи вычеркнут вариант этого эпизода («Другие редакции и черновые наброски». С. 617).

С. 390. ...прижать к груди и бежать с ним без оглядки куда глаза глядят. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «куда-нибудь на край света, где бы не было революции, где бы их не знали и где от отца не требовали бы, чтобы он поступал против воли и совести и, восставая на себя, все глубже запутывался в изменах и отступничестве осложняющихся личных отношений».

...с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату. — В черновых набросках еще один вариант пробуждения у Живаго ревности к Самдевятову (Афишке), озаглавленный «Размышления о дровах и

Афишке перед ревностью» («Другие редакции и черновые наброски». С. 619).

...форму нездоровья принявшая усталость... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «надлом жизнеспособности, надорванность всех сил. Наверное, это болезнь с кризисом, переломом, как при всех серьезных инфекциях...».

С. 391. И так далека, холодна и притягательна была та... все низвел и обесценил!— См. первонач. набросок эпизода, озаглавленный «Четвертый тиф» («Другие редакции и черновые наброски». С. 620).

«...Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода». — Тема голода развернута в раннем наброске под названием «Паровозы» («Другие редакции и черновые наброски». С. 621).

С. 392. «Векую отринул мяеси от лица Твоего, Свете незаходимый...» — начальные слова ирмоса 5-й песни Воскресного канона 8-го гласа.

Недруг он понял, что он не грезит... — в первонач. наброске плана глав после возвращения Живаго из плена приезд Лары передан так: «Когда Ю. А. болен на Ларионой квартире в Юрятине, то помимо нежности и страсти, вторжение женского начала в жизнь, в распорядок дня: порывистость, другой ритм, другие миры и мерила, другая чистота, сытость, не мужское наименьшее, самое необходимое, а наибольшее, избыточное».

В недавнем бреду он... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «взывал к небу о помощи, не надеясь быть услышанным. И небо всею ширью поворачивалось к нему и опускалось, все ниже опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах и кружилась голова от ответной радости, и точно так же, как недавно он падал на дно слабости и беспамятства, он сейчас проваливался в бездну проникновенности и блаженства». То же чувство в более подробной записи в наброске первонач. плана: «Протягиваются из жизни (навстречу) две большие белые, голые до плеч руки, он слабый, одинокий, полуумирающий, и вдруг начинается медленное, нарастающее пробуждение всевозрождающей крови, такое же решающее полное, как полным было появление на свет, превращение из небытия в бытие и как полным окончательным будет превращение в смерть из бытия в небытие с участием неба в этом самом земном событии, в смысле ли обряда или в смысле необъяснимости в этом самом краеугольном жизнеобразующем факте. Так и тут полное красоты и милости небо наклоняется к

умирающему всей неизъяснимою негою своей выси и раскрывает и протягивает ему свои большие белые руки любящей женщины <...>

Не думать, но быть мыслью и пр. О лебедино-горделивая прелесть взаимопретворения друг в друга. Братство, соучастие NB!».

Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Его возвращала к жизни, лечила, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шепотом своих вопросов и ответов, своей способностью подчинять все оттенки души и внешности главной мысли и господствующему настроению, отчего ее черты, как под рукою художника, упрощались до детской ясности, являясь источником ее неиссякаемой чистоты и открытости». В ранних набросках первая встреча Живаго и Лары после его возвращения из плена происходила в Варыкине: «В Варыкине, когда кидается, она повисает у него на шее, огромная, стройная, но так, как будто у нее нет тела и тяжести, как кусок платья, как плоский влагой слез притянутый и прилипший к нему, как приставший к оконному стеклу осенний листик. Когда он обнял и прижал ее к себе. О как хороша она! О как хорошо быть с ней, восхищаться ею и плакать, о как хорошо отдаваться во власть нежности, которая сама знает, что делать с тобой, обо всем позаботится и всем распорядится. О как хорошо не сочинять романов и не писать стихов, а самому становиться произведением в руках этого смертельно сладкого чувства, о как хорошо рифмоваться душе с душой, руке с рукой, взгляду со взглядом с этой бездной жертвующей собою сердечности. О как хорошо встречаться мыслями как рукопожатиями и прикосновениями как воспоминаниями. Но Тоня, Тоня, Тоня. Отчего так больно, Господи. Отчего ты создал столько легких бездельников себе самим и другим на забаву, отчего ты дал мне такую трудную жизнь. Отчего ты одарил меня жалостью, главным даром твоим, даром святого духа, из которого вытекают все остальные».

«В Варыкине. Ужас до слез. Что я делаю. Милые мои, дорогие мои... Желание бежать. И потом лебедино-горделивая прелесть взаимопретворения [друг в друга], когда ты сам и есть то творение, которое ты хочешь написать, то дело, которое ты хочешь сделать, и тебе не надо перемарывать себя, вычеркивать и переделывать, и все это в милостивых, благодарных и белых руках женщины».

С. 393. Их любовь была велика. Но любят все... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «однако мыслят и замечают очень немногие, большинство же заменяет работу мысли чтением книг и отдельными бессвязными восклицаниями. Для них же — и в этом была исключительность их чувства, — мгновения, когда в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, в которой всегда слышится веяние вечности, были мгновениями все обостряющегося одухотворения, которое возвращало душе ее изначальную и утраченную божественность. Их близость была близостью скованных по рукам попарно пленницы и пленника на чужом иноязычном невольничьем рынке». Среди черновых набросков: «Как в вашу сторону, но не на вас, дальше вас, направленный неизвестно на кого и вероятно ни в кого не устремленный, вас не видящий взгляд. Такой была ее чистая й призрачная, как весенняя северная ночь, никого не обижающая, никому не изменяющая, никому не принадлежащая и до слез восхищающая, отсутствующая по большей части, рассеянная близость».

Среди черновых набросков к роману см. запись краткого содержания последующих глав 13-й части и всей 14-й, озаглавленную «План частей после дней болезни весной в Юрят<инской> квартире Лары и первой встречи с ней» («Другие редакции и черновые наброски». С. 625).

Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды... — то есть перед мятежом чехословацкого корпуса военнопленных, одним из руководителей которого был капитан Радола Гайда (Рудольф Гейдль; 1892-1948). Мятеж вспыхнул в мае 1918 г. при попытке разоружения корпуса.

Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Под него давно подкапываются. В высших кругах не могут его считать своим. Красная армия победила. Теперь тем из беспартийных военспецов, которые стояли слишком близко к кормилу правления и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, иные кончат военным судом и расстрелом, их просто устранят. Среди них Паша один из первых».

С. 394. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя, Боттичеллиевская. — Ср.: «Когда разлитье улыбки доходило до прекрасного, открытого лба, все более и более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось Итальянское Возрождение» («Послесловье» к «Охранной грамоте», 1931).

С. 395. ...не закралось ли в наше доброе знакомство... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «какая-нибудь более близкая теплота и задушевность?» В черновых набросках есть запись, относящаяся к этим объяснениям и озаглавленная: «О Ларе и Афишке. Сходство Аф<ишки> с Комар<овским> и потому ничего между Л. и А.»:

«Сумеет уверить Ю. А., что между ними действительно ничего не происходит, потому что Анфим напоминает ей человека рокового в ее жизни, погубившего в ней самое лучшее и доброе, посеявшего в ней раздвоение и вообще вызывающего у нее отвращение, виноватого между прочим в том, что между нею и мужем при огромном взаимном чувстве, при самой чистой, широкой задушевной привязанности друг к другу, какие она только знала, пробежала кошка (Комаровский). Ю. А. угадает, кто этот человек. Ведь он гимназистом видел его в гостинице. Он скажет, я раз видел его (и опишет). Ты знаешь, один мой товарищ сказал мне тогда, что он причина самоубийства моего отца, его губитель. — Что ты говоришь! Как это провиденциально и снова в судьбе нас сближает!»

С. 396. Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез... — в рукописи вычеркнут вариант («Другие редакции и черновые наброски». С. 622).

С. 397. Мы часто бывали вместе. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Но того, чтобы он присутствовал тогда там, я не помню».

..мой товарищ, гимназист-одноклассник. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Я в другой раз расскажу тебе, кто он сам. Не буду также входить в подробности того, каким образом было этому мальчику известно то, что при этом случае в номерах он мне вдруг сообщил».

С. 398. Ведь я не только не люблю его. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Я им гнушаюсь, он мне внушает отвращение».

Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «в большей власти у него, чем всем светом своего сознания обращена к людям, которых ты непритворно любишь». В машин, авт. правка: «в большем подчинении у него, чем на свободе с кем-нибудь всей своей любовью».

Но тогда как это ужасно/— После этих слов в рукописи вычеркнуто: «А совсем недавно ты уверял меня в моей цельности. Как это совместить?

— Да, это действительно непоследовательно. Не слушай меня. Но я хотел сказать, что я ревную тебя к темному, тайному, бессознательному в тебе, с чем немыслимы соглашения и переговоры, с чем я не могу меряться силами, о чем я не могу догадаться. Я ревную тебя постыдно и низменно к самым скрытым твоим воспоминаниям...».

«Мы в книге рока на одной строке», — как говорит Шекспир. — «Ромео и Джульетта» (акт V, сцена 3, перевод Б. Пастернака). Судя по первонач. записям, важные разговоры Живаго и Лары предполагалось отнести ко времени их пребывания в Варыкине. Анфим Самдевятов фигурировал под фамилией Епишкина или Беглых: «О Ларе в Варыкине, как Катенька. Что делали. Разговоры важные как Библия, как законодательства, как заповеди. Отчего в чужих помещениях? Изгнание России из рая. Участие Анфима Епишкина, Беглых. Опять рубит лес, опять ссужает, поразвязнее. Первый снег (куда вставить?), может быть раньше, при своих: низко свешенные ветки в инее. И вдруг снег. Из Рейхс-берга новая белогвардейская попытка на Дальнем Востоке. О ней знает Комаровский и вдруг выплывает» (Г. Рейхсберг. Разгром японской интервенции на Дальнем Востоке. М., 1940. Глава XVII. С. 165-177).

Намерение дать самые существенные темы разговоров не в Юрятине, а именно в Варыкине, в частности об Антипове, отразилось также в следующем наброске: «В Юрятине первых дней — Schwelgen почти бессловесное, отданное авторским описаниям. В Варыкине серьезные разговоры о жизни с обеих сторон: Лары о своей жизни (очень важные и хорошие слова о Павле, очень любит его), а Живаго — о России, о революции. Для Стрельникова будет ошеломляющей неожиданностью, что Лара сильно (больше всех его любила), долгая, долгая пауза, в течение которой будет задыхаться редко плакавший человек. Говоря о Павле, Лара что-нибудь будет делать или вытрясать коврик, или щепать лучину и т. д. Постойте, скажет Ю. А. Стрельникову, она вот так махнула рукой и сказала...». (Schwelgen — вести рассеянный образ жизни. — нем.)

С. 399. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «соответствие тому, чем он кажется, полная свобода от притворства и позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцвечивающим налетом легло на него».

С. 400. ...во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей... — после этих слов в рукописи: «подобной, такой же горящей жаром своей внутренней силы и обнаженно одинокой».

...я бы, кажется, на коленях ползком приползла... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «на самый конец земли к этому замаячившему видению. Я бы не устояла, все бы встрепенулось во мне. Я бы не нашла сил воспротивиться зову прошлого, голосу верности. Я бы пожертвовала самым дорогим, небывалым, неиспытанным: легкостью, беззаботностью, непреднамеренностью моей близости с тобой, всей жизнью подготовленной, саморазумеющейся, врожденной».

С. 401. ...корнем будущего зла была утрата веры... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «в силу и ценность собственного мнения. Вообразили, что время, когда можно было следовать внушениям нравственного чутья, миновало, что его очевидность надо подчинить тому, о чем шумят в газетах и на улице».

С. 402. Незаметно пришло и ушло лето. — В рукописи вычеркнут вариант начала главы («Другие редакции и черновые наброски». С. 626).

С. 403. По соседству с амбулаторией... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «на бывшем наследственном владении купчихи Гореглядовой, в гуще запущенного широколиственного сада стоял любопытный невысокий дом с верхом в духе старорусского зодчества. Он был облицован граненым фигурным кирпичом с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат царствования Ивана Грозного. В окно, перед которым Юрий Андреевич осведомлялся у лаборантки о результатах анализов и следил за тем, как она переливает

жидкости из склянки в склянку и рассматривает на свет степень помутнения смеси, он часто засматривался на прятавшийся в зелени терем Гореглядовой».

...возвращался... к ночи измученный и проголодавшийся... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «на угол Купеческой и со всей естественностью входил к Ларе и к Катеньке как к себе домой. Но несмотря на естественность ощущения, совесть не позволяла ему называть их квартиру домом даже наедине с собою. Он заставал Ларису Федоровну на положении жены в разгаре домашних хлопот за плитою или перед корытом. В этом, прозою будней освещенном и очищенном виде, растрепанная...»

...занималась собственным политическим переобучением перед... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «возвращением учительницей в новую преобразованную школу. Он заставал ее на положении жены и сдерживал родственную природу того, что он видел и чувствовал у границ понятий, под которые ни он, ни она не подходили. Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мыслей о них долгом перед своими и его нарушенной верностью им. В этом ограничении для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейственный способ чувствования был только еще исключительнее, горячее, бережнее, почтительнее и чище. Но это раздвоение всегда мучило и ранило, и Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к поглощению пищи израненным на войне, в кровь изъязвленным ртом».

С. 404. Может быть, я действительно испорчен его влиянием. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «вношу в теоретическую науку несвойственный ей метод аналогии, уместный в искусстве».

С. 405. «...Натурфилософия Гёте, неошеллингианство». — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Говорят, он стихами балуется? А тут, пожалуй, даже не без боженьки, как вы думаете? А из каких это Живаго? Не из сибирских?» Среди черновых набросков к роману сохранилась записка, озаглавленная: «Ю. А. в Юр<ятинской> больнице. Работы» («Другие редакции и черновые наброски». С. 624).

Сохрани Бог, Юрочка. До этого, по счастью, еще далеко. Но ты прав. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Благоразумие не мешает. Надо быть осторожнее. Это власть новая, молодая. При ее неопытности это хватание через край, согласись сам, неизбежно. Насколько я заметила, после нескольких политических смен, каждое ее новое водворение сопровождается несколькими ступенями политического укрепления. В начале, в первые дни победы, ее приход это торжество разума, критического духа, попрание косности, борьба с предрассудками. Потом наступает второй период. Берут верх худшие элементы самого движения». Среди черновых набросков сохранился отрывок из черновой рукописи, характеризующий время возвращения большевиков в Юрятин: «Опять приближались времена черные, страшные, тревожные. Можно сжиться было с любыми местными крайностями. Ужасы начинались, когда из-за тридевяти земель в [эту] глушь протягивались [слепые, невидящие, исключающие возражение директивы] слепые, не видящие частностей центральные директивы. При каждом перевороте молотьба по человеческим головам возобновлялась с новою силой, безразлично, исходила ли она слева...».

С. 407. А до такого несчастья, Бог даст, авось еще далеко. — Вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «А вообще лучше не допускать мрачных мыслей. Еще что-нибудь накличешь».

Я с легким сердцем доверила бы Катю ее воспитанию. — После этих слов в рукописи вычеркнута реплика Живаго: «Наше время — время величайших перемен и мировых потрясений. В такие периоды пробуждается интерес к истории. Ее вековой дух носится в воздухе, его можно уловить на улице. У Серафимы Севериновны острый

интерес к этим предметам. Она сильна их чутьем. Ее мысли об отдельных крупнейших делениях истории духовного развития человечества поразительны и очень близки мне. Временами она говорит буквально то же самое, что сказал бы и я. Это объясняется общностью нашей точки отправления. Она, как и я, ученица Веденяпина, кроме того, она хорошо знает Священное Писание и тексты церковной службы и понимает их в прямом смысле как слова текущей злободневности. Это тоже очень живое и ценное качество».

С. 409. В этом частом, почти постоянном совмещении... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «двух миров, их разница, старина старого, новизна нового и их разница выступают особенно отчетливо. И я говорю о новизне действительной, Лариса Федоровна, а не о той, искусственно приписываемой явлениям прошлым новизне, которою с натяжкою наделяют историки по-современному обрабатываемые предания. Я говорю о новизне абсолютной, о новом навсегда, о том, что так же ново сейчас, как полторы или две тысячи лет тому назад и как слишком строгому к своей собственной новизне Льву Толстому оно чересчур ново в Гамлете или драмах Чехова и кажется ему чепухой и декадент-щиной».

«Вмори Чермнем неискусобрачные невесты образ написася иногда». — «В Красном море некогда отразился образ не узнавшей брака невесты». «Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна». — Слова из Богородичного догматика 5-го гласа стихиры на «Господи воззвах» после «слава и ныне» субботней Великой вечерни. Традиционный для православного богослужения прием сопоставления событий ветхозаветной истории с мистериями Нового Завета.

...производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех, «Живота всех», как потом... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «об этом младенце часто говорится. Ее роды незаконны не только тем, что они внебрачные и нарушают законы книжников и букву фарисейской нравственности. Девушка попирает гораздо более широкий порядок. Девушка рожает не по естественному закону, а чудом, по вдохновению. Это то самое вдохновение, которое Евангелие, строящее жизнь на исключительности, чуде, празднике и вдохновении, противопоставляет мелкому гнету человеческих обычаев и установлений».

С. 410. ...(«человек бывает Бог, да Бога Адама соделает»). — Из стихиры «На хвалитех» 2-го гласа утрени Благовещения.

— Сейчас я вам еще кое-что... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «хочу сказать на ту же тему о новизне и современности христианского духа. А до этого маленькое отступление».

Эти декламации о вождях и народах... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «на словах как бы возвращают нас в ветхозаветные времена скотоводческих племен и патриархов, а на деле, по счастью, ничего не достигают, потому что вождей и народов нет уже давным-давно, и сейчас это только велеречивое театральное притязание, которое не может повернуть истории назад на тысячелетия. Но, как сказано, это замечание в сторону. Возвращаюсь к оставленному разговору на тему о личности».

...о Христе и Магдалине. — Рассказ о грешнице, помазавшей ноги Иисуса Христа драгоценным миром в доме Симона фарисея (Л к. 7,36— 50), отождествляемой преданием с Марией Магдалиной, из которой Христос изгнал семь бесов (Лк. 8,2). Воспоминание об этом событии отражено в службе Великой среды на Страстной неделе.

...«грядый Господь к вольной страсти»... — начало стихиры на «Господи воззвах» 1-го гласа на вечерне в Великий понедельник.

«Страстем поработив достоинство души моея, скот бых», «Изрину вшеся из рая, воздержанием страстей потщимся внити»... — из стихиры 2-го гласа на «Господи воззвах» на вечерне Великой среды.

С. 411. И дело не в том, что... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «сами они были себе на уме и лицемерили. Потому что даже, когда на их месте представляешь себе действительно строгих, не щадивших себя аскетов-подвижников, все равно и в том и другом случае люди придавали излишнее значение разным частям своего тела...».

...возведена на недолжную, несвойственную ей высоту. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «по соседству с настоящими святынями совсем другого порядка».

...напоминание о том, что... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «есть жизнь во всей свежести, в самом прямом и бесхитростном смысле, так естественно и уместно в миг прощания с нею...».

...спор, Магдалина ли это, или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария заключается в трех рассказах о помазании Христа миром у разных евангелистов: у Матфея и Марка — в доме Симона прокаженного в Вифании (Мф. 26,6-13; Мк. 14,3-9), у Луки — в доме Симона-фарисея (Лк. 7, 36-50), у Иоанна — в доме Лазаря в Вифании его сестрой Марией (Ин. 11,2; 12,1—7). Упоминание в их ряду Марии Египетской, святой IV в., вызвано недоразумением. З. А. Масленикова записала рассказ Пастернака о его разговоре с А. В. Звенигородским, будто в словах Симочки о христианстве он «перепутал двух Марий: то, что там написано о Марии Магдалине, на самом деле относится к Марии Египетской». «И хотя он оказался прав, — сказал Пастернак, — но я ничего не стал менять, все оставил как было» (Борис Пастернак. Встречи. М., 2001. С. 93). Звенигородский был не прав, евангельский рассказ о грешнице, помазавшей Христа миром, никакого отношения к Марии Египетской не имеет. См. также стих. «Магдалина» (I, II). С. 544—546.

«Разреши долг, якоже и аз власы». — Из стихиры на «Господи воз-звах» 1-го гласа на вечерне в Великую среду.

«Яко нощь мне есть разжение блуда невоздержанна...» — из стихиры на «Господи воззвах» 1-го гласа на вечерне в Великую среду.

«Да облобыжу пречистые Твои нозе...» — из стихиры на «Господи воззвах» 8-го гласа на вечерне в Великую среду.

И вдруг вслед за этими волосами... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «как брызнувшие слезы, как вырвавшийся вздох, слова: "Грехов моих множества, судеб Твоих бездны кто исследит?" Пусть "судеб" сказано тут в значении суждений, приговоров. Все равно, какая короткость, какое равенство Бога и личности, Бога и души, грешной, любящей, жившей, женской, тесно сближенной воедино жаром и щедростью этих изъяснений!»

«Грехов моих множества...» — из стихиры на «Господи воззвах» 8-го гласа на вечерне в Великую среду.

С. 412. Хотя Симу он слушал... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «со стороны, не замечаемый ею, с перерывами, сквозь приступы набегающей дремоты, ее рассуждения доставляли ему наслаждение, он следил за ее мыслями с восхищением. "Конечно, все это от дяди Коли. Но какая талантливая и умница! Совершенно верно. Любовь в ходячем, общепринятом смысле бывает счастливая и несчастная. И дело с концом. И не к чему мудрить. А разговоры Гамлета с Офелией или Гамсуновских, Ибсеновских и Чеховских героев — антимония и канитель, разводимые без всякого основания. Между тем сосуществование любящих трагедия тем большая, чем счастливее их любовь. Душа одинока не вследствие житейских неудач, а вследствие

своих размеров. Как ни жаждет она совместной жизни с другой такою же, их трудно уместить в одной общей действительности, как трудно установить два больших рояля в одной маленькой комнате. Надо будет написать когда-нибудь стихи о Магдалине именно в этом духе, как о безоговорочном и безоглядном душевном обнажении"». Ср. предыдущий вариант под наклейкой: «<Любовь в общепринятом толковании бывает счастливая или несчастная, безответная или взаимная, с верностью или изменами, — вот и все. К чему мудрить. Кажется все так определенно. И когда начинаются собеседования Гамлета с Офелией или разглагольствования Чеховского Иванова или положения Ибсеновских драм или Гамсуновских романов, здравый смысл справедливо недоумевает. Что за антимонию или канитель они тут разводят? А дело в том, что... во весь рост выпрямившаяся душа кое-как еще умещается в кругозоре совершающегося и с грехом пополам произносит свои монологи, а второй уже трудно вписаться в ту же раму и диалоги с ней не получаются. Сосуществование любящих —трагедия, независимо оттого, какова их любовь, счастливая или несчастная. Душа одинока вследствие своих размеров. Как ни жаждет она соседства с другою такою же, их трудно расположить в одной действительности, как установить два больших рояля в маленькой комнате».

С. 413. ...видных общественных деятелей, профессоров... высылают из России... — имеется в виду декрет Ленина, по которому в августе-сентябре 1922 г. была выслана за границу группа профессоров, писателей и общественных деятелей. С. П. Мельгунов (1879—1956) — историк и публицист. А. А. Кизеветтер (1866-1933) — историк и один из лидеров партии кадетов. Е. Д. Кускова (1869-1958) — публицист, в 1921 г. была активным членом Комитета помощи голодающим (Помгол).

С. 414. Из одного страха перед тем, какое унизительное... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Чутьем, помимо головы, постигнувши, какое унизительное, уничтожающее наказание нелюбовь, как тяжко быть отвергнутой, нелюбимой, я бы бессознательно остереглась понять, что не люблю тебя...».

С. 417. ...обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темно-го дуба. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Эти две вещи говорили о старых временах так же неприкрыто, как о новых напоминала почти не дававшая света и лишь резче подчеркивавшая темноту комнаты касторка в пузырьке с опущенной в него и зажженной нитяной светильней, горевшая на столе и служившая в этом доме врача переносною во все комнаты лампой».

...он долго расчесывал... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «влажные примятые волосы и утирал и приглаживал вынутым из верхнего кармашка носовым платком мокрые усы и брови, намеренно растягивая паузу и играя выдержкою своего светского хладнокровия. Потом с выражением молчаливой и мнимой многозначительности, смысла которой если бы его припереть к стене, он ни за что не мог бы привести точнее и ближе, он одновременно протянул обе руки...»

На моих руках дух испустил. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «бедняга. Лучше сказать, несчастным образом погиб на моих глазах. Все вглядываюсь в вас, ищу сходства. Нет, видимо вы не в отца. Широкой натуры был человек, с противоречиями. Порывистый, стремительный. Человек риска, бурных страстей, большой воли. Судя по внешности, вы скорее в матушку. Мягкая мечтательная была женщина. Жила воображением. — Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас до меня какое-то дело. Я уступил ее просьбе. Мой разговор с вами вынужденный. По своей охоте я бы не знался с вами, и не считаю, что мы завязали знакомство. Поэтому ближе к делу. Но если в рамках приличия требуется, чтобы я поддерживал болтовню и отвечал вам, то что же, пожалуйста. Вы находите, что я похож на мать? Вы правы! Я тоже так думаю. — Здравствуйте, хорошие мои.

Чувствую и насквозь, до конца все понимаю. Простите за непрошенное участие. Вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара. Беру на себя смелость сказать: мысленно соединяю ваши руки и благословляю. Простите за невольно вырвавшуюся откровенность. — Вы забываетесь. Какая неслыханная наглость. Вас не просят ввязываться в то, что вас не касается. В вашем одобрении не нуждаются».

С. 418. Фантазировать, витать за облаками ей...— после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «не полагается. Она должна твердо ходить по земле и рассуждать здраво. Вот я все утро потерял зря на уговоры, убеждая ее отнестись серьезнее к нынешней обстановке. У меня есть вам советы обоим на этот счет, предложения. Я ей представил веские доводы в пользу своих планов. Она не желает их слушать. Я и вам разовью сейчас свои предложения. Но предварительно обращаюсь к вашему разуму».

С. 419. ...торопливее сводить свои местные счеты. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Провинция всегда с запозданием вводила из центра объявленные преобразования, частью из косности и боязни промахнуться, частью из постоянного желания приверженностью к старому доказать свою верноподданность. Та же самая инерция будет и здесь».

...смотрит на возникновение Дальневосточной республики. — Во избежание войны с Японией весной 1920 г. Совет народных комиссаров согласился на создание Дальневосточной республики, объединившей Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области. Кроме большевиков в правительство вошли меньшевики и эсеры. В 1922 г. республика вошла в состав советской России.

С. 420. Если ему не удастся бежать, я... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «испрошу у центрального правительства, чтобы его выдали нам в обмен на какое-нибудь другое лицо, представляющее значение для большевиков в Москве. Так или иначе мы его заполучим. Присутствовать при этих разговорах стоило Ларисе Федоровне большого напряжения. Она в них почти не участвовала. Насколько было возможно, она отмалчивалась, когда же этого нельзя было избежать, отделывалась полусловами в самом официальном тоне, называя Комаров-ского на вы и по имени-отчеству.

В этом не было совершенного притворства. Случаи и периоды, когда, бывало, наедине между собой они переходили на ты, были немногочисленны и единичны. Тем не менее Лариса Федоровна сосредоточенно следила сейчас за собой, чтобы нечаянной и машинальною обмолвкой не выйти из границ холодного безучастия, которые она вокруг себя очертила и которые непритворно выражали ее действительную неприязнь к этому человеку. Эта в одну сторону направленная предосторожность отымала все силы ее духа, поглощая целиком все ее внимание и не оставляя его ни на что другое».

С. 421. Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили... — после этих слов в рукописи вычеркнут отрывок: «когда и почему он в разговоре на эту Монголию напал. То, что они не заметили, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой, посторонней темы и усиливало их раздражение. Эта пытка была в духе времени. Так газеты, как о чем-то каждому близком и насущно необходимом, принимались вдруг изо дня в день писать о чем-нибудь очень специальном, о планерном спорте или о Северном полюсе, преследуя читателя ощущением, что он прозевал момент, когда этот вопрос поставлен был в повестку дня и получил такую широту и общеизвестность.

Комаровский говорил: — Ничего нового вы не открыли, дети мои. Это все мы подготовили, старшее поколение. Мы и Маркса откопали, и первые заговорили о социализме, но тихо, без скандала на весь мир, без дебоша. Вот я перед вами нить за нитью распутываю тончайшие хитросплетения современной мировой политики, а вам

хоть бы что, и ухом не ведете и всем вашим видом стараетесь показать, что эти материи к вам нимало не относятся. О как вы ошибаетесь, дети мои!»

Шаг через монгольскую границу... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «и весь мир у ваших ног, и все будущее перед вами, вы — вольная птица.

Вдруг в разгаре его умствований, доведенная почти до слез бесцеремонностью затянувшегося посещения, Лариса Федоровна поднялась, грубо и демонстративно протянула Комаровскому руку для прощания и сказала с нескрываемой враждебностью: — Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать».

С. 423. Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. — Монолог Живаго в рукописи имеет другой вариант («Другие редакции и черновые наброски». С. 628).

С. 424. ...ключом проникновения во все остальное на свете... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «помимо тебя. Тобою я понял себя, тобою полюбил Тоню, силу добра и души в природе, исправность и бережность сердца. Сейчас я еще раз постараюсь разобраться в том, что тогда случилось, и выразить существо этой вечной, тогда в тебе сказавшейся силы».

Мне было до смерти жалко себя, мальчика... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «и больно от полученного от тебя удара, и еще больше, суеверно, до ужаса, жалко тебя, девочку, точно и тебе стоило страшной муки быть источником этого страдания. Есть ощущение, противоречивое, заведомо ошибочное, от которого в таких случаях невозможно избавиться. Так это устроено природой. Всегда кажется, что как ни больно любить и принимать на себя токи притяжения, еще больнее посылать эти токи и притягивать».

...подпирала подбородок ладонью и, разинув рот, смотрела на... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «него, слушая его разгоряченную речь, иногда прижималась к его плечу, не замечая, как несознаваемые слезы тихо и блаженно стекают по ее ровному от счастья лицу, не морща его. Временами они забывались оба в одно и то же время. Он умолкал, полагая, что продолжает говорить, а ей казалось; что это говорит не он, а она, что это ее собственные слова».

С. 426. Я покажу вам место, где меня остановили партизаны... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «сказал доктор обеим спутницам в поле, когда отъехали достаточно от города, зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до такой степени, что казалось, будто это совсем другие места и они едут по другой дороге. — Вот! — вскоре сказал доктор при виде первого попавшегося столба сельскохозяйственной фирмы, совершенно забыв, что их два, и что это случилось у второго. Когда же через час с чем-то они промчались мимо истинного места происшествия, доктор не узнал перекрестка в преображенном густым инеем до неузнаваемости белом лесу, за частой филигранною решеткою которого никто не заметил вывески с именами Моро и Ветчинкина».

С. 428. И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл... — вместо этих слов в рукописи вариант: «И опять, как когда он в первый раз переступил этот порог, Юрий Андреевич с восхищением и завистью обратил внимание на ширину рабочего стола и окна и на другие особенности приспособленного к сосредоточенности кабинета, который самим удобством, казалось, располагал к основательности и плодотворности, в тревожное революционное время неосуществимым, и вдохновлял и благословлял на что-то длительное и остающееся, приохочивая к упорной работе».

...спят дети после целого дня беготни и проказ. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «наложенного вечером наказания за шалости и в слезах выпрошенного к ночи прощения».

В мечтах о вечерней работе... — вместо этих слов в рукописи вычеркнуто: «Он не мечтал при этом ни о чем серьезном. Простая чернильная страсть, тяга к перу и бумаге владела им. Со времени своих последних статей для Бюллетеня общества врачей в Юрятине он ничего не писал. А с позапрошлогодних зимних записей в Варыкине более широким изложением мыслей вне медицины не занимался». В черновых набросках отразилось намерение передать проснувшееся в душе Живаго желание во время второго пребывания в Варыкине вернуться к деятельности: «В Варыкине пробуждение плодотворных задатков в Ю. А., как было в первый приезд с семьей. Снова становится человеком, мыслителем, которому хочется писать, доктором (вылечивает Ка-теньку каким-нибудь рискованным смелым средством). Но нравственная мука, вечные мысли о своих, раздвоение мешают ему спокойно наслаждаться деятельностью. Беспокойная, лихорадочно виноватая (вечное сознание вины) самоотдача труду, как глушат себя водкой. Какой-то бес нашептывает гадкие нечеловеческие сближения. Обстановка как бы уличает его. Когда укладывают Катеньку в Шурочкину кроватку, это нож в сердце ему, вспоминает сон, Шурочка с Тереком и дверью, как бы вытесняет сына из жизни и задвигает перед ним доступ в нее. Точно он сравнивал двух детей, мальчика и девочку, и сына осудил, забраковал, и предпочел ему девочку и его заменил ею.

Просит заменить обстановку, это обижает Лару, и он удивляется ее нечуткости».

С. 432. Бивуачность нашего жилья действительно фальшива... — вместо этих слов Живаго в рукописи вычеркнут монолог («Другие редакции и черновые наброски». С. 629).

С. 433. ...большого петербургского издательства, занимающегося вы-пуском одних переводных произведений. — Речь идет об издательстве «Всемирная литература», для которого Пастернак в 1918 г. переводил драмы Г. фон Клейста и Бен Джонсона, интермедии Ганса Сакса.

С. 434. ...не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении,.. — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «самозаконченности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся силе речного потока, попутно движущей и обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, его течение вместе со множеством других форм и образований создает также размер и рифму, изображение и зеркало его внутреннего, насквозь проникающего его склада и согласия. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главное в том, что он пишет, делает не он сам, но то, что выше его, что над ним и впереди его, общее современное состояние мысли и поэзии, все предшествующие ее, вперед толкающие состояния, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который надлежит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорой, чтобы она пришла в это движение. Выпадавшее ему на долю счастье, в котором не было его личной заслуги, преисполняло его беспредельной признательностью всему окружающему, свидетелям его радости, точно удача улыбалась ему ради Лары и этого дома, чтобы сделать его достойным их и поднять его в их глазах».

С 435. Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому... — среди ранних набросков сохранилась записка, относящаяся к эпизоду с волками: «Волки. В лунную ночь четыре волка рядом стоят по ту сторону оврага на открытой полянке и воют, вытянув морды по направлению к Микулькиной высоте. Жаль ружья нет. После отъезда Лары в ночь, в которую доктор разговаривает со Стрельниковым, волки появляются уже по эту сторону оврага и забираются в сад. Стрельников выходит, стреляет из револьвера, волки разбегаются, один, видимо, раненый. И потом, когда Юрий Андр. во сне слышит выстрел и просыпается, он думает: "Антипов с волками сражается" и засыпает».

С. 436. Опять день прошел в помешательстве тихом. — Аллюзия на строки из стих. А. Блока: «День проходил, как всегда: / В сумасшествии тихом...» (цикл «Жизнь моего приятеля», 1914).

С. 438. ...приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Он не знал, что если бы он достиг его, отчаяние и отвращение другого порядка охватили бы и стали преследовать его, и за достигнутой незаметностью формы ему стал бы мерещиться призрак воображаемой пустоты и бессодержательности. Но до недовольства этого рода он не дожил».

...вылилось как бы помимо слов, само собою. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Он так и назвал эти отрывки колыбельными». Цикл «Колыбельных», который должен был войти в тетрадь Юрия Живаго, первоначально составляли стихи «Ветер», «Хмель», «Сказка» и исключенные затем «Бессонница» и «Под открытым небом».

С. 439. ...следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «узость промежутков между началами и концами сама предуказывала путь и выводила на правильную дорогу. Предметы, только на словах, по названию встречавшиеся в записи только условно и номинально, вдруг как бы в самом деле стали вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход ступающей лошади в ритмическом строении стихотворения...». Это место служит иллюстрацией к работе над стих. «Сказка».

Так же чередовались у нее... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «за истекшее время состояния спокойной уравновешенности с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, привыкшей к ежедневным домашним заботам или правильным учебным занятиям на школьной службе, и которую отдельные часы влюбленного безделья могли пленять и наполнять счастьем, но растянутые на целые сутки томили и нравственно уничтожали. Все повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз в перерыве, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало и что предшествовавший им давно ушедший в прошлое день возобновляется в целостности, с тою только разницей, что дорвавшийся тем временем до любимой склонности доктор той порою удосужился записать кое-что, да луна, бывшая в ночь приезда в стадии полнолуния, успела пройти две новые фазы и теперь готовилась вступить в третью».

С. 442. Что-то остановилось внутри его и порвалось. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Он клял на чем свет стоит нескладную свою судьбу и молил Бога охранить и уберечь эту неописуемо милую и странную, более странную, чем он сам, несчастливицу Лару».

С. 443. ...несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей. — В рукописи далее вычеркнуто: «Заброшенная, оставленная без ухода скотина с немым укором смотрела на людей в те годы. У некормленных, нечищенных лошадей выступали ребра, заводились струпья на ногах и в кровь натертые болячки на спинах. Самде-вятовской Савраске было далеко до такой плачевности, но и она укоризненным взглядом провожала все движения доктора и с тем же упреком вместо благодарности взглянула на него, когда он попоил ее. "Ее почистить бы, да задать бы ей какого-нибудь теплого корма, да убрать бы ей стойло", — подумал он. — "Да где мне? И не для чего, — ради дня или двух, при полной неизвестности о дальнейшем, не стоит. И не из чего, ничего нужного нет в запасе. Да и некогда мне, и ничего я этого не умею. Куда там о коне? Я и о себе-то толком не знаю как позаботиться и о моей милой ладушке, о моей милой ненаглядной любе"».

С. 444. — Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Нельзя так сразу. Сейчас я отвечу по порядку. Но сначала еще раз. Почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Нельзя ли по-людски, без суеты? Разговор-то ведь серьезный. Нельзя так с бухты-барахты, без разбору. Начну с тебя, Ларуша. Бог с тобой, что ты выдумала? Когда это я сожалел об отъезде Виктора Ипполитовича? Не обижайтесь, Виктор Ипполитович. Лично к вам ведь это не имеет никакого отношения. Извини меня далее, Ларуша, извините и вы меня, Виктор Ипполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости, не подлежащие обсуждению».

С. 445. ...состоит из международных спальных вагонов. — После этих слов в рукописи вычеркнуты подробности: «в полной исправности. Электрический свет, паровое отопление. Имеется повод освежить в памяти утраченную культурную жизнь, хотя бы на колесах, в движении мимолетной короткой прогулки. Ощущение сильное, я не шучу, вы увидите».

С. 446. ...знает, что без его участия в поездке... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «никакой Ларисы Федоровны нет и никаких ее решений. Неужели ты серьезно думаешь, что мы спокойно простимся, ты нам пожелаешь счастливого пути, я тебе скажу счастливо оставаться и махну тебе рукой? Тогда к чему эти фразы: "Адом я уберу и обо всем позабочусь"? — Значит, вы неумолимы. Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова и, если можно, с глазу на глаз. В скобках сказать, сошлись два упрямца, нашла, что называется, коса на камень. Так, Лариса Федоровна, если вы позволите. — Какие между вами секреты? Впрочем, ваша воля. Пожалуйста, если я вам мешаю. — Втайне от вас мне удобнее будет прибегнуть к некоторым особенно веским доводам, которыми, вы увидите, и я не побоюсь заявить об этом в присутствии Юрия Андреевича открыто, я в конце концов склоню его на нашу сторону».

...и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Правда, ненадолго, но пока наше буферное государство пользуется некоторой свободой. Из него вы легко морем через Японию или другим кружным путем всегда проберетесь к своим. А теперь о том, что нас волнует непосредственно и что нам надлежит сделать в настоящее мгновение».

С. 447. Я с трудом слежу за вашими словами. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «и понимаю не все в них. Но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым по нашей извращенной нынешней логике вытекает угроза безопасности и жизни Ларисе Федоровне и Кате. Можно ждать, что ее, а может быть, кстати и меня лишат свободы, и, следовательно, все равно, так или иначе нас насильно разлучат. Может быть, — насколько я способен сейчас связывать мысли, может быть, говорю я, лучше, чтобы это сделали, то есть насильно разлучили нас вы, да притом увезли ее куда-нибудь подальше, на край света, где дело вернее. Сейчас, когда я говорю вам это, все происходит уже почти по-вашему».

С. 450. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «взрывающей его до основания бури откладывает море след предельного своего прибоя, далеко вдавшегося в сушу ломаной линией на песке берега. Это нанос самого легкого и невесомого, что могли поднять со дна морской души, вынести вверх на себе и забросить всего дальше взбаламутившие пучину волны,— пемза, пробка, ракушки, самоцветные слезки, водоросли, скользкий, холодный соленый студень медуз. Так прибило тебя бурей жизни, гордость моя, на отмель, куда мигом раньше выбросило меня. Так я изображу тебя. "Вижу тя ясно, простерту просту и удивляюсь, в нейже все-лися будущия жизни наслаждение". Это не мое, это не от меня, это в подражание тебе, краса моя, как ты приводила и перевирала обрывки

молитв с кающимся восклицанием, — Бог да простит мне мое кощунство. Прощай, ангел мой. Гони, кати, боготворимая! Будь здорова! Будь счастлива! Прощай, прощай навсегда». («Вижу (вижду) тя (Тя)ясно, простерту просто...» — из стихиры 6-го гласа по 50-м псалме на всенощной праздника Успения Пресвятой Богородицы.)

С. 451. Он запустил дом, перестал заботиться о себе... — среди первонач. набросков сохранилась запись, передающая мысли Живаго после отъезда Лары: «Когда остается один. О, я не один, вы со мною, вы, великие отшельники Гоголь, Микель Анджело, Шопен, Бетховен. Вы, как я, не пощадили себя во имя высшей своей страсти».

С. 452. ...красота есть счастье обладания формой... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «чего бы то ни было существующего, и, таким образом искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. И преследование меткости и сходства его собственной формы с формой изображаемой, преисполняло его, автора, пишущего, Юрия Андреевича тем же счастьем существования. Но странно, если бы надо было подыскать нечто похожее, соответствующее этому счастью вне искусства, равнодействующая ему нашлась бы в поведении самоубийцы, который в неистовстве страдания колотится головой о стену каменной лестницы, а потом кладет конец этой муке прыжком на дно ее многоярусного пролета».

С. 453. Странно. Кто бы это мог быть?'— Среди набросков и предварительных планов второй книги романа есть запись, отразившая композиционный замысел четырнадцатой части «Опять в Вырыкине» и последнего разговора Живаго со Стрельниковым: «О доме Микулицыных. Не так выхоложен. На каждом шагу следы человеческого посещения. Здесь кто-то был. Здесь кто-то есть (Обходит дом, но никого не находит. Пачка нераспечатанных свечей). Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. А потом, когда как к себе домой приходит Стрельников, он (Стрельников) говорит. Поговорим ночь, [я бывал здесь временами] среди многих мест, где я прячусь, я прятался и здесь временами. У меня тут большой запас свечей с Дальнего Востока. Просидим ночь, поговорим при свечах. Какая удивительная женщина. За нее не жалко жизнь отдать. Я и отдал. Послушайте, я все про вас знаю. Вас природа наделила большим чувством. Вы поняли все, не правда ли?»

С. 454. Только миг появления неизвестного... — вместо этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Встреча была неожиданностью для обоих, но только отчасти. Забредший в дом неизвестный был, очевидно, тем предшественником Живаго, на отдельные диковинки из редкостных запасов которого Юрий Андреевич и Лариса Федоровна так часто натыкались. И его внешность показалась доктору где-то когда-то виденной, смутно памятной, полузабытой. С первого же взгляда он поднял целый ворох ложных, сбивающих с толку воспоминаний, в которых стал рыться, от ошибки к ошибке постепенно приближаясь к истине.

В свою очередь, и незнакомец, который был вправе предполагать, что дом пуст и под замком, как он его оставил, удивился недостаточно тому, что он обитаем. Видно, он допускал и такой исход и был к нему подготовлен. Кроме того, и присутствие доктора не представляло для него полной новости. Личность Юрия Андреевича была ему известна. Может быть, он был наперед предварен, кого он встретит в комнате, если в доме есть люди. Может быть, сверх ожидания увидав живого человека в кабинете Микулицына, он догадывался, кто перед ним находился, по каким-то сторонним сведениям и описаниям, или сам знал доктора с какой-то давнишней, однажды состоявшейся встречи».

...русские люди в России, как в особенности разговаривали те...— после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «пуганые и тосковавшие и те бешеные и исступленные, какими были все тогда в то сумасшедшее время. Вечерело. Становилось темно.

Сверх приверженности к общей словоохотливости, которую стал обнаруживать и Стрельников, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине. Доктор заметил, что он не может наговориться и цепляется за беседу с ним, как больные в больницах стараются отдалить час тушения огня и прекращения разговоров, когда им в тишине на всю ночь придется остаться одним, лицом к лицу со своей бессонницей. Так же, как и они, Стрельников старался всеми силами избежать одиночества».

С. 455. ...предаваясь... расточительным душевным излияниям. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «Речь его именно этими ненужными подробностями и чрезмерною откровенностью производила впечатление чего-то нездорового, маниакально беспокойного, лихорадочно разгоряченного, точно его устами приносило свою исповедь само несчастие. Это было болезнью века, революционным помешательством эпохи. Грозное время, присвоившее себе права Страшного суда, судило живых и мертвых, уличало, обвиняло, приговаривало к смерти и карало. Покаяния, пересмотры всего пережитого и самоосуждения были самым ходячим явлением в камерах следователей и в собраниях на общественных проработках. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха и по принуждению, но и по доброй воле, в состоянии метафизического транса и психической отравы, под влиянием самовнушения, которому дай только волю, и колдовства его не остановишь».

С. 455—456. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. — Среди набросков к роману сохранилась первонач. краткая запись разговора Стрельникова с Живаго: «Когда уезжают и остается один. Стрельников — меня разыскивают, думают, что я перебегу к вашим. Вот это была бы сенсация, которая может быть повернула бы назад колесо истории. Но этого не будет. У меня свои планы. Я еще один единственный раз в жизни хотел повидаться со своей женой. Я надеялся еще успеть застать ее тут, но опоздал. Я все знаю. Помните наш разговор в моем вагоне в Развилье? Кто мог думать, что все завяжется в такой узел. Какая небывалая женщина, эта бедная, беглая жена моя. Я всю жизнь влюблен в нее, всю жизнь молюсь на нее, и вся моя жизнь и судьба, война и революция и все странности — разные выражения этого единственного поклонения. У нас с вами страшный, кровью смывающийся разговор, он так и смоется. Вы должны понять меня. Вы были с нею близки. — Как вы можете спрашивать такие вещи? Кем бы я был, если бы я не был близок с землей, куда я был закинут рождением, или с небом, которому молилась моя мать. Кем был бы я, если бы устоял против этой всеми голосами, всем счастьем существования певшей, жаловавшейся тяги».

С. 456. ...и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «до наступления более благоприятных перемен. Это было бы неисполнимо без больших друзей, людей привязанных, самоотверженных. Но на протяжении всей жизни я никогда не бывал покинут и одинок. Это счастье со мною и по сей день, до нынешнего часа. Хотя и погубил меня тоже человек, втершийся в доверие предатель».

С. 457. Вдруг Стрельников заговорил о революции. — Среди ранних набросков сохранились две первонач. записи этого разговора («Другие редакции и черновые наброски». С. 630).

...поругание человека в труженике, поругание... — после этих слов

в рукописи вычеркнут вариант: «всевластными невеждами тех, кто все знали, все умели, все делали, поругание, оплевывание уголка приоткрывшейся красоты, светлой как небо, в женщине, растаптывание животным, денежным мешком человека. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменькиных сынков, студентов-белоподкладочников и купчиков, было хвастливо выставлявшееся напоказ бессердечие шагнувших по ту сторону добра и зла светских львов».

С. 458. ...ничего миру не дали и не оставили! — После этих слов в рукописи было: «Какая высота техники, достигнутая благодаря безжалостности, по части шагания по трупам и доставления себе любых удовольствий любою ценой. И все это было им так легко! И так сходило даром!»

...вечерняя улица века, рысаки, саврасы... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «все это было повсюду. Послушайте-ка, это ведь я хорошо сказал, — вечерняя улиЬа века. Серьезно? — Хорошо. Честное слово, хорошо. — Вечерняя улица конца века, конца девятнадцатого столетия. Что его объединило, что сложило столетие в одну эпоху?»

С. 460. Но я хотел сначала довести... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «войну своей жизни до конца. Я хотел заслужить эту встречу, стать достойным этой награды. О что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом, трепет пробегал по предметам, как от дуновения сквозного ветра».

— Простите. Я понимаю... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «что вы прибавляете от себя. Это извинительная привычка людей воспитанных и добрых. Но вы понимаете, как важна мне в этом случае точность. Если это мыслимо, если это выполнимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, что именно она вам сказала в возможно близких выражениях».

С. 462. ...головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. — Среди ранних набросков сохранилась запись, передающая намерения автора, касающиеся эпизода самоубийства: «Все на пороге смерти страшно общо. Рак, порок сердца, расстройство, драма ревности это все еще частности кончающегося существования, а не начинающегося несуществования. В самоубийстве Стрельникова взять самоубийство всякого человека, а не отдельное определенное с какими-то причинами». Анализу «сердечного терзания, предшествующего самоубийству» Пастернак посвятил небольшую главу в своем очерке «Люди и положения» (1956): «Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными<...>. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания».

С. 465. ...мелким неугомонным копошением, вызывавшим гадливость. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «И дорога, несмотря на безлюдье, или именно благодаря ему, не оставалась пуста. Доктор шел по ней с оглядкою и неусыпной, утомлявшею его осторожностью, точно затравленный настигавшею его слежкою или погоней».

...так переглядывались между собою, точно совещались... — после этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «и, может быть, загрызали слабейших из своры одну задругой всем скопом, брели следом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и кошачьей пищей, какою кишело поле, и поглядывая издали на доктора, все время на что-то твердо рассчитывали и уверенно чего-то дожидались. Их кровожадное наблюдение не прекращалось, пока дорога пролегала открытым полем».

С. 466. ...сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Она стояла в раме местности, только что описанной. Справа текла река. В направлении, обратном ее течению, почти по речному обрыву тянулась дорога, по которой шел доктор. В деревне до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки, оставляя ее с речной стороны совсем открытою. Лишенная второго ряда деревня растягивалась в длину по улице более чем на версту. В деревне

уцелело только несколько домов, почернелых и опаленных лишь снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. От прочих изб оставались одни кучи угольев и горы сваленных обгорелых бревен, из которых торчали кверху черные закопченные стояки печных труб, будто вехи или путевые знаки плывшим навстречу реке по небу, плечо к плечу с доктором, снеговым зимним облакам».

С. 467. Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «парнишкой, подростком, почти мальчиком. Он был бос, оборван и лохмат. Несмотря на дружелюбные слова, он впился в доктора острым пронизывающим взором, способным встревожить со стороны совсем чужого. По какой-то причине он был неспокоен, в волнении поставил ведро наземь, и вдруг бросился к доктору, так что тот привстал с камня, но не добежав до Юрия Андреевича, остановился в нескольких шагах от него. Он забормотал...».

...мать полагала, что Васю увезли в город... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «судить, и как виновного в побеге и уклонении от трудовой повинности примешают к деревенскому бунту, а то и обвинят в подстрекательстве и накажут смертью, тронулась с горя умом и утопилась в той самой Пелге...»

С. 469. Видишь, какие страсти/— После этих слов в рукописи вычеркнут вариант: «убили, загубили ее бесчеловечески! Это которые разбойники, — кто их знает, сколько их ее решало, — может, и один всего, — картошку откопали, остальное добро с картошкой и хлебным имуществом вывезли (кто им про картошку сказал?) самоё решили, труп в яму головой вниз бросили, благо яма готовая опросталась, и закопали. А на башмаки не позарились, или забыли, снять не успели. По вдове в Веретенниках тужил и. Мамушка, тогда она еще жива была, по ней слезами плакала».

На Харлама никто не думал. <...> Ему бы от нас кубарем... — после этих слов в рукописи: «опрометью, наутек куда подальше. Старые люди сказывали, в Буйских лесах испокон веку ссыльные спасались по притонам, беглые с каторги, на подбор душегубы. Не их ли дело? И зачем вверх ногами? В отместку? На глум? Страшная тайна. Так она без ответа и осталась. Кажись бы тут и конец. Ан нет. Тут только наши беды и начинаются, Веретенниковская погибель».

С. 470. ...по миру развеяло, где-нибудь мыкаются. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «побираются. Я это от дальних, которые за Буй-ском, знаю, мимохожие, вроде вас, сказывали. Как я выжил, чем дальше я жил, не спрашивайте».

С. 472. ...о личности как биологической основе организма... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «о раке, как о вторжении внеличного начала, пограничного неорганическому миру, в личность и организм (как отлагаются поселения ракушек на подводной обшивке корабля)...»

Книжечки расходились. Любители их ценили. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Грешили тогда не дилетантской широтой верхоглядства, а скорее обратным, превращением всякого вздора в особо разграниченную научную отрасль. Учения об искусстве и об обществе разбежались целым множеством выдуманных несуществующих разветвлений».

С. 473. Вася все чаще осуждал доктора. — Вместо этих слов в рукописи вычеркнут Васин монолог («Другие редакции и черновые наброски». С. 634).

...семья Маркела Щапова была вся в сборе. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «он сам, его жена, Агафья Тихоновна, четыре проживавшие с ними дочери помоложе, и две старшие, выданные замуж и отделенные, пришедшие к родителям в гости с детьми и мужьями».

С. 476. «... Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится». — После этих слов в рукописи вычеркнут вариант («Другие редакции и черновые наброски». С. 635).

С. 477. ...стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. — После этих слов в рукописи вычеркнут эпизод: «От этих отхожих промыслов в памяти у Марины остался отрывок песенки:

"Разу нувориша В праздник Рождества С бедною Маришей Я пилил дрова".

Дальше она не помнила. А дальше было дело так».

Теперь из помещения было выкроено три. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «и все в нем переделано. Винтовая лестница была снесена, золотые буквы надписи, кроме нескольких из середины, сохранившихся без всякого смысла и связи, были сорваны».

С. 478. ...совсем не означает горячности и широты характера... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «что косноязычие отнюдь не предполагает глубины мысли. Кого в обществе считают людьми яркими, интересными? Тех, кто в наиболее живой, чарующей форме выражает серость и неискренность общества».

С. 479. ...стереотипность... особенно трогала Гордона. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «дело мол человеческое. Но именно то, что ханжество, вкрадывавшееся в речи Иннокентия, было так в духе времени, именно закономерность и неизбежность этого явления втайне взрывала Юрия Андреевича».

...рассказ Дудорова о... священнике-тихоновце. — «Тихоновцами» назывались приверженцы патриарха Тихона (Белавина; 1865-1925), не пожелавшие примкнуть к так называемой «обновленческой» церкви. Они подвергались жесточайшим репрессиям. О его шестилетней дочке Христине в рукописи вычеркнут текст: «Девочка, по словам Дудорова, была чудо-ребенком, какой-то будущей, горевшей мечтою о подвиге, исторической героиней. Она без ума любила родителей. Может быть, детвора и смеялась над ней, дразнила ее поповной». В основе рассказа о Христине Орлецовой лежат некоторые факты жизни Зои Космодемьянской, собранные во время войны и сохранившиеся в архиве Пастернака.

С. 480. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. — Среди черновых набросков к роману после этих слов сохранилась запись, озаглавленная «Посмотреть в 1-й тетради ранение»: «К болезни Ю. А. (перед его смертью) наследственность (отец страдал в последние годы алкоголизмом, частые душевные волнения). Склероз венечных артерий. Сердечные мозоли. Стенка сердца местами истончается и, уступая напору изнутри, выпячивается, образуя сердечную аневризму, которая может повести к разрыву сердца с моментальным смертельным исходом».

С. 481. ...оскорблен в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Но еще больше скандализован он местом, которое занимает в этой истории Маркел, его бывший дворник. Он слишком помнит былое холуйство и угодливость этого человека и его последующее нахальство. Александр Александрович забывает, что революция перевернула общество вверх тормашками и все со дна всплыло кверху, а все бывшее на поверхности пошло ко дну. Их выслали в начале этих перемен, они еще не застали последствий. Одним словом, они что-то знают. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь поддерживал с ними почтовые отношения. Мы списывались по делу, о возможностях моей поездки к ним или их обратного приезда. И вдруг мне перестали отвечать».

С. 485. ...сокращения его стремительной скорописи за ними не поспевали. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Тогда как делают для памяти заметки или ставят знаки нотабене, он рисовал на полях своей крючками и закорючками обрывавшейся мазни четырехугольные рамки со словами: "Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки". Эти обозначения помогали ему сохранять в памяти недописанное и что он желал удержать. Изображения Юрятинской рекламы испещряли листы его черновиков. Они

начинали мерещиться кругом в комнате и так как видом своих столбов походили на станки мольбертов, придавали помещению сходство с мастерской художника».

С. 490. Здесь... среди вышедших из гряд цветочных всходов... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «может быть, блуждают наши чаяния воскресения мертвых и жизни будущего века. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за другого. Ей представилось, что это вышедший из питомника при погосте садовник. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть...) Как естественно вообразимы этот выход из-за гущи кустов и деревьев и кратковременность нечаянной встречи на ходу с предостерегающим: "Не прикасайся ко мне, Мария"» (Ин. 20,15 и 17).

С. 493. ...совершенная достоверность. Антиповзастрелился... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «в знакомом мне Варыкине, где я бывал раньше при совсем других обстоятельствах. Он застрелился в домике, из которого...»

С. 495. «И целуйте меня последним целованием». — Слова заключительной части церковного отпевания (стихиры самогласны: глас 6-й).

С. 496. ...видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание?— После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Что с пришедшей ему в голову строчки "Свеча горела на столе, свеча горела" пошла и на всю жизнь растянулась его творческая слабость?

Могло ли ей быть известно, что при въезде в это помещение ныне скончавшийся и отдаленно не подозревал, куда он перебирается и что он занял комнату, откуда на него однажды смотрел наружу тот огненный глазок. Но по сравнению с томившими ее тайнами, неотвязно преследовавшими ее и своей мукой и ужасом почти угашавшими свет ее разума, все эти неизвестные ей совпадения были такими несущественными и праздными мелочами! Едва ли и зная их, она стала бы заниматься их сближением.

Ее мысли рассеялись. Она подумала: "Как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному! Много ли бывает таких настоящих, достойных покойников, заслуживающих глубины и торжественности погребальных хоров и текстов, ее оправдывающих! А тут так бы все сошлось и окупилось!"»

...«надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя»... — слова из икоса погребального канона: «Надгробное рыдание претворяется в хвалебную песнь алилуия».

С. 497. Она ничего не говорила, не думала. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Широты, общности, плоскости, планы сознания привольно сменялись в ней с большим охватом, как их прежние ночные разговоры. Вот это-то бывало и приносило счастье и освобождение, знание того, что и как следует знать, которое давала эта болтовня, возвращение к источникам непосредственного знания, к чистоте детства. Как это объяснить? Например, — лето, водная местность, обилие прудов, озера, зеленые берега, деревья, купающиеся. Какая глубина красок, какая сила тона на земле и в воде! Как все знает, каким ему быть и как ему отражаться! Вот это и надо знать: чем быть, что делать и где находиться, чтобы не ронять собственной красоты и не нарушать общей.

Таким знанием была полна она и сейчас, чувством надежности и доверия к себе, хотя это было темное, неотчетливое и на мысли не переводимое знание о смерти, подготовленность к ней, отсутствие растерянности перед ней».

С. 498. Никогда, никогда... не покидало их самое высокое и захватывающее... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «понимание лепки мира и наслаждение ею, чувство отнесенности их двух фигур ко всей картине, их двух участей ко всей истории, — всесветность красоты, вездесущее зрелище вселенной».

Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения... — на отдельной странице беловой рукописи вариант: «...<прелесть> гения, близость обнажения. Тут мы были как дома. Между великими творениями мы были как в переписке с друзьями».

С. 503. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Началось влияние факторов последующих, вторичных. Прямые следствия революционных потрясений были печальны и губительны. Лилась кровь, жизнь людей без счету приносили в жертву, деревня разорена, мужское население из нее разогнано».

С. 504. Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «каждый день нового, меняющегося, несмотря на удар, заключающийся для меня в утрате Христины, на горечь временных постигавших нас поражений, на мои ранения, на наши потери, на всю эту долгую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлецовой помогает мне мысль, что свет самопожертвования, увенчавший славою ее конец, может быть служил и ей поддержкою и облегчил ей ее предсмертные муки».

Орлецова была замечательной юмористкой. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «Я прибавил бы, что ее наскоки на меня были очень остроумны, если бы несправедливость могла обладать безобидной шутливостью. Орлецова придумала мне дурацкую двойную фамилию Бло-хина-Слонова, чтобы под вымышленным прикрытием, под которым все меня угадывали, чернить меня сколько душе угодно в стенгазете».

С. 505. Какая варварская, безобразная кличка Танька Безочередева. — Фамилия переводится как «лишенная череды» в родовой преемственности, родившаяся без отца (безотчая) и его имени, дочь Лары, — Татьяна Ларина XX в., дитя своего времени и символ поколения, ничего не знающего о своем происхождении (см. коммент. В. М. Борисова//Собр. соч. С. 711).

С. 508. Когда стали мы, то есть наши красные, к ихнему главному городу белому подходить... — рассказ бельевщицы Тани о своем детстве и страшном случае в железнодорожной сторожке почти дословно переписан из пьесы Пастернака 1942 г. «Этот свет».

С. 513. Так Греция стала Римом... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «христианство — Ватиканом».

СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

Сочетание стихов и прозы в единой композиции романа входило в самые ранние творческие намерения Пастернака. В этом плане особый интерес представляют «Записки Спекторского», которые по мысли автора должны были составить заключительную главу романа. Художественная задача «чужой речи» решалась у Пастернака в поэме «Лейтенант Шмидт», а также в работе над поэмой «Зарево».

Стихи из романа «Доктор Живаго» с этой точки зрения стали завершением и оправданием многолетнего опыта и одновременно позволили автору сделать новый шаг в направлении большей прозрачности стиля и конкретности поэтического высказывания, таким образом знаменовав собой новый этап его творческого развития.

Вместе со стихами Пастернак передает своему герою стремление к «незаметному стилю, не привлекающему ничьего внимания». Он пишет о Живаго: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают».

Передавая герою авторство своих стихов, Пастернак сознательно отказывается от открытой субъективности восприятия и индивидуальной ассоциативности, характеризующих его собственную поэтическую манеру, в пользу ясности продуманной и определившейся мысли. «Прямая формулировка и метафора, — по мнению Пастернака, — не противоположности, а разновременные стадии мысли, ранней, мгновенно родившейся и еще не проясненной в метафоре, и отлеживавшейся, определившей свой смысл и только совершенствующей свое выражение в неметафорическом утверждении» (письмо к С. Чиковани 6 окт. 1957).

«Отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей», отличавших его собственное молодое искусство и поэзию его современников, — писал Пастернак, — «я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном, хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое» (письмо к Г. И. Гудзь 7 марта 1953). Главное достоинство своей работы автор видел в освобождении «от собственных навыков и обычаев ремесла», в «свободе от самого себя и собственных технических совершенств» (письмо П. П. Сувчинскому 24 сент. 1958).

Эти слова, сказанные по поводу всего романа в целом, в полной мере относятся к стихотворениям Юрия Живаго.

Снятие личного, автобиографического аспекта позволило Пастернаку расширить тематику лирики, открыто включить в нее элементы христианской образной традиции. О желании написать стихи на темы Евангелия Пастернак рассказывал Н. Н. Вильям-Вильмонту еще в конце 1920-х гг., при этом он соотносил свое намерение с опытом Р. М. Рильке. В своей трактовке евангельских сюжетов в «Новых стихотворениях» (1907) или «Жизни Марии» (1908) Рильке явно ориентировался на живопись итальянского Возрождения. С юности владевшее Пастернаком восхищение старыми мастерами выразилось в стихах Юрия Живаго.

В тексте романа рассеяны краткие указания на обстоятельства возникновения стихотворений, на мысли и представления, их вызвавшие и в них отразившиеся. Сочетание в стихах Юрия Живаго автобиографического начала с «чужой речью» героя романа ставит этот цикл на особое положение в поэзии Пастернака, каждая стихотворная книга которого — всегда лирический дневник.

По времени написания стихи распадаются на три цикла: первый составляют десять стихотворений 1946-1947 гг., следующие шесть датируются ноябрем-декабрем 1949 г., последние девять относятся ко второй половине 1953 г. Автографы этих стихов записывались небольшими подборками, авторские списки которых дарились А. А. Ахматовой, М. К. Баранович, К. Н. Бугаевой, Н. А. Табидзе, С. И. Чиковани, Н. В. Стефановичу, В. К. Звягинцевой, — они сохранились соответственно в собраниях Н. А. Ольшевской, А. А. Баранович-Поливановой, ГНБ (ф. 60.130), Гос. Музея грузинское литературы, РГАЛИ и др. В комментариях указывается место нахождения автографов (материалы семейного собрания приводятся без ссылки).

Первоначальная рукопись цикла 1947 г. (карандаш) под названием «Diaea пятая. Стихотворения Юрия Живаго» состояла из 10 стих, с эпиграфом из Ш. Бодлера «Bйnйdiction» («Благословение»): «Je sais que la douleur est la noblesse unique» («Я знаю, что страдание единственная форма благородства»). Неполная рукопись (чернила) 1953 г. под названием «Из романа в прозе» включает 9 стих. 1946-1947 и 1953 гг.

Окончательная редакция и последовательность стихотворений установлена в 1955 г. в рукописи романа (РГАЛИ, ф. 379). Отдельные стих, входили в Избр.—1948, публиковались в «Знамени», 1954, № 4, в «Дне поэзии», 1956. Впервые полностью: Борис Пастернак. Доктор Живаго. Милан, 1958. Ссылки на первые публикации стихотворений даются в тех случаях, когда они предшествовали изданию 1958 г.

1. Гамлет. — Автографы ранней редакции: один — в собр. Т.-П. Уит-ни (США), другой — РГАЛИ, ф. 1334. См.: «Другие редакции и черновые наброски». — Факсимиле стих. — «День поэзии. Избранное». М., 1982;варианты:

ст. 5—6: На меня наставлен ужас ночи Тысячей биноклей на оси.

— Автограф 1947 г. (карандаш), вариант ст. 6. — Автограф на кн.: «Грузинские поэты в переводе Бориса Пастернака». М., 1946, подаренной М. К. Баранович, дата: февраль 1946. — Машин. 1946 г. (собр. А. Л. Барто), вариант ст. 6.

Несомненна преемственность гамлетовской темы от Блока, статью о котором Пастернак готовил летом 1946 г. В сохранившихся набросках статьи («К характеристике Блока», 1946) он отмечал развитие гамлетизма Блока, ведущего к драматизации всего его реалистического письма. В тексте романа, рассказывая о тетради Живаго, Пастернак соотносит стих. «Гамлет» с городской темой: город как «необозримое огромное вступление к жизни каждого из нас». Об этом же городе, который когда-то «надлежало победить, надо было сломить его непризнанье», писал Пастернак в «Охранной фа моте», называя его по-блоковски «Страшным миром». Вернувшись осенью 1917 г. в Москву, Живаго увидел обреченность этого мира, его беспомощность перед лицом близящейся неизвестности и, «как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастиях русский город и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог». Вероятно, к этому времени по хронологии романа можно отнести замысел стих. «Гамлет», отделанного и переписанного Юрием Живаго за несколько дней до смерти. Оно положило начало циклу, сочетающему в себе автобиографические и тематические мотивы. В нем сказалась жертвенная готовность довести до конца задуманное, несмотря на опасность выбранного пути. В окончательной редакции эта тема приобрела символику Христовой жертвы, продолженную другими стихами цикла на евангельские сюжеты. «Гамлет отказывается от себя, чтобы "творить волю пославшего его", — писал Пастернак в «Замечаниях к переводам из Шекспира» (1946). — "Гамлет" не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения <...> волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. "Гамлет" — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения».

Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси. — Перифраз слов Христа из молитвы в Гефсиманском саду (Мк. 14, 36).

2. Март. — Избр.—1948, дата: 1946. — «Знамя», 1954, № 4, редакционная правка:

ст. 13—16: Перед приоткрытою конюшней Голуби в снегу клюют овес, И, приволья вешнего воздушней, Пахнет далью мартовской навоз. По признанию Пастернака, авторство этого варианта принадлежало В. Инбер, входившей в редколлегию журнала.

3. На Страстной. — Черновой автограф 1946 г.; варианты: между ст. 29 и 30:

В чаду свечного фитиля
Все свято без разбора,
И набережная Кремля,
И внутренность собора, между ст. 34 и 35:
Что будет дальше? — говорят
И смотрят на гробницу, ст. 45—46: Многоголосый разговор,
Плывущий на волнах рессор, —Автограф в собр. Уитни, вычеркнуты строфы 7—10, дополнительные строки между ст. 34 и 35; варианты ст. 45—46. ст. 20: Река буравит берега ст. 48: А март разбрасывает снег

— Авториз. машин. 1948 г. (собр. М. К. Баранович), дополнительные строки между ст. 34 и 35; варианты:

ст. 46—47: И стук рессор, и черный флер Весеннего угара.

В тексте романа замысел этого стих, рождается у Живаго во время тифозной горячки, когда он представляет себе свою работу над поэмой «Смятение»: «Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим <...>, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви <...> И — надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть».

...на Страстях Христовых... — эта служба совершается вечером в Великий четверг на Страстной неделе. ...крестный ход/ Выходит с плащаницей... — ночью с пятницы на субботу процессия, символизируя чин погребения, обносит вокруг храма плащаницу — изображение лежащего во гробе Христа. Но в полночь смолкнут тварь и плоть... — перифраз начальных слов Херувимской песни, поющейся в Великую субботу на Страстной неделе: «Да молчит всякая плоть человека...».

4. Белая ночь. — «Знамя», 1954, № 4. — Автограф, посланный Вяч. Вс. Иванову 24-25 июля 1953 г., авт. правка; варианты:

ст. 9: Фонари, словно бабочки газовые,

ст. 18: Этой ночью бескрайнею белой, ст. 22-24: Голос ясный, холодный, манящий

Дразнит сладкой щемящей сумятицей

Глубину очарованной чащи, ст. 35: Как бы знаки прощальные делая

— Автографы, посланные М. К. Баранович 9 авг. 1953 г., Н.А. Та-бидзе 18 авг. 1953 г. и беловой 1953 г.; вариант ст. 9.

5. Весенняя распутица. — «Знамя», 1954, № 4. — Черновой автограф («Другие редакции и черновые наброски»). — Автограф, посланный Вяч. Вс. Иванову 24—25 июля 1953 г.; варианты:

ст. 3-4: В свой дальний хутор на Урале

Гнал шибко человек верхом ст. 6—7: Дорогой шлепанью подков

Ответно вторила вдогонку ст. 16: С корнями сдвинутые пни. ст. 34: Ловили этот ясный звук

— Автограф, посланный М. К. Баранович 9 авг. 1953 г.; варианты: ст. 6—7: Гремело шлепанье подков,

И звонко вторило вдогонку ст. 35: Отмеренные эти доли

— Беловой автограф 1953 г.; варианты:

ст. 12: Вблизи весь шум и грохот свой ст. 34 — как в автографе Вяч. Вс. Иванова.

— Автограф, подаренный Н. А. Табидзе 18 авг. 1953 г. (Гос. Музей грузинской литературы); те же варианты ст. 12, 34.

Стихотворение вместе с предыдущим объединялось авторским намерением передать пение двух соловьев: в городе и в природе. В записках Живаго приведены строки из 7-й главы «Евгения Онегина» о соловье, где рифмуются «любовник» и «шиповник». Живаго усматривает в этой рифме присутствие былинного Соловья-разбойника. В черновых набросках к роману выписаны две строки из Пушкина и к ним примеч.: «Написать стихотворение об этом. Найти в звуке выражение. Как окна распахнувшихся пространств. Тождество деревянного дома и леса. Соловей все время напоминает, открылось, началось, совершается. Не спит человек, не спят звезды. Поет, чтобы через весь лес его было слышно в доме. Во всеуслышание». Сюжетно стих, ориентировано на одно из вечерних возвращений Живаго из Юрятина в Варыкино. Биографически

ст. 4: Как когда-то в тот последний раз.

ст. 8: Вечер смерти снизу пригвоздил,

ст. 15: И с соседкой из полуподвала

ст. 19: И соседка, обойдя задворки

ст. 21 : И не кусай припухших губ

ст. 23: Раскровенишь заживший струп

— Два автографа: 1947 г. (карандаш) и беловой 1953 г., перестановка 6-й и 7-й строф, варианты ст. 15, 19.

7. Лето в городе. — «Знамя», 1954, № 4. — Автограф, подаренный Н. А. Табидзе 18 авг. 1953 г. (Гос. Музей грузинской литературы); варианты:

ст. 3: Сзади собраны волосы

ст. 5—7: Словно шлема тяжелого

Возвышается бремя.

Я люблю эту голову ст. 9: А за окнами жаркая

— Беловой автограф 1953 г., те же варианты ст. 3, 7.

— Машин, строфы 2-й (Гос. Музей грузинской литературы):

Взбито бремя громоздкое, И в короткое время Создан гордой прическою Образ женщины в шлеме.

— Автограф, посланный Н. В. Стефановичу (РГАЛИ, ф. 2893); варианты:

ст. 3: Вверх заколоты волосы

ст. 7: Гордо вскинувши голову

— Автограф, посланный М. К. Баранович 26 авг. 1953 г.; вариант ст. 7 как в беловом.

подобная поездка самого Пастернака, подробности которой воспроизведены в романе, была 27 мая 1916 г., когда он проделал 56 верст, отправившись на Кизеловские копи верхом по весенней распутице: «В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звучным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей. "Очнись! Очнись!" — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: "Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!"»

6. Объяснение. — «Знамя», 1954, № 4. — Автограф из собр. Уитни, строфы 6-я и 7-я переставлены; варианты:

— Машин. 1953 г. (собр. А. Л. Барто); вариант ст. 14: Раздающийся резко.

Тема лета в городе впервые возникла в «Записках Спекторского» (1925) как интенсивное переживание одиночества на фоне летнего городского пейзажа. Через год, 1 июля 1926 г., Пастернак писал М. Цветаевой: «Я боюсь лета в городе, потому что эта чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и извращена, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество да но в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с проды-рявленьем нервной системы». В конце жизни Пастернак объяснял это состояние воздействием на него городской природы: «Для меня имеет значение какого-то особняком стоящего, необычайного начала: лето в городе как явление, как фактор. Для меня присутствие летнего солнца и летней растительности на городских улицах имеет более волнующее, загадочное и драматическое значение, чем прелесть природы на воле за городом» (письмо к Ч. Гудиашвили, 28 марта 1959).

8. Ветер. — «Знамя», 1954, № 4. — Автограф цикла «Колыбельные песни»: 1. «Ветер» — под назв. «Вводная», за ним следовали 2. «Бессонница», 3. «Хмель» и 4.

«Под открытым небом» — был подарен Н. А. Табидзе 18 авг. 1953 г. (Гос. Музей грузинской литературы); варианты:

ст. 5: А разом дом и дерева

ст. 8—9: В глуби стоянки корабельной, И это не из озорства

— Автограф цикла «Колыбельные песни», посланный Н. В. Стефановичу в ноябре 1953 г. (РГАЛИ, ф. 2893). Стих. «Бессонница» и «Под открытым небом» были исключены из тетради стихов Юрия Живаго. См.: «Стихотворения, не включенные в основное собрание».

О возникновении этого цикла рассказывается в тексте романа. Живаго пишет эти стихи ночью, глядя на спящую Лару: «Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою. Он так и назвал эти отрывки колыбельными». Последняя фраза была вычеркнута в машин. 1955 г., так как цикл лишился названия и цельности.

9. Хмель. — «Знамя», 1954, № 4. — Два автографа цикла «Колыбельные песни» (Гос. Музей грузинской литературы и РГАЛИ, ф. 2893). — Машин, (собр. А. Л. Барто) под назв. «Апрель»; вариант

ст. 7: Дождь проходит, давай этот плащ

10. Бабье лето. — Избр.—1948. — Автограф на книге, подаренной М. К. Баранович, датирован сентябрем 1946 г.; варианты:

ст. 5: Лес подхватывает, как насмешник

ст. 18: Когда все позади сожжено.

— Два автографа: 1947 г. (карандаш) и 1953 г., беловой; вариант

ст. 5.

11. Свадьба. — «Знамя», 1954, № 4, вариант ст. 25: И плечом, и головой,

— Автограф, посланный 30 нояб. 1953 г. Н. В. Стефановичу (РГАЛИ, ф. 2893); варианты:

ст. 21: И одна, как снег, бела, ст. 51 : Только случай, только сон,

— Автограф, посланный Н. А. Табидзе 9 дек. 1953 г.; вариант ст. 51 : Только отзвук, только сон,

В письме, сопровождавшем стих., объясняется, что оно было «внушено простым фактом жизни, где-то на дворе (в другом флигеле, у простых людей) свадьба была, поздно ночью не дали спать и рано утром разбудили, но у меня не было раздражения на них, наоборот, будто я прожил с ними эту ночь». Во флигеле дачи в Переделкине жил сторож Г. А. Смирнов, который отдавал замуж свою дочь Антонину.

12. Осень. — Ранняя редакция сохранилась в машин. 1949 г. («Другие редакции и черновые наброски»).— Автограф, подаренный Н. А. Ольшевской; варианты:

ст. 9: Теперь на нас двоих с печалью

ст. 22: Дай мне пропасть в сентябрьском шуме!

— Машин. 1949 г. (собр. А. Л. Барто); варианты: ст. 9: Теперь на нас одних в печали

ст. 22 — как в автографе.

— Автограф, посланный М. К. Баранович 20 янв. 1950 г., датирован ноябрем-декабрем 1949 г.

Мы будем гибнуть откровенно. — Стих, соотносится со вторым пребыванием Юрия Живаго в Варыкине, когда он думает о том, что «забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось». В то же время трактовка сюжета четко ориентирована на первонач. разработку эпизода в «За-

писках Патрика» (1936), где герой оставался на зиму в сторожке вдвоем с героиней после отъезда в Москву семьи. Это говорит об изменении первонач. плана в ходе работы над романом «Доктор Живаго». ...стежки и дорожки/ Позаросли наполовину. — Перифраз первой строки народной песни «Позарастали стежки-дорожки», особенно распространенной на Урале.

13. Сказка. — Автограф первонач. редакции, посланный Н. А. Та-бидзе 29 окт. 1953 г., состоит из 4 перенумерованных отрывков (Гос. Музей грузинской литературы), без ст. 53—64; варианты: ст. 24: Тайный водопой ст. 41 : Встрепенулся конный ст. 43: Увидав дракона, ст. 81-85: Светлый свод полдневный,

Синева без дна.

Спящая царевна?

Мертвая княжна?

То в минуты счастья ст. 92: И утраты сил.

Четвертый отрывок («Другие редакции и черновые наброски»).

— Автограф, посланный 30 нояб. 1953 г. Н. В. Стефановичу (РГАЛИ, ф. 2893), состоит из трех отрывков; варианты:

ст. 64: Эту жертву в дань

ст. 84: Барышня? Княжна?

ст. 85: То, в порыве счастья

ст. 92: И утраты сил.

— Машин. 1953 г. (собр. А. Л. Барто); варианты ст. 64, 84, 85 — как у Стефановича.

Сопровождая посылку стих, письмом, Пастернак писал: «Дорогая Нина! Послал ли я Вам свои "Колыбельные" (короткие отрывки)? Вот еще одна, только очень длинная и, кажется, глупая.<...> Тут что-то трогательное перемешано с чем-то совершенно идиотским. Не лишний ли весь четвертый кусок со старухой? Как Вы думаете? Может быть лучше кончить до него, ограничившись тремя частями? Покажите, пожалуйста, Чиковани и посоветуйтесь с ним. Он единственный человек в России, на вкус и понимание которого я могу положиться. И, например, если он скажет, что это плохое подражание "Крокодилу" Корн. Ив. Чуковского, я с ним соглашусь и не включу стихотворение в Живаговскую тетрадку. И такого Георгия посылать в Грузию! Вот нахальство!» (29 окт. 1953). Стих, посвящено подвигу св. Георгия, который считался покровителем Грузии. Имя героя романа «Доктор Живаго» Юрий — славянский эквивалент греческого Георгия. Через полмесяца после посылки Н. Табидзе первой редакции Пастернак писал ей: «Георгий Победоносец уже называется "Сказкой", а не "Колыбельной", и весь конец (четвертый кусок с этим дурацким "Баюшки баю") откинут, а вместо него перед третьим вставлены две строфы, объясняющие, что пленница принесена в виде откупной дани в жертву дракона во избавление страны» (16 нояб. 1953).

Описанию работы над этим стих, посвящена 9-я глава 14-й части романа. Выделен начальный импульс — волчий вой под луною, разрастание его до символа вражьей силы, затем ночное писание, переход от благозвучия пятистопного размера к реальной предметности трехстопного хорея, в котором Юрий Живаго «услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена». В другом месте романа Пастернак называет это стих, «версией, принятой в духовных песнопениях, исполнявшихся русскими менестрелями». С. С. Аверинцев в статье для словаря «Мифы народов древности» отмечает в стих. Пастернака освобождение «мотива змееборчества от всего груза археологической и мифологической учености (характеризующей разработки этого сюжета у М. Кузмина и Вяч. Иванова. — Е. Я.) (вплоть до забвения имени самого героя)» и сведение его «к наиболее простым "вечным" компонентам (жалость к

женщине, полнота жизни и надежды перед лицом смертельной опасности)» (С. С. Аверинцев. София-Логос. Киев, 2001. С. 64).

14. Август. — Автограф, подаренный Н. А. Табидзе 18 авг. 1953 г. (Гос. Музей грузинской литературы); варианты: ст. 4: Сквозь занавеси до дивана,

ст. 10: Намокла с уголка подушка, ст. 17: Поверье есть, что свет без пламени ст. 19: И осень яркая, как знаменье ст. 21—22: И вы прошли сквозь голый, нищенский,

Сквозной, трепещущий ольшаник ст. 31 : Глядя в лицо мое умершее,

— Автограф, посланный 26 авг. 1953 г. М. К. Баранович, те же варианты ст. 4,10,21-22. — Беловой автограф 1953 г., вариант ст. 4. — Машин, без авт. правки одной строфы в ранней редакции (Гос. Музей грузинской литературы):

ст. 37—40: Прощай совет и помощь женщины, Подруг, приятельниц, товарок, Неоценимый, преуменьшенный Судьбы участливый подарок.

Праздник Преображения Господня (второй Спас) посвящен евангельскому эпизоду, когда Христос, поднявшись на гору, явил своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну свет своей Божественной славы, исходящий от его лица и одежды (Мф. 17,1-9). Христианская традиция определяет местом Преображения гору Фавор в Галилее на берегу Генни-саретского озера. Отмечается шестого августа ст. стиля. Летом 1903 г. в этот день Пастернак упал с лошади и чудом избежал смерти. В 1913 г., отмечая 10-летнюю годовщину этого события, Пастернак называет его моментом пробуждения своего творческого призвания («Сейчас я сидел у раскрытого окна...»). Происшествие 1903 г. упоминается в «Охранной грамоте», подробно описывается в «Людях и положениях». Стих. «Август» написано к 50-летию своего отроческого спасения от смерти.

Празднику Преображения посвящен храм в Переделкине, недалеко от которого Пастернак похоронен.

15. Зимняя ночь. — Избр.-1948, дата: 1946; варианты: ст. 1 : Мела метель по всей земле,

ст. 7: Летели хлопья со двора

ст. 9—12 вместо ст. 21—24. Междуст. 16 и 17:

Мело весь месяц в феврале,

И месяц целый

Свеча горела на столе,

Свеча горела, ст. 25-26: Порывом вьюги из угла

Порыв соблазна ст. 29-30: Мела метель по всей земле

Во все пределы.

— Автограф, посланный В. К. Звягинцевой 20 янв. 1947 г., дата: декабрь 1946 (РГАЛИ, ф. 1720); варианты:

вместо ст. 9—12:

И двор тонул во вьюжной мгле, И то и дело

Коптил нагар на фитиле.

Свеча горела. Междуст. 16 и 17 — строфа, как в Избр.-1948, ст. 21—24: Сердца и стрелы на стекле

Чертя не смело,

Свеча горела на столе,

Свеча горела. Ст. 29-32 отсутствуют.

— Автограф 1947 г. (карандаш), как в Избр.—1948, ст. 9—11 вычеркнуты:

ст. 9— 11 : Двор то и дело плыл во мгле, И то и дело

Мигал нагар на фитиле.

— Машин. 1947 г. (собр. А. Л. Барто); варианты: ст. 6 — как в Избр.-1948,

ст. 9 — как в автографе В. К. Звягинцевой, ст. 11 — как в автографе 1947 г.

Между ст. 16 и 17, ст. 25-26, 29-30 — как в Избр.-1948.

Горящая свеча — центральный символ романа «Доктор Живаго». «Свеча горела» — было одним из предполагаемых его названий. Смысл его раскрывается в Евангельской притче. Обращаясь к Апостолам в Нагорной проповеди, Христос говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5,14—16). Эпизод со свечой в окне комнаты в Камергерском переулке играет существенную роль в сюжетном плане романа. «С этого увиденного снаружи пламени», «проникавшего на улицу почти с сознательностью взгляда», пробудилось в Юрии Живаго его творческое предназначение. В этом эпизоде отразились также ранние воспоминания самого Пастернака о Рождестве 1907 г., о которых он писал в прозаических набросках 1911 — 1912 гг. См. также стих. И. Анненского «Canzone» (1909), где свеча на окне — знак любовного свидания.

16. Разлука. — «Знамя», 1954, № 4; вариант ст. 4: Кругом следы разгрома.

— Автограф, посланный 30 нояб. 1953 г. Н. В. Стефановичу (РГАЛИ, ф. 2893); варианты:

ст. 5: Повсюду в комнате хаос,

ст. 22: Вода во время шторма, ст. 37: Потемки. В комнатах содом, ст. 41 : И человек средь темноты

— Машин. 1953 г. (собр. А. Л. Барто), те же варианты, что в автографе Стефановича.

Посылая 9 дек. 1953 г. Н. А. Табидзе два стих., «Разлука» и «Свадьба», последние по времени написания из тетради Живаго, Пастернак писал: «Нехорошо, что временами пишу стихи, надо бы сосредоточиться на прозаической работе. Прилагаю Вам два новых стихотворения. Одно на тему из романа, к тому месту в новой части, когда зимой в гражданскую войну в чужом доме в глуши на Урале Юра остается один после отъезда Лары». Подробно описывая в тексте романа работу Живаго над стихотворением, движение текста в сторону «внутренней сдержанности, не позволяющей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее», Пастернак вскрывает творческий прием, при котором «появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого». В рукописи замысел стих, с большей отчетливостью открывал его метафорический план и родственную связь со стих. «Под открытым небом» («Вытянись вся в длину...») из цикла «Колыбельных песен». См. коммент. к с. 450.

17. Свидание. — «Знамя», 1954, № 4, без последней строфы. — Автограф, подаренный Н. А. Ольшевской, под назв. «Ночь», без ст. 17-20; вариант

ст. 29: В нем глубоко засело

— Автограф, посланный К. Кулиеву 4 февр. 1950 г., под назв. «Ночь», вариант ст. 29. — Автограф без назв. и без ст. 17—20, вариант ст. 29, был послан К. Н. Бугаевой 13 янв. 1950 г. — Автограф, переписанный 20 янв. 1950 г. для М. К. Баранович, датирован ноябрем-декабрем 1949 г.

18. Рождественская звезда. — Автограф, посланный В. К. Звягинцевой 29 дек..1947 г., датирован январем 1947 г. (РГАЛИ, ф. 1720); варианты:

ст. 18: Как венчик на плошке

ст. 25: Она разгоралась мгновенной скирдой.

ст. 65: От глаз их утаивала бестелесность,

— Автографы: посланный 25 февр. 1947 г. Н. А. Табидзе (Гос. Музей грузинской литературы) и 1947 г. (карандаш), варианты ст. 25 и 65.

Замысел стихотворения в тексте романа связывается с мыслями Юрия Живаго о Блоке, которым «бредила вся молодежь обеих столиц», и его намерением написать о нем статью в студенческий журнал. Святочная жизнь Москвы, горящие елки и гости в освещенных окнах домов, мимо которых ехал Живаго, привели его к мысли, «что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни» и «что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом».

Его согревало дыханье вола./Домашние звери/ Стояли в пещере... — перифраз места из Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского, почти дословно перенесенного в духовные стихи. Пастернак отметил соответствующие слова в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (т. 52. С. 942): «Эти бессловесные животные (вол и осел. — Е. #.), стоя при яслях, дыханием своим согревали Младенца от зимней стужи и таким образом служили Владыке и Творцу».

19. Рассвет. — День поэзии, 1956. — Автограф, подаренный А. Е. Крученых (РГАЛИ, ф. 1334) в начале 1948 г. с припиской: «Между 6-й и 7-й строфами "Рассвета" было понапрасну выброшено и надо вставить:

И снег, как выдумка, глубок, И крыши, как игрушки, мелки, И вьюга отдает клубок Мотать метельщице на стрелке.

Нежданно наступает день. И хоть давно проснуться время, Деревьям на бульваре лень Стряхнуть белеющее бремя».

— Автограф, посланный С. Чиковани 10 янв. 1948 г., против дополнительных строф приписка: «Эти строфы лишние, их можно выбросить». — Автограф 1947 г. (карандаш), выпущенные строфы приписаны в конце с указанием места, куда их вставить. — Посылая три стих., «Чудо», «Рассвет» и «Земля», В. К. Звягинцевой 29 янв. 1947 г., Пастернак писал: «Эти вещи гораздо хуже прежних, которые нравились Вам, но Кл. Ник. Бугаевой я все же посылаю их, "вместо цветов", и хочу набраться смелости сделать это и Вам, может быть, они Вам доставят удовольствие. Но позволительна ли такая упорно продолжающаяся "Ретроспекция"? Наверное, я совершенно утратил себя, и это плохой Блок и притом никому не нужный» (РГАЛИ, ф. 1720). Имеется в виду близость стих. «Рассвет» со «Вторым крещеньем» Блока: «И, в новый мир вступая, знаю, / Что люди есть, и есть дела, / Что путь открыт наверно к раю / Всем, кто идет путями зла».

20. Чудо. — Автограф, посланный В. К. Звягинцевой 29 дек. 1947 г. (РГАЛИ, ф. 1720); варианты:

ст. 22: С тобою мертвее гранита.

ст. 25: По дереву дрожь укоризны прошла.

— Автограф, посланный М. К. Баранович в тот же день, без вариантов. Сюжетной основой стих, стал эпизод из Евангелия (Мф. 21, 19-20).

21. Земля. — Автограф, посланный В. К. Звягинцевой 29 дек. 1947 г. (РГАЛИ, ф. 1720); варианты:

ст. 16—18: Что двор роняет в разговоре

И как с капелью на просторе

Толкует по ночам апрель, ст. 28: Грустят в окне и на распутье ст. 34: Чтоб за ее последней гранью ст. 36: Лишь для нее весною ранней

— Автограф, посланный в тот же день М. К. Баранович, без вариантов.

22. Дурные дни. — Автограф без назв., посланный 13 янв. 1950 г. К. Н. Бугаевой; варианты:

ст. 7: Все яростней сдвинуты брови

ст. 19-20: Весь день в ожиданьи развязки

Теснился у входа народ, ст. 21 : И шепот уж полз по соседству ст. 25: Припомнился час величавый

— Автографы под назв. «Темные дни»: один — подаренный Н. А. Ольшевской, другой — посланный 4 февр. 1950 г. К. Кулиеву; варианты:

ст. 12: И каждый юлил, как лиса.

ст. 19-20: Народ в ожиданьи развязки Похаживал взад и вперед.

Как алебастровый сосуд Когда б у каждого угла Породнена тоской безмерной?

ст. 21 — как в автографе Бугаевой, после ст. 22 отточие.

— Автограф под назв. «Дурные дни», посланный 20 янв. 1950 г. М. К. Баранович, дата: ноябрь-декабрь 1949 г.; вариант

ст. 20: Валандались взад и вперед.

Стих, посвящено первым дням Страстной недели, начавшейся торжественным въездом Христа в Иерусалим. Предчувствие близкого конца оживляет воспоминания детства в Египте, куда святое семейство бежало от царя Ирода, искавшего погубить младенца Христа (Мф. 2, 13-20), искушения в пустыне, когда Христос отказался от всемирной славы и власти (Мф. 4, 8—10), о первом чуде, совершенном на свадьбе в Кане Галилейской, когда вода по слову Христа превратилась в вино (Ин. 2, 1—10), о хождении по водам Геннисаретского озера (Мк. 6, 47—52) и воскрешении Лазаря (Ин. 11,43-44).

23. 24. Магдалина, I, IL — Автограф, подаренный Н. А. Ольшевской; варианты: I

ст. 12: ст. 16: ст. 24: II

ст. 15: Я теперь предсказывать способна ст. 18-19: Мыв кружок сожмемся в стороне,

И земля забьется под ногами, ст. 23: Точно в бурю смерч над головою

— Автограф, посланный 13 янв. 1950 г. К. Н. Бугаевой; варианты: I

ст. 13: У ног твоих я разбиваю

ст. 24: Срослась навек в тоске безмерной.

II

ст. 3: Обмывала миром из ведерка

ст. 7-8: На глаза охапкою упали

Копны развязавшихся волос, ст. 14: Точно ты его остановил, ст. 28: Ты раскинешь по краям креста. Варианты ст. 15, 18*-19 — как у Ольшевской.

— Машин. 1949 г. (собр. А. Л. Барто); варианты: I

ст. 10-11: Но раньше, чем они придут, Судьбу свою, дойдя до края, ст. 13 — как в автографе Бугаевой, ст. 16: Когда бы дома у стола ст. 24 — как в автографе Бугаевой.

рианты:

ст. 4: Внизу в овраге протекал Кедрон.

ст. 8: Мечтали вдаль по воздуху шагнуть,

ст. 17: Ночная высь теперь казалась краем

ст. 20: И только сад был местом для жилья,

ст. 23: Чтоб чаша та покамест миновала

ст. 7—8 — как в автографе Бугаевой,

ст. 18—19 — как в автографе Ольшевской.

— Автограф, посланный М. К. Баранович 20 янв. 1950 г., без вариантов, дата: ноябрь-декабрь 1949 г.

Образ Марии Магдалины по традиции, идущей со времен средневековья, соотносится с евангельским рассказом о женщине, которая пришла к Христу «с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд», омыла ему ноги, по словам Христа, «предварила помазать тело Мое к погребению» (Мк. 14, 3,

8). Трактовки эпизода разнятся деталями, один из евангелистов (Лк. 8, 2) говорит о прошлом Марии Магдалины, что она была одержима бесами — бесноватой называет ее Пастернак. Ее воспоминания перерастают в предвидение близкого распятия. Молитвенная форма обращения к Христу была использована в стих. Р.-М. Рильке «Пиета» из кн. «Новые стихотворения», моментом действия у него взято снятие со креста; омывание миром дается в воспоминании. Пастернаку был знаком также цикл М. Цветаевой «Магдалина», вошедший в ее кн. «После России» (1928). На первый план в стих. Пастернак выдвигает воспоминания об Иисусе Христе как Учителе Марии Магдалины, освобождая сюжет от эротики, характеризующей стихи его предшественников.

В романе замысел стих, о Марии Магдалине возникает у Живаго после рассуждений Симы Тунцевой, которая разбирает тексты тропарей и молитв Страстной недели. Приводимые ею цитаты нашли прямое отражение в тексте стих.: «Разреши долг, якоже и аз власы», «Яко нощь мне есть разжение блуда невоздержанна», «Да облобыжу пречистые Твои нозе и отру сия паки главы моея власы», «Грехов моих множества, судеб Твоих бездны кто исследит?». Мысли Живаго о своевременности в миг прощания с жизнью «напоминания о том, что такое есть жизнь во всей свежести в самом прямом и бесхитростном смысле», кончаются замечанием: «Надо будет написать когда-нибудь стихи о Магдалине именно в этом духе, как о безоговорочном и безоглядном душевном обнажении» (вычеркнутый вариант в рукописи).

25. Гефсиманский сад. — «Доктор Живаго». Милан, 1958, с ошибкой в последовательности строф 7—10-й, исправленной в переизданиях. — Автограф, подаренный Н. А. Ольшевской, имеет посвящ.: «Анне Андреевне (Ахматовой. — Е. Л.)», переставлены 2-я и 3-я строфы; ва-

ст. 37—38: Оружьем дав отпор головорезам,

Петр ухо одному из них отсек, ст. 42: Не снарядил бы мне отец сюда,

ст. 44: Враги развеялись бы без следа, ст. 55: Ко мне на Страшный суд мой неустанно

— Автограф, посланный К. Н. Бугаевой 13 янв. 1950 г. — строфы 2-я и 3-я переставлены; варианты:

ст. 5: Дорога обрывалась с половины

ст. 8: Могли туда по воздуху шагнуть

ст. 17: Ночная твердь теперь казалась краем

ст. 33—34: И только он сказал, невесть откуда

Толпа рабов и сборище бродяг, ст. 36: С преступным поцелуем на губах, ст. 38-39: И ухо одному рабу отсек.

Но слышит: Брось размахивать железом ст. 42-44: На помощь Бог мне не послал сюда?

Все эти, волоска на мне не тронув,

Развеялись тогда бы без следа, ст. 48: Пусть это чудо сбудется. Аминь, ст. 55: На суд ко мне, как баржи каравана,

— Автограф, посланный М. К. Баранович 20 янв. 1950 г., дата: ноябрь-декабрь 1949 г., строфы 2-я и 3-я переставлены, варианты ст. 5,33, 38-39,44 — как в автографе Бугаевой.

ст. 7-8: Оттуда серебристые маслины

Старались вдаль по воздуху шагнуть.

— Машин. 1948 г. (собр. А. Л. Барто), строфы 2-я и 3-я переставлены, варианты ст. 8, 17, 33 — как в автографе Бугаевой; варианты:

ст. 37—38 — как в автографе Ольшевской, ст. 42: Не снарядил бы мне Отец сюда? ст. 48: Пусть сбудется оно скорей. Аминь,

ст. 55: На суд ко мне, как баржи караванов,

— Стих, передает евангельский сюжет, в некоторых местах используя фразеологию источника. «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26, 38). Молитва Христа в Гефси-манском саду составляет также основу стих. «Гамлет», настроение неотвратимости конца и богооставленности сближает его с трактовкой Р.-М. Рильке в стих. «Масличный сад» из кн. «Новые стихотворения», — но в стих. «Гефсиманский сад» тяжесть обреченности облегчена верой в воскресение.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
И ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ

Раздел составлен из отрывков и глав, исключенных автором из рукописей, сохранившихся первоначальных набросков сюжетов и тем, планов распределения материалов по главам, выписок из книг, предполагавшихся для включения в диалоги. По сравнению с текстами Собр. соч. (т. 3) раздел дополнен впервые печатающимися здесь редакциями глав и заметками; ранее публиковавшиеся тексты вычитаны по автографам. Угловыми скобками < > отмечены конъектуры составителей, восстановленные обрывки текста; общеупотребительные сокращения (м. б., т. е., напр., т. к.) и недописанные окончания слов часто даются без обозначения. Квадратными скобками [ ] обозначены вычеркнутые места.

Выписки из статей Ф. М. Достоевского. — Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1991. С. 240—242. Текст выписок в этом издании расшифрован по магнитофонной записи и содержит много ошибок. — Публикуется по автографу. — Автографе. 1—5 вложен в обложку, на которой написано «К странице о Достоевском. Соображения, выписки из Дневн<ика> пис<ателя> и заметки к нему. Мысли о Достоевском, о народном поэте в разговоры Ю. А. с Ливерием?

Досто<оевский> о народности.

По романам, влож<ить> в уста Юры о Дост<оевском>».

Судя по надписи, в этой обложке находились и другие, несохра-нившиеся выписки (из «Дневника писателя», из романов и др.), потому что оставшиеся относятся только к двум работам: «Ряд статей о русской литературе» и «Книжность и грамотность», которые не были использованы в тексте романа. (Страницы указаны по изд.: Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч. в 30 т. Т. 18, 19. Л., 1978-1979.)

Среди заметок к «Доктору Живаго» сохранилась также ссылка на размеченные для работы страницы романа «Братья Карамазовы»: «И в Карамазовых главы V Внезапное решение и VI Сам еду, — где подчеркнуто. В последний раз <...>». И далее очень важное попутное наблюдение над языком своего перевода «Фауста»: «Между прочим о Фаусте. Черт с Карамазовым все говорит "пакости". А у меня это слово вымарывали в репликах Мефистофеля. А между тем я в своих "странностях" всегда подчиняюсь каким-то забытым примерам или преемственности, которой сам не сознаю».

С. 636. Русская жизнь стала явлением... — Достоевский пишетотом, что, приняв от цивилизации «все то, что следовало», мы, русские, «свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных <...> важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то все и дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, <...> расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов <...> Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания» («Ряд статей о русской литературе». Т. 18. С. 49).

Потребность красоты особенно велика в борьбе... — «И, может быть, в этом-то и заключается величайшая тайна художественного творчества, что образ красоты, созданной им (человеком. — Е. П)у становится тотчас кумиром <...>. Потому что потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с

действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается» (Там же. С. 94).

В наше время наибольшей жизни. Сильное любит силу. —- «...в наше время, — время стремлений, борьбы, колебаний и веры (потому что наше время есть время веры), одним словом, в наше время наибольшей жизни <...>, влияние красоты, гармонии и силы может величаво и благодетельно подействовать на него (на наш дух. — Е. Я.), полезно подействовать, влить энергию, поддержать наши силы. Сильное любит силу; кто верует, тот силен, а мы веруем и, главное, хотим веровать» (Там же. С. 95-96).

У нас только одно образование и одни нравственные качества... — «Нет у нас <...> ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек <...> Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании» (Там же. С. 50).

Кончила с европейской цивилизацией и теперь начинает... — «...она (новая Русь. — Е. П.) знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации...» (Там же. С. 50).

Но позвольте (спросят европейцы), что же такое вы сами... — «— Но позвольте, —- скажут нам, — что же такое ваша-то национальность? Что же такое вы сами, русские?» (Там же. С. 51).

Русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. —- «Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества» (Там же. С. 54).

С. 637. Способность самоосуждения лучшая сторона русской природы. — «Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет» (Там же. С. 56).

Нужно было быть слишком оригинальным, чтобы... — «Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию» (Там же. С. 55).

В лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек... — «Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек <...> И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля!» (Там же. С. 56—57).

Но богиня (Диана в стихах) не воскресает и ей не надо воскресать... — К этим выводам Достоевский приходит, говоря об Илиаде как об эпопее «полной жизни», эпопее «высокого момента народной жизни»: «Но богиня не воскресает, и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности, для нее время остановилось; это высший момент жизни, после которого она прекращается, — настает олимпийское спокойствие. Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнию...» (Там же. С. 97).

И знаете еще что: (Добролюбову в споре об «антологическом и утилитарном» искусстве... — «И знаете еще что: мы уверены, что в русском обществе этот позыв к

общечеловечности, а следовательно, и отклик его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и, может быть, в нем вековечно останется» (Там же. С. 99). Эти слова сказаны в защиту поэтессы Марко Вовчок, которую Добролюбов обвинял в «ан-тологичности» ее поэзии. Спор Достоевского с Добролюбовым по этому поводу очень существен для самого Пастернака, критическим штампом по отношению к которому были упреки в «несовременности» и отрыве от жизни. См.: «В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологией, стало быть еще нужна антология <... > Искусства же несовременного, не соответствующего современным потребностям, и совсем быть не может» (Там же. С. 101).

Стоять за грамотность, потому что в распространении ее... — «Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, вытащенную из воды на песок» («Книжность и грамотность». Т. 19. С. 6).

Ненародность Пимена (Отечественныезаписки). — В статье «Книжность и грамотность» Достоевский полемизирует с «Отечественными записками» «которые ничего не признают народного в Пушкине» (С. 8): «Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в "Борисе Годунове". Вам вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное...» (С. 9).

Онегин тип исторический. — «Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, не-разрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждать русское общество и проситься в его сознание» (Там же. С. 10).

Онегин принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни... — «Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и сознательным русским языком» (Там же. С. 10).

С. 638. (Он<егин>). Это первый страдалец русской сознательной жизни. (Первый «лишний» человек... — Достоевский не употребляет термин «лишний человек», но четко обрисовывает его черты: «Онегин — член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им, или смеяться над ними. Вся жизнь его выражает эту идею, эту борьбу.

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он, может быть, готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не

разрешит, не определит своих верований: он будет только страдать. Это первый страдалец русской сознательной жизни» (Там же. С. 11). Выписанное определение «страдальца русской сознательной жизни» полностью относится и к герою романа «Доктор Живаго», которого Пастернак причислял к тому же типу «лишнего человека».

В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает... — «В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж привнесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее?» (Там же. С. 11).

Почему, с какой стати народность может принадлежать... — «Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве мы, "образованные", уж и не русский народ?» (Там же. С. 14).

Мы (образованные) не весь народ, а только часть его. — «Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть его; но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. Вам это непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же вы видели такого народного поэта, как вам он представляется?» (Там же. С. 15).

И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием... — Там же. С. 16.

Английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет... — «Цивилизация не развила у нас сословий <...> английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности <...> Настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное» (Там же. С. 19).

Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКТОР ЖИВАГО ПЕРВАЯ КНИГА
Часть первая. Пятичасовой скорый..... 6
Часть вторая. Девочка из другого круга..... 23
Часть третья. Елка у Свентицких..... 64
Часть четвертая. Назревшие неизбежности..... 92
Часть пятая. Прощанье со старым.....130
Часть шестая. Московское становище.....165
Часть седьмая. В дороге.....208
ВТОРАЯ КНИГА
Часть восьмая. Приезд.....254
Часть девятая. Варыкино.....276
Часть десятая. На большой дороге.....305
Часть одиннадцатая. Лесное воинство.....327
Часть двенадцатая. Рябина в сахаре.....350
Часть тринадцатая. Против дома с фигурами.....373
Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине.....416
Часть пятнадцатая. Окончание.....463
Часть шестнадцатая. Эпилог.....500
Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго.....515

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ.....549
Комментарии.....643

Пастернак Б. Л.
19 Полное собрание сочинений [Текст]: в 11 т. Т. IV. Доктор Живаго, 1945—1955 / Борис Пастернак; сост., коммент. Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак. - М.: СЛОВО/SLOVO, 2004. - 760 с. ISBN 5-85050-680-2 (в пер.)

В том вошло итоговое произведение Пастернака — роман «Доктор Живаго», писавшийся на протяжении десяти лет (1945-1955) и принесший ему мировую известность и Нобелевскую премию, присуждение которой обернулось для автора политической травлей и стало причиной его болезни и кончины.

В конце книги приводятся черновые редакции, варианты и наброски, многие из которых ранее не публиковались. Впервые дан обширный комментарий, снабженный архивными материалами.

УДК 821.161.1 ББК84 (2 Рос-Рус) 6-5

Борис Леонидович Пастернак ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Том IV

Редактор Г. Н. Беднякова Художник К. Е. Журавлев Технический редактор Л. А. Комарова Верстка Л. А. Комаровой Корректор С. В. Щербин

Подписано в печать 29.04.04. Формат 60X90/,6.

Бумага писчая. Печать офсетная.

Гарнитура Newton.

Усл. печ. л. 47,50. Уч.-изд. л. 38,22.

Тираж 5000 экз. Заказ № 0414950.

Издательство СЛОВО/SLOVO. 109147, Москва, Воронцовская ул., 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ISBN 5-85050-684-5